Зигмунд Фрейд

„Я“ и „Оно“

Зигмунд Фрейд „Я“ и „Оно“ 2

Sigmund Freud



das „Es“

Schriften aus verschiedenen jachren

Зигмунд Фрейд

„Я“ и „Оно“

Труды разных лет

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

КНИГА 2

ТБИЛИСИ, «МЕРАНИ», 1991

88
Ф 862

Предисловие
акад. АН ГССР, проф. **Б. Р. НАНЕЙШВИЛИ,**
канд. медицинских наук **Г. Б. НАНЕЙШВИЛИ**

Научный консультант
Б. Р. НАНЕЙШВИЛИ

Составитель
А. ГРИГОРАШВИЛИ

Специальные редакторы:
кандидат филологических наук **Г. ГВЕРДЦИТЕЛИ,**
кандидат философских наук **У. РИЖИНАШВИЛИ**

Ф $\frac{0303010000-15}{«Веста»}$ Без объявл. — 90

Очерки по психологии сексуальности

К ТЕОРИИ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ

I

СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Факт половой потребности у человека и животного выражают в биологии тем, что у них предполагается «половое влечение». При этом допускают аналогию с влечением к принятию пищи, голодом. Соответствующего слову голод обозначения не имеется в народном языке; наука пользуется словом «либидо».

Общепринятый взгляд содержит вполне определенные представления о природе и свойствах этого полового влечения. В детстве его будто бы нет, оно появляется приблизительно ко времени и в связи с процессами созревания, в период возмужалости, выражается проявлениями непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой, и цель его состоит в половом соединении или, по крайней мере, в таких действиях, которые находятся на пути к нему.

Но у нас имеется основание видеть в этих данных очень неправильное отражение действительности: если

присмотреться к ним ближе, то они оказываются полными ошибок, неточностей и поверхностностей.

Введем два термина: назовем лицо, которое внушает половое влечение, **сексуальным объектом**, а действие, на которое влечение толкает, **сексуальной целью**; в таком случае точный научный опыт показывает, что имеются многочисленные отклонения в отношении обоих, как сексуального объекта, так и сексуальной цели, и их отношение к сексуальной норме требует детального исследования.

I. ОТСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СЕКСУАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половины — мужчину и женщину, — стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому получается впечатление большой неожиданности, когда слышишь, что встречаются мужчины, сексуальным объектом которых является не женщина, а мужчина, и женщины, для которых таким объектом является не мужчина, а женщина. Таких лиц называют извращенно-сексуальными или, лучше, инвертированными, а самый факт — **инверзией**. Число таких лиц очень значительно, хотя точно установить его затруднительно.

А. Инверзия

Поведение инвертированных

Эти лица ведут себя в различных направлениях различно.

a) Они **абсолютно** инвертированы, т. е. их сексуальный объект может быть только одного с ними пола, между тем как противоположный пол никогда не может у них быть предметом полового желания, а оставляет их холодными или даже вызывает у них половое отвращение. Такие мужчины оказываются благодаря отвращению неспособными совершить нормальный половой акт или при выполнении его не испытывают никакого наслаждения.

b) Они **амфигенно инвертированы** (психосексуальные гермафродиты), т. е. их сексуальный

объект может принадлежать как одинаковому с ним, так и другому полу, инверзия, следовательно, лишена характера исключительности.

c) Они **случайно** инвертированы, т. е. при известных внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нормального полового объекта и подражание. Они могут избрать сексуальным объектом лицо одинакового с ними пола и в таком сексуальном акте получить удовлетворение.

Инвертированные проявляют далее различное отношение в своем суждении об особенностях своего полового влечения. Одни из них относятся к инверзии как к чему-то само собой понятному, подобно тому, как нормальный относится к проявлению своего либидо, и энергично отстаивают ее равноправие наряду с нормальным. Другие же возмущаются фактом своей инверзии и ощущают ее как болезненную навязчивость[1].

Другие вариации касаются временных отношений. Особенность инверзии существует у индивида с давних пор, насколько хватает его воспоминаний, или она проявилась у него только в определенный момент до или после половой зрелости[2]. Этот характер сохраняется на всю жизнь или временно исчезает или составляет отдельный эпизод на пути нормального развития. Он может также проявиться в позднем возрасте по истечении длительного периода нормальной половой деятельности. Наблюдалось также периодическое колебание между нормальным и инвертированным сексуальным объектом. Особенно интересны случаи, в которых либидо меняется в смысле инверзии после того, как был приобретен мучительный опыт с нормальным сексуальным объектом.

Эти различные ряды вариаций в общем существуют независимо один от другого. Относительно крайней формы можно всегда утверждать, что инверзия

---

[1] Такое сопротивление навязчивости инверзии может составить условие, благоприятствующее терапевтическому воздействию при помощи внушения или психоанализа.

[2] С различных сторон вполне правильно указывалось, что автобиографические данные инвертированных о времени наступления их склонности к инверзии не заслуживают доверия, так как они могут вытеснить из своей памяти доказательство их гетеросексуального ощущения; психоанализ подтвердил это подозрение в отношении доступных ему случаев инверзии, изменив их анамнез устранением детской амнезии.

существовала уже с очень раннего возраста, и что лицо это вполне мирится с этой особенностью.

Много авторов отказались бы объединить в одну группу перечисленные здесь случаи и предпочли бы подчеркивать различие в пределах этой группы вместо свойственного всем группам общего; это зависит от предпочитаемого ими взгляда на инверзию. Однако, как ни верны такие разделения, все же необходимо признать, что имеется множество переходных ступеней, так что как бы само собой напрашивается расположение в ряды.

Взгляд на инверзию

Первая оценка инверзии выразилась во взгляде, что она является врожденным признаком нервной дегенерации; это вполне соответствовало тому факту, что наблюдатели-врачи впервые встретились с ней у нервнобольных или у лиц, производивших впечатление больных. Эта характеристика содержит два указания, которые необходимо рассматривать одно независимо от другого: врожденность и дегенерацию.

Дегенерация

Относительно дегенерации возникает возражение, которое вообще относится к неуместному применению этого слова. Вошло в обычай относить к дегенерации всякого рода болезненные проявления не непосредственно травматического или инфекционного происхождения. Подразделение дегенератов, сделанное Magnan'ом, дало возможность в самых совершенных проявлениях нервной деятельности не исключать применения понятия дегенерации. При таких условиях позволительно спросить, какой вообще смысл и какое новое содержание имеется в оценке слова «дегенерация». Кажется более целесообразным не говорить о дегенерации:

1) В случаях, когда нет нескольких тяжелых отклонений от нормы; 2) в случаях, когда работоспособность и жизнеспособность в общем тяжело не пострадали[1].

---

[1] С какой осторожностью необходимо ставить диагноз дегенерации и какое незначительное практическое значение он имеет, можно видеть из рассуждений Moebius'а: «Если окинуть взором обширное поле вырождения, на которое здесь пролит некоторый свет, то без дальнейшего видно, что диагноз — дегенерация имеет вообще очень мало значения».

Много фактов указывают на то, что инвертированные не являются дегенератами в этом настоящем смысле:

1. Инверзия встречается у лиц, у которых не наблюдается никаких других серьезных уклонений от нормы.

2. Также у лиц, работоспособность которых не нарушена, которые отличаются даже особенно высоким интеллектуальным развитием и этической культурой[1].

3. Если не обращать внимания на пациентов врачебного опыта и стараться охватить более широкий кругозор, то в двух направлениях встречаешься с фактами, исключающими взгляд на инверзию, как на признак дегенерации.

a) Нужно принимать во внимание, что у древних народов на высшей ступени их культуры инверзия была частым явлением, почти институтом, связанным с важными функциями; b) она чрезвычайно распространена у многих диких и примитивных народов, между тем как понятие дегенерации применяется обыкновенно к высокой цивилизации (J. Bloch). Даже среди цивилизованных народов Европы климат и раса имеют самое большое влияние на распространение инверзии и на отношение к ней[2].

Врожденность

Вполне понятно, что врожденность приписывают только первому, самому крайнему классу инвертированных, на основании уверений этих лиц, что ни в какой период жизни у них не проявлялось никакого другого направления полового влечения. Уже самый факт существования двух других классов, специально третьего, трудно соединить со взглядом о врожденном характере инверзии. Поэтому защитники этого взгляда склонны отделить группу абсолютно инвертированных от всех других, что имеет следствием отказ от обобщающего взгляда на инверзию. Инверзия по этому взгляду в целом ряде случаев имеет врожденный характер; а в дру-

---

[1] Защитникам «уранизма» нужно отдать справедливость в том, что некоторые из самых выдающихся известных нам людей были инвертированными, может быть, даже абсолютно инвертированными.

[2] Во взгляде на инверзию патологическая точка зрения отделена от антропологической. Это изменение является заслугой I. Bloch'а, который энергично подчеркнул факт распространения инверзии у древних культурных народов.

гих случаях она могла бы развиться иным способом.

В противоположность этому взгляду существует другой, согласно которому инверсия составляет приобретенный характер полового влечения. Взгляд этот основывается на следующем: 1) у многих (также абсолютно) инвертированных можно открыть подействовавшее в раннем периоде жизни сексуальное впечатление, длительным последствием которого оказывается гомосексуальная склонность; 2) у многих других можно указать на внешние благоприятствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позднее к фиксации инверсии (исключительное обращение в среде одинакового пола, совместный военный поход, содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения, целибат, половая слабость и т. д.); 3) что инверсия может быть прекращена при помощи гипнотического внушения, что было бы удивительным при врожденном ее характере.

С точки зрения этого взгляда можно вообще оспаривать несомненность возможности врожденной инверсии. Можно возразить, что более подробные расспросы в случаях, которые относятся к врожденной инверсии, вероятно, также открыли бы переживание в раннем детстве, предопределившее направление либидо; это переживание не сохранилось только в сознательной памяти лица, но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоминание о нем. По мнению этих авторов инверсию следовало бы считать частым вариантом полового влечения, предопределенным некоторыми внешними условиями жизни.

Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет почву от возражения, что многие люди испытывают, несомненно, подобные же сексуальные влияния (также в ранней юности: совращения, взаимный онанизм), не ставши вследствие этого инвертированными или не сделавшись ими навсегда. Таким образом возникает предположение, что альтернатива: врожденный и приобретенный — или неполна, или не совсем соответствует имеющимся при инверсии обстоятельствам.

Объяснение инверсии

Ни положение, что инверсия врождена, ни противоположное ему, что она приобретается, не объясняют сущности инверсии. В первом случае нужно выяс-

нить, что именно в ней врожденного, если не принять самого грубого объяснения, что у человека при рождении имеется уже связь полового влечения с одним определенным сексуальным объектом. В противном случае, спрашивается, достаточно ли разнообразных случайных влияний, чтобы объяснить возникновение инверзии без того, что в самом индивиде не шло кое-что навстречу этим влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно нашим прежним указаниям, недопустимо.

Введение бисексуальности

Для объяснения возможности сексуальной инверзии со времен Frank Lydstone, Kiernan и Chevalier пользуются ходом мыслей, содержащим новое противоречие общепринятому мнению. Согласно этому мнению, человек может быть или мужчиной, или женщиной. Но науке известны случаи, в которых половые признаки кажутся стертыми и благодаря этому затрудняется определение пола: сначала в области анатомии. Гениталии этих лиц соединяют в себе мужские и женские признаки (гермафродитизм). В редких случаях оба половые аппарата развиты один наряду с другим (истинный гермафродитизм); чаще всего находится двоякое уродство[1].

Замечательно в этих ненормальностях то, что они неожиданным образом облегчают понимание ненормального образования. Известная степень анатомического гермафродитизма принадлежит норме; у каждого нормально устроенного мужского и женского индивида имеются зачатки аппарата другого пола, сохранившиеся как рудиментарные органы без функции или преобразовавшиеся и взявшие на себя другие функции.

Взгляд, вытекающий из этих давно известных анатомических фактов, состоит в допущении первоначального бисексуального предрасположения, переходящего в течение развития в моносексуальность с незначительными остатками другого пола.

---

[1] Ср. последнее описание соматического гермафродитизма: Tarutti, «Hermaphroditismus und Zeugungsfähigkeit», нем. изд. K. Teuscher'a, 1903 и работы Neugebauer'a в нескольких томах «Jahrb. für sexuelle Zwischenstufen».

Весьма естественно было перенести этот взгляд на психическую область и понимать инверсию в различных ее видах как выражение психического гермафродитизма. Чтобы решить вопрос, недоставало только постоянного совпадения инверсии с душевными и соматическими признаками гермафродитизма.

Однако это ожидание не оправдалось. Зависимость между предполагаемым психическим и легко доказуемым анатомическим гермафродитизмом нельзя представить себе такой тесной. Часто у инвертированных наблюдается вообще понижение полового влечения и незначительное анатомическое уродство органов. Это встречается часто, но никоим образом не всегда или хотя бы в большинстве случаев. Таким образом приходится признать, что инверсия и соматический гермафродитизм в общем не зависят друг от друга.

Далее придавалось большое значение так называемым вторичным и третичным признакам и подчеркивалось, что они часто встречаются у инвертированных. И в этом есть большая доля правды, но нельзя забывать, что вторичные и третичные половые признаки вообще встречаются довольно часто у другого пола и образуют таким образом намеки на двуполость, хотя половой объект не проявляет при этом изменений в смысле инверсии.

Психический гермафродитизм вылился бы в более телесные формы, если бы параллельно инверсии полового объекта шли, по крайней мере, изменения прочих душевных свойств, влечений и черт характера в смысле типичных для другого пола. Однако подобную инверсию характера можно встретить с некоторой регулярностью только у инвертированных женщин. У мужчин с инверсией соединяется полнейшее душевное мужество. Если настаивать на существовании душевного гермафродитизма, то необходимо прибавить, что в проявлениях его в различных областях замечается только незначительная противоположная условность. То же относится и к соматической двуполости; по Halban'у, единичные уродливости органов и вторичные половые привычки встречаются довольно независимо друг от друга.

Учение о бисексуальности в своей самой грубой форме формулировано одним из защитников инвертированных мужчин следующим образом: женский мозг в мужском теле. Однако нам неизвестны признаки «жен-

ского мозга». Замена психологической проблемы анатомической в равной мере бессильна и неоправдываема. Объяснение, предложенное v. Krafft-Ebing'ом, кажется более точно выраженным, чем Ulrich'а, но по существу ничем от него не отличается. V. Krafft-Ebing полагает, что бисексуальное предрасположение награждает индивида как мужскими и женскими мозговыми центрами, так и соматическими половыми органами. Эти центры развиваются только в период наступления половой зрелости, большей частью под влиянием независимых от них по своему строению половых желез. Но к мужским и женским «центрам» применимо то же, что и к мужскому и женскому мозгу, и, кроме того, нам даже неизвестно, следует ли нам предполагать существование ограниченных частей мозга («центры») для половых функций, как, например, для речи.

Две мысли все же сохраняют свою силу после всех этих рассуждений: что для объяснения инверзии необходимо принимать во внимание бисексуальное предрасположение, но что нам только неизвестно, в чем, кроме анатомической его формы, состоит это предрасположение, и что дело тут идет о нарушениях, касающихся развития полового влечения[1].

Половой объект инвертированных

Теория психического гермафродитизма предполагает, что половой объект инвертированных противоположен

[1] Первым, кто указал на бисексуальность для объяснения инверзии, был E. Gley, опубликовавший уже в январе 1884 г. статью в «Revue philosophique». Замечательно впрочем, что большинство авторов, объясняющих инверзию бисексуальностью, придают значение этому моменту не только в отношении инвертированных, но и всех нормальных, и, следовательно, понимают инверзию как результат нарушенного развития. Так уже Chevalier, v. Krafft-Ebing говорят о том, что имеется множество наблюдений, из которых по меньшей мере явствует возможное существование этого второго центра (неразвившегося пола), D-r Arduin высказывает положение: «что в каждом человеке имеются мужские и женские элементы, только соответственно принадлежности тому или другому полу — одни несоразмерно более развиты, чем другие, поскольку дело касается гетеросексуальных лиц». Для G. Herman'a не подлежит сомнению, «что в каждой женщине — содержатся мужские зародыши и свойства, в каждом мужчине — женские» и т. д. В 1906 г. W. Fliess предъявил свое право собственности на идею о бисексуальности (в смысле двуполости).

объекту нормальных. Инвертированный мужчина не может устоять перед очарованием, исходящим от мужских свойств тела и души, он сам себя чувствует женщиной и ищет мужчину.

Но хотя это и верно по отношению к целому ряду инвертированных, это далеко не составляет общего признака инверзии. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть инвертированных мужчин сохраняет психический характер мужественности, обладает сравнительно немногими вторичными признаками другого пола и в своем половом объекте ищет в сущности женских психических черт. Если бы было иначе, то оставалось бы совершенно непонятным, для чего мужская проституция, предлагающая себя инвертированным, — теперь, как и в древности, — копирует во всех внешних формах платья и манеры женщин; ведь такое подражание должно было бы оскорблять идеал инвертированных. У греков, у которых в числе инвертированных встречаются самые мужественные мужчины, ясно, что не мужественный характер мальчика, а телесное приближение его к женскому типу, так же как и женские душевные свойства его, робость, сдержанность, потребность в посторонней помощи и в наставлении, разжигали любовь в мужчине. Как только мальчик становился взрослым, он не был уже больше половым объектом для мужчины, а сам становился любителем мальчиков. Сексуальным объектом, следовательно, в этом, как и во многих других случаях, является не тот же пол, а соединение обоих половых признаков, компромисс между душевным движением, желающим мужчину и желающим женщину при сохранении условия мужественности тела (генеталий), так сказать отражения собственной бисексуальной природы[1].

---

[1] Хотя психоанализ до сих пор не дал объяснения происхождению инверзии, он все же открыл психический механизм ее происхождения и значительно обогатил вопросы, которые приходится принимать во внимание. Во всех исследованных случаях мы установили, что инвертированные в более позднем возрасте проделали в детстве фазу очень интенсивной, но кратковременной фиксации на женщине (большей частью на матери), по преодолении которой они отождествляют себя с матерью и избирают себя самих в сексуальные объекты, т. е., исходя из нарцизма, ищут мужчин в юношеском возрасте, похожих на них самих, которых хотят любить так, как любила их мать. Далее мы часто находили, что кажущиеся инвертированными никоим образом не были не-

Более определенными оказываются отношения у женщины, где активно инвертированные, особенно часть из них, обладают соматическими и душевными призна-

---

чувствительными к прелестям женщины, а постоянно переносили на мужские объекты вызванное женщинами возбуждение. Таким образом они всю жизнь воспроизводят механизм, благодаря которому появилась их инверзия. Их навязчивое устремление к мужчине оказалось обусловленным их беспокойным бегством от женщины.

Психоаналитическое исследование самым решительным образом противится попыткам отделить гомосексуальных от других людей как особого рода группу. Изучая еще и другие сексуальные возбуждения, а не только открыто проявляющие себя, оно узнает, что все люди способны на один выбор объекта одинакового с собой пола и проделывают этот выбор в своем бессознательном. Больше, привязанности либидинозных чувств к лицам своего пола играют, как факторы нормальной душевной жизни, не меньшую, а как моторы заболевания большую роль, чем относящиеся к противоположному полу. Психоанализу, наоборот, кажется первичной независимость выбора объекта от пола его, одинаково свободная возможность располагать как мужскими, так и женскими объектами, как это наблюдается в детском возрасте, в примитивных состояниях и в эпохи древней истории; и из этого первичного состояния путем ограничения в ту или другую сторону развивается нормальный или инвертированный тип. По смыслу психоанализа исключительный сексуальный интерес мужчины к женщине является проблемой, нуждающейся в объяснении, а не чем-то само собой понятным, что имеет своим основанием химическое притяжение. Решающий момент в отношении окончательного полового выбора наступает только после наступления половой зрелости и является результатом целого ряда неподдающихся еще учету факторов, частью конституциональных, частью случайных по своей природе. Несомненно, некоторые из этих факторов могут оказаться настолько сильными, что имеют соответствующее решающее влияние на эти результаты. Но в общем многочисленность предопределяющих моментов находит свое отражение в многообразии исходных картин явного сексуального поведения людей. Подтверждается, что у людей инвертированного типа в общем преобладают архаические конституции и примитивные психические механизмы. Самыми существенными признаками их кажется влияние *нарцистического выбора объекта* и *сохранение* эротического значения *анальной зоны*. Но нет никакой пользы в том, чтобы на основании таких конституциональных свойств отделять крайние типы инвертированных от остальных. То, что находится у таких крайних типов, как, по-видимому, вполне достаточное обоснование их ненормальности, можно также найти, только менее сильно выраженным, в конституции переходных типов и у явно нормальных. Различие в результатах по природе своей может быть качественного характера: анализ показывает, что различие в условиях только количественное. Среди факторов, оказывающих случайное влияние на выбор объекта, заметим, что мы нашли запрещение (сексуальное запугивание в детстве) и об-

ками мужчины и требуют женственности от своих половых объектов, хотя и здесь, при более близком знакомстве, вероятно, окажется большая пестрота отношений.

ратили внимание на то, что наличность обоих родителей играет большую роль. Отсутствие сильного отца в детстве нередко благоприятствует инверзии. Необходимо, наконец, настаивать на требовании, чтобы проводилось строгое различие между инверзией сексуального объекта и смешением половых признаков у субъекта. Известная доля независимости совершенно очевидна и в этом отношении.

Целый ряд значительных точек зрения по вопросу об инверзии указал Ferenczi в статье: «К возологии мужской гомосексуальности» (гомоэротики), вполне справедливо осуждает тот факт, что под названием «гомосексуальность», которое он хочет заменить более удачным словом «гомоэротика» смешивают много очень различных неравноценных в органическом и психическом отношении состояний на том основании, что у них всех имеется общий симптом инверзии. Он требует строгого различия, по крайней мере по отношению к двум типам субъектгомоэротика, чувствующего и ведущего себя как женщина, и объектгомоэротика, абсолютно мужественного и заменившего женский объект объектом одинакового с собой пола. Первого он считает настоящим «промежуточным сексуальным» типом в смысле Magnus Hirschfeld'a, второго он — менее удачно — называет невротиком, страдающим навязчивостью. Борьба со склонностью к инверзии так же, как и возможность психического воздействия, имеется только у объектгомоэротика. И по признании этих двух типов необходимо прибавить, что у многих лиц смешивается известная доля субъектгомоэротики с некоторой частью объектгомоэротики.

Последние годы работы биологов, в первую очередь Eugen Steinach'a, пролили яркий свет на органические условия гомоэротика, как и вообще половых признаков.

Посредством экспериментального опыта кастрации с последующей пересадкой зародышевых желез другого пола удалось у различных млекопитающих, превратить самцов в самок и обратно. Превращение коснулось более или менее полно соматических половых признаков и психосексуального поведения (т. е. субъект и объект эротики). Носителем этой предопределяющей пол силы считается не та часть зародышевой железы, которая составляет половые клетки, а так называемая интерстициальная ткань этого органа («железа возмужалости»).

В одном случае удалась половая перемена у мужчины, лишившегося яичек вследствие туберкулезного заболевания. В половой жизни он вел себя, как пассивный гомосексуальный по-женски, и у него наблюдались очень ясно выраженные женские половые признаки вторичного характера (волосы на голове и лице, скопление жира в грудях и на бедрах). После пересадки крипторхического человеческого яичка, этот мужчина стал вести себя по-мужски и направлять свое либидо нормальным образом на женщину. Одновременно исчезли соматические женские признаки.

Сексуальная цель инвертированных

Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальную цель при инверсиях никоим образом нельзя называть однородной. У мужчин половое общение per anum далеко не совпадает с инверзией; мастурбация также часто составляет исключительную цель, и ограничения сексуальной цели — вплоть до одних только излияний чувств — встречаются здесь даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели инвертированных разнорядны; особенным предпочтением, по-видимому, пользуется прикосновение слизистой оболочкой рта.

Выводы

Хотя мы не чувствуем себя в силах дать удовлетворительное объяснение образованию инверзии на основании имеющегося до сих пор материала, мы замечаем, однако, что при этом исследовании пришли к взгляду, который может приобрести для нас большее значение, чем разрешение поставленной выше задачи. Мы обращаем внимание на то, что представляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со случаями, считающимися ненормальными, показывает нам, что между сексуальным влечением и сексуальным объектом имеется спайка, которой нам грозит опасность не заметить при однообразии нормальных форм, в которых влечение как будто бы приносит от рождения с собой и объект. Это заставляет нас ослабить в наших мыслях связь между влечениями и объектом. Половое влечение, вероятно, сначала не зависит от объекта и не обязано своим возникновением его прелестям.

Было бы безосновательно утверждать, что благодаря этим прекрасным опытам учение об инверзии приобретает новое основание и преждевременно ждать от них прямо нового пути к общему «излечению» гомосексуальности. W. Fliess вполне правильно подчеркнул, что эти экспериментальные опыты не обесценивают учения об общем бисексуальном врожденном предрасположении высших животных. Мне кажется скорее вероятным, что дальнейшие исследования подобного рода дадут прямое подтверждение предполагаемой бисексуальности.

В. Животные и незрелые в половом отношении лица как сексуальные объекты

В то время как лица, сексуальный объект которых не принадлежит к нормально соответствующему полу, т.е. инвертированные, кажутся наблюдателю группой индивидов в других отношениях, может быть, полноценных, случаи, в которых сексуальными объектами выбираются незрелые в половом отношении лица (дети), кажутся единичными отклонениями. Только в исключительных случаях сексуальными объектами являются дети; большей частью они приобретают эту роль, когда ленивый и ставший импотентным индивид или импульсивное (неотложное) влечение не может в данную минуту овладеть подходящим объектом. Все же факт, что половое влечение допускает столько вариаций и такое понижение своего объекта, проливает свет на его природу; голод, гораздо более прочно привязанный к своему объекту, допустил бы это только в крайнем случае. То же замечание относится к половому общению с животными, вовсе не редко встречающемуся среди сельского населения, причем половая притягательность переходит границы вида.

Из эстетических соображений является желание приписать это душевнобольным, как и другие тяжелые случаи отклонения полового влечения, но это неправильно. Опыт показывает, что у последних не наблюдается других нарушений половых влечений, чем у здоровых, у целых рас и сословий. Так сексуальное злоупотребление детьми с жуткой частотой встречается у учителей и нянек просто потому, что им предоставляются для этого наиболее благоприятные случаи. У душевнобольных встречается соответствующее отклонение только в усиленной форме, или, что имеет особое значение, оно стало исключительным и заняло место нормального сексуального удовлетворения.

Это замечательное отношение сексуальных вариаций по скале от здоровья до душевной болезни заставляет задуматься. Мне казалось бы, что нуждающийся в объяснении факт служит указанием на то, что душевные движения половой жизни относятся к таким, которые и в пределах нормы хуже всего подчиняются высшим видам душевной деятельности. Кто в каком бы то ни

было отношении, душевно ненормален в смысле социальном, этическом, тот, согласно моему опыту, всегда является таким же в своей сексуальной жизни. Но есть много ненормальных в сексуальной жизни и соответствующих во всех остальных пунктах среднему человеку, не отставших от человеческого культурного развития, слабым пунктом которого остается сексуальность. Как на самом общем результате рассуждений, остановимся на взгляде, что под влиянием многочисленных условий у поразительно многих индивидов род и ценность сексуального объекта отступают на задний план. Существенным и постоянным в половом влечении является что-то другое[1].

2. ОТСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СЕКСУАЛЬНОЙ ЦЕЛИ

Нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрешению сексуального напряжения и к временному угашению сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде). И все же уже при нормальном сексуальном процессе можно заметить зачатки, развитие которых ведет к отклонениям, которые были описаны как перверзии. Предварительной сексуальной целью считается известный промежуточный процесс (лежащий на пути к совокуплению) отношения к сексуальному объекту как ощупывание и разглядывание его. Эти действия, с одной стороны, сами дают наслаждения, с другой стороны, они повышают возбуждение, которое должно длиться до достижения окончательной сексуальной цели. Одно определенное прикосновение из их числа, взаимное прикосновение слизистой оболочки губ, получило далее как поцелуй у многих народов (в том числе и высоко цивилизованных) высокую сексуальную ценность, хотя имеющиеся при этом в виду части тела не относятся к половому аппарату, а составляют вход в пищеварительный канал. Этим даются моменты, которые позволяют установить связь между

---

[1] Самое глубокое различие между любовной жизнью древнего мира и нашей состоит, пожалуй, в том, что античный мир ставил ударение на самом влечении, а мы переносим его на объект влечения. Древние уважали влечение и готовы были облагородить им и малоценный объект, между тем как мы низко оцениваем проявление влечения самого по себе и оправдываем его достоинствами объекта.

перверзией и нормальной сексуальной жизнью, и которые можно использовать как классификации перверзии. Перверзии представляют собой или: а) переход за анатомические границы частей тела, предназначенных для полового соединения, или б) остановку на промежуточных отношениях к сексуальному объекту, которые нормально быстро проходят на пути к окончательной сексуальной цели.

а) Переход за анатомические границы

Переоценка сексуального объекта

Психическая оценка, которую получает сексуальный объект, как желанная цель сексуального влечения, в самых редких случаях ограничивается его гениталиями, а распространяется на все его тело и имеет тенденцию охватить все ощущения, исходящие от сексуального объекта. Та же переоценка излучается на психическую область и проявляется как логическое ослепление (слабость суждения) по отношению к душевным проявлениям и совершенствам сексуального объекта, так же, как готовность подчиниться и поверить всем его суждениям. Доверчивость любви становится таким образом важным, если не самым первым источником авторитета[1].

Именно эта сексуальная оценка так плохо гармонирует с ограничениями сексуальной цели соединением одних только гениталий и способствует тому, что другие части тела избираются сексуальной целью[2].

Значение момента сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, любовная жизнь которого только и стала доступной исследованию, между тем,

[1] Не могу отказаться от того, чтобы не напомнить готовности гипнотизируемых подчиниться и поверить гипнотизеру, заставляющее меня предполагать, что сущность гипноза надо видеть в бессознательной фиксации либидо на личность гипнотизера (посредством мазохистического компонента сексуального влечения). J. Ferenczi связал этот признак внушаемости с отцовским «комплексом».

[2] Однако необходимо заметить, что сексуальная переоценка развита не во всех механизмах выбора объекта и что ниже мы познакомимся с другим более непосредственным объяснением сексуальной роли других частей тела. Момент «голода», который приводился Hoche и J. Bloch'ом для объяснения перехода сексуального интереса с гениталий на другие части тела, как мне кажется, лишен этого значения. Различные пути, по которым идет либидо с самого начала, соотносятся, как сообщающиеся сосуды, и необходимо считаться с феноменом коллатеральных течений.

как любовная жизнь женщины отчасти вследствие культурных искажений, отчасти конвенциональной скрытности и неоткровенности женщин, погружена еще в непроницаемую тьму[1].

Сексуальное применение слизистой оболочки рта и губ

Применение рта, как сексуального органа, считается перверзией, если губы (язык) одного лица приходят в соприкосновение с гениталиями другого, но не в том случае, если слизистые оболочки обоих лиц прикасаются друг к другу. В последнем исключении заключается приближение к нормальному. Кому противны другие приемы перверзий, употребляемые, вероятно, с самых древних доисторических времен человечества, тот поддается при этом явному чувству отвращения, которое не допускает его принять такую сексуальную цель. Но граница этого отвращения часто чисто условна; кто со страстью целует губы красивой девушки, тот, может быть, только с отвращением сможет воспользоваться ее зубной щеткой, хотя нет никакого основания предполагать, что полость его собственного рта, которая ему не противна, чище, чем рот девушки. Тут внимание привлекается к моменту отвращения, которое мешает либидинозной переоценке сексуального объекта, но, в свою очередь, преодолевается либидо. В отвращении хотят видеть одну из сил, которые привели к ограничению сексуальной цели. Обыкновенно влияние этих ограничивающих сил до гениталий не доходит. Но не подлежит сомнению, что и гениталии другого пола сами по себе могут быть предметом отвращения, и что такое поведение составляет характерную черту всех истеричных больных (особенно женщин). Сила сексуального влечения охотно проявляется в преодолении этого отвращения (см. ниже).

Сексуальное применение заднего прохода

Еще яснее, чем в предыдущем случае, становится ясным при пользовании задним проходом, что именно

[1] В типичных случаях у женщин не замечается сексуальной переоценки мужчин, но она почти никогда не отсутствует по отношению к ребенку, которого она родила.

отвращение налагает печать перверзии на эту сексуальную цель. Но пусть не истолкуют, как известное пристрастие с моей стороны, мое замечание, что оправдание этого отвращения тем, что эта часть тела служит выделениям и приходит в соприкосновение с самым отвратительным — с экскрементами, — не более убедительно, чем то оправдание, которым истеричные девушки пользуются при объяснении своего отвращения к мужским гениталиям: они служат для мочеиспускания.

Сексуальная роль слизистой оболочки заднего прохода абсолютно не ограничивается общением между мужчинами, оказываемое ей предпочтение не является чем-то характерным для инвертированного чувствования. Наоборот, по-видимому, педерастия у мужчины обязана своим значением аналогии с актом с женщиной, между тем как при общении инвертированных сексуальной целью скорее всего является взаимная мастурбация.

Значение других частей тела

Распространение сексуальной цели на другие части тела не представляет собой во всех своих вариациях нечто принципиально новое, ничего не прибавляет к нашему знанию о половом влечении, которое в этом проявляет только свое намерение во всех направлениях овладеть сексуальным объектом. Но наряду с сексуальной переоценкой при анатомическом переходе границ половых частей проявляется еще второй момет, который с общепринятой точки зрения кажется странным. Некоторые части тела, как слизистая оболочка рта и заднего прохода, всегда встречающиеся в этих приемах, как бы проявляют притязание, чтобы на них самих смотрели, как на гениталии и поступали с ними соответственно этому. Мы еще услышим, что это притязание оправдывается развитием сексуального влечения, и что в симптоматологии некоторых болезненных состояний оно осуществляется.

Несоответствующая замена сексуального объекта — фетишизм

Совершенно особое впечатление производят те случаи, в которых нормальный сексуальный объект заме-

нсн другим, имеющим к нему отношение, но совершенно непригодным для того, чтобы служить нормальной сексуальной цели. Согласно принципам классификации половых отклонений нам лучше следовало бы упомянуть об этой крайне интересной группе отклонений полового влечения уже при отступлениях от нормы в отношении сексуального объекта, но мы отложили это до момента знакомства нашего с *сексуальной переоценкой*, от которой зависят эти явления, связанные с отказом от сексуальной цели.

Заменой сексуального объекта становится часть тела в общем очень мало пригодная для сексуальных целей (нога, волосы), или неодушевленный объект, имеющий вполне определенное отношение к сексуальному лицу, скорее всего к его сексуальности (части платья, белое белье). Эта замена вполне правильно приравнивается фетишу, в котором дикарь воплощает своего бога.

Переход к случаям фетишизма с отказом от нормальной или извращенной сексуальной цели составляют случаи, в которых требуется присутствие фетишистского условия в сексуальном объекте для того, чтобы достигнута была сексуальная цель (определенный цвет волос, платье, даже телесные недостатки). Ни одна вариация сексуального влечения, граничащая с патологическим, не имеет такого права на наш интерес, как эта, благодаря странности вызываемых ею явлений. Известное понижение стремления к нормальной сексуальной цели является, по-видимому, необходимой предпосылкой для всех случаев (экзекуторная слабость сексуального аппарата)[1]. Связь с нормальным осуществляется посредством психологически необходимой переоценки сексуального объекта, которая неизбежно переносится на все, ассоциативно с ним связанное. Известная степень такого фетишизма свойственна, поэтому, всегда нормальной любви, особенно в тех стадиях влюбленности, в которой нормальная сексуальная цель кажется недостижимой или достижение ее невозможным.

«Достань мне шарф с ее груди,
Дай мне подвязку моей любви». (Фауст.)

[1] Эта слабость зависит от конституционных условий. Психоанализ доказал влияние сексуального запугивания в раннем детстве как случайного условия, оттесняющего от нормальной сексуальной цели побуждающего к ее замене.

Патологическим случай становится только тогда, когда стремление к фетишу зафиксировалось сильнее, чем при обычных условиях, и заняло место нормальной цели, далее, когда фетиш теряет связь с определенным лицом, становится единственным сексуальным объектом. Таковы вообще условия перехода вариации полового влечения в патологические отклонения.

Как впервые утверждал Binet, а впоследствии было доказано многочисленными фактами, в выборе фетиша сказывается непрекращающееся влияние воспринятого, большей частью в раннем детстве, сексуального впечатления, — что можно сравнить с известным постоянством любви нормального человека. Такое происхождение особенно ясно в случаях, в которых выбор сексуального объекта обусловлен только фетишем. С значением сексуальных впечатлений в раннем детстве мы встретимся еще и в другом месте[1].

В других случаях к замене объекта фетишем привел символический ход мыслей, большей частью неосознанный данным лицом. Пути этого ряда мыслей не всегда можно доказать с уверенностью (нога представляет собой древний сексуальный символ уже в мифах)[2]; «мех» обязан своей ролью фетиша ассоциации с волосами на mons Veneris; однако и эта символика, по-видимому, не всегда зависит от сексуальных переживаний детства[3].

---

[1] Более глубокое психоаналитическое исследование привело к правильной критике утверждения Binet. Все относящиеся сюда наблюдения имеют своим содержанием первое столкновение с фетишем, при котором этот фетиш оказывается уже привлекающим сексуальный интерес, между тем как из сопровождающих обстоятельств нельзя понять, каким образом он овладел этим интересом. Кроме того, все эти сексуальные впечатления «раннего детства» приходятся в возрасте после 5—6-го года, между тем, как психоанализ заставляет сомневаться в том, могут ли еще в таком позднем возрасте заново образоваться патологические фиксации. Истинное положение вещей состоит в том, что за первым воспоминанием о появлении фетиша лежит погибшая и забытая фаза сексуального развития, которая заменена фетишем, как «покрывающим воспоминанием», остатком и осадком которого является фетиш. Поворот этой совпадающей с первыми детскими годами развития фазы в сторону фетишизма, как и выбор самого фетиша, детерминированы конституцией.

[2] Соответственно этому ботинок или туфля является символом женского гениталия.

[3] Психоанализ заполнил имевшийся еще изъян в понимании фетишизма, указав на значение утерянного благодаря вытеснению

b) Фиксации предварительных сексуальных целей

Возникновение новых намерений

Все внешние и внутренние условия, затрудняющие или отдаляющие достижение нормальной сексуальной цели (импотенция, дороговизна сексуального объекта, опасности сексуального акта) поддерживают, понятно, наклонность к тому, чтобы задержаться на подготовительных актах и образовать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место нормального. При ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что, по-видимому, самые странные из этих новых целей все же намечаются уже при нормальном сексуальном процессе.

Ощупывание и разглядывание

Известная доля ощупывания для человека, по крайней мере, необходима для достижения нормальной сексуальной цели. Также общеизвестно, каким источником наслаждения, с одной стороны, и каким источником новой энергии, с другой стороны, становится кожа, благодаря ощущениям от прикосновения сексуального объекта. Поэтому задержка на ощупывании, если только половой акт развивается дальше, вряд ли может быть причислена к перверзиям.

То же самое и с разглядыванием, сводящимся в конечном счете к ощупыванию. Оптическое впечатление осуществляется тем путем, по которому чаще всего про-

---

копрофильного наслаждения от обоняния (Riechlust) при выборе фетиша. Нога и волосы представляют собой сильно пахнущие объекты, становящиеся фетишами после отказа от ставших неприятными обонятельных ощущений. В перверзии, состоящей из фетишизма ноги, сексуальным объектом всегда является грязная дурно пахнущая нога. Другой материал для объяснения предпочтения оказываемого ноге, как фетишу, вытекает из инфантильных сексуальных теорий (см. ниже). Нога заменяет недостающий penis у женщины.

В некоторых случаях фетишизма ноги удалось доказать, что направленное первоначально на гениталии влечение к подглядыванию, стремившееся снизу приблизиться к своему объекту, задержалось на своем пути благодаря запрещению и вытеснению и сохранило поэтому ногу или башмак, как фетиш. Женские гениталии, в соответствии с детскими представлениями рисовались воображению как мужские.

буждается либидинозное возбуждение, и на проходимость которого, — если допустим такой телеологический подход, — рассчитывает естественный подбор, направляя развитие сексуального объекта в сторону красоты. Прогрессирующее вместе с культурой прикрывание тела будит сексуальное любопытство, стремящееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей дополнить для себя сексуальный объект; но это любопытство может быть отвлечено на художественные цели («сублимировано»), если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на тело в целом. Задержка на этой промежуточной сексуальной цели подчеркнутого сексуального разглядывания[1] свойственна в известной степени большинству нормальных людей, она дает им возможность направить известную часть своего либидо на высшие художественные цели. Перверзией же, страсть к подглядыванию становится, напротив: a) если она ограничивается исключительно гениталиями, b) если она связана с преодолением чувства отвращения (voyeurs: подглядывание при функции выделения), c) если она, вместо подготовления нормальной сексуальной цели, вытесняет ее. Последнее ярко выражено у эксгибиционистов, которые, если мне позволено будет судить на основании одного случая, показывают свои гениталии для того, чтобы в награду получить возможность увидеть гениталии других[2].

При перверзии, стремление которой состоит в разглядывании и показывании себя, проявляется очень замечательная черта, которая займет нас еще больше при следующем отклонении. Сексуальная цель проявляется

---

[1] Как мне кажется, не подлежит никакому сомнению, что понятие «красивого» коренится в сексуальном возбуждении и первоначально означает возбуждающее сексуально («прелести»). В связи с этим находится тот факт, что сами гениталии, вид которых вызывает самое сильное сексуальное возбуждение, мы никогда собственно не находим «красивыми».

[2] Анализ открывает у этой перверзии — как и у большинства других — неожиданное многообразие мотивов и значений. Навязчивость эксгибиционизма, например, сильно зависит еще от кастрационного комплекса; благодаря ему при эксгибиционизме постоянно подчеркивается цельность собственных (мужских) гениталий и повторяется детское удовлетворение по поводу отсутствия такого органа у женских гениталий.

при этом выраженной в двоякой форме: в **активной** и в **пассивной**.

Силой, противостоящей страсти к подглядыванию и иногда даже побеждающей ее, является стыд (как раньше отвращение).

Садизм и мазохизм

Склонность причинить боль сексуальному объекту и противоположная ей, эти самые частые и значительные перверзии, названы v. Krafft-Ebing'ом, в обеих ее формах, активной и пассивной, — **садизмом** и **мазохизмом** (пассивная форма). Другие авторы предпочитают более узкое обозначение **алголагнии**, подчеркивающее наслаждение от боли, жестокость, между тем, как при избранном v. Krafft-Ebing'ом названии на первый план выдвигаются всякого рода унижение и покорность.

Корни активной алголагнии, садизма, в пределах нормального легко доказать. Сексуальность большинства мужчин содержит примесь **агрессивности**, склонности к насильственному преодолению, биологическое значение которого состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и иначе, не только посредством актов **ухаживания**. Садизм в таком случае соответствовал бы ставшему самостоятельным, преувеличенному, выдвинутому благодаря сдвигу на главное место агрессивному компоненту сексуального влечения.

Понятие садизма в обычном применении этого слова, колеблется между только активной и затем насильственной констелляцией к сексуальному объекту и исключительной неразрывностью удовлетворения с подчинением и его терзанием. Строго говоря, только последний крайний случай имеет право на название перверзии.

Равным образом, термин «мазохизм» обнимает все пассивные констелляции к сексуальной жизни и к сексуальному объекту, крайним выражением которых является неразрывность удовлетворения с испытанием физической и душевной боли со стороны сексуального объекта. Мазохизм как перверзия, по-видимому, дальше отошел от нормальной сексуальной цели, чем противоположный ему садизм; можно сомневаться в том, появляется ли он когда-нибудь первично или не развивается

ли он всегда из садизма, благодаря преобразованию. Часто можно видеть, что мазохизм представляет собой только продолжение садизма, обращенного на собственную личность, временно заменяющую при этом место сексуального объекта. Клинический анализ крайних случаев мазохистической перверзии приводит к совокупному влиянию большого числа моментов, преувеличивающих и фиксирующих первоначальную пассивную сексуальную установку (кастрационный комплекс, сознание вины).

Преодолеваемая при этом боль уподобляется отвращению и стыду, оказывавшим сопротивление либидо.

Садизм и мазохизм занимают особое место среди перверзий, так как лежащая в основе их противоположность активности и пассивности принадлежит к самым общим характерным чертам сексуальной жизни.

История культуры человечества вне всякого сомнения доказывает, что жестокость и половое влечение связаны самым тесным образом, но для объяснения этой связи не пошли дальше подчеркивания агрессивного момента либидо. По мнению одних авторов, эта примешивающаяся к сексуальному влечению агрессивность является собственно остатком каннибальских вожделений, т. е. в ней принимает участие аппарат овладевания, служащий удовлетворению другой онтогенетически более старой большой потребности[1]. Высказывалось также мнение, что всякая боль сама по себе содержит возможность ощущения наслаждения. Удовлетворимся впечатлением, что объяснение этой перверзии никоим образом не может считаться удовлетворительным, и что возможно, что при этом несколько душевных стремлений соединяются для одного эффекта.

Самая разительная особенность этой перверзии заключается, однако, в том, что пассивная и активная формы ее всегда совместно встречаются у одного и того же лица. Кто получает наслаждение, причиняя другим боль в половом отношении, тот также способен испытывать наслаждение от боли, которая причиняется ему от половых отношений. Садист всегда одновременно и мазохист, хотя активная или пассивная сторона перверзии у

---

[1] По этому поводу ср. находящееся ниже сообщение о прегенитальной фазе сексуального развития, в котором подтверждается этот взгляд.

него может быть сильнее выражена и представлять собой преобладающее сексуальное проявление[1].

Мы видим таким образом, что некоторые из перверсий всегда встречаются как противоположные пары, чему необходимо придать большое теоретическое значение, принимая во внимание материал, который будет приведен ниже[2]. Далее совершенно очевидно, что существование противоположной пары, садизм—мазохизм, нельзя объяснить непосредственно и только примесью агрессивности. Взамен того является желание привести в связь эти одновременно существующие противоположности с противоположностью мужского и женского, заключающейся в бисексуальности, значение которой в психоанализе сводится к противоположности между активным и пассивным.

3. ОБЩЕЕ О ПЕРВЕРЗИЯХ

Вариация и болезнь

Врачи, изучавшие впервые перверзии на резко выраженных случаях и при особых условиях, были, разумеется, склонны приписать им характер болезни или дегенерации подобно инверзиям. Однако в данном случае легче, чем в том, признать такой взгляд неправильным. Ежедневный опыт показывает, что большинство этих нарушений, по крайней мере наименее тяжелые из них, составляют редко недостающую составную часть сексуальной жизни здорового, который и смотрит на них так, как и на другие интимности. Там, где обстоятельства благоприятствуют этому, и нормальный может на некоторое время заменить нормальную сексуальную цель такой перверзией или уступить ей место наряду с первой. У всякого рода здорового человека имеется какое-нибудь состояние по отношению к нормальной сексуальной цели, которое можно назвать перверзией, и достаточно уже такой общей расторопности, чтобы доказать нецелесообразность употребления в качестве упрека на-

---

[1] Вместо многих доказательств для подтверждения этого взгляда цитирую только место из Havelock Ellis'а («Половое чувство», 1903): «Все известные случаи садизма и мазохизма, даже описанные v. Krafft-Ebing'ом, всегда носят следы (как уже доказали Colin, Skott и Fére) обеих групп явлений у одного и того же индивида».

[2] Ср. упомянутую ниже «амбивалентность».

звания перверзии. Именно в области сексуальной жизни встречаешься с особыми, в настоящее время, собственно говоря, неразрешимыми трудностями, если хочешь провести резкую границу между только вариацией в пределах области физиологии и болезненными симптомами.

У некоторых из этих перверзий качество новой сексуальной цели все же таково, что требует особой оценки. Некоторые из перверзий по содержанию своему настолько удаляются от нормального, что мы не можем не объявить их «болезненными», особенно те, при которых сексуальное влечение проявляет изумительные действия в смысле преодоления сопротивлений (стыд, отвращение, жуть, боль, облизывание кала, насилование трупов). Но и в этих случаях нельзя с полной уверенностью думать, что преступники всегда окажутся лицами с другими тяжелыми ненормальностями или душевнобольными. И здесь не уйдешь от факта, что лица, обычно ведущие себя как нормальные, только в области сексуальной жизни во власти самого безудержного из всех влечений проявляют себя как больные. Между тем как за явною ненормальностью в других жизненных отношениях всегда обычно открывается на заднем плане ненормальное сексуальное поведение.

В большинстве случаев мы можем открыть болезненный характер перверзии не в содержании новой сексуальной цели, а в отношении к нормальному: если перверзия появляется не наряду с нормальным (сексуальной целью и объектом), когда благоприятные условия способствуют нормальному, а неблагоприятные препятствуют ему, а при всяких условиях вытесняет и заменяет нормальное; мы видим, следовательно, в исключительности и фиксации перверзии больше всего основания к тому, чтобы смотреть на нее, как на болезненный симптом.

Участие психики в перверзиях

Может быть, именно в самых отвратительных перверзиях нужно признать наибольшее участие психики в превращении сексуального влечения. Здесь проделана душевная работа, которой нельзя отказать в оценке, в смысле идеализации влечения, несмотря на его отвратительное проявление. Всемогущество любви, быть может, нигде не проявляется так сильно, как в этих ее

заблуждениях. Самое высокое и самое низкое всюду теснейшим образом связаны в сексуальности («...от неба через мир в преисподнюю»).

Два вывода

При изучении перверзии мы пришли к взгляду, что сексуальному влечению приходится бороться с определенными душевными силами, как сопротивление, среди которых яснее всего выделяются стыд и отвращение. Допустимо предположение, что эти силы принимают участие в том, чтобы сдержать влечение в пределах, считающихся нормальными; и если они развились в индивидууме раньше, чем сексуальное влечение достигло полной своей силы, то, вероятно, они и дали определенное направление его развитию[1].

Далее мы заметим, что некоторые из исследованных перверзий становятся понятными только при совпадении некоторых мотивов. Если они допускают анализ — разложение, то они должны быть сложными по своей природе. Это может послужит нам намеком, что и само сексуальное влечение может быть не нечто простое, а состоит из компонентов, которые снова отделяются от него в виде перверзии. Клиника таким образом обратила наше внимание на спаянности, которые лишились своего выражения в однообразии нормального поведения[2].

---

[1] Эти сдерживающие сексуальное развитие силы — отвращение, стыд, мораль — необходимо, с другой стороны, рассматривать как исторический осадок внешних задержек, которые испытало сексуальное влечение в психогенезисе человечества. Можно наблюдать, как в развитии отдельного человека они появляются в свое время сами по себе, следуя намекам воспитания и стороннего влияния.

[2] Забегая вперед, я замечаю относительно развития перверзии, что есть основание предполагать, что до фиксации их совершенно так же, как при фетишизме, имели место зачатки нормального сексуального развития, До сих пор аналитическое исследование могло в отдельных случаях показать, что и перверзия является осадком развития до-Эдиповского комплекса, после вытеснения которого снова выступают самые сильные врожденные компоненты сексуального влечения.

4. СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ У НЕВРОТИКОВ

Психоанализ

Важное дополнение к знанию сексуального влечения у лиц, по крайней мере очень близких к нормальным, можно получить из источника, к которому открыт только один определенный путь. Одно только средство позволяет получить основательные и правильные сведения о половой жизни так называемых психоневротиков (истерии, неврозе навязчивости, неправильно названном неврастенией, несомненно, dementia praecox, paranoia), а именно, если подвергнуть их психоаналитическому исследованию, которым пользуется изобретенный J. Breuer'ом и мною в 1893 году метод лечения, названный тогда «катартическим».

Должен предупредить или повторить опубликованное уже раньше в другом месте, а именно, что эти психоневрозы, поскольку показывает мой опыт, являются результатом действия сил сексуальных влечений. Я понимаю под этим не то, что энергия сексуального влечения дополняет силы, питающие болезненные явления (симптомы), а определенно утверждаю, что эти влечения являются единственно постоянным и самым важным источником невроза, так что сексуальная жизнь означенных лиц проявляется исключительно или преимущественно, или частично только в этих симптомах. Симптомы являются, как я это выразил в другом месте, сексуальным изживанием больных. Доказательством для этого утверждения служит мне увеличивающееся в течение двадцати пяти лет количество психоанализов истерических и других неврозов, о результатах которых я дал подробный отчет в отдельности в другом месте и еще в будущем буду давать[1].

Психоанализ устраняет симптомы истеричных, исходя из предположения, что эти симптомы являются заменой — как бы транскрипцией ряда аффективных душевных процессов, желаний, стремлений, которым благодаря особому психическому процессу (вытеснение) прегражден доступ к изживанию путем сознательной психической деятельности. Эти-то удержанные

[1] Только дополнением, но не ограничением этого заявления может послужить изменение его следующим образом: нервные симптомы основываются, с одной стороны, на требовании либидиновных влечений, с другой стороны — на требовании «я» реакции против них.

и бессознательном состоянии мысли стремятся найти выражение, соответствующее их аффективной силе, выход (Abfuhr), и при истерии находят его в процессе конверзии в соматических феноменах, — т. е. в истерических симптомах. При правильном, проведенном при помощи особой техники, обратном превращении симптомов, ставшие сознательными аффективные представления дают возможность приобрести самые точные сведения о природе и о происхождении этих психических образований, прежде бессознательных.

Результаты психоанализа

Таким образом было открыто, что симптомы представляют собой замену стремлений, заимствующих свою силу из источников сексуального влечения. В полном согласии с этим находится известное нам о характере взятых здесь за образец всех психоневротиков и истеричных, об их заболевании и о поводах к этому заболеванию. В истерическом характере наблюдается некоторая доля сексуального вытеснения, выходящего за пределы нормального, повышения сопротивлений против сексуального влечения, известных нам как стыд, отвращение, мораль, и как бы инстинктивное бегство от интеллектуальных занятий сексуальной проблемой, имеющее в ярко выраженных случаях следствием полное незнакомство с сексуальным вплоть до достижения половой зрелости[1].

Эта существенная, характерная для истерии черта часто недоступна для грубого наблюдения, благодаря существованию другого конституционального фактора, истерии, — слишком сильно развитому сексуальному влечению; но психологический анализ умеет всякий раз открыть его и разрешить противоречивую загадочность истерии констатированием противоположной пары: слишком сильной сексуальной потребности и слишком далеко зашедшим отрицанием сексуального.

Повод к заболеванию наступает для предрасположенного истерически лица, когда вследствие собственной растущей зрелости или внешних жизненных условий

---

[1] J. Breuer говорит о своей пациентке, к которой он впервые применил катартический метод: «сексуальный момент был удивительно неразвит».

реальное сексуальное требование серьезно предъявляет к ним свои права. Из конфликта между требованием влечения и противодействием отрицания сексуальности находится выход в болезнь, не разрешающий конфликта, а старающийся уклониться от его разрешения путем превращения либидинозного стремления в симптом. Если истеричный человек, какой-нибудь мужчина, заболевает от банального какого-нибудь душевного движения, от конфликта, в центре которого не находится сексуальный интерес, то такое исключение — только кажущееся. Психоанализ в таких случаях всегда может доказать, что именно сексуальный компонент конфликта создает возможность заболевания, лишая душевные процессы возможности нормального изживания.

Невроз и перверзия

Значительная часть возражений против этого моего положения объясняется тем, что смешивают сексуальность, от которой я произвожу психоневротические симптомы, с нормальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что симптомы никоим образом не образуются за счет так называемого нормального сексуального влечения (по крайней мере не исключительно или преимущественно), а представляют собой конвертированное выражение влечений, которые получили бы название первертированных (в широком смысле), если их можно было проявить без отвлечения от сознания непосредственно в воображаемых намерениях и в поступках. Симптомы, таким образом, образуются отчасти за счет ненормальной сексуальности: невроз является, так сказать, негативом перверзии[1].

В сексуальном влечении психоневротиков можно найти все те отклонения, которые мы изучили, как вариации нормальной сексуальной жизни и как выражение болезненной.

[1] Ясно сознаваемые фантазии первертированных, воплощаемые при благоприятных обстоятельствах в действиях, проецированные во враждебном смысле на других: бредовые опасения параноиков и бессознательные фантазии истеричных, открываемые психоанализом, как основа их симптомов, по содержанию совпадают до мельчайших деталей.

a) У всех невротиков (без исключения) находятся в бессознательной душевной жизни порывы инверзии, фиксация либидо на лицах своего пола. Невозможно вполне выяснить влияние этого момента на образование картины болезни, не вдаваясь в пространные объяснения; но могу уверить, что всегда имеется бессознательная склонность к инверзии, и особенно большие услуги оказывает эта склонность при объяснении мужской истерии[1],

b) У психоневротиков можно доказать в бессознательном, в качестве образующих симптомы факторов, различные склонности к переходу анатомических границ и среди них особенно часто и интенсивно такие, которые возлагают роль гениталий на слизистую оболочку рта и заднего прохода.

c) Исключительную роль между образующими симптомы факторами при психоневрозах играют проявляющиеся большей частью в виде противоположных пар частичные влечения, в которых мы узнали носителей новых сексуальных целей, влечение к подглядыванию и эксгибиционизму и активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Участие последнего необходимо для понимания страдания, причиняемого симптомом, и почти всегда оказывает решающее влияние на социальное поведение больных. Посредством этой связи жестокости с либидо совершается превращение любви в ненависть, нежных душевных движений в враждебные, характерные для большего числа невротических случаев и, как кажется, даже для всей паранойи.

Интерес этих результатов повышается еще некоторыми особенностями фактического положения вещей.

α) Там, где в бессознательном находится такое влечение, которое способно составлять пару с противоположным, всегда удается доказать действие и этого противоположного. Каждая «активная» перверзия сопровождается, таким образом, ее «пассивной» парой; кто в бес-

[1] Психоневроз часто соединяется с явной инверзией, причем гетеросексуальное течение падает жертвой полного подавления. Отдавая справедливость мысли, на которую я был наведен, сообщаю, что только частное замечание W. Fliess'a в Берлине обратило мое внимание на необходимую склонность к инверзиям у всех психоневротиков после того, как я открыл ее в отдельных случаях. Этот недостаточно оцененный факт должен был бы оказать большое влияние на все теории гомосексуальности.

сознательном эксгибиционист, тот одновременно и любит подглядывать, кто страдает от последствий вытеснения садистических душевных движений, у того находится и другой приток к симптомам из источника мазохистической склонности. Полное сходство с проявлением «положительных» перверзий заслуживает, несомненно, большого внимания, но в картине болезни та или другая из противоположных склонностей играет преобладающую роль.

β) В резко выраженном случае невроза редко находишь развитым только одно из этих перверзных влечений, большей частью значительное число их и всегда следы всех; но отдельное влечение в интенсивности своей не зависит от развития других. И в этом отношении изучение положительных перверзий открывает нам точную противоположность их.

Частичные влечения и эрогенные зоны

Резюмируя все, что нам дало исследование положительных и отрицательных перверзий, мы вполне естественно приходим к объяснению их рядом «частичных влечений», которые, однако, не первичны, а могут быть еще и дальше разложены. Под «влечением» мы понимаем только психическое представительство непрерывного внутрисоматического источника раздражения в отличие от «раздражения», вызываемого отдельными возбуждениями, воспринимаемыми извне. Влечение является таким образом одним из понятий для отграничения душевного от телесного. Самым простым и естественным предположением о природе влечений было бы, что они сами по себе не обладают никаким качеством, а могут приниматься во внимание только как мерило требуемой работы, предъявляемой душевной жизни. Только отношение влечений к их соматическим источникам и их целям составляет отличие их друг от друга и придает им специфические свойства. Источником влечения является возбуждающий процесс в каком-нибудь органе и ближайшей целью влечения является прекращение этого раздражения органа.

Дальнейшее предварительное предположение в учении о влечениях, которое для нас неизбежно, утверждает, что органы тела дают двоякого рода возбуждения, обу-

словленные различием их химической природы. Один род этого возбуждения мы называем специфически сексуальным и соответствующий орган «эрогенной зоной» зарождающегося в нем частичного сексуального влечения[1].

В перверзиях, при которых придается сексуальное значение ротовой полости и отверстию заднего прохода, роль эрогенной зоны вполне очевидна. Она проявляется по всех отношениях как часть полового аппарата. При истерии эти части тела и исходящие из них тракты слизистой оболочки становятся таким же образом местом появления новых ощущений и изменений иннервации — даже процессов, которые можно сравнить с эрекцией,— как и настоящие гениталии под влиянием возбуждений при нормальных половых процессах.

Значение эрогенных зон, как побочных аппаратов и суррогатов гениталий, ярче всего из всех психоневрозов проявляется при истерии; этим, однако, не сказано, что им можно придавать меньшее значение при других формах заболевания, они здесь только менее заметны, потому что при них (неврозе навязчивости, паранойе) образование симптомов происходит в областях душевного аппарата, находящихся несколько дальше от центров телесных движений. При неврозе навязчивости самым замечательным становится значение импульсов, создающих новые сексуальные цели и, как кажется, независимых от эрогенных зон. Все же при наслаждении от подглядывания и эксгибиционизма глаз соответствует эрогенной зоне; при компонентах боли и жестокости сексуального влечения ту же роль берет на себя кожа, которая в отдельных местах тела дифференцируется в органы чувств и модифицируется в слизистую оболочку как эрогенная зона κατ'ἐξοχήν[2].

---

[1] Нелегко здесь доказать правильность этого предположения, почерпнутого из изучения определенного класса невротических заболеваний. С другой стороны, однако, невозможно сказать что-нибудь, заслуживающее внимания, о влечении, отказавшись от указания на это предположение.

[2] Здесь необходимо вспомнить положение Moll'я, который разлагает сексуальное влечение на контректационное и детумесцентное влечения. Contrectation означает потребность в кожных прикосновениях.

Объяснение кажущегося преобладания перверзной сексуальности при психоневрозах

Вышеизложенные рассуждения пролили, быть может, ложный свет на сексуальность психоневротиков. Может показаться, что по врожденным своим особенностям психоневротики в своем сексуальном поведении очень приближаются к перверзным и в такой же мере отдаляются от нормальных. Однако весьма возможно, что конституциональное предрасположение этих больных, кроме слишком больших размеров сексуального вытеснения и чрезвычайной силы сексуального влечения, заключает в себе еще невероятную склонность к перверзии в самом широком смысле слова; однако исследование легких случаев показывает, что последнее предположение не обязательно или, что по крайней мере при оценке болезненных эффектов, необходимо игнорировать влияние одного фактора. У большинства психоневротиков заболевание появляется только после наступления половой зрелости под требованием нормальной половой жизни, против чего прежде всего и направляется вытеснение. Или же наступают более поздние заболевания, когда либидо получает отказ в удовлетворении нормальным путем. В обоих случаях либидо ведет себя, как поток, главное русло которого запружено; оно заполняет коллатеральные пути, остававшиеся до того пустыми. Таким образом, и кажущаяся такой большой (во всяком случае отрицательная) наклонность психоневротиков к перверзии может быть обусловлена коллатеральным течением или, во всяком случае, это коллатеральное течение усиливается. Но несомненный факт, что сексуальное вытеснение как внутренний момент должно быть поставлено в один ряд с другими внешними моментами, которые, подобно лишению свободы, недоступности нормального сексуального объекта, опасности нормального сексуального акта, вызывают перверзии у индивидов, которые в противном случае остались бы нормальными.

В отдельных случаях неврозов положение в этом отношении может быть различно; один раз решающим является врожденная высота склонности к перверзии, а в другой раз — коллатеральное усиление этой склонности, благодаря оттеснению либидо от нормальной сек-

суальной цели и сексуального объекта. Ошибочно было бы создавать противоречие там, где имеется кооперация. Больше всего невроз всегда проявится в тех случаях, когда в одном и том же смысле действуют совместно конституция и переживания. Ясно выраженная конституция сможет, пожалуй, обойтись без поддержки со стороны жизненных впечатлений, сильное жизненное потрясение приведет, пожалуй, к неврозу и при посредственной конституции. Эти точки зрения сохраняют, впрочем, свою силу и в других областях в равной мере, как для этиологического значения врожденного, так и случайно пережитого.

Если оказывается предпочтение предположению, что особенно выраженная склонность к перверзиям все же относится к особенностям психоневротической конституции, то появляется надежда, что в зависимости от врожденного преобладания той или другой эрогенной зоны, того или другого частичного влечения можно различать большое разнообразие таких конституций. Соответствует ли врожденному перверзному предрасположению особое отношение к выбору определенной формы заболевания, — это, как и многое другое в этой области, еще не исследовано.

Ссылка на инфантилизм сексуальности

Доказав, что перверзные душевные движения образуют симптомы при психоневрозах, мы невероятным образом увеличили число людей, которых можно причислить к перверзным. Дело не только в том, что сами невротики представляют собой очень многочисленный класс людей, необходимо еще принять во внимание, что неврозы во всех своих формах постепенно, непрерывным рядом переходят в здоровье; ведь мог же Moebius с полным основанием сказать: «все мы немного истеричны». Таким образом, благодаря невероятному распространению перверзий мы вынуждены допустить, что и предрасположение к перверзиям не является редкой особенностью, а должно быть частью считающейся нормальной конституции.

Мы слышали, что спорен вопрос, являются ли перверзии следствием врожденных условий или возникают благодаря случайным переживаниям, как Binet это полагал о фетишизме. Теперь нам представляется реше-

ние, что хотя в основе перверзий лежит нечто врожденное, но нечто такое, что врождено всем людям как предрасположение, колеблется в своей интенсивности и ждет того, чтобы его пробудили влияния жизни. Дело идет о врожденных, данных в конституции, корнях сексуального влечения, развившихся в одном ряде случаев до настоящих носителей сексуальной деятельности (перверзий), в других случаях испытывающих недостаточное подавление (вытеснение), так что обходным путем они могут как симптомы болезни привлечь к себе значительную часть сексуальной энергии; между тем как в самых благоприятных случаях, минуя обе крайности, благодаря влиянию ограничения и прочей переработки, эти корни развиваются в так называемую нормальную сексуальную жизнь.

Далее мы поймем, что предполагаемую конституцию, имеющую зародыши всех перверзий, можно демонстрировать только у ребенка, хотя у него все влечения могут проявляться только с небольшой интенсивностью. А если благодаря этому нам начинает казаться, что невротики сохранили свою сексуальность в инфантильном состоянии или вернулись к ней, то наш интерес должна привлечь сексуальная жизнь ребенка, и у нас явится желание проследить игру влияний, господствующих в процессе развития детской сексуальности до ее исхода в перверзию, невроз или нормальную половую жизнь.

II

ИНФАНТИЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

К общепринятому мнению о половом влечении относится и взгляд, что в детстве оно отсутствует и пробуждается только в период жизни, когда наступает юношеский возраст. Но это совсем не простая, но даже жестокая ошибка, имеющая тяжелые последствия, так как она, главным образом, виновата в нашем теперешнем незнании основных положений сексуальной жизни. Основательное изучение сексуальных проявлений в детстве, вероятно, открыло бы нам существенные черты полового влечения, показало его развитие и образование его из различных источников.

Недостаточное внимание к инфантильным

Замечательно, что авторы, занимающиеся объяснением свойств и реакций взрослого индивида, оказывали гораздо больше внимания предшествующему периоду времени, относящемуся к жизни предков, т. е. приписывали гораздо больше влияния наследственности, чем другому предшествующему периоду, который приходится уже на индивидуальное существование личности, а именно детство. Можно было бы подумать, что влияние этого периода жизни легче понять, и что он имеет больше права на внимание, чем наследственность[1]. Хотя в литературе встречаются случайные указания на преждевременные сексуальные проявления у маленьких детей, на эрекции, мастурбацию и напоминающие coitus попытки, но только как на исключительные процессы, как на курьезы, как на отпугивающие примеры преждевременной испорченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел ясного представления о закономерности сексуального влечения в детстве, и в появившихся в большом числе сочинениях о развитии ребенка глава «Сексуальное развитие» по большей части отсутствует[2].

---

[1] Невозможно также правильно оценить соответствующую наследственности часть, не отдав должного значения детству.

[2] Высказанное здесь мнение показалось мне самому потом таким рискованным, что я решил проверить его, просмотрев вторично литературу. В результате этого просмотра я оставляю это место без изменений. Научная разработка телесных и душевных феноменов сексуальности в детском возрасте находится еще в зачаточном состоянии. Один автор — S. Bell говорит: «Я не знаю ни одного ученого, который дал бы обстоятельный анализ эмоции такою, какова она в юношестве. Соматические сексуальные проявления в периоде до возмужалости привлекли внимание только как признаки вырождения и в связи с явлениями вырождения. — Глава о любовной жизни детей отсутствует во всех описаниях психологии этого возраста, которые я читал. Самое лучшее представление о теперешнем положении вещей в этой области получаешь из газеты «Die Kinderfehler» (начиная с 1891 г.). Все же убеждаешься, что существование любви в детском возрасте открывать уже не приходится. Pérez (I. с.) отстаивает ее, у K. Grooss'a («Игры людей», 1899) упоминается, как на нечто общеизвестное, что некоторым детям уже в очень раннем возрасте доступны сексуальные душевные движения, и они ощущают потребность в прикосновении к другому полу»; самый ранний случай появления половых любовных переживаний (sex-love), по наблюдениям S. Bell'a, касался ребенка в середине третьего года.

Причину этого странно-небрежного упущения я вижу отчасти в соображениях, продиктованных общепринятыми взглядами, с которыми авторы считались вследствие их собственного воспитания, отчасти в психическом феномене, который до сих пор не поддавался объяснению. Я имею в виду своеобразную амнезию, которая у большинства людей (не у всех!) охватывает первые годы детства до 6 или 8 года жизни. До сих пор нам не приходило в голову удивляться этой амнезии; а между тем у нас есть для этого полное основание. Поэтому-то нам рассказывают, что в эти годы, о которых мы позже ничего не сохранили в памяти, кроме нескольких непонятных воспоминаний, мы живо реагировали на впечатления, что умели по-человечески выражать горе и радость, проявлять любовь, ревность и другие страсти, которые нас сильно тогда волновали, что мы даже выражали взгляды, обращавшие на себя внимание взрослых, как доказательство понимания нашего и пробуждающейся способности к суждению. И обо всем этом, уже взрослые, сами мы ничего не знаем. Почему же наша память так отстает от других наших душевных функций? У нас ведь есть основание полагать, что ни в какой другой период жизни она не была более восприимчива и способна к воспроизведению, чем именно в годы детства.

С другой стороны, мы должны допустить или можем убедиться, проделав психологические исследования над другими, что те же самые впечатления, которые мы забыли, оставили тем не менее глубочайшие следы в нашей душевной жизни и имели решающее значение на наше дальнейшее развитие. Речь идет, следовательно, вовсе не о настоящей потере воспоминаний детства, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в отношении более поздних переживаний и сущность которой состоит только в недопущении в созна-

---

Вышеупомянутое суждение о литературе детской сексуальности должно быть изменено после появления обширного труда Stabley Hall'. Вновь появившаяся книга Moll'я не дает повода к такой модификации.

Книга д-ра H. V. Hug-Hellmuth, 1913, полностью считалась с сексуальным фактором, на который до того не обращали внимания.

ние (вытеснение). Но какие силы совершают это вытеснение детских впечатлений? Кто разрешит эту загадку, объяснит также и истерическую амнезию.

Все же не забудем подчеркнуть, что существование инфантильной амнезии создает новую точку соприкосновения для сравнения душевной жизни ребенка и психоневротика. Прежде мы уже встречались с другой точкой соприкосновения, когда вынуждены были принять формулу, гласящую, что сексуальность психоневротиков сохранилась на детской ступени или вернулась к ней. Не следует ли, в конце концов, и самую инфантильную амнезию привести в связь опять-таки с сексуальными переживаниями детства!

Впрочем, идея связать инфантильную амнезию с истерической больше чем просто остроумная игра мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объясняется только тем, что у индивида уже имеется запас воспоминаний, которыми он не может сознательно распоряжаться и которые по ассоциативной связи притягивают к себе все то, на что направляется со стороны сознания действие отталкивающих сил вытеснения[1]. Без инфантильной амнезии, можно сказать, не было бы истерической амнезии.

Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая для каждого человека его детство как бы в *доисторическую эпоху* и скрывающая от него начало его собственной половой жизни, виновна в том, что детскому возрасту в общем не придают никакого значения в развитии сексуальной жизни. Единичный наблюдатель не в состоянии выполнить появившийся таким образом изъян в нашем знании. Уже в 1896 г. я подчеркнул значение детского возраста для появления известных важных феноменов, зависящих от половой жизни, и с тех пор, не переставая, выдвигал значение инфантильной жизни для сексуальности.

[1] Невозможно понять механизм вытеснения, если принимать во внимание только один из этих двух совместно действующих процессов. Для сравнения может служить способ, пользуясь которым туристов поднимают на вершину большой пирамиды в Гизехе: с одной стороны, их подталкивают, а с другой — тащат.

ЛАТЕНТНЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕТСТВА И ЕГО НАРУШЕНИЯ

Невероятно часто встречающиеся, будто бы противоречащие нормальному и переживаемые в виде исключения сексуальные душевные движения в детстве, как и открытие бессознательных до того детских воспоминаний невротика позволяют набросать приблизительно следующую картину сексуального поведения в детском возрасте[1].

Кажется несомненным, что новорожденный приносит с собой на свет зародыши сексуальных переживаний, которые в течение некоторого времени развиваются дальше, а затем подлежат увеличивающемуся подавлению, которое в свою очередь нарушается закономерными прорывами сексуального развития и которое может быть задержано благодаря индивидуальным особенностям. О закономерности и периодичности этого осцилирующего хода развития ничего точно неизвестно, но кажется, что сексуальная жизнь детей, в возрасте приблизительно трех или четырех лет, проявляется в форме, доступной наблюдению[2].

---

[1] Последний материал может быть использован здесь в правильном расчете на то, что детские годы взрослых невротиков не отличаются в этом отношении от детских лет здоровых людей ничем существенным, кроме как в отношении интенсивности и ясности.

[2] Возможная анатомическая аналогия того проявления инфантильных сексуальных функций, о которой я говорил, дается открытием Bayer'а, что внутренние половые органы (uterus) новорожденных обыкновенно больше, чем детей старшего возраста. Однако взгляд на эту, констатированную Halban'ом и для других частей генитального аппарата инволюцию после рождения, не окончательно установлен. По Halban'у, этот регрессивный процесс приходит к концу в течение нескольких недель внеутробной жизни.

Авторы, видящие в интерстициальной части зародышевой железы орган, определяющий пол; благодаря анатомическим исследованиям пришли, в свою очередь, к утверждению существования инфантильной сексуальности латентного сексуального периода. Цитирую из упомянутой выше книги Lipschütz'а о железе полового созревания: «...Скорее соответствует фактам утверждения, что созревание половых признаков, как оно происходит в периоде возмужалости, протекает только вследствие сильно ускоренного течения процессов, начавшихся гораздо раньше, по нашему мнению, уже в эмбриональной жизни». — «То, что до сих пор называлось просто периодом половой зрелости, представляет собой, вероятно, только «вторую большую фазу возмужалости», начинающуюся

Сексуальные задержки

Во время этого периода полной или только частичной латентности формируются те душевные силы, которые впоследствии как задержки на пути сексуального влечения и как плотины сузят его направление (отвращение, чувство стыда, эстетические и моральные требования идеала). Наблюдая культурного ребенка, получаешь впечатление, что построение этих плотин является делом воспитания, и несомненно, воспитание во многом этому содействует. В действительности это развитие обусловлено органически, зафиксировано путем передачи по наследству и иной раз может наступить без всякой помощи воспитания. Воспитание не выходит, безусловно, за пределы предуказанной ей области влияния, ограничиваясь только тем, что дополняет органически предопределенное и придает ему более четкое и глубокое выражение.

Реактивные образования и сублимирования

Какими средствами создаются эти конструкции, имеющие такое большое значение для позднейшей культуры и нормальности? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных переживаний, приток которых, следовательно, не прекратился и в этот латентный период, но энергия которых — полностью или отчасти — отводится от сексуального применения и передается на другие цели. Историки культуры, будто бы, согласны с пред-

---

в середине второго десятилетия». Детский возраст до начала второй большой фазы можно было бы назвать «серединной фазой полового созревания».

Это, подчеркнутое Ferenzci, сходство анатомического положения с психологическим наблюдением нарушается только одним указанием, что «первый кульминационный пункт» развития сексуального органа приходится в ранний эмбриональный период, между тем как ранний расцвет детской сексуальной жизни нужно перенести в возраст третьего—четвертого года. Полного совпадения во времени анатомического формирования и психического развития, разумеется, не требуется. Соответствующие исследования сделаны над зародышевой железой человека. Так как у животных латентного периода в психологическом смысле не бывает, то важно было бы знать, можно ли доказать и у других высших животных те же анатомические данные, на основании которых авторы предполагают два кульминационных пункта сексуального развития.

положением, что благодаря такому отклонению сексуальных сил влечений от сексуальных целей и от направления их на новые цели — процессу, заслуживающему название **сублимирование**, — освобождают могучие компоненты для всех видов культурной деятельности; мы прибавили бы, что такой же процесс протекает в развитии отдельного индивида, и начало его переносим в сексуальный латентный период детства[1].

И относительно механизма такого сублимирования можно рискнуть на некоторые предположения. Сексуальные переживания этих детских лет, с одной стороны, не могут найти себе применения, так как функции продолжения рода появляются позже, — что составляет главный признак латентного периода; с другой, они сами по себе были бы перверзны, так как исходят из эрогенных зон и руководятся влечениями, которые при данном направлении развития индивида могут вызвать только неприятные ощущения. Они вызывают поэтому только противоположные душевные силы (реактивные движения), которые создают упомянутые психические плотины для сильного подавления таких неприятных чувств, как-то: отвращение, стыд и мораль[2].

Прорывы латентного периода

Не обманув себя относительно гипотетической природы и недостаточной ясности наших взглядов на процессы детского латентного периода, вернемся к действительности и укажем, что такое применение инфантильной сексуальности представляет собой идеал воспитания, от которого развитие отдельного лица отступает по большей части в каком-нибудь одном пункте и часто в значительной мере. Время от времени прорывается известная часть сексуальных проявлений, не поддавшихся сублимированию, или сохраняется какая-нибудь сексуальная деятельность в течение всего латентного пе

---

[1] Название «сексуальный латентный период» я также заимствую у W. Fliess'а.

[2] В случае, о котором здесь идет речь, сублимирование сексуальных сил влечения идет по пути реактивных образований. В общем, однако, необходимо различать понятие о сублимировании и реактивном образовании, как о двух совершенно различных процессах. Сублимирование возможно и посредством других более простых механизмов.

риода до момента усиленного проявления сексуального влечения при наступлении половой зрелости. Воспитатели ведут себя, поскольку они вообще обращают внимание на детскую сексуальность, точно так, как будто бы они разделяли наши взгляды на образование моральных сил противодействия за счет сексуальности и как будто бы они знали, что благодаря сексуальным проявлениям ребенок не поддается воспитанию, потому что они преследуют все сексуальные проявления ребенка как «пороки», не имея возможности ничего предпринять против них. У нас же имеются большие основания направить наш интерес на эти, внушающие воспитателям страх, феномены, потому что мы ждем от них объяснения первоначальной формы полового влечения.

Выражения инфантильной сексуальности

По мотивам, которые станут ясны позже, мы возьмем за образец инфантильных сексуальных проявлений сосание, которому венгерский педиатр Lindner посвятил замечательный труд.

Сосание (Lutschen)

Сосание (Ludeln, Lutschen), которое появляется уже у младенца и может продолжаться до зрелых лет или удержаться на всю жизнь, состоит в ритмически повторяемом сосущем прикосновении ртом (губ), причем цель принятия пищи исключается. Часть самих губ, язык, любое другое место кожи, которое можно достать, даже большой палец ноги — берутся как объекты, над которыми производится сосание. Появляющееся при этом влечение к охватыванию выражается посредством одновременного ритмического дерганья за ушную мочку и может воспользоваться для той же цели и частью тела другого человека (по большой части уха). Сосание (Wonnesaugen) по большей части поглощает все внимание и кончается или сном, или моторной реакцией вроде оргазма[1]. Нередко сосание сопровождается рас-

[1] Здесь уже проявляется то, что имеет значение в течение всей жизни, что сексуальное удовлетворение представляет собой самое лучшее снотворное средство. Большинство случаев нервной бессонницы объясняется сексуальной неудовлетворенностью. Известно, что бессовестные няньки усыпляют плачущих детей поглаживанием их гениталии.

тирающими движениями рук по определенным чувствительным частям тела, груди, наружных гениталий. Таким путем много детей переходят от сосания к мастурбации.

Lindner сам ясно понимал сексуальную природу этих действий и безоговорочно подчеркивал это. В обыденной жизни сосание часто приравнивается к другим проявлениям невоспитанности (Unarten) ребенка. Со стороны многих педиатров и невропатологов высказывались энергичные возражения против такого взгляда, основанного отчасти на смешении «сексуального» и «генитального». Это возражение возбуждает трудный, но неизбежный вопрос, по каким общим признакам думаем мы узнавать сексуальные выражения ребенка. Я полагаю, что связь явлений, которую мы научились понимать благодаря психоаналитическому исследованию, позволяет нам считать сосание сексуальным проявлением и как раз на нем изучать существенные черты инфантильных сексуальных действий[1].

Автоэротизм

На нас лежит обязанность подробно разобрать этот пример. Как самый яркий признак этого сексуального действия подчеркнем то, что влечение направляется не на другие лица; оно удовлетворяется на собственном теле, оно автоэротично, употребляя счастливое, введенное Havelock Ellis'ом название[2].

Далее совершенно ясно, что действия сосущего ребенка определяются поисками за удовольствием (Lust),

---

[1] Д-р. Galant опубликовал в 1919 году исповедь взрослой девушки, не отказавшейся от этой детской формы сексуальных действий, и описывает удовлетворение от сосания, как вполне аналогичное сексуальному удовлетворению, особенно от поцелуя возлюбленного.

«Не все поцелуи похожи на Lutscherli; нет, нет, далеко не все! Невозможно описать, как приятно становится во всем теле от сосания; совсем уносишься от этого мира, появляется полное удовлетворение, ощущение счастья и отсутствие всякого желания. Охватывает удивительное чувство; хочется только покоя, покоя, который ничем не должен нарушаться. Это несказанно прекрасно: не чувствуешь ни боли, ни страданий и уносишься в другой мир».

[2] H. Ellis определил термин «автоэротический» хотя несколько иначе в смысле возбуждения, вызванного не извне, но возникающего внутри. Для психоанализа существенное значение имеет не происхождение, а отношение к объекту.

уже пережитом и теперь воскресающем в воспоминании. Благодаря ритмическому сосанию кожи или слизистой оболочки он простейшим образом получает удовлетворение. Не трудно также сообразить, по какому поводу ребенок впервые познакомился с этим удовольствием, которое теперь старается снова испытать. Первая и самая важная для жизни ребенка деятельность— сосание материнской груди (или суррогатов ее) должно было уже познакомить его с этим удовольствием. Мы сказали бы, что губы ребенка вели себя, как эрогенная зона, и раздражение от теплого молока было причиной ощущения удовольствия. Сначала удовлетворение от эрогенной зоны соединялось с удовлетворением от потребности в пище. Сексуальная деятельность сначала присоединяется к функции, служащей сохранению жизни, и только позже становится независимой от нее. Кто видел, как ребенок насыщенный отпадает от груди, с раскрасневшимися щеками и с блаженной улыбкой погружается в сон, тот должен будет сознаться, что эта картина имеет характер типичного выражения сексуального удовлетворения в последующей жизни. Затем потребность в повторении сексуального удовлетворения отделяется от потребности в принятии пищи; это отделение становится необходимым, когда появляются зубы и пища принимается не только посредством сосания, но и жуется. Ребенок не пользуется посторонним объектом для сосания, а охотнее частью своей кожи, потому что она ему удобнее, потому что таким образом он приобретает бо́льшую независимость от внешнего мира, которым он еще не может овладеть, и потому, что таким образом он как бы создает себе вторую, хотя и малоценную эрогенную зону. Малоценность этой второй зоны будет позже способствовать тому, чтобы искать однородные части — губы другого лица. («Жаль, что не могу самого себя поцеловать» — можно было бы ему подсказать).

Не все дети сосут; можно предположить, что доходят до этого только те дети, у которых конституционально усилено значение губ. Если такое конституциональное усиление сохраняется, то такие дети, становясь взрослыми, делаются любителями поцелуев, имеют склонность к перверзным поцелуям или, будучи мужчинами, приобретают сильный мотив для пьянства и курения. Если же к этому присоединяется вытеснение,

то они будут ощущать отвращение к пище и страдать истерической рвотой. Благодаря общности зоны губ вытеснение перенесется на влечение к пище. Многие из моих пациенгок, страдающих нарушением в принятии пищи, истерическим глобусом, сжатием в горле и рвотами, были в детстве энергичными сосунами.

На сосании мы могли уже заметить три существенных признака инфантильных сексуальных проявлений. Они состоят в присоединении какой-нибудь важной для жизни телесной функции, не знают сексуального объекта, автоэротичны, и сексуальная цель их находится во власти эрогенной зоны. Скажем наперед, что эти признаки сохраняют свое значение и для большинства других проявлений инфантильных сексуальных влечений.

Сексуальная цель инфантильной сексуальности

Признаки эрогенных зон

Из примеров сосания можно извлечь еще некоторые признаки эрогенных зон. Это место на коже или на слизистой оболочке, на котором известного рода раздражения вызывают ощущения удовольствия определенного качества. Не подлежит сомнению, что вызывающие удовольствие раздражения связаны с особыми условиями; эти условия нам неизвестны. Ритмический характер должен здесь играть роль, сама напрашивается аналогия с щекотанием. Менее определенным кажется вопрос, следует ли называть «особенным» характер этого ощущения удовольствия, вызванного раздражением, понимая под этой особенностью именно сексуальный момент. В вопросах удовольствия и неудовольствия психология еще настолько бродит в темноте, что рекомендуется самое осторожное мнение. Ниже, быть может, мы встретимся с доводами, которые как будто подтверждают особое качество удовольствия.

Эрогенное свойство может быть исключительным образом связано с отдельными частями тела. Имеются предрасположенные эрогенные зоны, как показывает пример сосания. Тот же пример показывает однако, что и любое другое место кожи или слизистой оболочки может взять на себя роль эрогенной зоны, следовательно, уже заранее должно иметь к этому склонность. Поэтому качество раздражения имеет больше отношения

к вызываемому ощущению удовольствия, чем строение части тела. Сосущий ребенок идет по всему своему телу и выбирает для сосания какое-нибудь место, которое, благодаря привычке, становится особенно предпочитаемым; если он случайно при этом наталкивается на предрасположенное место (грудной сосок, гениталии), то преимущество остается за ним. Совсем аналогичная подвижность встречается и в симптоматологии истерии. При этом неврозе вытеснение больше всего распространяется на собственно генитальные зоны, и эти зоны передают свою раздражимость остальным, обычно в зрелом возрасте отсталым эрогенным зонам, которые тогда проявляют себя совсем как гениталии. Но, кроме того, совсем как при сосании любая другая часть тела может приобрести возбудимость гениталий и стать эрогенной зоной. Эрогенные и истерогенные зоны отличаются одинаковыми признаками[1].

Инфантильная сексуальная цель

Сексуальная цель инфантильных влечений состоит в том, чтобы получить удовлетворение благодаря соответствующему раздражению так или иначе избранной эрогенной зоны. Это удовлетворение должно уже раньше быть пережито, чтобы оставить потребность в повторении его, и мы должны быть готовы к тому, что природа сделала верные приспособления для того, чтобы не предоставить случаю это переживание удовлетворения[2]. Устройства, выполняющие эту цель в отношении зоны губ, нам уже известны: это одновременная связь этой части тела с принятием пищи. Другие подобные устройства встретятся нам еще как источники сексуальности. Состояние потребности в повторении удовлетворения проявляется двояко: особенным чувством напряжения, имеющим больше характер неприятного, и ощущением зуда или раздражения, *обусловленным центрально* и проецированным на пе-

---

[1] Дальнейшие соображения и другие наблюдения заставляют приписывать свойство эрогенности всем частям тела и внутренним органам. По этому поводу ср. ниже сказанное о нарцизме.

[2] В биологических рассуждениях почти невозможно избежать того, чтобы не прибегать к телеологическому образу мыслей, хотя хорошо известно, что в отдельных случаях нельзя быть застрахованными от ошибки.

риферические эрогенные зоны. Поэтому сексуальную цель можно также формулировать следующим образом: важно заменить проецированные ощущения на эрогенные зоны таким внешним раздражением, которое прекращает ощущение раздражения, вызывая ощущение удовлетворения. Это внешнее раздражение состоит большей частью в какой-нибудь манипуляции, аналогичной сосанию.

В полном согласии с нашими физиологическими знаниями бывает так, что эта потребность вызывается также периферически каким-нибудь действительным изменением эрогенной зоны. Кажется только несколько странным, что одно раздражение как бы требует для своего прекращения другого раздражения в том же самом месте.

Мастурбаторные сексуальные проявления[1]

Нас может только очень радовать, что нам уже не остается узнать много важного о сексуальных действиях ребенка, после того как мы поняли влечение одной только эрогенной зоны. Самое ясное различие относится к необходимым для удовлетворения действиям, которые по отношению к зоне губ состояли в сосании, и которые, в зависимости от положения и устройства других зон, нужно заменить другими мускульными действиями.

Проявление зоны заднего прохода

Зона заднего прохода, подобно зоне губ, по своему положению подходит к тому, чтобы стать местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. Нужно представить себе эрогенное значение этой части тела первоначально очень большим. Посредством психоанализа можно с удивлением узнать, каким превращениям в нормальных случаях подвергаются исходящие из этой зоны сексуальные возбуждения, и как часто у этой зоны остается на всю жизнь значительная доля генитальной раздражимости. Столь частые в дет-

[1] По этому поводу см. богатую, но большей частью плохо ориентированную по своим взглядам литературу об онанизме,

ском возрасте заболевания кишечника ведут к тому, что у этой зоны нет недостатка в интенсивных раздражениях. Катары кишечника в раннем возрасте делают детей «нервными», как обыкновенно выражаются; при позднейшем невротическом заболевании они приобретают определенное влияние на симптоматическое выражение невроза, в распоряжение которого они представляют все разнообразие кишечных расстройств. Принимая во внимание оставшееся, по крайней мере в измененной форме, эрогенное значение зоны заднего прохода, не следует совсем игнорировать геморроидроидальные влияния, которым старая медицина придавала такое значение при объяснении невротических состояний.

Дети, которые пользуются эрогенной раздражимостью анальной зоны, выдают себя тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока эти массы, скопившись в большом количестве, вызывают сильные мускульные сокращения и при прохождении через задний проход, способны вызвать сильное раздражение слизистой оболочки. При этом вместе с ощущением боли возникает и сладострастное ощущение. Одним из вернейших признаков будущей странности характера или нервности является упорное нежелание младенца очистить кишечник, когда его сажают на горшок, т. е. когда это угодно няне, и желание его выполнять эту функцию только по собственному усмотрению. Для него, разумеется, неважно, что пачкается при этом его постель; он заботится только о том, чтобы не лишиться удовольствия при дефекации. Воспитатели опять-таки поступают правильно, называя плохими детей, которые «прячут для себя» выполнение этой функции.

Содержимое кишечника, которое как раздражитель для чувствительной в сексуальном отношении поверхности слизистой оболочки ведет себя как предтеча другого органа, которому предстоит вступить в действие только после того, как пройдет фаза детства, имеет для младенца еще и другое важное значение. Младенец относится к нему, как к собственной части тела, смотрит на него, как на «подарок», выделение которого выражает уступчивость маленького существа по отношению к окружающим, а отказ в котором свидетельствует об упрямстве. Через «подарок» он в дальнейшем приобретает значение «ребенка», который, со-

гласно одной из инфантильных сексуальных теорий, получается через еду, а рождается через кишечник.

Задержка фекальных масс, преднамеренная сначала с целью использовать ее как бы для мастурбационного раздражения зоны заднего прохода или чтобы использовать ее в отношениях к няне, является, впрочем, одним из корней столь частых запоров у невропатов. Все значение анальной зоны отражается в факте, что встречается мало невротиков, у которых не было бы своих особых скатологических обычаев, церемоний и т. п., которые они тщательно скрывают[1].

Настоящее мастурбационное раздражение анальной зоны при помощи пальца, вызванное обусловленным центрально или поддерживаемым периферически зудом, очень нередки у детей старшего возраста.

Проявление генитальной зоны

Среди эрогенных зон детского тела имеется одна, которая играет несомненно не первую роль и не может также быть носительницей самых ранних сексуальных переживаний, но которой в будущем предназначается большая роль. Она у мальчика и у девочки имеет отношение к мочеиспусканию (клитор, головка penis'а покрыта у мальчика слизистым мешком, так что у нее не может быть недостатка в раздражениях выделениями, которые рано вызывают сексуальные раздражения). Сексуальные проявления этой эрогенной зоны, относящейся к действительным половым частям, составляют начало позднейшей «нормальной» половой жизни.

Багодаря анатомическому положению, раздражению

---

[1] В работе, необыкновенно углубляющей ваше понимание значения анальной эротики, Lou Andreas Salomé указала, что история первого запрещения, предъявленного ребенку, запрещения получать удовольствие от анальной функции и ее продуктов, является решающим для всего его развития. Маленькое существо должно при этом впервые почувствовать враждебный его влечениям окружающий мир, научиться отделять свое собственное существо от этого чуждого ему мира и затем совершить первое «вытеснение» возможного для него наслаждения. С этого времени «анальное» остается символом всего, что необходимо отбросить, устранить из жизни. Требуемому позже отделению анальных процессов от генитальных мешают близкие анатомическая и функциональная аналогии и зависимости между обеими. Генитальный аппарат остается по соседству с клоакой, «у женщины даже только позаимствован у нее».

выделениями, мытью и вытиранию при гигиеническом уходе и благодаря определенным случайным возбуждениям (вроде вползания кишечных паразитов у девочек), ощущения удовольствия, которые способны давать эти части тела, неизбежно обращают на себя внимание ребенка уже в младенческом возрасте и будят потребность в их повторении. Если окинуть взором всю совокупность имеющихся приспособлений и если принять во внимание, что мероприятия для соблюдения чистоты едва ли могут действовать иначе, чем загрязнения, то нельзя будет отказаться от взгляда, что благодаря младенческому онанизму, от которого вряд ли кто-нибудь свободен, утверждается будущий примат этой эрогенной зоны в половой деятельности. Действие, устраняющее раздражение и дающее удовлетворение, состоит в трущем прикосновении рукой или несомненно рефлекторном давлении сжатыми вместе бедрами. Последний прием применяется чаще всего девочками. У мальчика предпочтение, оказываемое руке, указывает уже на то, какое значительное добавление к мужской половой деятельности привнесет в будущем влечение к овладеванию[1].

Будет только способствовать ясности, если я укажу, что нужно различать три фазы инфантильной мастурбации. Первая относится к младенческому возрасту, вторая к кратковременному расцвету сексуальных проявлений в возрасте около четырех лет, и лишь третья соответствует часто только и принимаемому во внимание онанизму при наступлении половой зрелости.

Вторая фаза детской мастурбации

Младенческий онанизм после короткого периода как будто исчезает, но все же непрерывное продолжение его до наступления половой зрелости может составить первое большое отступление от желательного для культурного человека развития. Когда-нибудь в детском возрасте после периода младенчества, обыкновенно до 4-го года, сексуальное влечение этой генитальной зоны опять просыпается и держится, затем снова некоторое

---

[1] Необыкновенные приемы при онанизме в позднем возрасте указывают, по-видимому, на влияние преодоленного запрещения онанировать.

время до нового появления или продолжается беспрерывно. Возможные обстоятельства чрезвычайно разнообразны и могут быть выяснены только при детальном расчленении отдельных случаев. Но все подробности этой **второй** фазы инфантильных сексуальных переживаний оставляют глубочайшие бессознательные следы в памяти данного лица, предопределяют развитие его характера, если человек остается здоровым, и симптоматику невроза, если он заболевает в юношеском возрасте[1]. В последнем случае весь этот сексуальный период оказывается забытым, указывающие на него бессознательные воспоминания отодвинутыми; я уже упомянул, что хотел бы привести в связь с этой инфантильной сексуальной деятельностью также и нормальную инфантильную амнезию. Благодаря психоаналитическому исследованию удается довести забытое до сознания и этим устранить навязчивость, проистекающую из бессознательного психического материала.

Возвращение младенческой мастурбации

Сексуальные возбуждения младенческого возраста снова появляются в упомянутом детском возрасте или как центрально обусловленное щекочущее раздражение, требующее онанистического удовлетворения, или как процесс, похожий на поллюцию, который, аналогично поллюции в зрелом возрасте, дает удовлетворение даже и без помощи какого-нибудь действия. Последний случай чаще встречается у девочек и во второй половине детства; причины его не совсем ясны и, по-видимому, не всегда ему должен предшествовать период более раннего активного онанизма. Симптоматика этого сексуального проявления очень бедна; вместо неразвитого еще полового аппарата дает о себе знать по большей части мочеиспускательный аппарат, как бы опекун его. Большинство болезней мочевого пузыря этого времени являются сексуальными заболеваниями; enuresis пос-

[1] Исчерпывающего аналитического объяснения ждет еще тот факт, что сознание вины невротиков всегда, как это еще недавно признал Bleuler, связывается с воспоминаниями об онанистических действиях по большей части периодов возмужалости. Самый грубый и важный фактор этой зависимости составляет, вероятно, факт, что онанизм является выполнением всей инфантильной сексуальности и потому способен взять на себя все чувство вины, относящееся к этой сексуальности.

пиия соответствует такой поллюции, если только не представляет собой эпилептического припадка.

Для него проявления сексуальной деятельности имеют значение внутренние причины и внешние поводы; в случаях невротического заболевания можно угадать и те, и другие по форме симптомов, а при помощи психоаналитического исследования открыть полностью и те, и другие. О внутренних причинах речь будет ниже; случайные внешние поводы к этому времени приобретают большое и долго длящееся значение. На первом месте находится влияние соблазна, который относится к ребенку как к сексуальному объекту, и знакомит его при оставляющих глубокое впечатление обстоятельствах с удовлетворением, исходящим из генитальной зоны: впоследствии ребенок оказывается вынужденным онанистическим путем возобновлять это удовлетворение. Такое влияние может исходить от взрослых или от других детей; не могу не признать, что в моей статье в 1896 г. «Ueber die Aetiologie der Hysterie», я переоценил частоту или значение этого влияния, хотя еще не знал тогда, что и оставшиеся здоровыми индивиды могли иметь в детском возрасте такие же переживания, и потому придавал соблазну больше значения, чем факторам данной сексуальной конструкции и развития[1]. Само собой разумеется, что нет необходимости в соблазне, чтобы пробудить сексуальную жизнь ребенка, что такое пробуждение возможно само по себе по внутренним причинам.

Полиморфно-перверзное предрасположение

Поучительно, что ребенок под влиянием соблазна может стать полиморфно-перверзным, что его можно

---

[1] Havelock Ellis в добавлении к своему труду о «Geschlechtsgefühl» (1903) приводит несколько автобиографических отчетов лиц, которые остались в дальнейшем большею частью нормальными, об их первых переживаниях в детстве и о поводах к этим переживаниям. Эти сообщения страдают, понятно, тем недостатком, что не содержат доисторического периода половой жизни, покрытого инфантильной амнезией, который может быть дополнен только при помощи психоанализа у ставшего нервнобольным индивида. Но эти сообщения все же ценны во многих отношениях, и расспросы подобного же рода заставили меня сделать упомянутое в тексте изменение предполагаемой мной этиологии истерии.

соблазнить на всевозможные извращения. Это указывает, что у него есть склонность к этому в его конституции; соблазн потому встречает так мало сопротивления, что душевные плотины против сексуальных излишеств — стыд, отвращение и мораль, в зависимости от возраста ребенка, еще не воздвигнуты или находятся в стадии образования. Ребенок ведет себя в этом отношении так, как средняя некультурная женщина, у которой сохраняется такое же полиморфно-перверзное предрасположение. Такая женщина при обычных условиях может остаться сексуально нормальной, а под руководством ловкого соблазнителя она приобретает вкус ко всем перверзиям и прибегает к ним в своей сексуальной деятельности. Тем же полиморфным, т. е., инфантильным, предрасположением пользуется проститутка для своей профессиональной деятельности, а при колоссальном количестве проституирующих женщин и таких, которым следует приписать склонность к проституции, хотя они избегли этой профессии, становится, в конце концов, невозможным не признать в равномерном предрасположении ко всем перверзиям нечто общечеловеческое и первоначальное.

Частичные влечения

Впрочем, влияние соблазна не помогает раскрыть первоначальные условия полового влечения, а только путает наше понимание его, давая ребенку преждевременно сексуальный объект, в котором детское сексуальное влечение не имеет пока такой потребности. Однако мы должны согласиться с тем, что детская сексуальная жизнь при всем преобладании господства эрогенных зон проявляет такие компоненты, для которых с самого начала имеются в виду другие лица как сексуальные объекты. Такого рода компонентами являются находящиеся в известной независимости от эрогенных зон влечение к разглядыванию и показыванию себя и к жестокости, которые только позже вступают в тесную связь с генитальной жизнью, но уже в детском возрасте наблюдаются как самостоятельные устремления, сначала отделенные от эрогенной сексуальной деятельности. Маленький ребенок прежде всего бесстыден и в определенном возрасте проявляет недвусмысленное удовольствие от обнажения своего тела,

подчеркивая особенно свои половые части. В противоположность к этой, считающейся перверзной, склонности любопытство при разглядывании половых органов других лиц проявляется, вероятно, в несколько старшем возрасте, когда препятствие от чувства стыда достигло уже некоторого развития. Под влиянием соблазна перверзия разглядывания может приобрести большое значение в сексуальной жизни ребенка. Все же из моего исследования детского возраста здоровых и нервнобольных я должен заключить, что влечение к разглядыванию может явиться у ребенка как самостоятельное сексуальное проявление. Маленькие дети, внимание которых направлено на собственные гениталии, — большей частью мастурбационно — обыкновенно делают дальнейшие успехи без посторонней помощи и проявляют большой интерес к гениталиям своих товарищей. Так как случай удовлетворить такое любопытство создается большей частью только при удовлетворении обеих экскрементальных потребностей, то такие дети становятся voyeur'ами, усердно подглядывают, когда другие мочатся или испражняются. После наступившего вытеснения этой склонности, любопытство, направленное на гениталии других (своего или противоположного пола), сохраняется как мучительная навязчивость, которая становится источником сильнейших импульсов к образованию симптомов при некоторых невротических случаях.

Еще в большей независимости от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной деятельности развивается у ребенка компонент жестокости сексуального влечения. Детскому характеру вообще свойственна жестокость, так как задержка, удерживающая влечение к овладеванию от причинения боли другим, способность к состраданию, развивается сравнительно поздно. Основательный психологический анализ этого влечения, как известно, еще не удался; мы можем полагать, что жестокие душевные движения происходят из влечения к овладеванию и проявляются в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще не получили своего позднейшего значения. Жестокость властвует в фазе сексуальной жизни, которую мы позже опишем как прегенитальную организацию. Дети, отличающиеся особенной жестокостью по отношению к животным и товарищам, справедливо вызывают подозрение в интен-

сивной и преждевременной сексуальной деятельност со стороны эрогенных зон, и при совпадении с преждевременной зрелостью всех сексуальных влечений эрогенная, сексуальная деятельность кажется все же первичной. Отсутствие задержки из сострадания несет с собой опасность, что эта, имевшая место в детстве связь жестоких влечений с эрогенными окажется в жизни позже неразрушимой.

Болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем воспитателям со времени исповеди J. J. Rousseau, как эрогенный корень пассивного влечения к жестокости (мазохизма). Они правильно вывели из этого требование, что телесное наказание, которое большей частью осуществляется именно на этой части тела, не должно иметь места у всех тех детей, у которых благодаря позднейшим требованиям культурного воспитания либидо может быть оттеснено на коллатеральные пути[1]

Инфантильное сексуальное исследование

Влечение к познанию

Приблизительно к тому времени, когда сексуальная жизнь ребенка достигает своего первого расцвета, о

[1] На вышеизложенные утверждения об инфантильной сексуальности по существу мне дали право в 1905 г. результаты психоаналитического исследования взрослых. Непосредственные наблюдения над ребенком не могли тогда быть в полной мере использованы и дали только отдельные намеки и ценные подтверждения. С тех пор удалось благодаря анализу отдельных случаев нервных заболеваний в раннем детском возрасте непосредственно изучить инфантильную психосексуальность. С удовлетворением могу указать на то, что непосредственное наблюдение вполне подтвердило выводы психоанализа и этим дало хорошее доказательство того, что этот метод исследования заслуживает полного доверия. «Анализ фобий пятилетнего мальчика научил, кроме того, еще многому новому, к чему не были подготовлены психоанализом, напр., тому, что сексуальная символика, изображение сексуального при помощи несексуальных объектов и отношений начинается с первых же лет того периода, когда ребенок научается говорить. Далее мое внимание обращают на недостаток вышеизложенного, в котором в интересах ясности различие в понятиях обеих фаз автоэротизма и любви к объекту описывается как различное и во времени. Но из упомянутого анализа (как и из сообщений Bell'a: см. выше) видно, что дети в возрасте от 3 до 5 лет способны на очень ясный, сопровождающийся сильными аффектами выбор объекта.

это до 5-го года, у него появляются также начала той деятельности, которой приписывают влечение к познанию или исследованию. Влечение к познанию не может быть причислено к элементарным компонентам влечений, но подчинено исключительно сексуальности. Его деятельность соответствует сублимированному способу овладевания, с другой стороны, оно работает энергией влечения к подглядыванию. Но его отношение к сексуальной жизни имеет особенное значение, потому что мы узнали из психоанализа, что влечение к познанию у детей поразительно рано и неожиданно интенсивным образом останавливается на сексуальных проблемах, может быть даже пробуждается ими.

Загадка сфинкса

Не теоретические, а практические интересы двигают работу исследовательской деятельности у ребенка. Угроза условиям его жизни вследствие известия и предположения о появлении нового ребенка, страх потерять в связи с этим событием заботу и любовь, заставляют ребенка задуматься и развивают его проницательность. Первая проблема, которая его занимает, в соответствии с этой историей возникновения ее, не является вопросом о различии полов, а загадкой: откуда берутся дети? В искажении, которое легко исправить, это составляет также загадку, заданную фиванским сфинксом. Факт существования двух полов ребенок сперва воспринимает без раздумья и противодействия. Для мальчика является чем-то само собой понятным предположить у всех известных ему людей такие же гениталии, как его собственные, и кажется невозможным соединить отсутствие таких гениталий с его представлением об этих других людях. Мальчик крепко держится этого убеждения, упорно защищает его от возникающих возражений под влиянием наблюдения и отказывается от него только после тяжелой внутренней борьбы (кастрационный комплекс). Замещающие, образования этого утерянного penis'a у женщины играют большую роль в тех формах, которые принимают разнообразные перверзии[1].

[1] С полным правом можно говорить о кастрационном комплексе у женщин. И мальчики, и девочки создают теорию, что и у женщины первоначально имелся penis, утерянный вследствие

Предположение о существовании у всех людей таких же (мужских) гениталий составляет первую замечательную и важную по своим последствиям инфантильную сексуальную теорию. Ребенку мало пользы от того, что биологическая наука оправдывает его предупреждение и видит в женском клиторе настоящую замену penis'a. Маленькая девочка не попадает во власть подобных отрицаний, когда она замечает иначе устроенные гениталии мальчика. Она немедленно готова признать их, и в ней пробуждается зависть по поводу penis'a, которая вырастает до желания, имеющего впоследствии важное значение, — также быть мальчиком.

Теория рождения

Многие люди могут ясно вспомнить, как интенсивно в период, предшествующий половой зрелости, они интересовались вопросом, откуда берутся дети. Анатомическое разрешение вопроса было тогда различное: они появляются из груди, или их вырезывают из живота, или пупок открывается, чтобы выпустить их. О соответствующем исследовании в раннем детстве вспоминают очень редко вне анализа; исследование это давно подпало вытеснению, но результаты его были совершенно одинаковые. Детей получают от того, что что-то едят (как в сказках), и они рождаются через кишечник, как испражнения. Эти детские теории напоминают приспособления, встречающиеся в животном царстве, а именно — клоаку животных, стоящих ниже, чем млекопитающие.

Садистическое понимание сексуального общения

Если дети в таком детском возрасте становятся свидетелями сексуального общения между взрослыми, к чему создает повод убеждение больших, что маленький ребенок не может понять еще ничего сексуального, то они могут понять сексуальный акт только как своего рода избиение или насилие, т. е. в садистическом смы-

---

кастрации. Явившееся, в конце концов, убеждение в отсутствии penis'a у женщины оставляет у мужского индивида часто навсегда пренебрежительное чувство к другому полу.

ске. Психоанализ дает нам возможность также узнать, что такое впечатление в раннем детстве много способствует тому, что является предрасположением к позднейшему садистическому сдвигу сексуальной цели. В дальнейшем дети много занимаются проблемой, в чем же может заключаться половое общение или, как они это понимают, быть замужем или женатым, и по большей части ищут разрешение загадки в общности, которая выражается посредством функций мочеиспускания или испражнения.

Типичная неудача детского сексуального исследования

В общем можно сказать о детских сексуальных теориях, что они являются отражением собственной сексуальной конституции ребенка, и, несмотря на их странные ошибки, указывают на большее понимание сексуальных процессов, чем это можно было бы предполагать у их творцов. Дети замечают также и изменения от беременности матери и умеют их правильно истолковывать; сказка об аисте очень часто рассказывается слушателям, относящимся к ней с глубоким, но по большей части немым недоверием. Но так как для детского сексуального исследования остаются неизвестными два элемента: роль оплодотворяющего семени и существование женского полового отверстия, — впрочем, именно те пункты, в которых инфантильная организация еще отстала, старание инфантильных исследований все же остается всегда бесплодным и кончается отказом от дальнейшего изыскания, который нередко оставляет навсегда ослабление влечения к познанию. Сексуальное исследование в этом раннем детском периоде ведется всегда в одиночестве; оно означает первый шаг к самостоятельной ориентировке в мире и ведет к большому отчуждению ребенка от окружающих его лиц, пользовавшихся до того полным его доверием.

Фазы развития сексуальной организации

До сих пор мы подчеркивали как характерные признаки сексуальной организации, что она по существу аутоэротична (находит свой объект на собственном теле), и что отдельные частичные влечения ее, в общем, не связанные и независимые одно от другого, стремятся

к наслаждению. Завершается развитие так называемой нормальной сексуальной жизнью взрослых, при которой получение наслаждения стало служить функции продолжения рода, и частичные влечения составили под приматом единственной эрогенной зоны твердую организацию для достижения сексуальной цели с посторонним сексуальным объектом.

Прегенитальные организации

Изучение задержек и нарушений в этом процессе развития при помощи психоанализа позволяет нам узнать зачатки и предварительные ступени такой организации частичных влечений, которые составляют своего рода сексуальный режим. Эти фазы сексуальной организации нормально протекают ровно, давая знать о себе только намеками. Только в патологических случаях они приходят в действие и становятся заметными и для грубого наблюдения.

Организации сексуальной жизни, в которых генитальные зоны еще не приобрели своего преобладающего значения, мы назовем *прегенитальными*. До сих пор мы узнали две таких организации, которые производят впечатление возврата к раннему животному состоянию.

Первой такой прегенитальной сексуальной организацией является *оральная* или, если хотите, *каннибальная*. Сексуальная деятельность еще не отделена здесь от принятия пищи, противоречия в пределах этих влечений еще не дифференцированы. Объект одной деятельности является одновременно и объектом другой, сексуальная цель состоит в *поглощении* объекта, прообразе того, что позже как *отождествление* будет играть такую значительную психическую роль. Остаток этой фиктивной, навязанной нам патологией фазы организации можно видеть в сосании, при котором сексуальная деятельность, отделенная от деятельности питания, отказалась от постороннего объекта ради объекта на собственном теле.

Вторую прегенитальную фазу составляет *садистически-анальная* организация. Здесь уже развилась противоречивость, проходящая через всю сексуальную жизнь, но она еще не может быть названа *мужской* и *женской*, а должна называться *актив-*

ной и пассивной. Активность появляется благодаря влечению к овладеванию со стороны мускулатуры тела, а эрогенная слизистая оболочка кишечника проявляет себя как орган с пассивной сексуальной целью; оба устремления имеют свои объекты, однако не совпадающие. Наряду с этим другие частичные влечения проявляют свою деятельность автоэротическим образом. В этом роде уже можно поэтому доказать сексуальную полярность и посторонний объект. Организации и подчинения функции продолжения рода еще нет.

Амбивалентность

Эта форма организации может уже удержаться на всю жизнь и навсегда привязать к себе значительную часть сексуальной деятельности. Преобладание садизма и роль клоаки, присущая анальной зоне, придают ей яркий архаический характер. Другим признаком ее является то, что оба противоположных влечения, объединенных в пару, развиты почти одинаково, каковое отношение носит введенное удачное название — амбивалентность.

Предположение о прегенитальных организациях сексуальной жизни основано на анализе неврозов и вряд ли может быть понято без знания этого анализа. Мы можем рассчитывать, что продолжение аналитической работы даст нам еще больше данных относительно строения нормальной сексуальной функции.

Чтобы дополнить картину инфантильной сексуальной жизни, необходимо прибавить, что часто или всегда уже в детском возрасте делается выбор объекта в такой форме, в какой мы обрисовали его как характерный для фазы развития при наступлении половой зрелости, а именно, что все сексуальные устремления направляются только на одно лицо, у которого хотят достичь своей цели. Это образует тогда самое большое приближение к окончательной форме сексуальной жизни после наступления половой зрелости, возможной в детском возрасте. Отличие от последней состоит только в том, что объединение частичных влечений и подчинение их примату гениталий в детстве еще совсем не проведено или только очень неполно. Последняя фаза, проделываемая сексуальной организацией, состоит, следовательно, в том, что этот примат начинает служить продолжению рода.

Выбор объекта в два срока

Можно считать типичным, что выбор объекта происходит в два срока, двумя толчками. Первый толчок начинается в возрасте между двумя и пятью годами и во время латентного периода приостанавливается или даже регрессирует; он отличается инфантильной природой своих сексуальных целей. Второй начинается с наступлением половой зрелости и обусловливает окончательную форму сексуальной жизни.

Факт выбора объекта в два срока, который в сущности сводится к действию латентного периода, приобретает, однако, громадное значение для нарушения этой окончательной формы сексуальной жизни. Результаты инфантильного выбора объекта выражаются в более поздний период жизни; или они сохранились как таковые, или они оживают во время наступления половой зрелости. Вследствие развития вытеснения, имевшего место между этими двумя фазами, ими, как оказывается, невозможно воспользоваться. Их сексуальные цели подверглись умалению и теперь представляют собой то, что мы можем назвать *нежным* течением сексуальной жизни. Только психоаналитическое исследование может доказать, что за этой нежностью, обожанием и почтением скрываются старые, ставшие теперь негодными сексуальные стремления инфантильных, частичных влечений. Выбор объекта в период наступления половой зрелости должен отказаться от инфантильных объектов и снова начаться, как *чувственное* течение. Несовпадение обоих течений имеет часто следствием, что не может быть достигнут один из идеалов сексуальной жизни, — объединение всех желаний на одном объекте.

Источники инфантильной сексуальности

Желая проследить происхождение сексуального влечения, мы до сих пор нашли, что сексуальное возбуждение возникает: а) как воспроизведение удовлетворения, пережитого в связи с другими органическими процессами; б) благодаря соответствующему раздражению периферических зон; в) как выражение некоторых, не совсем понятных нам по своему происхождению «влечений», как влечение к подглядыванию и жестокости.

Психоаналитическое исследование, из более позднего периода возвращающееся к детству, и одновременное наблюдение над ребенком вместе показывают нам еще другие постоянные источники сексуального возбуждения. Наблюдение над детством имеет тот недостаток, что ведется над объектами, которые легко неправильно понять; психоанализ затрудняется тем, что может дойти до своих объектов и до своих выводов, только долгими обходными путями; но при совместном действии можно достичь обоими методами достаточной степени уверенности познания.

При исследовании эрогенных зон мы уже нашли, что эти места кожи обнаруживают только своего рода раздражимость, которая в известной степени свойственна всей поверхности кожи. Мы не станем поэтому удивляться, когда узнаем, что некоторым видам общей раздражимости кожи нужно приписать очень ясное эрогенное действие. Среди них особенно подчеркиваем прежде всего температурные раздражения; может быть, таким образом мы поймем терапевтическое действие теплых ванн.

Механические возбуждения

Далее мы должны здесь прибавить возможность вызвать сексуальное возбуждение ритмическими, механическими сотрясениями тела, при которых нам необходимо различать троякого вида раздражения: на чувственный аппарат вестибулярных нервов, на кожу и на глубокие части тела (мускулы, суставной аппарат). Ввиду появляющихся при этом ощущений наслаждения стоит особенно подчеркнуть, что в данном случае мы довольно часто можем одинаково употреблять понятие сексуальное «возбуждение» и «удовлетворение»; что возлагает на нас обязанность в дальнейшем искать этому объяснения. Доказательством наслаждения, вызываемого механическими сотрясениями тела, служит, таким образом, тот факт, что дети так сильно любят пассивные игры-движения, как качание и подбрасывание, и беспрерывно требуют повторения их[1]. Укачива-

[1] Многие лица могут вспомнить, что, качаясь на качелях, они чувствуют напор движущегося воздуха на гениталии прямо, как сексуальное удовольствие.

ние, как известно, применяется для того, чтобы усыпить беспокойных детей. Сотрясение при катании в корыте и поездки по железной дороге оказывают такое захватывающее действие на более взрослых детей, что по крайней мере все мальчики когда-нибудь в жизни хотят стать кучерами и кондукторами. Тому, что происходит на железной дороге, они обыкновенно уделяют большой и загадочный интерес, и все происходящее становится у них в возрасте, когда усиливается деятельность фантазии (незадолго до появления половой зрелости), ядром чистой сексуальной символики. Необходимость связывать поездку по железной дороге с сексуальностью исходит, очевидно, из сосательного характера двигательных ощущений. Если к этому прибавляется вытеснение, которое превращает в противоположное так много из того, чему дети оказывают предпочтение, то те же лица в юношеском возрасте или взрослые реагируют на качание тошнотой, сильно устают от поездки по железной дороге или проявляют склонность к припадкам страха во время путешествия и защищаются от повторения мучительного переживания посредством страха на железной дороге.

Сюда присоединяется непонятный еще факт, что совпадение испуга и механического сотрясения вызывает тяжелый истериформный травматический невроз. Можно, по крайней мере, полагать, что эти влияния, становящиеся при небольшой интенсивности источниками сексуального возбуждения, в очень большом количестве вызывают глубокое сотрясение сексуального механизма.

Работа мускулатуры

Известно, что большая активная мускульная деятельность является потребностью для ребенка, от удовлетворения которой он черпает необыкновенное наслаждение. Утверждение, что это наслаждение имеет кое-что общее с сексуальностью, что это даже включает в себя сексуальное удовлетворение или может стать поводом к сексуальному возбуждению, может вызвать критические возражения, которые ведь будут направлены и против высказанных раньше утверждений, что наслаждение от ощущения пассивных движе-

ний имеет сексуальный характер или вызывает сексуальное возбуждение. Но многие рассказывают как несомненный факт, что первые признаки возбужденности в гениталиях они пережили во время драки или борьбы с товарищами; при этом положении, однако, помимо общего мускульного напряжения оказывает действие также прикосновение на большом протяжении кожи к противнику. Наклонность к мускульной борьбе с каким-нибудь лицом, как к словесной борьбе в более позднем возрасте («Кто кого любит, тот того дразнит») принадлежит к хорошим признакам направленного на это лицо выбора объекта. В том, что мускульная деятельность способствует сексуальному возбуждению, можно видеть один из корней садистического влечения. Для многих индивидов инфантильная связь между дракой и сексуальным возбуждением является предопределяющим моментом для избранного направления полового влечения[1].

Аффективные процессы

Меньшему сомнению подлежат остальные источники сексуального возбуждения ребенка. Непосредственным наблюдением и более поздним исследованием легко установить, что все интенсивные аффективные процессы, даже возбуждения от испуга передаются на сексуальность, что, впрочем, может способствовать пониманию патогенного явления таких душевных движений. У школьника страх перед экзаменом, напряжение перед трудноразрешимой задачей может приобрести большое значение, влияя на вспышку сексуальных проявлений и на отношение к школе, так как при подобных условиях часто появляется раздражающее чувство, заставляющее прикасаться к гениталиям, или процесс, похожий на поллюцию со всеми ее вызывающими смущение следствиями. Поведение детей в школе, ставя-

[1] Анализ случаев невротических болезней — неспособности ходить и страха пространства — устраняет сомнение в сексуальной природе наслаждения от движения. Современное культурное воспитание, как известно, пользуется в широких размерах спортом, чтобы отвлечь молодежь от сексуальной деятельности; правильней было бы сказать, что оно заменяет сексуальное наслаждение от движения и направляет сексуальную деятельность обратно на один из ее автоэротических компонентов.

щее перед учителем достаточно загадок, заслуживает вообще быть поставленным в связь с их зарождающейся сексуальностью. Возбуждающее сексуальность действие многих неприятных самих по себе аффектов, боязливости, ужаса, жути, сохраняется у многих людей и в зрелом возрасте и является объяснением того, что так много людей гонятся за всяким удобным случаем, чтобы испытать подобные ощущения, если только определенные, привходящие обстоятельства (принадлежность к призрачному миру, чтение, театр) притупляют серьезность неприятных ощущений.

Если бы можно было допустить, что интенсивные болезненные ощущения имеют такое же эрогенное действие, особенно если боль приглушена каким-нибудь привходящим обстоятельством или удерживается подольше, то в этом положении заключался бы главный корень садистически-мазохистического влечения, многообразный и сложный состав которого мы таким образом начинаем постепенно понимать.

Интеллектуальная работа

Наконец, легко убедиться, что концентрация внимания на интеллектуальной работе и умственное напряжение вообще имеют следствием у многих юношей и людей зрелого возраста сексуальное возбуждение, которое должно считаться единственно верным основанием столь сомнительного объяснения нервных заболеваний умственным «переутомлением».

Если мы окинем взором источники детских сексуальных возбуждений, согласно этим несовершенным и неполно перечисленным примерам и наброскам, то у нас является возможность предугадать или узнать следующие обобщения: по-видимому, все сделано для того, чтобы процесс сексуального возбуждения — сущность которого, разумеется, стала для нас очень загадочной — был пущен в ход. Об этом прежде всего заботятся, более или менее непосредственным образом, возбуждения чувствительной поверхности — кожи и органов чувств, — и самым непосредственным образом — раздражения известных мест кожи, заслуживающих названия эрогенных зон. В этих источниках сексуального возбуждения решающее значение имеет качество раздражений, хотя и момент интенсивности (при боли)

не совсем безразличен. Но, кроме того, в организме имеются такие приспособления, вследствие которых при многих внутренних процессах возникает как побочное явление сексуальное возбуждение, как только интенсивность этих процессов переходит известные количественные границы. То, что мы назвали частичными влечениями сексуальности, или непосредственно исходит их этих внутренних источников сексуального возбуждения, или составляется из того, что дается этими источниками и эрогенными зонами. Возможно, что в организме не происходит ничего более или менее значительного, что не должно было бы отдавать своих компонентов для возбуждения сексуального влечения.

В настоящее время мне кажется невозможным донести эти общие положения до большей ясности и уверенности, и я делаю за это ответственными два момента: во-первых, новизну всего образа мыслей и, во-вторых, то обстоятельство, что сущность сексуального возбуждения нам совершенно неизвестна. Но я не хотел бы отказаться от двух замечаний, обещающих открыть нам далекие горизонты.

Различные сексуальные конституции

а) Подобно тому, как мы прежде видели возможность обосновать многообразие врожденных сексуальных конституций различным развитием эрогенных зон, мы можем то же самое попробовать и теперь, прибавив к этому еще непосредственные источники полового возбуждения. Мы можем допустить, что хотя эти источники дают притоки у всех людей, но не у всех людей они одинаково сильны и что предпочтительное развитие отдельных источников сексуального возбуждения способствует дальнейшей дифференциации различных сексуальных конституций[1].

[1] Обязательный вывод из вышеизложенного требует, чтобы каждому индивиду приписывалась оральная, анальная, уретральная и т. д. эротика, и что констатирование соответствующих этим эротикам душевных комплексов не означает суждения о ненормальности или неврозе. Различие, отличающее нормального человека от ненормального, может состоять только в относительной силе отдельных компонентов сексуального влечения и в применении их в течение развития.

b) Оставляя образный способ выражения, которого так долго придерживались, говоря об «источниках» сексуального возбуждения, мы можем прийти к предположению, что все соединительные пути, ведущие от других функций к сексуальности, должны быть проходимы и в обратном направлении. Если, например, общее у обеих функций обладание зоны губ является причиной того, что при приеме пищи возникает сексуальное удовлетворение, то тот же момент объясняет нарушение в приеме пищи, если нарушены эрогенные функции общей зоны. Если нам известно, что концентрация внимания может вызвать сексуальное возбуждение, то нам навязывается предположение, что благодаря воздействию тем же путем, но только в обратном направлении, сексуальное возбуждение влияет на возможность на чем-нибудь сосредоточить внимание. Большая часть симптоматологии неврозов, которую я объясняю нарушениями сексуальных процессов, выражается в нарушении других, не сексуальных телесных функций, и это непонятное до сих пор влияние становится менее загадочным, если оно представляет собой только параллель к тому влиянию, под которым находится продукция сексуального возбуждения.

Те же пути, однако, по которым сексуальные нарушения переходят на другие телесные функции, должны и при здоровье сослужить и другую важную службу. По ним должно было происходить привлечение сексуальных сил влечений к другим не сексуальным целям, т. е. сублимирование сексуальности. Мы должны закончить признанием, что об этих, несомненно имеющихся, вероятно проходимых в том и другом направлении путях, — нам известно еще очень мало достоверного.

III

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛОВОМ СОЗРЕВАНИИ

С наступлением половой зрелости начинаются изменения, которым предстоит перевести инфантильную сексуальную жизнь в ее окончательные нормальные формы. Сексуальное влечение до того было преимущественно

ниэротично, теперь оно находит сексуальный объект. До того его действия исходили из отдельных влечений и эрогенных зон, независимых друг от друга и искавших определенное наслаждение как единственную сексуальную цель. Теперь дается новая сексуальная цель, для достижения которой действуют совместно все частичные влечения, между тем как эрогенные зоны подчиняются примату генитальной зоны. Так как новая сексуальная цель наделяет оба пола очень различными функциями, их сексуальное развитие принимает разное направление. Развитие мужчины последовательнее и более доступно нашему пониманию, между тем, как у женщины наступает даже своего рода прогресс. Порукой нормальности половой жизни служит только точное совпадение обоих, направленных на сексуальный объект и сексуальную цель течений, нежного и чувственного, из которых первое содержит в себе все, что остается из раннего инфантильного расцвета сексуальности. Это похоже на прокладку туннеля с двух сторон.

Новая сексуальная цель у мужчины состоит в отделении сексуальных продуктов; она абсолютно не чужда и прежней цели — достижению наслаждения, наоборот, максимальное количество наслаждения связано именно с этим конечным актом сексуального процесса. Сексуальное влечение начинает теперь служить функции продолжения рода; оно становится, так сказать, альтруистическим. Чтобы это превращение удалось, необходимо при этом процессе принимать во внимание первоначальное предрасположение и все особенности влечения.

Как и при всяком другом случае, когда в организме должны иметь место новые связи и соединения в сложные механизмы, так и здесь представляется возможность болезненных нарушений благодаря ненаступлению этого нового порядка. Все болезненные нарушения половой жизни с полным правом можно рассматривать как задержки в развитии.

Примат генитальной зоны и предварительное наслаждение (Vorlust)

Перед нашим взором ясно огкрываются исходный пункт и конечная цель описанного хода развития. Посредствующие переходы во многих отношениях для нас

еще темны; мы должны будем оставить в них не одну загадку.

Самым существенным в процессах, сопровождающих наступление возмужалости, считали то, что больше всего бросается в глаза, — явный рост внешних гениталий, на которых латентный период детства отражается относительной задержкой роста. Одновременно и развитие внутренних гениталий продвинулось настолько вперед, что они оказываются в состоянии выделять половые продукты или воспринимать их для образования нового существа. Таким образом изготовился очень сложный аппарат, ждущий того, чтобы им воспользоваться.

Этот аппарат должен быть пущен в ход, и наблюдения показывают нам, что до него могут дойти раздражения тремя путями: из внешнего мира, благодаря возбуждению уже известных нам эрогенных зон; из внутренних органов и — путями, которые еще предстоит исследовать, из душевной жизни, самой являющейся хранилищем внешних впечатлений и приемником внутренних возбуждений. Всеми тремя путями вызывается то же самое состояние, называемое «сексуальным возбуждением» и проявляющееся двоякого рода признаками, душевными и соматическими. Душевные признаки состоят в своеобразном чувстве напряжения крайне импульсивного характера; среди разнообразных телесных изменений на первом месте стоит ряд изменений гениталий, имеющих несомненный смысл, а именно готовности, приготовления к сексуальному акту (эрекция мужского органа, появление влажности во влагалище).

Сексуальное возбуждение

С характерным напряжением сексуальной возбудимости связана проблема, разрешение которой столь же трудно, как громадно ее значение для понимания сексуальных процессов. Несмотря на господствующее в психологии различие мнений по этому поводу, считаю нужным настаивать на том, что чувство напряжения должно носить в себе самом характер неприятного. Для меня является решающим, что такое чувство приносит с собой стремление к изменению психической ситуации, возбуждает к действию, что совершенно чуждо сущности испытываемого наслаждения. Если же причислить напряжение сексуальной возбужденности к неприятным чувст-

нам, то сталкиваешься с фактом, что оно, вне всякого сомнения, переживается как приятное. Всюду примешивается наслаждение к напряжению, вызванному сексуальными процессами; даже при подготовительных изменениях в гениталиях ясно ощущается своего рода чувство удовлетворения. Какова связь этого неприятного напряжения с этим чувством наслаждения?

Все, что относится к проблеме «наслаждение—неудовольствие», затрагивает одно из самых больных мест современной психологии. Мы попробуем по возможности больше узнать об этом из условий имеющегося перед нами случая и избегнем подойти к проблеме в полном ее объеме. Бросим сперва взгляд на тот способ, каким эрогенные зоны подчиняются новому порядку. При возникновении сексуального возбуждения они играют важную роль. Самая далекая от сексуального объекта зона, глаз, при условиях ухаживания за объектом, оказывается чаще всего в таком положении, что возбуждается тем особым качеством возбуждения, повод к которому в сексуальном объекте мы называем красотой. Процессы сексуального объекта называются поэтому также «прелестями». С этим раздражением, с одной стороны, связано уже наслаждение, с другой стороны — следствием его является то, что сексуальная возбужденность повышается или вызывается. Если присоединяется возбуждение другой эрогенной зоны, например, нащупыванием руки, то получается такой же эффект, — с одной стороны, ощущение наслаждения, усиливающееся сейчас же благодаря наслаждению от изменений «готовности», а с другой стороны — дальнейшее усиление сексуального напряжения, скоро переходящего в вполне определенное неприятное чувство, если ему не дается возможность доставлять еще наслаждение. Более ясен может быть другой случай, например, когда у сексуально не возбужденного лица прикосновением раздражают эрогенную зону, хотя бы кожу на груди у женщины. Это прикосновение вызывает уже чувство наслаждения, но одновременно больше, чем бы то ни было, способно разбудить сексуальное возбуждение, требующее нарастания наслаждения. В этом-то и заключается проблема: как происходит, что ощущаемое наслаждение вызывает потребность в еще большем наслаждении.

Механизм предварительного наслаждения

Но роль, выпадающая при этом на долю эрогенных зон, ясна. То, что относилось к одной из них, относится ко всем. Назначение всех их привнести известное количество наслаждения благодаря соответствующему раздражению; наслаждение повышает напряжение, которое, со своей стороны, должно дать необходимую моторную энергию, чтобы довести половой акт до конца. Предпоследняя часть его состоит опять-таки в соответствующем раздражении эрогенной зоны, самой генитальной зоны на glans penis посредством приспособленного для этого объекта слизистой оболочки влагалища; под влиянием наслаждения, которое доставляет это возбуждение, на этот раз рефлекторным путем развивается моторная энергия, которая ведет к выделению половых секретов. Это последнее наслаждение, по своей интенсивности самое сильное, отличается по механизму своему от прежнего. Оно вызывается всецело разрешением этого напряжения, представляет собой полностью наслаждение от этого удовлетворения, и с ним временно угасает напряжение либидо.

Мне кажется, что необходимо отметить это отличие в сущности наслаждения от возбуждения эрогенных зон от другого при выделении половых секретов и дать ему соответствующее название. Первое наслаждение может быть названо *предварительным наслаждением* (Vorlust) в противоположность *конечному наслаждению* (Endlust) или удовлетворению от сексуальной деятельности. Предварительное наслаждение представляет собой в таком случае то же самое, что и доставляемое инфантильным сексуальным влечением, хотя и в меньшей степени; конечное наслаждение ново, т. е., вероятно, связано с условиями, возникшими только с наступлением половой зрелости. Формула для новой функции эрогенных зон гласит: ими пользуются для того, чтобы при посредстве получаемого от них, как и в инфантильной жизни, предварительного наслаждения сделать возможным наступление большего наслаждения от удовлетворения.

Недавно мне удалось объяснить пример, взятый из совершенно другой области душевной деятельности, в котором также достигается больший эффект наслаждения

благодаря незначительному ощущению наслаждения, действующему при этом как соблазнительная премия. Тем явилась возможность ближе рассмотреть сущность наслаждения[1].

Опасности предварительного наслаждения

Однако связь предварительного наслаждения с инфантильной сексуальной жизнью подтверждается той патогенной ролью, которая может выпасть на ее долю. Из механизма, который принял в себя предварительные наслаждения, возникает, очевидно, явная опасность для возможности достижения нормальной сексуальной цели; опасность эта наступает тогда, когда в каком-нибудь месте подготовительных сексуальных процессов предварительное наслаждение становится слишком большим, а соответствующее напряжение слишком незначительным. Тогда отпадает сила влечения к тому, чтобы дальше продолжать сексуальный процесс, весь путь сокращается и соответствующий подготовительный акт занимает место сексуальной цели. Этот случай, как известно, обусловлен тем, что соответствующая эрогенная зона или соответствующее частичное влечение давали уже в детском возрасте необыкновенное количество наслаждений. Если прибавляются еще моменты, способствующие фиксации, то в будущем легко создается навязчивость, противодействующая тому, чтобы это предварительное наслаждение подчинилось новой связи. Таков в действительности механизм многих перверзий, представляющий собой остановку на подготовительных актах сексуального процесса.

Если примат генитальной зоны предначерчен уже в детской инфантильной жизни, то легче всего избегнуть неудачной функции сексуального механизма по вине предварительного наслаждения. Для этого как будто действительно принимаются меры во второй половине детства (от 8 лет до наступления половой зрелости). В эти годы генитальные зоны ведут себя так, как во время зрелости; они становятся местом ощущений воз-

[1] Возникающим вследствие техники остроты «предварительным» наслаждением пользуются для того, чтобы дать выход большому наслаждению благодаря уничтожению внутренних задержек.

буждения и изменений «готовности», если ощущается какое-нибудь наслаждение от удовлетворения других эрогенных зон, хотя этот эффект остается еще бесцельным, т. е. не способствует продолжению сексуального процесса. Таким образом, уже в детском возрасте наряду с удовлетворением от наслаждения наступает известное количество сексуального напряжения, хотя менее постоянного и полного. Теперь мы можем понять, почему при исследовании источников сексуальности мы могли с таким же правом сказать, что соответствующий процесс действует в сексуальном отношении как удовлетворяюще, так и возбуждающе. Мы замечаем, что в процессе познавания мы сначала представили себе различие инфантильной и зрелой сексуальной жизни преувеличенно большим и вносим теперь корректуру. Инфантильные проявления сексуальности предопределяют не только отступление от нормальной сексуальной жизни, но и нормальную его форму.

Проблемы сексуального возбуждения

Для нас осталось совершенно необъяснимым, откуда берется сексуальное напряжение, развивающееся одновременно с наслаждением при удовлетворении эрогенных зон, и какова сущность этого наслаждения[1]. Ближайшее предположение, что это напряжение получается каким-то образом из самого наслаждения, не только само по себе очень невероятно, оно отпадает, потому что при самом большом наслаждении, связанном с излиянием половых продуктов, не появляется никакого напряжения, а наоборот, всякое напряжение прекращается. Наслаждение и сексуальное напряжение могут поэтому быть связаны не прямым путем.

Роль сексуальных выделений

Помимо факта, что при обычных условиях только освобождение от сексуальных выделений кладет конец

[1] Очень поучительно, что немецкий язык употреблением слова «Lust» — наслаждение считается с упомянутой в тексте ролью подготовительного сексуального возбуждения, которое одновременно дает некоторое удовлетворение и некоторую сумму сексуального напряжения. «Lust» имеет двоякое значение, означая как ощущение сексуального удовлетворения (Ich habe Lust — я хотел бы, чувствую необходимость), так и удовлетворение.

сексуальному возбуждению, имеются еще и другие основания привести сексуальное напряжение в связь с сексуальными выделениями. У людей, живущих в воздержании, через различные, но правильные промежутки половой аппарат освобождается от сексуальных выделений ночью во время сновидения, представляющего сексуальный акт и сопровождающегося ощущением наслаждения. Относительно этого процесса — ночной поллюции — трудно отказаться от взгляда, что сексуальное напряжение, которое умеет найти короткий галлюцинаторный путь для замены акта, является функцией накопления семени в резервуарах для половых продуктов. В таком же смысле говорит опыт относительно истощимости сексуального механизма. При отсутствии запаса семени не только невозможно выполнение сексуального акта, исчезает также раздражимость эрогенных зон, соответствующее раздражение которых не может вызвать наслаждения. Попутно мы таким образом узнаем, что известная степень сексуального напряжения требуется даже при возбудимости эрогенных зон.

Таким образом, приходится допустить, если я не ошибаюсь, довольно распространенный взгляд, что накопление сексуальных продуктов создает сексуальное напряжение и поддерживает его тем, что давление этих продуктов на стенки органов, в которых они заключаются, действуют как раздражение на спинномозговой центр, состояние которого воспринимается высшими центрами и отражается в сознании как известное ощущение напряжения. Если возбуждение эрогенных зон повышает сексуальное напряжение, то это могло бы происходить только таким образом, что эрогенные зоны находятся в анатомической связи с этими центрами, повышают тонус возбуждения при достаточном сексуальном напряжении, приводят в действие сексуальный акт, а при недостаточном — вызывают продукцию половых выделений.

Слабость этого учения, которого придерживается, например, и Krafft Ebing в своем описании сексуальных процессов, состоит в том, что созданное для объяснения половой деятельности зрелого мужчины обращает мало внимания на троякого рода обстоятельства, которым оно также должно дать объяснение. Эти обстоятельства относятся к ребенку, к женщине и к мужскому кастрату. Во всех трех случаях не может быть и речи о накоплении половых продуктов, в таком же

смысле, как у мужчины, что затрудняет простое применение схемы. Все же без дальнейшего нужно признать, что можно найти факты, дающие возможность подчинить этому учению также и указанные случаи. Все-таки приходится опасаться того, чтобы не приписать фактору накопления половых продуктов нечто такое, на что он, по-видимому, не способен.

Оценка внутренних половых частей

Наблюдения над мужчинами-кастратами показывают, что сексуальное возбуждение может в значительной степени быть независимым от продукции половых секретов, так как бывают случаи, что операция не оказывает влияния на либидо, хотя, как правило, наблюдается противоположное действие кастрации, являющееся и мотивом операции. Кроме того, давно известно, что болезни, уничтожившие продукцию мужских половых клеток, оставляют нетронутыми либидо и потенцию ставшего уже стерильным индивида. Поэтому не так уже удивительно, как G. Rieger это описывает, что потеря мужских зародышевых желез в зрелом возрасте может остаться без всякого влияния на душевное состояние индивида. Кастрация, совершенная в раннем возрасте, до наступления половой зрелости, хотя и приближается по своему влиянию к цели устранения половых признаков, однако при этом, кроме потери самих по себе половых желез, приходится принимать во внимание еще задержки в развитии других факторов, связанные с отпадением этих желез.

Химическая теория

Опыты над животными с удалением зародышевых желез (яички и оварии) и соответствующе измененная пересадка новых таких органов у позвоночных животных (см. вышецитированный труд Lipschütz'а) пролили, наконец, отчасти свет на происхождение сексуального возбуждения и при этом еще уменьшили значение накопления клеточных половых продуктов. При помощи эксперимента стало возможным превратить (E. Steinach) самца в самку и обратно — самку в самца, причем менялось и психосексуальное поведение животного, в соответствии и одновременно с соматическим

половым характером. Но это определяющее пол влияние имеет не та часть зародышей железы, которая производит специфические половые клетки (семенные нити и яичко), а интерстициальная ткань ее, которой авторы придают особое значение как «железе полового созревания». Очень возможно, что дальнейшие исследования покажут, что нормальная «железа полового созревания» имеет двуполое строение, — чем анатомически обосновывается учение о бисексуальности высших животных, и теперь уже вероятно, что она не единственный орган, имеющий отношение к продукции сексуального возбуждения и половых признаков. Во всяком случае это новое биологическое открытие примыкает к тому, что нам уже раньше было известно о значении щитовидной железы в сексуальности. Мы можем допустить, что из интерстициальной части зародышевой железы выделяются особые химические вещества, которые воспринимаются кровью и заряжают определенную часть центральной нервной системы сексуальным напряжением, — как это нам известно относительно превращения токсического раздражения в особое раздражение органа другими посторонними для организма ядовитыми веществами. Каким образом возникает сексуальное возбуждение благодаря раздражению эрогенных зон при бывшем заряжении центральных аппаратов и какая смесь чисто токсических и физиологических раздражений получается при этих сексуальных процессах, — в настоящее время об этом несвоевременно строить даже гипотезы. Для нас достаточно держаться, как существенного в этом взгляде на сексуальные процессы, предположения, что существуют особые вещества, происходящие из сексуального обмена веществ. Потому, что эта кажущаяся произвольной гипотеза подкрепляется взглядом, на который мало обращали внимания, но который очень его заслуживает. Неврозы, которые можно объяснить только нарушениями сексуальной жизни, показывают самое большое клиническое сходство с феноменами интоксикации и воздержания, которые получаются при первичном употреблении доставляющих наслаждение ядовитых веществ (алкалоидов).

С этими предположениями о химической основе сексуального возбуждения прекрасно соглашаются наши представления и наше понимание психических проявлений сексуальной жизни. Мы выработали себе понятие о либидо, как о меняющейся количественной силе, которая может измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую следует положить вообще в основу душевных процессов, в отношении ее особого происхождения, и этим приписываем ей также особый качественный характер. Отделением либидинозной психической энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания организма особым химизмом. Анализ перверзий и психоневрозов убедил нас в том, что сексуальное возбуждение возникает не только из так называемых половых частей, но из всех органов тела. У нас, таким образом, возникает представление об определенном количестве либидо, психически представленное, как мы говорили, Я либидо (Ich libido), продукция которого, увеличение или уменьшение, распределение и сдвиг, должна дать нам возможность объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены.

Но аналитическое исследование этого «я-либидо» становится доступным только тогда, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, т. е. превратиться в объект-либидо. Мы видим тогда, «как оно концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, т. е. частичному, временному потуханию либидо. Психоанализ так называемых неврозов перенесения (истерия, невроз навязчивости) дает нам возможность убедиться в этом.

Относительно судеб объект-либидо мы можем еще узнать, что, будучи отнятым от объектов, оно остается витающим в состоянии напряжения и, наконец, возвращается в «я», так что оно снова становится «я-либидо». Я-либидо в противоположность к объект-либидо мы называем также нарцистическим либидо. Из психоанализа мы как через границу, переступить которую

нам не дозволено, глядим в водоворот нарцистического либидо, и у нас составляется представление об отношении обеих форм либидо. Нарцистическое либидо или либидо-«я» кажется нам большим резервуаром, из которого высылаются привязанности к объектам, и в который они снова возвращаются; нарцистическая привязанность и либидо к «я» кажется состоянием, осуществленным в первом детстве, только прикрытым благодаря поздним его отросткам, но в сущности оставшимся неизменным за их спиной.

Задача теории либидо невротических и психотических заболеваний должна была бы состоять в том, чтобы выразить в терминах экономии—либидо все наблюдаемые феномены и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы либидо будут при этом иметь самое большое значение, особенно в тех случаях, где дело идет об объяснении глубоких психотических заболеваний. Трудность состоит в таком случае в том, что метод нашего исследования, психоанализ, пока дает нам верные сведения только о превращениях объекта-либидо, а «я»-либидо он не может совершенно отделить от других действующих в «я» энергий. Дальнейшее развитие теории либидо пока поэтому возможно только спекулятивным путем. Но если, по примеру C. G. Jung'a, слишком расширить понятие либидо, отождествляя его вообще с движущей психической силой, то благодаря этому пропадают завоевания всех психоаналитических наблюдений.

Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем ограничение понятия либидо этими первыми находит сильное подкрепление в изложенном выше предположении об особом химизме сексуальной функции.

Дифференциация мужчины от женщины

Известно, что только с наступлением половой зрелости устанавливается резкое отличие мужского и женского характера, — противоположность, оказывающая большое влияние на весь склад жизни человека, чем что бы то ни было другое. Врожденные мужские и женские свойства хорошо заметны уже в детском возрасте; развитие сексуальных задержек (стыда, отвращения, сострадания и т. д.) наступает у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика; наклонность к сексуальному вытеснению кажется вообще боль-

шей; там, где проявляются частичные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Но автоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих полов, и благодаря этому сходству в детстве отсутствует возможность полового различия, как оно появляется после наступления половой зрелости. Принимая во внимание автоэротические и мастурбаторные сексуальные проявления, можно было бы выставить положение, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Больше, если бы мы были в состоянии придавать понятиям «мужской» и «женский» вполне определенное содержание, то можно было бы защищать также положение, что либидо всегда — и закономерно по природе своей — мужское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или женщины и независимо от своего объекта, будь то мужчина или женщина[1].

С тех пор, как я познакомился с точкой зрения бисексуальности, я считаю этот момент решающим в дан-

[1] Необходимо понять, что понятия «мужской» и «женский», содержание которых по общепринятому мнению кажется таким недвусмысленным, принадлежат в науке к самым спутанным и поддаются разложению по меньшей мере в трех направлениях. Говорят мужской и женский, то в смысле активности и пассивности, то в биологическом, а также в социологическом смысле. Первое из этих трех значений — самое существенное и единственно применяемое в психоанализе. Соответственно этому значению, либидо выше в тексте называется мужским, потому что влечение всегда активно, даже тогда, когда поставило пассивную цель. Второе, биологическое значение мужского и женского, допускает самое ясное определение. Мужское и женское характеризуется здесь присутствием семенных клеток или женских яичек и обусловленных ими функций. Активность и побочные проявления ее, более сильное развитие мускулатуры, агрессивность, большая интенсивность либидо, обыкновенно сливаются с биологической мужественностью, но не связаны с ней обязательно, потому, что имеются породы животных, у которых этими свойствами наделены женские особи. Третье, социологическое значение, получает свое содержание благодаря наблюдению над действительно существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения у людей показывают, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле не встречается чистой мужественности или женственности. У каждой личности в отдельности наблюдается смесь ее биологических половых признаков с биологическими чертами другого пола и соединение активности и пассивности, как поскольку эти психические черты зависят от биологических, так и постольку они не зависят от последних.

ном случае и полагаю, что, не отдавая должного бисексуальности, вряд ли можно будет понять фактически наблюдаемые сексуальные проявления мужчины и женщины.

Руководящие зоны у мужчины и женщины

Независимо от этого я могу прибавить только еще следующее: и у ребенка женского пола руководящая эрогенная зона находится в клиторе, следовательно, вполне гомологична мужской генитальной зоне у головки мужского органа. Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких девочек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий, имеющим значение для последующей генитальной функции. Я сам сомневаюсь, может ли девочка под влиянием соблазна дойти до чего-нибудь другого, кроме мастурбации клитора, разве только в совершенно исключительном случае. Встречающиеся именно у девочек так часто самопроизвольные разрешения сексуальной возбужденности выражаются в судорожных сокращениях клитора, и частые эрекции его дают девочке возможность правильно и без специального поучения понимать сексуальные проявления другого пола, просто перенося на мальчиков ощущения собственных сексуальных процессов.

Кто хочет понять превращение маленькой девочки в женщину, тот должен проследить дальнейшую судьбу этой возбудимости клитора. Период полового созревания, приносящий мальчику такую большую вспышку либидо, проявляется у девочки в виде новой волны вытеснения, касающейся специально сексуальности клитора. При этом подпадает вытеснению известная доля мужской сексуальной жизни. Возникающее при этом вытеснении в периоде полового созревания женщины, усиление сексуальных задержек ее вызывает раздражение либидо мужчины и ведет к усилению его сексуальной деятельности; с повышением либидо усиливается сексуальная переоценка, которая в полной мере может выразиться только по отношению к отказывающей, отрицающей свою сексуальность женщине. За клитором сохраняется тогда роль, — когда он при допущенном наконец сексуальном акте сам возбуждается — передатчика этого возбуждения соседним частям женских гениталий, подобно тому, как щепка смолистого дерева употребляется для того, чтобы зажечь более твердое топливо. Часто

проходит некоторое время, пока совершается эта передача, в течение которого молодая женщина остается анэстетичной. Эта анэстезия может стать длительной, когда зона клитора не передает свою раздражительность, что подготовляется большей (мастурбаторной—примеч. пер.) деятельностью в детском возрасте. Известно, что часто анэстезия женщин — только кажущаяся, локальная. Они анэстетичны у входа во влагалище, но никоим образом не невозбудимы со стороны клитора или даже других эрогенных зон. К этим эрогенным поводам к анэстезии присоединяются еще психические поводы, также обусловленные вытеснением.

Если перенесение эрогенной раздражимости от клитора на вход во влагалище удался, то вместе с этим у женщины изменилась зона, играющая руководящую роль в позднейшей сексуальной деятельности, между тем как у мужчины с детства сохраняется одна и та же зона. В этой перемене руководящей эрогенной зоны, так же как и в волне вытеснения с наступлением половой зрелости, которая как бы устраняет инфантильную мужественность, кроются главные причины предпочтительного заболевания женщин неврозом, особенно истерией. Эти условия, следовательно, теснейшим образом связаны с сущностью женственности.

Нахождение объекта

Между тем, как благодаря процессам полового созревания утверждается примат генитальной зоны, и появление эрекции мужского полового органа властно указывает на новую сексуальную цель, на проникновение в полость тела, возбуждающую генитальную зону, с психической стороны совершается процесс нахождения объекта, подготовка к которому идет с раннего детства. Когда самое первое сексуальное удовлетворение было связано с принятием пищи, сексуальное влечение имело в материнской груди сексуальный объект вне собственного тела. Позже оно лишилось его, может быть, как раз тогда, когда у ребенка проявилась возможность получить общее представление о лице, которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение орган. Обыкновенно половое влечение становится тогда автоэротичным, и только по преодолении латентного периода снова восстанавливается первоначальное отношение. Не без вес-

кого основания сосание ребенком груди матери стало прообразом всяких любовных отношений. Нахождение объекта представляет собой в сущности вторичную встречу[1].

Сексуальный объект во время младенчества

Но от этой первой и самой важной сексуальной связи и после отделения сексуальной деятельности от приема пищи остается еще значительная часть, подготовляющая выбор объекта, т. е. помогающая вернуть утерянное счастье. В течение всего латентного периода ребенок научается любить других лиц, помогающих ему в его беспомощности и удовлетворяющих его потребности, совершенно по образцу его младенческих отношений к кормилице, как бы продолжая эти отношения. Может быть, не согласятся отождествлять нежные чувства и оценку ребенка, которые он проявляет к своим нянькам, с половой любовью; но я полагаю, однако, что более точное психологическое исследование докажет, что тождественность тех и других чувств не подлежит никакому сомнению. Общение ребенка со своими няньками составляет для него беспрерывный источник сексуального возбуждения и удовлетворения через эрогенные зоны, тем более, что эта нянька — обыкновенно это бывает мать — сама питает к ребенку чувства, исходящие из области ее сексуальной жизни, она ласкает, целует и укачивает его и относится к нему совершенно ясно, как к полноценному сексуальному объекту[2]. Мать, вероятно, испугалась бы, если бы ей разъяснили, что она будит всеми своими нежностями сексуальное влечение ребенка и подготовляет будущую интенсивность этого влечения. Она считает свои действия проявле-

---

[1] Психоанализ показывает, что имеются два пути нахождения объекта: во-первых, описанный в тексте, который совершается, опираясь на прообраз раннего детства, и, во-вторых, нарциссический, который ищет собственное «я» и находит его в другом. Этот последний имеет особенно большое значение для исхода процесса, но не имеет прямой связи с обсуждаемой здесь темой.

[2] Тем, кому эти взгляды покажутся «кощунством», пусть прочтут разбор отношений между матерью и ребенком у Havelock Ellis'a, почти совпадающий по своему смыслу с нашими.

нием асексуальной «чистой» любви, так как она тщательно избегает вызывать в гениталиях ребенка больше возбуждения, чем это необходимо при уходе за ребенком. Но половое влечение, как нам уже известно, можно разбудить не только возбуждая генитальную зону; то, что мы называем нежностью, в один прекрасный день непременно окажет свое влияние на генитальную зону. Если бы мать лучше понимала, какое большое значение имеют влечения для всей душевной жизни, для всех этических и психических проявлений, то она и после того, как узнала все это, все же чувствовала бы себя свободной от упреков. Она выполняет только свой долг, когда учит ребенка любить: пусть он станет дельным человеком с энергичной сексуальной потребностью и пусть совершит в своей жизни все то, на что толкает это влечение человека. Слишком много родительской нежности может стать, разумеется, вредным, так как ускоряет половую зрелость, а также и потому, что делает ребенка «избалованным», неспособным в дальнейшей жизни временно отказаться от любви или удовлетвориться меньшим количеством ее. Одним из несомненнейших признаков будущей нервозности является то, что ребенок оказывается ненасытным в своем требовании родительской нежности; а с другой стороны, именно невропатические родители, склонные по большей части к чрезмерной нежности, скорее всего будят своими ласками предрасположение ребенка к невротическому заболеванию. Из этого примера видно, впрочем, что у невротических родителей имеются еще более прямые пути, чтобы передать свою болезнь детям, чем по наследственности.

Инфантильный страх

Сами дети с ранних лет ведут себя так, как будто их привязанность к няне по природе своей сексуальная любовь. Страх детей первоначально является только выражением того, что им не хватает любимого человека; поэтому они встречают всякого постороннего человека со страхом; они боятся темноты, потому что в темноте не видно любимого человека, и успокаиваются, если могут держать в темноте руку этого лица. Переоценивают значение всех детских испугов или жутких сказок нянек, когда обвиняют их в том, что они вызывают боязливость детей. Дети, склонные к страхам, вос-

принимают только такие сказки, которые на других детей не производят никакого впечатления, а к страхам склонны дети с очень сильным или преждевременно развитым, или благодаря изнеженности ставшим слишком требовательным сексуальным влечением. Дитя ведет себя при этом как взрослый, превращая свое либидо в страх, когда он не в состоянии найти удовлетворение, и взрослый зато, став благодаря неудовлетворенному либидо невротичным, ведет себя в своем страхе, как ребенок, начинает бояться, оставаясь один, т. е. без лица, в любви которого он уверен, и этот свой страх старается успокоить детскими мероприятиями[1].

Ограничение инцеста

Если нежность родителей к ребенку счастливо избегла того, чтобы так сильно разбудить преждевременно, т. е. до наступления соответствующих телесных условий периода половой зрелости, сексуальное влечение ребенка, что душевные возбуждения явным образом прорываются к генитальной системе, — то она исполнила свою задачу руководства этим ребенком в зрелости при выборе сексуального объекта. Понятно, ребенку легче всего было избрать своим сексуальным объектом тех лиц, которых он любит с детства, так сказать, притупленным либидо[2]. Но благодаря отсрочке сексуального созревания получилось достаточно времени, чтобы наряду с другими сексуальными задержками воздвигнуть ограничение инцеста, впитать в себя те нравственные предписа-

---

[1] Объяснением о происхождении детского страха я обязан 3-летнему мальчику; однажды я слышал, как он из темной комнаты просил: «Тетя, говори со мной: я боюсь, потому что так темно». Тетка ответила ему: «Что тебе с того? Ведь ты меня не видишь». — «Это ничего не значит, — ответил ребенок, — когда кто-нибудь говорит, то становится светло». Он боялся, следовательно, не темноты, а потому что ему не хватало любимого человека, и мог обещать, что успокоится, как только получит доказательство его присутствия. Тот факт, что невротический страх происходит из либидо, представляет собой продукт превращения его, относится, следовательно, к либидо, как уксус к вину, является одним из самых значительных результатов психоаналитического исследования. Дальнейшее обсуждение этой проблемы см. в моих лекциях «Введение в психоанализ», где, однако, все же не дано окончательного объяснения.

[2] Ср. сказанное о выборе объекта у ребенка: «нежное течение».

ния, которые совершенно исключают при выборе объекта любимых с детства лиц кровных родственников. Соблюдение этого ограничения является прежде всего культурным требованием общества, которое должно бороться против поглощения семьей всех интересов, нужных ему для создания более высоких социальных единиц, поэтому общество всеми средствами добивается того, чтобы расшатать у каждого в отдельности, особенно у юношей, связь с семьей, имеющую только в детстве решающее значение[1].

Но выбор объекта производится сперва в представлении, и половая жизнь созревающего юношества может изживаться только в фантазии, т. е. в представлениях, которые никогда не должны осуществиться[2]. В этих фантазиях у всех людей снова проявляются инфантильные склонности, теперь усиленные соматическим подчеркиванием; среди этих фантазий, закономерно и

[1] Ограничение инцеста принадлежит, вероятно, к историческим завоеваниям человечества и, подобно другим нравственным требованиям табу, зафиксировано у многих индивидов органическим унаследованием (Ср. мое сочинение «Тотем и табу», 1913). Все же психоаналитическое исследование показывает, как интенсивно еще каждый в отдельности в периоде своего развития борется с искушениями инцеста и как часто поддается им в своей фантазии и даже в действительности.

[2] Фантазии в период полового созревания имеют связь с прекращенным в детстве инфантильным сексуальным исследованием и захватывают еще часть латентного периода. Они могут быть совсем, или по большей части, бессознательными, и поэтому часто невозможно точно установить сроки их появления. Они имеют большое значение для возникновения разных симптомов, так как являются непосредственной предварительной ступенью их, т. е. представляют собой те формы, в которых находят свое удовлетворение вытесненные компоненты либидо. То же самое представляет собой то, что лежит в основе ночных фантазий, достигающих сознания, как сновидение. Сновидения часто представляют собой только воскресшие фантазии такого рода под влиянием и в связи с каким-нибудь дневным раздражением, застрявшим из состояния бодрствования («дневные остатки»). Среди сексуальных фантазий периода половой зрелости выделяются некоторые, отличающиеся тем, что всеобще распространены и отличаются большой независимостью от индивидуальных переживаний отдельного человека. Таковы фантазии о подслушивании полового общения родителей, о соблазне в раннем детстве любимым лицом, об угрозах кастрацией, фантазии о пребывании в утробе матери и даже о переживаниях в материнском чреве и так называемый «фамильный роман», в котором подрастающий юноша реагирует на различие его направленности к родителям в настоящее время и в детстве. Близкое отношение этих фантазий к мифу доказал O. Rank в своем труде: «Миф о рождении героев», 1909.

часто повторяясь, на первом месте находится дифференцированное уже благодаря половому притяжению сексуальное стремление ребенка к родителям, сына к матери, и дочери к отцу[1]. Одновременно с преодолением и оставлением этих ясных инцестуозных фантазий совершается одна из самых значительных и самых болезненных психических работ периода полового созревания, освобождение от авторитета родителей, благодаря которому создается столь важное для культурного процесса — противоположность нового и старого поколения. На каждой из остановок на пути развития, который предстоит совершить отдельными индивидами, некоторое число их застревает, и таким образом имеются также лица, которые никогда не смогли освободиться от авторитета родителей и оторвать от них свою нежность совсем или отчасти. В большинстве случаев это девушки, которые, к радости родителей, сохраняют полностью свою детскую любовь далеко за период созревания, и тут очень поучительно наблюдать, что в последующем браке у этих девушек не хватает возможности дарить своим мужьям то, что им следует. Они становятся холодными женами и остаются анэстетичными в сексуальных отношениях. Отсюда ясно, что как будто несексуальная любовь к родителям и половая любовь питаются из того же источника, т. е. первая соответствует инфантильной фиксации либидо[2].

Чем больше приближаешься к глубоким нарушениям психосексуального развития, тем очевиднее становится значение инцестуозного выбора объекта. У психоневротиков вследствие отрицательного отношения к сексуальности значительная часть или вся психосексуальная деятельность, направленная на нахождение объекта, остается в бессознательном. Для девушек с очень большой

---

[1] Правильно утверждают, что Эдиповский комплекс составляет комплексное ядро неврозов, представляя собой существенную часть содержания их. В нем завершается инфантильная сексуальность, оказывающая решающее влияние своим действием на сексуальность взрослых. Каждому новорожденному предстоит задача одолеть Эдиповский комплекс; кто не в состоянии это сделать, заболевает неврозом. Успех психоаналитической работы все более показывает это значение Эдиповского комплекса: признание его стало тем Шиболет (пароль), по которому можно отличить сторонников психоанализа от его противников.

[2] Ср. сказанное о неизбежном роке в сказании об Эдипе, («Толкование сновидений»).

потребностью в нежности и с таким же ужасом перед реальными требованиями сексуальной жизни непреодолимым искушением становится, с одной стороны, желание осуществить в жизни идеал сексуальной любви, а с другой стороны, скрыть свое либидо под нежностью, которую они могут проявлять без самоупреков, сохраняя на всю жизнь инфантильную, освеженную в период наступления половой зрелости склонность к родителям или братьям и сестрам. Психоанализ легко может доказать, что такие лица в обычном смысле слова влюблены в своих кровных родственников, скрывая при помощи симптомов и других проявлений болезни их бессознательные мысли и переводя их в сознание. Даже в тех случаях, когда человек, бывший прежде здоровым, заболел после несчастно пережитой любви, можно с несомненностью открыть, что механизм этого заболевания состоит в возвращении его либидо к предпочитаемым в детстве лицам.

Влияние инфантильного выбора объекта

Так же и тот, кто счастливо избежал инцестуозной фиксации своего либидо, все же не свободен совершенно от ее влияния. Явным отзвуком этой фазы развития является серьезная влюбленность молодого человека, как это часто бывает, в зрелую женщину, или девушки в немолодого, обладающего авторитетом мужчину, которые могут оживить у них образ матери и отца[1]. Под более отдаленным влиянием этих прообразов происходит вообще выбор объекта. Особенно мужчина ищет объекта под влиянием воспоминания о матери, поскольку они владеют им с самого раннего детства; в полном согласии с этим, если мать жива, она противится этому обновлению и враждебно встречает его. При таком значении детских отношений к родителям для выбора объекта в будущем, легко понять, что всякое нарушение этих детских отношений имеет самые тяжелые последствия для сексуальной жизни в этом возрасте; и ревность любящих всегда имеет инфантильные корни или, по крайней мере, усиления из инфантильных переживаний. Раздоры между самими родителями, несчастный брак

[1] См. далее ст.: «Об особом типе «выбора объекта» у мужчины».

ия, обусловливает самое тяжелое предрасположение к нарушению сексуального развития или невротического заболевания детей.

Инфантильная склонность к родителям является, пожалуй, самым важным, но не единственным из следов, которые, будучи освеженными при половом созревании, указывают путь выбору объекта. Другие зачатки того же происхождения позволяют мужчине, все еще основываясь на переживаниях детства, направить свой выбор больше, чем только в один сексуальный ряд и создать совершенно различные условия для выбора объекта[1].

Предупреждение инверзии

Возникающая при выборе объекта задача состоит в том, чтобы не упустить противоположный пол. Она, как известно, разрешается не без некоторого нащупывания. Первые душевные движения после наступления половой зрелости часто — без особого, впрочем, вреда — бывают ложны. Dessoir вполне правильно обратил внимание на закономерность мечтательной дружбы юношей и молодых девушек с лицами одинакового пола и возраста. Самую большую силу, препятствующую тому, чтобы инверзия сексуального объекта осталась навсегда, составляет несомненно та притягательная сила, которую оказывают друг на друга противоположные половые признаки; для объяснения этого в нашем изложении ничего не может быть указано. Но фактор этот сам по себе недостаточен для того, чтобы исключить инверзию; к нему присоединяются еще другие моменты. Прежде всего сдерживающий авторитет общества; там, где инверзия не рассматривается как преступление, можно убедиться, что она вполне соответствует сексуальным склонностям многих индивидов. Далее, относительно мужчины можно допустить, что детские воспоминания о нежности матери и других женских лиц, попечению которых он в детстве был предоставлен, энергично содействуют тому, чтобы направить его выбор на женщину, между тем как испытанное со стороны отца в

[1] Бесчисленные особенности любовной жизни человека и навязчивость самой влюбленности можно вообще понять, только установив их отношение к детству и сохранившееся влияние этого детства.

детстве сексуальное запугивание и положение соперника с ним отвлекают от одинакового с ним пола. Но оба момента имеют, однако, силу и для девушки, сексуальная деятельность которой находится под особой опекой матери. Таким образом создается враждебное отношение к своему собственному полу, которое оказывает решительное влияние на выбор объекта в смысле, считающемся нормальным. Воспитание мальчиков мужчинами (рабами древнего мира), по-видимому, способствовало гомосексуальности; несколько более понятной становится частота инверзии у современной знати, благодаря услугам мужской прислуги и благодаря меньшим личным заботам матерей о детях. У некоторых истеричных происходит так, что благодаря отсутствию в раннем детстве одного из родителей (смерть, развод, отчуждение), после чего оставшийся привлекает к себе всю любовь ребенка, создается условие, предрешающее пол выбираемого позже в сексуальные объекты лица и вместе с тем и возможность постоянной инверзии.

Резюме

Теперь будет своевременным попытаться резюмировать вышеизложенное. Мы исходили из уклонений полового влечения в отношении объекта и цели его и встретились с вопросом, являются ли эти уклонения вследствие врожденного предрасположения или жизненных влияний. Ответ на этот вопрос вытекает из нашего взгляда на условия проявления полового влечения у психоневротиков, многочисленной и не далеко отстоящей от здоровых группы людей — взгляда, основанного на психоаналитическом исследовании. Мы нашли таким образом, что у этих лиц можно доказать склонность ко всем перверзиям как бессознательную силу, проявляющуюся в образовании симптомов, и могли сказать, что невроз представляет собой как бы негатив перверзии. Ввиду известного нам теперь большого распространения склонности к перверзии, мы вынуждены встать на ту точку зрения, что предрасположение к перверзии составляет общее первоначальное предрасположение полового влечения человека, из которого в течение периода созревания развивается нормальное сексуальное поведение, вследствие органических изменений и психических задержек. Мы надеемся, что сможем доказать первона-

чальное предрасположение в детском возрасте, среди сил, ограждающих направление сексуального влечения, мы подчеркиваем стыд, отвращение, сострадание и социальные конструкции морали и авторитета. Таким образом, в каждом зафиксированном отклонении от нормальной сексуальной жизни мы должны были увидеть задержку в развитии и инфантилизм. Значение вариаций первоначального предрасположения мы должны были выдвинуть на первый план, а между ними и жизненными влияниями допустить соотношения кооперации, а не противоположности. С другой стороны, нам казалось, что так как первоначальное предрасположение должно было быть комплексным, то само половое влечение представлялось нам чем-то, состоящим из многих факторов, как бы распадающимся в перверзиях на свои компоненты. Таким образом, перверзии казались нам, с одной стороны, задержками, с другой стороны — диссоциациями нормального развития. Оба взгляда сливались в предположении, что половое влечение взрослого образуется благодаря соединению многих душевных движений детской жизни в одно единство, одно стремление с одной-единственной целью.

Мы прибавили еще объяснение преобладания перверзных наклонностей у психоневротиков, смотря на них, как на коллатеральное накопление побочных путей при преграждении главного русла течения благодаря «вытеснению», и затем обратились к рассмотрению сексуальной жизни ребенка[1].

Мы высказали сожаление по поводу того, что детскому возрасту отказывали в сексуальном влечении, и что часто наблюдаемые сексуальные проявления ребенка описывали как исключительные явления. Нам казалось, что ребенок приносит с собой на свет зародыши сексуальной деятельности и уже при приеме пищи получает сексуальное удовлетворение, которое старается постоянно снова испытать посредством хорошо известных актов «сосания». Но сексуальная деятельность ребенка

[1] Это относится не только к возникающим в неврозе «негативу» склонностей к перверзии, но также и к положительным, называемым собственно перверзиями. Эти последние объясняются, следовательно, не только фиксацией инфантильных наклонностей, но и регрессией к ним вследствие преграждения других путей сексуального течения. Поэтому и положительные перверзии доступны психоаналитической терапии.

развивается не наравне с другими его функциями, а регрессирует после короткого периода расцвета, от 2 до 5 лет, во время так называемого латентного периода. Продукция сексуального возбуждения в это время не прекращается, а продолжается и дает запас энергии, которая большей частью употребляется на другие не сексуальные цели, а именно, с одной стороны, на присоединение сексуальных компонентов к социальным чувствам, с другой стороны (при помощи вытеснения и реактивного образования), на создание позднейшего сексуального ограничения. Таким образом, силы, предназначенные для того, чтобы сдержать сексуальное влечение в определенных границах, созидаются в детском возрасте за счет по большей части перверзных сексуальных переживаний и при помощи воспитания. Другая часть инфантильных сексуальных переживаний не находит такого применения и может выразиться как сексуальная деятельность. В таком случае можно узнать, что сексуальное возбуждение ребенка исходит из различных источников. Прежде всего возникает удовлетворение благодаря соответствующему чувствительному возбуждению так называемых эрогенных зон, в качестве которых может функционировать, вероятно, любое место на коже и любой орган чувств, по всей вероятности, любой орган, между тем как существуют известные замечательные эрогенные зоны, возбуждение которых благодаря определенным органическим механизмам обеспечено с самого начала. Далее возникает сексуальное возбуждение как побочный продукт при целом ряде процессов в организме, как только они достигают определенной интенсивности, особенно при всяких сильных душевных потрясениях, хотя бы мучительных по своей природе. Возбуждения из всех этих источников еще не объединяются, а только преследуют каждое в отдельности свою цель, состоящую только в испытании определенного наслаждения. Половое влечение, следовательно, в детстве несконцентрировано и сначала не имеет объекта, автоэротично.

Еще во время детства начинает выделяться эрогенная зона гениталий — или таким образом, что, как всякая другая зона, дает удовлетворение при соответствующем чувствительном раздражении, или благодаря тому, что, не совсем понятным образом, вместе с удовлетворением из других источников одновременно вызывается

сексуальное возбуждение, становящееся в особые отношения к генитальной зоне. Нам приходится пожалеть, что не удалось достаточно выяснить отношение между сексуальным удовлетворением и сексуальным возбуждением так же, как между деятельностью генитальной зоны и другими источниками сексуальности.

Благодаря изучению невротических страданий мы заметили, что в детской сексуальной жизни с самого начала наблюдаются зачатки организации сексуальных компонентов влечений. В первой очень ранней стадии на первом плане находится оральная (ротовая) эротика; вторая из этих прегенитальных организаций характеризуется преобладанием садизма и анальной эротики, только в третьей фазе сексуальная жизнь предопределяется участием собственно генитальной зоны.

Как один из самых неожиданных результатов, мы должны были установить, что этот ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни (два—пять лет) включает в себя также и выбор объекта со всей его богатой душевной деятельностью, так что связанную с ним соответствующую ему фазу, несмотря на недостаточное объединение отдельных компонентов влечения и на неуверенность сексуальной цели, приходится считать самым значительным предтечей позднейшей сексуальной организации.

Факт двукратного начала сексуального развития у человека, т. е. перерыв этого развития благодаря латентному периоду, казался нам достойным особого внимания. В нем, по-видимому, заключается условие способности человека к развитию высшей культуры, но также и его склонности к неврозу. У родственных человеку животных, насколько мы знаем, нельзя доказать ничего аналогичного. Источник происхождения этой человеческой особенности следовало бы искать в древнейшей истории человеческого рода.

В каком размере сексуальная деятельность в детском возрасте может считаться нормальной; не вредной для дальнейшего развития, — этого мы сказать не могли. Характер сексуальных проявлений оказался мастурбаторным. Далее опыт показал нам, что внешнее влияние соблазна может привести к преждевременному нарушению латентного времени до прекращения его, и что при этом половое влечение ребенка оказывается фак-

тически полиморфно-перверзным: далее, что всякая подобная ранняя сексуальная деятельность понижает способность ребенка поддаваться воспитанию.

Несмотря на неполноту наших знаний о детской сексуальной жизни, мы должны были сделать попытку изучить изменения ее, вызванные наступлением половой зрелости. Мы выбрали из них два изменения, как имеющие наибольшее значение: подчинение всех других источников сексуального возбуждения примату генитальной зоны и процесс выбора объекта. Оба имеют прообразы уже в детской жизни. Первое изменение происходит благодаря механизму использования предварительного наслаждения, причем обычно самостоятельные сексуальные акты, связанные с наслаждением и возбуждением, становятся подготовительными актами для новой сексуальной цели; опорожнение половых продуктов, достижение которого при огромном наслаждении приводит к концу сексуальное возбуждение. При этом нам нужно было принимать во внимание дифференциацию полового существа на мужчину и женщину, и мы нашли, что для того, чтобы превратиться в женщину, нужно проделать новое вытеснение, уничтожающее известную часть инфантильной мужественности и подготовляющее женщину к перемене, руководящей генитальной зоной. Наконец, мы нашли, что выбором объекта руководят намечающаяся в инфантильном возрасте, обновленная при наступлении половой зрелости сексуальная склонность ребенка к его родителям и нянькам и благодаря возникшему тем временем инцестуозному ограничению направленная с этих лиц на сходных с ними. Прибавим еще, наконец, что во время переходного периода наступления половой зрелости, некоторое время соматические и психические процессы развития протекают параллельно, не связанные пока с прорывом интенсивного, душевного, любовного движения к интервации гениталий, возникает требуемое нормальное единство любовной функции.

Нарушающие развитие моменты

Всякий шаг на этом длинном пути развития может привести к месту фиксации, всякая спайка этого запутанного сочетания может стать поводом к диссоциации полового влечения, как мы уже выяснили на раз-

личных примерах. Нам остается еще дать обзор различных, мешающих развитию внутренних и внешних моментов, и прибавить, в каком месте механизма возникает вызванное ими нарушение. То, что мы тут ставим в один ряд, может, разумеется, быть неравноценным, и мы должны считаться с трудностями при установлении соответствующего значения отдельных моментов.

Конституция и наследственность

На первом месте тут можно назвать врожденное различие сексуальной конституции, которое имеет, вероятно, решающее значение, но о которой, как понятно, можно заключить только по ее поздним проявлениям, да и то не всегда с большой уверенностью. Под этим различием мы представляем себе преобладание того или другого из разнообразных источников сексуального возбуждения и полагаем, что подобное различие врожденного предрасположения во всяком случае должно найти себе выражение в конечном результате, даже если оно может оставаться в пределах нормального. Разумеется, мыслимы и такие вариации первоначального врожденного предрасположения, которые по необходимости и без посторонней помощи должны привести к образованию ненормальной сексуальной жизни. Их можно назвать «дегенеративными» и смотреть на них, как на выражение унаследованного ухудшения. В связи с этим должен указать на замечательный факт. Больше чем у половины подвергнутых мною психотерапевтическому лечению тяжелых случаев истерии, невроза навязчивости и т. д. мне с несомненностью удалось доказать сифилис у отцов до брака, — будь то tabes или прогрессивный паралич, будь то другое какое-нибудь анамнестически установленное люэтическое заболевание. Определенно подчеркиваю, что невротические впоследствии дети не имеют никаких телесных признаков lues'a, так что ненормальную сексуальную конституцию нужно рассматривать как последний отпрыск люэтического наследства. Как я ни далек от того, чтобы считать происхождение от сифилитических родителей постоянным или необходимым этиологическим условием невропатической конституции, я все же считаю наблюдаемое мною

совпадение не случайным и не лишенным значения.

Наследственные условия положительно перверзных не так хорошо известны, потому что такие люди умеют укрываться от дачи сведений; все же есть основание полагать, что при перверзиях имеет значение то же, что и при неврозах. Нередко находят в тех же семьях перверзию и психоневроз распределенными между представителями различного пола таким образом, что мужские представители семьи, или один из них, положительно перверзны, а женские — соответственно склонности к вытеснению их пола — отрицательно перверзны, истеричны, — хорошее доказательство найденной нами существенной связи между обоими нарушениями.

Дальнейшая переработка

Однако нельзя стоять на той точке зрения, будто одни только зачатки различных компонентов сексуальной конституции предрешают формы сексуальной жизни. Существуют зависимости и от других причин, и дальнейшие возможности возникают в зависимости от судьбы, которую испытывают сексуальные течения, исходящие из отдельных источников. Эта *дальнейшая переработка* является, очевидно, окончательно решающей, между тем как, судя по описанию, одинаковая конституция может привести к трем различным конечным исходам. Если сохраняются все врожденные предрасположения в их относительном взаимоотношении, считающемся ненормальным, и укрепляются с наступлением зрелости, то в результате может быть перверзная сексуальная жизнь. Анализ таких ненормальных конституциональных предрасположений еще недостаточно разработан, но все же нам уже известны случаи, которые легко объясняются подобными предрасположениями. Авторы думают, например, о целом ряде фиксационных перверзий, что необходимым условием их является врожденная слабость сексуального влечения. В такой форме это положение мне кажется неправильным, но оно приобретает смысл, если имеется в виду конституциональная слабость одного фактора сексуального влечения генитальной зоны, каковая впоследствии берет на себя функцию объединения отдельных сексуальных действий в целях продол-

жения рода. Это необходимое с наступлением половой зрелости объединение должно в таком случае не удаться, и самый сильный из остальных компонентов проявит свою деятельность как перверзия[1].

Вытеснение

Другой результат получается тогда, когда в течение развития некоторые из особенно сильных врожденных компонентов подвергаются процессу **вытеснения**, о котором нужно помнить, что он представляет собой не то же самое, что полное прекращение. Соответствующие возбуждения вызываются при этом обычным образом, но благодаря психической задержке они не допускаются к достижению своей цели и оттесняются на различные другие пути, пока не проявятся как симптомы. В результате может получиться приблизительно нормальная половая жизнь — по большей части ограниченная,—но дополненная психоневротической болезнью. Как раз с такими случаями мы хорошо познакомились благодаря психоаналитическому исследованию невротиков. Сексуальная жизнь таких лиц началась так же, как жизнь перверзных, значительная часть их детства заполняется перверзной сексуальной их деятельностью, которая иногда простирается далеко за период наступления зрелости, затем по внутренним причинам — по большей части еще до наступления половой зрелости, а в иных случаях даже гораздо позже, — происходит поворот вытеснения, и с этого момента вместо перверзии появляется невроз, хотя старые душевные движения не исчезают. Припоминается поговорка «в молодости гуляка, в старости монах», только молодость проходит здесь очень быстро. Эта смена перверзии неврозом в жизни того же лица должна быть так же, как и упомянутое прежде распределение перверзии и невроза между различными лицами той же семьи, приведена в связь с положением, что невроз представляет собой негатив перверзии.

---

[1] При этом часто видишь, что с наступлением половой зрелости сперва проходит нормальное сексуальное течение, которое, однако, вследствие своей внутренней слабости терпит крушение при первых внешних препятствиях и сменяется регрессией к перверзной фиксации.

Сублимирование

Третий исход при ненормальном конституциональном предрасположении становится возможным благодаря процессу «сублимирования», при котором исключительно сильным возбуждениям, исходящим из отдельных источников сексуальности, открывается выход и применение в других областях, так что получается значительное повышение психической работоспособности из опасного самого по себе предрасположения. Один из источников художественного творчества можно найти здесь, и в зависимости от того, полное ли или неполное это сублимирование, анализ характера высоко одаренных, особенно имеющих способности к художественному творчеству лиц, откроет различную смесь работоспособности, перверзии и невроза. Особым видом сублимирования является подавление посредством реактивного образования, которое, как мы нашли, начинается уже в латентном периоде ребенка с тем, чтобы в благоприятном случае длиться в течение всей жизни. То, что мы называем «характером» человека, создано в значительной степени из материала сексуальных возбуждений и составляется из фиксированных с детства влечений, из приобретенных благодаря сублимированию и из таких конструкций, которые имеют своим назначением энергичное подавление перверзных, признанных недопустимыми душевных движений[1]. Таким образом, общее перверзное сексуальное предрасположение детства может считаться источником наших добродетелей, поскольку оно дает толчок к развитию их посредством реакционных преобразований[2].

---

[1] За некоторыми чертами характера признана была даже связь с определенными эрогенными компонентами. Так, упрямство, скупость и любовь к порядку происходят из применения анальной эротики. Честолюбие предопределяется сильным уретрально-эротическим предрасположением.

[2] Такой знаток человеческой души, как Э. Золя, описывает в «La join de vivre» девушку, которая в радостном самопожертвовании отдает любимым лицам все, что имеет и на что имеет притязание, свое имущество и свои надежды без награды с их стороны. В детстве эта девушка находилась во власти ненасытной потребности в нежности, которая превращается в жестокость, когда в одном случае оказано было предпочтение другой.

Все прочие влияния по своему значению далеко уступают сексуальным проявлениям, порывам вытеснения и сублимирования, — причем внутренние условия последних процессов нам совершенно неизвестны. Кто причисляет вытеснение и сублимирование к конституциональным предрасположениям, рассматривая их как жизненные проявления этих предрасположений, тот имеет право утверждать, что конечная форма сексуальной жизни является прежде всего результатом врожденной конституции. Однако понимающий не будет оспаривать, что в такой совокупности факторов остается место и для модифицирующих влияний случайно пережитого в детстве и позже. Не так легко оценить влияние конституциональных и случайных факторов и их взаимоотношение. В теории всегда склонны переоценить значение первых; терапевтическая практика подчеркивает значительность последних. Никоим образом не следует забывать, что между обоими имеется отношение кооперации, а не исключение. Конституциональный момент должен ждать переживания, которое способствует его проявлению. Случайный момент нуждается в поддержке конституции, чтобы оказать действие. Для большинства случаев можно представить себе так называемый «дополнительный ряд», в котором понижающаяся интенсивность одного фактора выравнивается благодаря повышающейся интенсивности другого фактора; но нет никакого основания отрицать существование крайних случаев на концах ряда.

Если предоставить переживаниям раннего детства преимущественное положение среди акцидентальных моментов, то это еще больше соответствует психоаналитическому исследованию. Один этиологический ряд разлагается в таком случае на два, из которых один можно назвать предрасполагающим (dispositionel) и другой окончательным (definitif). В первом оказывают действие совместно конституция и случайные переживания детства в такой же мере, в какой во втором влияют предрасположение и травматическое переживание. Все вредящие сексуальному развитию моменты проявляют свое действие таким образом, что вызывают регрессию, возврат к прежней фазе развития.

Здесь мы продолжаем осуществлять поставленную себе задачу — перечислить все известные нам мотивы, имеющие влияние на сексуальное развитие, будь то действующие силы или только их проявления.

Преждевременная зрелость

Таким моментом является самопроизвольная сексуальная *преждевременная зрелость*, которую можно с несомненностью доказать в этиологии, по крайней мере, неврозов, хотя она одна сама по себе так же недостаточна, чтобы вызвать невроз, как и другие моменты. Она выражается в нарушении, сокращении или прекращении инфантильного латентного периода и становится причиной заболеваний, вызывая сексуальные проявления, которые, с одной стороны, благодаря не готовому состоянию сексуальных задержек, с другой стороны, вследствие неразвитой генитальной системы могут носить характер одних только перверзий. Эти наклонности к перверзии могут такими и остаться или же, после происшедшего вытеснения, стать творческими силами невротических симптомов; во всяком случае преждевременная сексуальная зрелость затрудняет желательную в дальнейшем возможность власти над сексуальным стремлением со стороны высших инстанций и повышает навязчивый характер, который и без того приобретают психические представители влечения. Часто ранняя сексуальная зрелость идет параллельно преждевременному интеллектуальному развитию; как таковая она встречается в истории детства самых значительных и способных индивидов; тогда она, по-видимому, не действует так патогенно, как в тех случаях, когда она появляется одна.

Временные моменты

Точно так же, как преждевременная зрелость, должны быть рассмотрены и другие моменты, которые можно объединить с преждевременной зрелостью как *временные* моменты. По-видимому, филогенетически предопределено, в каком порядке становятся активными те или другие влечения, и как долго они могут проявляться, пока не подвергнутся влиянию появившегося нового влечения или вытеснению. Однако

как в отношении этой временной последовательности, так и в отношении длительности активности влечений бывают, по-видимому, вариации, которые должны оказать влияние на результат этих процессов. Не может не иметь значения, проявляется ли какое-нибудь течение раньше или позже, чем противоположное ему течение, потому что влияние вытеснения нельзя устранить; временное изменение состава компонентов всегда влечет за собой изменение результата. С другой стороны, особенно интенсивно возникающие влечения часто протекают поразительно быстро, например, гетеросексуальная привязанность лиц, ставших впоследствии гомосексуальными. Возникающие в детском возрасте очень сильные стремления не оправдывают опасения, что они навсегда будут преобладать в характере взрослого; можно также рассчитывать, что они исчезнут, уступив место противоположным стремлениям. (Строгие господа недолго властвуют). Чем объясняется подобная временная спутанность процессов развития, мы не в состоянии указать даже в виде намека. Здесь открывается перспектива глубокого ряда биологических, может быть, и исторических проблем, к которым мы еще не приблизились на боевое расстояние.

Цепкость

Значение всех ранних сексуальных проявлений увеличивается благодаря психическому фактору неизвестного происхождения, который пока можно изобразить, разумеется, только временно, как психологический феномен. Я говорю о повышенной **цепкости** или способности к **фиксации** ранних впечатлений сексуальной жизни, которыми необходимо дополнить у будущих невротиков и у перверзных фактические данные, потому что такие же преждевременные сексуальные проявления не могут у других лиц запечатлеться так глубоко, чтобы навязчиво требовать повторения и предсказать сексуальному влечению его пути на всю жизнь. Объяснение этой цепкости кроется отчасти, может быть, в другом психическом моменте, от которого мы не можем отказаться для объяснения причин неврозов, а именно в перевесе недушевной жизни значения воспоминаний в сравнении со свежими впечатлениями. Этот момент, очевидно, зависит от интеллектуального разви-

тия и растет вместе с высотой личной культуры. В противоположность этому, дикаря характеризуют «как несчастное дитя момента»[1]. Вследствие противоположной зависимости, существующей между культурой и свободным сексуальным развитием, последствия которой можно проследить глубоко в складе нашей жизни, на низких ступенях культуры или общественности так маловажно, а на высоких имеет такое большое значение, как протекла сексуальная жизнь ребенка.

Фиксация

Только что упомянутые благоприятные психические моменты увеличивают значение случайно пережитых влияний детской сексуальности. Последние (в первую очередь соблазн со стороны других детей или взрослых) дают материал, который может при помощи первых зафиксировать и повлечь за собой стойкие нарушения. Значительная часть наблюдаемых позже отклонений от нормальной сексуальной жизни у невротиков и у перверзных с самого начала имеет своим основанием впечатления свободного будто бы от сексуальности периода детства. Причины, вызывающие эти отклонения, распределяются между предрасположением конституции, преждевременной зрелостью, способностью к повышенной цепкости и случайным возбуждением сексуального влечения благодаря постороннему влиянию.

Но неудовлетворительное заключение, к которому приводят эти исследования нарушений сексуальной жизни, состоит в том, что нам слишком мало известно о биологических процессах, в которых заключается сущность сексуальности, чтобы создать из наших отдельных взглядов теорию, достаточную для понимания нормального и патологического.

---

[1] Возможно, что повышение цепкости является также следствием особенно интенсивных соматических сексуальных проявлений в ранние годы.

О НАРЦИЗМЕ

1

Термин нарцизм заимствован нами из описанной P. Näcke в 1899 г. картины болезни. Термин этот применялся им для обозначения состояния, при котором человек относится к собственному телу как к сексуальному объекту, т. е. любуется им с чувством сексуального удовольствия, гладит его, ласкает до тех пор, пока не получает от этого полного удовлетворения. Такая форма проявления нарцизма представляет из себя извращение, захватывающее всю область сексуальной жизни данного лица, и вполне соответствует тем представлениям и предположениям, с которыми мы обычно приступаем к изучению всех извращений.

Психоаналитические наблюдения обнаружили, что отдельные черты нарцистического поведения наблюдаются, между прочим, у многих лиц, страдающих другими болезненными явлениями; так, например, по Sadger'у, у гомосексуальных лиц. В конце концов возникает предположение, что проявление либидо, заслуживающее название нарцизма, можно наблюдать в гораздо более широком объеме, и им должно быть уделено определенное место в нормальном сексуальном развитии человека.

Такие же предположения возникают в связи с трудностями, встречающимися во время психоаналитического лечения невротиков, так как оказывается, что такое нарцистическое поведение больных ограничивает возможность терапевтически влиять на них. Нарцизм в этом смысле не является перверзией, а либидинозным дополнением к эгоизму инстинкта самосохранения, известную долю которого с полным правом предполагают у каждого живого существа. С тех пор как сделана была попытка осветить психологию Dementia praecox (Kraepelin) или Schizophfrenia (Bleuler) с точки зрения теории либидо, явился новый важный повод заняться вопросом о первичном нормальном нарцизме. У таких больных, которых я предложил назвать парафрениками, наблюдаются две следующие основные характерные черты: бред величия и потеря интереса к окружающему миру (к лицам и предметам). Вследствие указанного изменения психики такие больные не подда-

ются воздействию психоанализа, и мы не можем добиться их излечения. Но необходимо более точно определить и выяснить признаки и особенности этого ухода парафреника от внешнего мира. Как у истерика, так и у невротика, страдающего навязчивыми состояниями, поскольку их болезнь отражается на их отношении к миру, нарушено нормальное отношение к реальности. Но анализ обнаруживает, что у таких больных тем не менее вовсе не утрачено эротическое отношение к людям и предметам, оно сохранено у них в области фантазии, т. е., с одной стороны, реальные объекты заменяются и смешиваются у них с воображаемыми образами, с другой стороны, они не делают никаких усилий для реального достижения своих целей, т. е. для действительного обладания объектами.

Только для этих состояний либидо и следует сохранить употребляемое Jung'ом без строгого различия выражение: интроверзия либидо. У парафреников дело обстоит иначе. У них, по-видимому, либидо совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего мира без всякой замены продуктами фантазии. Там, где такая замена как будто наблюдается, дело идет, по-видимому, о вторичном процессе, о попытке к самоизлечению, выражающейся в стремлении вернуть либидо объекту.

Возникает вопрос: какова же дальнейшая судьба либидо, отщепившегося при Schizophrenia от объектов? В этом отношении нам дает указание бред величия при этой болезни. Он образовался за счет либидо объектов. Либидо, оторвавшись от внешнего мира, обращается на собственное Я, и таким образом создается состояние, которое мы можем назвать нарцизмом. Но самый бред величия не является чем-то совершенно новым, а представляет из себя, как мы знаем, увеличение и выявление бывшего уже раньше состояния. Нарцизм парафреника, возникший вследствие перенесения либидо на собственное Я, является, таким образом, вторичным, появившимся на почве первичного, до того затемненного разнообразными влияниями.

Отмечу еще раз, что я не собираюсь разъяснять или углублять здесь проблему Schizophrenia, а делаю только сводку того, что уже говорилось в другом месте, чтобы доказать необходимость включения нарцизма в общую схему развития либидо.

Третьим источником такого, как мне кажется, вполне законченного дальнейшего развития теории либидо являются наши наблюдения над душевной жизнью примитивных народов и детей и наше понимание их психики. У примитивных народов мы наблюдаем черты, которые могли бы быть приняты за проявления бреда величия, если бы встречались лишь в единичных случаях. Сюда относится громадная переоценка примитивными народами могущества их желаний и душевных движений, «всемогущество мысли», вера в сверхъестественную силу слова, приемы воздействия на внешний мир, составляющие «магию» и производящие впечатление последовательного проведения в жизнь представлений о собственном величии и всемогуществе. Совершенно сходное отношение к внешнему миру мы предполагаем и у современного ребенка, развитие которого нам гораздо менее ясно. Таким образом у нас создается представление о том, что первично либидо концентрируется на собственном Я, а впоследствии часть его переносится на объекты; но по существу этот переход либидо на объекты не окончательный процесс, и оно все же продолжает относиться к охваченным им объектам, как тельце маленького протоплазматического существа относится к выпущенным им псевдоподиям. Мы, естественно, сначала не замечали этой доли либидо, так как исходили в нашем исследовании из невротических симптомов. Наше внимание приковали к себе только эманации этого либидо, его способность привязываться к внешним объектам и снова обращаться вовнутрь. Говоря в общих, более грубых чертах, мы видим известное противоречие между Я-либидо и объект-либидо. Чем больше расходуется и изживается одно, тем бедней переживаниями становится другое. Высшей фазой развития объект-либидо кажется нам состояние влюбленности, которое рисуется нам как отказ от собственной личности вследствие привязанности к объекту, и противоположность которого составляет фантазия (или внутреннее восприятие) параноика о гибели мира[1]. Наконец, что касается различных видов психической энергии, то мы полагаем, что сначала,

---

[1] Имеются два механизма этой гибели мира, один — когда все либидо переносится на любимый объект, другой — когда оно целиком возвращается к Я.

в состоянии нарцизма, оба вида энергии слиты воедино, и наш грубый анализ не в состоянии их различить, и только с наступлением привязанности к объектам является возможность отделить сексуальную энергию в виде либидо от энергии влечений Я.

Прежде чем продолжать, я должен коснуться еще двух вопросов, которые вводят нас в самую гущу всех трудностей этой темы. Во-первых: как относится нарцизм, о котором здесь идет речь, к автоэротизму, описанному нами как ранняя стадия либидо? Во-вторых: раз мы признаем, что либидо первично сосредотачивается на Я, то для чего вообще отличать сексуальную энергию влечений от несексуальной? Разве нельзя было бы устранить все трудности, вытекающие из отделения энергии влечений Я от Я-либидо и Я-либидо от объекта-либидо, если мы предположим одну единую психическую энергию? Относительно первого вопроса я намечу следующее совершенно неизбежное предположение, что единство личности Я не имеется с самого начала у индивида: ведь Я должно развиться, тогда как автоэротические влечения первичны; следовательно, к автоэротизму должно присоединиться еще кое-что, еще какие-то новые переживания для того, чтобы мог образоваться нарцизм.

Требование дать определенный ответ на второй вопрос должно вызвать у всякого психоаналитика определенно неприятное чувство. С одной стороны, стараешься не поддаться этому чувству, вызванному тем, что оставляешь область непосредственных наблюдений ради бесплодных теоретических споров, а с другой стороны, все же нельзя избежать необходимости хоть попытаться дать объяснение явлениям, с которыми сталкиваешься. Несомненно, представления вроде Я-либидо, энергия влечений и т. п. не отличаются ни особенной ясностью, ни богатством содержания; спекулятивная теория этих отношений исходила бы прежде всего из точного определения этих понятий. Однако, по моему мнению, в этом-то и заключается различие между спекулятивной теорией и наукой, которая создается посредством объяснения эмпирических данных. Последняя охотно уступает спекулятивному умозрению все преимущества гладкой, логически безупречной обоснованности и готова удовлетвориться туманными, едва уловимыми основными положениями, надеясь по

мере своего развития ясно их определить и, быть может, заменить их другими. Не эти идеи образуют ту основу, на которой зиждутся все построения нашей науки; такой основой является исключительно наблюдение. Идеи же эти составляют не самый нижний фундамент всего научного здания, а только верхушку, крышу его, и могут быть сняты и заменены другими без всякого вреда для целого. В последнее время мы переживали подобное явление в физике, основные воззрения которой о материи, центрах силы, притяжении и т. п. вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствующие положения в психоанализе.

Ценность понятий Я-либидо, объект-либидо заключается в том, что они возникли благодаря переработке самых детальных незначительных особенностей невротических и психотических процессов. Подразделение либидо на относящееся к Я и на связанное с объектами непосредственно вытекает из первого положения, отделяющего сексуальное влечение от влечений Я. Такое подразделение предписывается анализом чистых неврозов перенесения (истерии, навязчивых состояний), и я знаю только одно, — что все другие попытки объяснить эти феномены потерпели полную неудачу.

При полном отсутствии какого-либо учения о влечениях, дающего возможность ориентироваться в этом вопросе, вполне допустимо или, лучше, даже необходимо проверить какое-нибудь одно предположение, последовательно проводя его до тех пор, пока оно не окажется несостоятельным или не подтвердится вполне. В пользу предполагаемого первичного подразделения на сексуальные влечения и влечения Я говорит, помимо удобства такого подразделения для аналитического изучения «неврозов перенесения», еще и многое другое. Я согласен, что один этот момент мог бы допускать еще и другое объяснение, так как в таком случае дело шло бы об индифферентной психической энергии, становящейся либидо лишь благодаря акту привязанности к объекту. Но, во-первых, разделение этих понятий соответствует общепринятому подразделению первичных влечений на голод и любовь. Во-вторых, в пользу его говорят биологические соображения. Индивид действительно ведет двойное существование — как самоцель и как звено в цепи, которой он служит против или, во всяком случае, помимо собст-

венной воли. Даже сексуальность он принимает за нечто вполне соответствующее своим желаниям, между тем как, с другой точки зрения, сексуальность является только придатком к его зачаточной плазме, которому он отдает все свои силы в награду за наслаждение, являясь смертным носителем, быть может, бессмертной субстанции, подобно владельцу майоратного имущества, представляющему из себя только временного владельца переживающего его майоратного института. Подразделение на влечения Я и сексуальные влечения в таком случае явилось бы только выражением двойной функции индивида. В-третьих, необходимо помнить, что все временно нами допущенные психологические положения придется когда-нибудь перенести на почву их органической основы. Весьма вероятно, что тогда окажется, что особенные вещества и химические процессы выражаются в виде сексуальности, и через их посредство индивидуальная жизнь становится продолжением жизни рода. Мы считаемся с такой возможностью, подставляя вместо особых химических веществ соответствующие особые химические силы.

Именно потому, что я всегда стараюсь устранить из области психологии все чуждое ей, в том числе и биологическое мышление, я хочу в данном случае вполне определенно признать, что допущение отдельных влечений Я и сексуальных, т. е. теория либидо, меньше всего зиждется на психологических основах и по существу обоснована биологически. Я буду поэтому достаточно последовательным и откажусь от этого положения, если психологическая работа покажет, что по отношению к влечениям более удобно пользоваться другим предположением. До сих пор этого нет. Возможно, что сексуальная энергия либидо в глубочайшей основе своей и в конечном результате составляет только продукт дифференциации энергии, действующей вообще в психике. Но такого рода утверждение не имеет никакого значения. Оно относится к вещам, столь отдаленным от проблем, связанных с нашими наблюдениями, и имеет так мало фактического содержания в смысле положительных знаний, что с ним одинаково не приходится ни считаться, ни оспаривать его. Весьма возможно, что это первичное тождество энергии так же мало имеет общего с тем, что представляет для нас интерес с аналитической точки зрения, как первона-

чальное родство всех человеческих рас, — с требуемым властью доказательством родства с покойником, оставившим наследство, для утверждения в правах наследства. Все эти рассуждения ни к чему не приводят; так как мы не можем ждать, пока какая-нибудь другая научная дисциплина преподнесет нам стройное и законченное учение о влечениях, то для нас гораздо целесообразнее попытаться узнать, какой свет может пролить на эти основные биологические загадки синтез психологических феноменов. Примиримся с возможностью ошибки, и пусть это не удержит нас от того, чтобы последовательно проводить вышеупомянутое предположение о противоположности влечений Я и сексуальных, которое стало для нас неизбежным выводом из анализа неврозов перенесения; но посмотрим далее, сможем ли мы плодотворно развивать такие предположения, не впадая во внутренние противоречия, и удастся ли нам применить их и при других заболеваниях, например, при шизофрении.

Дело обстояло бы, разумеется, совершенно иначе, если бы было приведено доказательство, что теория либидо оказалась несостоятельной при Schizophrenia. C. G. Jung это утверждает, чем и принудил меня высказать все вышеизложенное, хотя я охотно воздержался бы от этого. Я предпочел бы молчаливо идти дальше той же дорогой, которую избрал в анализе случая Schreber'а, не касаясь тех основных положений, из которых я исходил. Но утверждение Jung'а, по меньшей мере, слишком поспешно. Приводимые им доказательства очень недостаточны. Сначала он ссылается на мое же собственное показание, утверждая, будто я сам почувствовал себя вынужденным ввиду трудностей анализа Schreber'а расширить понятие либидо, т. е. отказаться от его чисто сексуального значения и допустить полное отождествление либидо с психическим интересом вообще, Ferenzi в исчерпывающей критике работы Jung'а изложил уже все, что необходимо было для исправления такого неправильного толкования моих слов. Мне остается только согласиться с названным критиком и повторить, что я никогда и нигде не заявлял о таком отказе от теории либидо. Второй аргумент Jung'а, что трудно допустить, чтобы потеря нормальной функции реального могла быть обусловлена исключительно отщеплением ли-

бидо от своих объектов, представляет из себя не доказательство, а декрет; it begs the question, этот аргумент предрешает вопрос и делает всякое обсуждение его излишним, потому, что вся суть вопроса в том и заключается, что именно нужно доказать, возможно ли это, и если возможно, то каким образом. В следующей своей большой работе Jung близко подошел к намеченному мною уже давно решению вопроса: «При этом нужно еще во всяком случае принять во внимание — на что, впрочем, ссылается Freud в своей работе о Schreber'е, что интроверзия Libido sexualis ведет к концентрации его на Я, вследствие чего, может быть, и наступает потеря функции реальности. В самом деле, возможность объяснить таким образом психологию потери функции реальности очень соблазнительна». Но он не останавливается долго на этой возможности. Несколькими страницами ниже он отделывается от этого взгляда замечанием, что при таких условиях создалась бы психология аскетического анахорета, но не Dementia praecox. Как мало таким неподходящим сравнением можно разрешить вопрос, показывает соображение, что у такого анахорета, «стремящегося искоренить в себе всякий след сексуального интереса» (но только в популярном значении слова «сексуальный»), вовсе не должны непременно проявляться признаки патогенного приложения его либидо. Он может совершенно потерять сексуальный интерес к человеку, но сублимировать его, выказывая повышенный интерес к божественному, к природе, к животному миру, причем либидо его не подвергается интроверзии на область фантазии и не возвращается к Я. Такое сравнение, по-видимому, наперед не допускает возможности отличать интересы, исходящие из эротических источников, от всякого рода других интересов. Вспомним далее, что исследования швейцарской школы, при всех ее заслугах, объяснили только два пункта в картине Dementia praecox: существование при этой болезни тех же комплексов, какие встречаются и у здоровых людей и у невротиков, и сходство фантазий таких больных с народными мифами. Но, помимо этого, они не могли пролить света на механизм заболевания. А потому мы считаем неверным утверждение Jung'a, что теория либидо оказалась не в состоянии объяснить

Dementia praecox, вследствие чего она потеряла значение и по отношению к другим неврозам.

2

Непосредственное изучение нарцизма, как мне кажется, встречает особые препятствия. Основным подходом к такому изучению останется, пожалуй, анализ парафрении. Подобно тому, как «неврозы перенесения» (Uebertragungsneurosen) дали нам возможность проследить либидинозные проявления влечений, так изучение Dementia praecox и Paranoia позволит нам понять психологию Я. И опять мы должны будем составить себе представление о том, что кажется простым у нормального человека на основании изуродованного и преувеличенного в патологических случаях. Но нам все же открываются еще некоторые другие пути, ведущие к более близкому знакомству с нарцизмом, и их-то я хочу по порядку описать. Пути эти составляет изучение психологии больного органической болезнью, психологии ипохондрии и проявлений любовного чувства у обоих полов.

В оценке влияния органической болезни на распределение либидо я следую указаниям, полученным мною в беседе от S. Ferenczi. Как всем известно и кажется вполне понятным, человек, мучимый органической болью и неприятными ощущениями, теряет интерес к объектам внешнего мира, поскольку они не относятся к его страданиям. Более точное наблюдение показывает, что у него пропадает также и либидинозный интерес, он перестает любить, пока страдает. Банальность этого факта не должна нам помешать описать его, пользуясь терминологией теории либидо. Мы сказали бы в таком случае: больной сосредотачивает свое либидо на своем Я, отнимая его у объектов, с тем, чтоб по выздоровлении вернуть его им. W. Busch говорит о поэте, страдающем зубной болью: «Душа пребывает исключительно в тесной ямке бокового зуба». Либидо и интересы Я испытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их снова нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных берет верх над всеми интересами без исключения. Мы находим это вполне понятным, потому что прекрасно знаем, что, находясь сами в таком же положении, будем вести се-

бя так же. Исчезновение самого сильного любовного порыва вследствие телесных заболеваний и смена его полным равнодушием составляет тему, которая находит широкое применение в юмористической литературе.

Как болезнь, так и состояние сна связано с нарцистическим возвратом либидо к самому себе или, точнее говоря, к единственному желанию спать. В полном согласии с этим находится и эгоизм сновидений. В обоих случаях мы имеем дело не с чем другим, как с изменением распределения либидо вследствие изменения Я-комплексов.

Ипохондрия, как и органическая болезнь, выражается в мучительных болезненных физических ощущениях и влияет на распределение либидо совершенно так же, как физическое заболевание. У ипохондрика исчезает интерес, как и либидо, — последнее особенно ясно — по отношению к объектам внешнего мира, и оба концентрируются на занимающем его внимание органе. Различие между ними в одном: при органической болезни мучительные ощущения являются следствием физических изменений, которые можно объективно доказать, а при ипохондрии этого нет. Но, оставаясь верным общему духу нашего обычного понимания патологических процессов при неврозах, мы могли бы высказать взгляд, что известная доля правды имеется и в ипохондрических представлениях, что коекаких изменений в органах и при ипохондрии не может быть. В чем же могли бы состоять такие изменения? В этом случае нами должно руководить то наблюдение, что и при других неврозах имеются физические ощущения неприятного свойства, сходные с ипохондрическими. Я уже однажды проявил склонность присоединить ипохондрию как третий актуальный невроз к неврастении и неврозу страха. Не будет, вероятно, преувеличением, если я скажу, что и при других неврозах, как правило, развивается также и известная доля ипохондрии. Лучше всего это можно наблюдать при неврозе страха и при развившейся на его почве истерии. Гениталии в состоянии возбуждения представляют из себя образец такого болезненно-чувствительного, известным образом измененного, но в обычном смысле здорового органа. К ним направлен большой приток крови, они разбухли, пропитаны влагой

и являются источником разнообразных ощущений. Если мы назовем функцию какого-нибудь органа, состоящую в том, что из этого органа посылаются в психику сексуально возбуждающие раздражения, его эрогенностью, и если вспомним, что, по соображениям, вытекающим из сексуальной теории, мы уже давно усвоили себе то положение, что гениталии могут быть замещены другими частями тела, так называемыми эрогенными зонами, то нам остается в данном случае сделать еще только один шаг. Нам нужно решиться видеть в эрогенности общее свойство всех органов тела, и мы сможем тогда говорить о повышении или понижении этой эрогенности в том или другом месте организма. Параллельно с каждым таким изменением эрогенности в органах могла бы изменяться концентрация либидо на Я. В этих моментах мы должны искать первопричину ипохондрии, считая, что они могут иметь на распределение либидо такое же влияние, какое имеет органическое заболевание какого-нибудь органа.

Нетрудно заметить, что, следуя такому ходу мыслей, мы наталкиваемся на проблему не только ипохондрии, но и других актуальных неврозов, неврастении и невроза страха. Но ограничимся вышеизложенным и не будем переступать границы психологии при изучении чисто психологических явлений, углубляясь так далеко в область физиологического исследования. Достаточно только упомянуть, что, исходя из данной точки зрения, можно предположить, что ипохондрия находится в таком же отношении к парафрении, в каком другие актуальные неврозы находятся к истерии и неврозу навязчивости, т. е. зависят в такой же степени от Я-либидо, как те от объект-либидо, а ипохондрический страх находится в таком же взаимоотношении к Я-либидо, в каком невротический страх относится к объект-либидо. Далее, если мы уже усвоили себе взгляд, что механизм заболевания и симптомообразования при «неврозах перенесения», т. е. процесс развития от интроверзии к депрессии, необходимо связывать с накоплением и застоем либидо объектов, то мы должны также усвоить себе представление о накоплении в застое Я-либидо и привести его в связь с феноменами ипохондрии и парафрении.

Но тут мы должны будем задать себе другой ин-

тересный вопрос: почему такой застой либидо-Я ощущается как нечто весьма неприятное. Я ограничился бы ответом, что неудовольствие (Unlust) является выражением высшего напряжения, т. е. оно представляет из себя известную величину материального процесса, ведущего к накоплению внутреннего напряжения, воспринимаемого психически как чувство неприятного, неудовольствия. Решающим моментом в развитии чувства неудовольствия является, однако, не абсолютная величина этого материального процесса, а скорее известная функция этой абсолютной величины. Стоя на такой точке зрения, можно решиться подойти вплотную к вопросу, откуда вообще берется психологическая необходимость переступить границы нарцизма и сосредоточить свое либидо на объектах. Ответ, вытекающий из общего хода наших рассуждений, следующий: необходимость в этом наступает тогда, когда концентрация либидо на Я переходит определенную границу. Сильный эгоизм защищает от болезни, но, в конце концов, необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности своей лишаешься возможности любить. Это похоже приблизительно на то, как E. Heine изображает психогенезис сотворения мира:

«Болезнь, вероятно, была последней причиной
Всего стремления к творчеству:
Созидая, мог я выздороветь,
Созидая, стал я здоров».

Нам известно, что наш душевный аппарат в первую очередь является для нас орудием, при помощи которого мы справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимаемыми нами мучительно и грозящими оказать на нас патогенное влияние. Психическая переработка этих возбуждений достигает исключительного напряжения, чтобы направить по внутреннему душевному руслу те возбуждения, которые не способны найти себе непосредственный выход наружу, или для которых в данную минуту не желателен такой выход. Но для такой внутренней переработки сначала безразлично, производится ли она над реальными или воображаемыми объектами. Различие проявляется лишь позже, когда переход либидо на нереальные объекты (Introversio) ведет к застою его. Подобная же внут-

ричная переработка либидо, вернувшегося от объектов к Я, делает возможным развитие бреда величия при парафрении; весьма вероятно, что только после того, как проявляется несостоятельность этого бреда, концентрация либидо на Я становится патогенной и вызывает процесс, который в дальнейшем развитии своем наблюдается нами в форме болезни.

Теперь я попробую несколько углубиться в механизм парафрений и изложить некоторые взгляды, которые, как мне кажется, уже теперь заслуживают внимания. Различие между нарцистическими заболеваниями (парафрения, паранойя) и неврозами перенесения я вижу в том, что либидо, освободившись вследствие несостоятельности данного лица в жизненной борьбе, не останавливается на объектах фантазии[1], а возвращается к Я; бред величия в таком случае соответствует психическому преодолению этих масс либидо, т. е. интроверзии в область фантазии при «неврозах перенесения»; несостоятельность этой психической деятельности (бреда) ведет к развитию ипохондрии при парафрении, вполне гомологичной страху при «неврозах перенесения». Нам известно, что страх этот может смениться дальнейшими продуктами психической переработки в виде конверзий, «реактивных образований», защитных мер (фобий). При парафрении вместо всех этих процессов наступает попытка к самоизлечению, которая и вызывает все наблюдаемые нами явления болезни. Так как парафрения часто, — если не в большинстве случаев, — влечет за собой лишь частичный уход либидо от объектов, то в картине ее можно различить три группы явлений: 1) явления, связанные с сохранившейся нормальностью или неврозом (остаточные явления); 2) явления болезненного процесса (отход либидо от объектов, сюда же относятся бред величия, ипохондрия, аффективные нарушения, все регрессии); 3) явления самоизлечения, возвращающего либидо к объектам по образцу истерии (Dementia praecox, paraphrenia) или по образцу невроза навязчивости (paranoia). Этот возврат привязанности либидо исходит из другого уровня психики и протекает при совершенно других условиях, чем первичные привязан-

[1] Как это имеет место при «неврозах перенесения». — Примеч. пер.

ности. Различие между образовавшимися при таком вторичном возврате либидо к объектам «неврозами перенесения» и соответствующими картинами нормального Я — должно было бы раскрыть нам самое глубокое понимание структуры нашего душевного аппарата.

Третий подход к изучению нарцизма открывает нам любовная жизнь людей в ее различной дифференциации у мужчин и женщин. Подобно тому, как Я-либидо оказалось для нас сначала покрытым либидо-объектом, мы сначала заметили, что ребенок (и юноша) при выборе своих сексуальных объектов исходит из своих переживаний, связанных с удовлетворением основных потребностей влечений Я.

Первые автоэротические сексуальные удовлетворения переживаются в связи с важными для жизни, служащими самосохранению функциями. Сексуальные влечения сначала присоединяются к удовлетворению влечений Я и лишь впоследствии приобретают независимую от последних самостоятельность; это присоединение сказывается, однако, также и в том, что лица, которые кормят, ухаживают и оберегают ребенка, становятся первыми сексуальными объектами его, как-то мать или лицо, заменяющее ее.

Наряду с этим типом и этим источником выбора объекта, который можно назвать ищущим опоры типом, аналитическое исследование познакомило нас еще с одним типом, которого мы вовсе не ожидали встретить. Мы нашли — особенно ясно это наблюдается у лиц, у которых развитие либидо перетерпело некоторое нарушение, как, например, у извращенных и гомосексуальных, — что более поздний объект любви избирается этими лицами не по прообразу матери, а по их собственному. Они, очевидно, в объекте любви ищут самих себя, представляют из себя такой тип выбора объекта, который следует назвать н а р ц и с т и ч е с к и м. Это наблюдение и послужило самым решающим мотивом, побудившим нас выставить положение, что нарцизм составляет определенную стадию развития либидо.

Мы вовсе не пришли к решению, что все люди распадаются на две резко различные группы в зависимости от того, имеется ли у них нарцистический или опорный тип выбора объекта, а предпочитаем допустить, что каждому человеку открыты оба пути выбора объекта, и предпочтение может быть отдано тому или

другому. Мы говорим, что человек имеет первоначально два сексуальных объекта: самого себя и воспитывающую его женщину, и при этом допускаем у каждого человека первичный нарцизм, который иногда может занять доминирующее положение при выборе объекта.

Сравнение мужчины и женщины показывает, что по отношению к типу выбора объекта наблюдаются основные, хотя, разумеется, и не абсолютно закономерные различия. Глубокая любовь к объекту по опорному типу в сущности характерна для мужчины. В ней проявляется такая поразительная сексуальная переоценка объекта, которая, вероятно, происходит от первоначального нарцизма ребенка и выражает перенесение и этого нарцизма на сексуальный объект. Такая сексуальная переоценка делает возможным появление своеобразного состояния влюбленности, напоминающего невротическую навязчивость, которое объясняется отнятием либидо у Я в пользу объекта. Иначе происходит развитие у более частого, вероятно, более чистого и настоящего типа женщины. Вместе с юношеским развитием и формированием до того времени латентных женских половых органов наступает в этих случаях усиление первоначального нарцизма, неблагоприятно действующего на развитие настоящей, связанной с сексуальной переоценкой любви к объекту. Особенно в тех случаях, где развитие сопровождается расцветом красоты, вырабатывается самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные условия так урезали ее свободу в выборе объекта.

Строго говоря, такие женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой их любит мужчина. У них и нет потребности любить, а быть любимой, и они готовы удовлетвориться с мужчиной, отвечающим этому главному для них условию. Значение этого женского типа в любовной жизни людей нужно признать очень большим. Такие женщины больше всего привлекают мужчин не только по эстетическим мотивам, так как они обычно отличаются большой красотой, но также и вследствие интересной психологической констелляции. А именно нетрудно заметить, что нарцизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает тех людей другого типа, которые отказались от переживания своего нарцизма в полном его объеме и стремят-

ся к любви к объекту; прелесть ребенка заключается в значительной степени в его нарцизме, самодовольстве и недоступности так же, как и прелесть некоторых животных, которые производят впечатление, будто им все в мире безразлично, как, например, кошки и большие хищники, и даже великие преступники, и юмористы в поэзии захватывают нас благодаря той нарцистической последовательности, с которой они умеют отстранять от своего Я все их принижающее. Словно мы завидуем им за то, что они сохранили счастливое душевное состояние неуязвимой позиции либидо, от которой мы уже давно отказались. Но большая прелесть нарцистической женщины не лишена и оборотной стороны медали; добрая доля неудовлетворенности влюбленного мужчины, сомнения в любви женщины, жалобы на загадочность ее существа коренятся в этом несовпадении типов выбора объекта. Быть может, не лишне будет здесь подчеркнуть, что при описании любви у женщины я далек от какой-либо тенденции унизить женщину. Помимо того, что мне чужды вообще никакие бы то ни было тенденции, мне также известно, что такое развитие в различных направлениях дифференциации функций соответствует очень сложным биологическим отношениям; далее я готов допустить, что имеется много женщин, любящих по мужскому типу, и у них развивается и имеющаяся у такого типа сексуальная переоценка.

Но и для нарцистических, оставшихся холодными к мужчине, женщин остается открытым путь, ведущий их к настоящей любви к объекту. В ребенке, которого они родят, находят они как бы часть собственного тела в виде постороннего объекта, которому они могут подарить всю полноту любви к объекту, исходя из нарцизма. Другим женщинам не надо даже дожидаться ребенка, чтобы сделать в своем развитии шаг от (вторичного) нарцизма к любви к объекту. Сами же они до периода половой зрелости чувствовали себя как бы мальчиками, и некоторый период их развития отличался мужским характером; после того, как с наступлением женской зрелости такого рода проявления исчезли, у них сохраняется способность испытывать влечение к определенному мужскому идеалу, являющемуся в сущности продолжением того мальчишеского существа, каким они прежде были.

В заключение этих заметок приведем краткий обзор путей выбора объекта. Любишь:

I. По нарцистическому типу:
   a) то, что сам из себя представляешь (самого себя),
   b) то, чем прежде был,
   c) то, чем хотел бы быть,
   d) лицо, бывшее частью самого себя.

II. По опорному типу:
   a) вскармливающую женщину,
   b) защищающего мужчину

и весь ряд приходящих им в дальнейшем на смену лиц.

Случай первого типа может быть вполне разъяснен и оправдан только в дальнейшем изложении. Значение нарцистического объекта при гомосексуальности у мужчин должно определяться только в связи с другими вопросами.

Предполагаемый нами первичный нарцизм ребенка, составляющий одну из предпосылок нашей теории либидо, легче подтвердить путем заключения, исходя из другой точки зрения, чем опираясь на непосредственное наблюдение. Если обратить внимание на хорошее отношение нежных родителей к их детям, то нельзя не увидеть в нем возрождение и воскрешение собственного, давно оставленного нарцизма.

В области чувств, как известно, в этих отношениях всецело господствует та переоценка объекта, значение которой в качестве нарцистического признака мы уже вполне оценили. Так, например, имеется навязчивая потребность приписывать ребенку все совершенства, к чему при более трезвом отношении не было бы никакого основания, и скрывать и забывать все его недостатки, что именно и находится в связи с отрицанием детской сексуальности. Кроме того, обнаруживается стремление устранять с дороги ребенка все те уступки требованиям культуры, с которыми пришлось считаться собственному нарцизму родителей, и восстановить по отношению к ребенку требования на все преимущества, от которых сами родители давно уже вынуждены были отказаться. Пусть ребенку будет лучше, чем его родителям, он должен быть свободен от всех тех требований рока, власти которых родителям пришлось подчиниться. Ребенка не должна касаться ни болезнь, ни смерть, ни отказ от наслаждений, ни ограничения собственной воли; законы

природы и общества теряют над ним силу, он действительно должен стать центром и ядром мироздания. His Majesty the Baby (Его Величество бэби) — это то, каким когда-то родители считали самих себя. Он должен воплотить неисполненные желания родителей, стать вместо отца великим человеком, героем, получить в мужья принца — для позднего вознаграждения матери. Самый уязвимый пункт нарцистической системы, столь беспощадно изобличаемое реальностью бессмертие Я, приобрело в лице ребенка новую почву и уверенность.

Трогательная и по существу такая детская родительская любовь представляет из себя только возрождение нарцизма родителей, который при своем превращении в любовь к объекту явно вскрывает свою прежнюю сущность.

3

Я хочу оставить в стороне вопрос о том, каким нарушениям подвержен первоначальный нарцизм ребенка, при помощи каких реакций он сопровождается в этих нарушениях и по каким путям при этом он вынужден идти, — этот важный научный вопрос еще ждет разработки. Самую важную часть его можно выделить в качестве комплекса кастрации (страх за penis у мальчика, зависть из-за penis'а у девочки) и привести в связь с влиянием раннего запугивания в сексуальных вопросах. Психоаналитическое исследование, дающее нам обычно возможность проследить судьбу изолированных от влечений, когда они находятся в противоречии друг к другу, позволяет нам прийти к заключениям относительно того времени и того психического состояния, когда влечения другого рода действуют еще совместно и неразрывно смешаны в качестве нарцистических интересов. Из этого взаимоотношения Adler создал свой «мужской протест», которому он приписывает роль почти единственной творческой силы при образовании характера и неврозов, причем в основание его он кладет не нарцистическое, т. е. все-таки либидинозное влечение, а социальную оценку. С точки зрения психоаналитического исследования мною признавалось с самого начала существование и значение «мужского протеста», но вразрез с мнением Adler'а я отстаивал его нарцистическую природу и происхождение из «кастрационного комплекса». Он составляет только черту характера, в гене-

ние которого принимает участие наряду с другими факторами, и совершенно непригоден для объяснения проблемы неврозов, в которых Adler считается только с тем, насколько они обслуживают интересы Я. Мне кажется совершенно невозможным построить генезис неврозов на узкой базе кастрационного комплекса у мужчин среди других видов сопротивления излечению невроза. Мне известны, наконец, случаи неврозов, в которых мужской протест, или в нашем смысле кастрационный комплекс, не играет вовсе патологической роли или вообще не встречается.

Наблюдение над нормальным взрослым человеком показывает, что его детский бред величия ослаблен, и психические признаки, по которым мы заключаем о его инфантильном нарцизме, сглажены, Что же сталось с его Я-либидо (Ich libido)? Должны ли мы полагать, что все оно ушло целиком на привязанность к объекту? Эта возможность, очевидно, противоречит всему характеру наших объяснений; но психология вытеснения указывает нам на возможность другого ответа на этот вопрос.

Мы уже знаем, что либидинозные влечения подвержены участи патогенного вытеснения, если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под последним условием не понимается, что у личности об этих представлениях имеется только интеллектуальное знание, и что она постоянно признает за этими представлениями руководящее значение в жизни и подчиняется содержащимся в них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит от Я — точнее сказать, из самоуважения Я. Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются даже до того, как они достигают сознания. Но различие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко формулировать в выражениях, допускающих применение по данному вопросу теории либидо. Мы можем сказать — один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное Я, между тем как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является, таким образом, условием вытеснения со стороны Я.

Этому идеалу Я досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалось действительное Я. Нарцизм оказывается перенесенным на это новое идеальное Я,

которое, подобно инфантильному, обладает всеми ценными совершенствами. Человек оказался в данном случае, как и во всех других случаях в области либидо, не в состоянии отказаться от некогда испытанного удовлетворения. Он не хочет поступиться нарцистическим совершенством своего детства и когда со временем и с возрастом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть только возмещение утерянного нарцизма детства, когда он сам был собственным идеалом.

Само собой напрашивается в таком случае исследование взаимоотношений между этим образованием идеала и сублимированием. Сублимирование — процесс, происходящий с объектом либидо, и состоит в том, что влечение переходит на иную цель, далекую от сексуального удовлетворения; суть при этом заключается в отвлечении от сексуального. Идеализация — процесс, происходящий с объектом, благодаря которому этот объект, не изменяясь в своей сущности, становится психически более значительным и получает более высокую оценку. Идеализация одинаково возможна как в области Я-либидо, так и объект-либидо. Так, например, половая переоценка объекта является его идеализацией. Поэтому, поскольку сублимирование описывает нечто происходящее с влечением, а идеализация — с объектом, их приходится считать различными понятиями. Но если изменить точку зрения, то можно идеализацию описать как своего рода сублимирование в широком смысле слова.

В ущерб правильному пониманию часто смешивают образование Я-идеала с сублимированием влечения. Тот, кто отказался от своего нарцизма во имя высокого Я-идеала, не должен еще благодаря этому непременно успешно сублимировать свои либидинозные влечения. Хотя Я-идеал и требует такого рода сублимирования, но не может его вынудить; сублимирование остается особым процессом, развитие которого совершенно не зависит от того, чем этот процесс вызван. Именно у невротиков можно найти самые резкие различия в степени развития Я-идеала и сублимирования примитивных либидинозных влечений, и в общем гораздо труднее убедить идеалиста в том, что либидо его находит нецелесообразное применение, чем простого, скромного в своих требованиях человека. Также совершенно различно отношение образования идеала и сублимирования к тому, что обусловливает невроз. Образование идеала, как мы слышали, по-

вышает требования Я и является самым сильным благоприятствующим моментом для вытеснения; сублимирование представляет из себя тот выход, благодаря которому это требование может быть исполнено без всякого вытеснения.

Ничего не было бы удивительного, если бы нам удалось найти особую психическую инстанцию, имеющую своим назначением обеспечить нарцистическое удовлетворение, исходящее из идеала Я, и с этой целью беспрерывно наблюдающую за действительным Я, сравнивая его с идеалом. Если подобная инстанция существует, то для нас, понятно, исключается возможность открыть ее; мы можем только узнать ее как таковую и признать, что то, что мы называем своей совестью, носит все признаки такой инстанции. Признание этой инстанции дает нам возможность понять так называемый бред отношений (Beachtunge-Beobachtungswahn), который так ясно проявляется в симптоматологии параноидных заболеваний, но встречается и как изолированное заболевание или вплетается в картину неврозов перенесения (Uebertragungsneurosen). Больные жалуются тогда на то, что все их мысли известны, за всеми их действиями наблюдают и следят, о бдительности этой инстанции их информируют голоса, которые — что особенно характерно — обращаются к ним в третьем лице («а вот теперь она думает об этом, сейчас он уходит»). Эта жалоба правильна, она рисует истинное положение вещей. Подобная сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, действительно существует даже у всех нас в нормальной жизни. Бред наблюдения изображает ее в первоначальной регрессивной форме, при этом раскрывает ее генезис и основание, — почему больной и восстает против нее.

Побуждением к образованию идеала Я, стражем которого призвана быть совесть, послужило влияние критики родителей, воплощенное в слуховых галлюцинациях, а к родителям со временем примкнули воспитатели, учителя и весь необозримый и неопределенный сонм других лиц, составляющих общественную среду (окружающие, общественное мнение).

Большие количества, преимущественно гомосексуального либидо, принимают, таким образом, участие в образовании нарцистического идеала Я и в сохранении этого идеала находят применение и удовлетворение. Инсти-

тут совести сначала был в сущности воплощением родительской критики, в дальнейшем критики общества — процесс, который повторяется в тех случаях, когда под влиянием сначала внешнего запрета или препятствия развивается склонность к вытеснению. Благодаря болезни проявляются слуховые галлюцинации в виде голосов, как и неопределенная масса лиц, олицетворяемая этими голосами, и в такой болезненной форме воспроизводится регрессивно история развития совести. А возмущение против этой *цензорской инстанции* происходит оттого, что личность больного, соответственно основному характеру болезни, стремится освободиться от всех этих влияний, начиная с родительского, отвлекая от них гомосексуальное либидо. Совесть, регрессивное изображение которой представляет из себя галлюцинации, выступает тогда против личности в форме враждебного влияния извне.

Жалобы паранойиков показывают также, что самокритика совести по существу совпадает с самонаблюдением, на котором зиждется. Психическая инстанция, взявшая на себя функцию совести, тут начинает служить целям того же внутреннего самоисследования, которое доставляет философии материю для ее мыслительных операций. Это, должно быть, имеет значение для развития склонности к конструированию спекулятивных систем, которой отличается паранойя[1].

Для нас важно будет открыть и в других областях признаки деятельности этой критикующей и наблюдающей деятельности, усиление которой ведет к развитию совести и философского самосознания. К этим признакам я отношу то, что H. *Silberer* описал под названием «функционального феномена» — одно из немногих дополнений к изучению о сновидениях, ценность которого неоспорима. *Silberer*, как известно, показал, что в состояниях между сном и бодрствованием можно непосредственно наблюдать превращение мыслей в зрительные картины, но что при таких условиях часто представляется в виде картины не содержание мыслей, а состояние (предрасположение к усталости и т. д.), в котором находится борющееся со сном лицо. Также он

[1] Только в виде предположения прибавляю, что с развитием и укреплением этой наблюдательной субстанции, вероятно, связано позднее появление субъективной памяти и сознания времени, не имеющего значения для бессознательных процессов.

показал, что некоторые окончания и отрывки из содержания сновидений означают только то, что спящий сам начинает сознавать состояние сна и пробуждения. Он показал таким образом, что самонаблюдение в смысле параноического бреда наблюдения (Beobachtungswahn) принимает участие в образовании сновидений. Это участие непостоянно. Вероятно, я его потому проглядел, что оно не играет большой роли в моих собственных снах; у философски одаренных, привыкших к самосозерцанию оно может быть очень ясно.

Вспомним, как мы уже нашли, что образование сновидений происходит под властью цензуры, которая требует искажения мыслей сновидения. Под этой цензурой мы не представляем себе какой-либо особенной силы, а воспользовались этим словом для обозначения вытесняющих тенденций, направленных на мысли сновидений, во власти которых «я» находится, и если мы больше углубимся в подробности структуры «я», то сможем в идеале Я и динамических проявлениях совести узнать также цензора сновидений. Если этот цензор хоть немного наблюдает за душевными процессами во время сна, то вполне понятно, чем обусловлена его деятельность, т. е. что — самонаблюдение и самокритика в замечаниях вроде: теперь он слишком хочет спать, чтобы думать, теперь он просыпается и входит в содержание сновидений[1].

С этой точки зрения мы должны попытаться рассмотреть вопрос о самочувствии у нормального и у невротиков.

Самочувствие кажется прежде всего выражением величины Я независимо от того, из чего оно состоит. Все, чем владеешь и что достигнуто, всякий подтвержденный опытом остаток примитивного чувства всемогущества содействует поднятию самочувствия.

Придерживаясь нашего различия между сексуальными влечениями Я, мы должны признать за самочувствием особенно сильную зависимость от нарцистического либидо. При этом мы опираемся на два основных факта; что при парафрениях самочувствие повышено, а при неврозах перенесения понижено, и что в любов-

---

[1] Я не могу в этом месте решить вопроса, может ли отделение этой сонзорной инстанции от остального Я психологически обосновать философское сознание от самосознания.

ной жизни у нелюбимого человека принижается самочувствие, а у любимого — повышается. Мы указали, что быть любимым составляет цель и дает удовлетворение при нарцистическом выборе объекта.

Далее легко наблюдать, что либидо, привязанное к объектам, не повышает самочувствия. Зависимость от любимого действует принижающим образом: кто влюблен — тот удручен. Кто любит, тот, так сказать, лишился части своего нарцизма и может его вернуть, лишь будучи любимым. При всех этих взаимоотношениях самочувствие, кажется, остается в зависимости от того, какую долю в любовной жизни занимает нарцизм.

Сознание своей импотенции, собственной невозможности любить вследствие душевного или телесного заболевания действует в высшей степени принижающе на самочувствие. Здесь, по моему мнению, нужно искать один из источников так охотно выставляемого невротиками напоказ чувства своей малоценности. Но главным источником этих чувств является обеднение Я (Ichverarmung), которое вытекает из необычайно больших привязанностей либидо к объектам за счет Я, т. е. повреждение Я вследствие сексуальных стремлений, не поддающихся более его контролю.

А. Adler правильно подчеркнул, что сознание собственной органической малоценности действует возбуждающе на работоспособность душевной жизни и вызывает повышенную продуктивность посредством сверхкомпенсаций. Но было бы большим преувеличением объяснять всякую большую трудоспособность этой первоначальной малоценностью органов. Не все художники страдают недостатком зрения, не все ораторы были сперва заиками: есть много проявлений исключительной трудоспособности на почве прекрасной физической одаренности органов. В этиологии неврозов органическая малоценность играет первоначальную роль, такую же, как актуальное восприятие для образования сновидений. Невроз пользуется ею как предлогом, как и всякими другими подходящими моментами. Но если поверишь невротической пациентке, что она должна была заболеть потому, что она некрасива, неправильно сложена, непривлекательна, так что ее никто не может любить, то следующая же больная докажет противное, упорствуя в своем неврозе и отказе от всего полового,

мой она кажется необычайно обворожительной и женщиной. Истерические женщины в большинстве случаев принадлежат к типу привлекательных и даже красивых представительниц своего пола, а, с другой стороны, так часто встречающиеся у низших классов нашего общества безобразие и уродство органов и телесных пороков не вызывают увеличения числа невротических заболеваний в их среде.

Отношение самочувствия к эротике (и к либидинозным привязанностям и к объектам) можно формулировать следующим образом: нужно различать два случая — оправдывает ли Я эти любовные привязанности, или, напротив, они подверглись вытеснению. В первом случае (при оправдываемом Я израсходовании либидо) любовь ценится как и всякое другое активное проявление Я. Любовь сама по себе с ее тоской и страданиями понижает самочувствие, но быть любимым, находить взаимность в любви, обладать любимым объектом — все это поднимает снова самочувствие. При вытеснении либидо привязанности любви чувствуются как жестокое унижение Я: любовное удовлетворение невозможно, обогащение Я возможно только в том случае, если либидо будет снова отнято от объектов и возвращено Я. Такое возвращение объект-либидо к Я, превращение его в нарцизм как бы снова создает условия счастливой любви, а с другой стороны, реальная счастливая любовь соответствует тому первичному состоянию, в котором объект и либидо неразличимы.

Ввиду важности предмета и трудности разобраться в нем позволительно будет набросать здесь вкратце и другие, не приведенные еще в полный порядок взгляды и мнения.

Развитие Я связано с отходом от первичного нарцизма и вызывает интенсивное стремление опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения либидо на названный извне идеал Я, а удовлетворение придается осуществлением этого идеала. Одновременно Я отдает свои либидинозные привязанности объектам. Ради этих привязанностей, как идеал Я, оно само становится беднее в отношении либидо и вторично обогащается им посредством удовлетворения от объектов благодаря воплощению идеала.

Известная доля самочувствия первична, это остаток детского нарцизма, другая часть исходит от подтверж-

денного опытом всемогущества (воплощения Я-идеала), третья часть — из удовлетворения объект-либидо.

Я-идеал поставил удовлетворение либидо на объектах в тяжелые условия, так как через посредство своей цензуры он заставляет отказаться от некоторых частных форм удовлетворения как от недопустимых. Там, где такой Я-идеал не развился, там соответствующее сексуальное стремление входит неизмененным в состав личности в виде перверзий. Быть опять своим собственным идеалом даже в отношении своих сексуальных стремлений, как это было в детстве, — вот чего люди стремятся достичь как высшего счастья.

Влюбленность состоит в излиянии Я-либидо на объект. Она обладает достаточной силой, чтобы уничтожить вытеснения и восстановить перверзии. Она поднимает сексуальный объект до степени сексуального идеала. Так как она происходит по объектному или опорному типу на почве осуществления инфантильных условий любви, то можно сказать: все, что осуществляет эти условия любви, идеализируется.

Сексуальный идеал может вступить с Я-идеалом в интересное отношение взаимопомощи. Там, где нарцистическое удовлетворение наталкивается на реальные препятствия, — сексуальный идеал может быть исследован для того, чтобы получить взамен его удовлетворение. Иногда любовь по типу нарцистического выбора объекта — то, чем человек был и перестал быть, или то, что имеет такие качества, которыми вообще не обладаешь (ср. с. 123 под буквой С). Формула, соответствующая параллельно предыдущей, гласит: любят то, что обладает теми качествами, которых не хватает Я для достижения своего идеала. Этот случай помощи имеет особое значение для невротика, Я которого беднеет благодаря чрезмерной привязанности к объекту и не в состоянии осуществить свой Я-идеал. Он ищет тогда возврата к нарцизму от своего расточительного израсходования либидо на объекты, избирая себе по нарцистическому типу сексуальный идеал, который обладает недосягаемыми для него, невротика, качествами. Это и есть излечение через любовь, которое он, обычно, предпочитает аналитическому. Он и не верит в другой механизм исцелений, с ожиданием именно такого исцеления он большей частью приступает к лечению и связывает это ожидание с личностью лечащего его врача.

Этому типу исцеления препятствует неспособность больного любить всех вследствие его больших вытеснений. Если лечение до известной степени помогло против последних, то часто наступает неожиданный успех, заключающийся в том, что больной отказывается от дальнейшего лечения для того, чтобы сделать выбор в любви и предоставить дальнейшее выздоровление влиянию совместной жизни с любимым человеком. С таким исходом можно было бы охотно мириться, если бы он не заключал в себе все опасности удручающей зависимости от этого нового спасителя в беде.

От идеала Я широкий путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал, помимо индивидуального, имеет еще социальную долю, он является также общим идеалом семьи, сословия, нации. Кроме нарцистического либидо, он захватил также большое количество гомосексуального либидо данного лица, которому таким путем возвращено Я. Неудовлетворение вследствие неосуществления этого идеала освобождает гомосексуальное либидо, которое превращается в создание своей вины (социальный страх). Сознание вины было сначала страхом перед наказанием родителей, правильней — перед лишением их любви, позже место родителей заняла неопределенная масса современников. Таким образом, понятным становится частое заболевание паранойей вследствие обиды, нанесенной Я, благодаря невозможности найти удовлетворение в области Я-идеала, а также совпадение в идеале Я образования идеала и сублимирования и разрушения сублимирования, а иногда при парафренических заболеваниях полные перемены в области идеалов.

ОБ ОСОБОМ ТИПЕ «ВЫБОРА ОБЪЕКТА» У МУЖЧИНЫ

До сих пор мы предоставляли только поэтам изображать те «условия любви», при которых люди совершают их «выбор объекта» и согласуют свои мечты с действительностью. В самом деле, поэты отличаются от дру-

гих людей некоторыми особенностями, позволяющими им разрешить такую задачу. Обладая особенно тонкой организацией, большей восприимчивостью сокровенных стремлений и желаний других людей, они в то же время обнаруживают достаточно мужества, чтобы раскрыть перед всеми свое собственное бессознательное. Но ценность познания, заключающегося в их описаниях, понижается благодаря одному обстоятельству. Цель поэта — выставить интеллектуальные и эстетические удовольствия и воздействовать на чувство, вот почему поэт не может не изменить действительности, а должен изолировать отдельные его части, разрывать мешающие связи, смягчать целое и дополнять недостающее.

Таковы преимущества так называемой «поэтической вольности». Поэт может проявить весьма мало интереса к происхождению и к развитию подобных душевных состояний, описывая их уже в готовом виде. Поэтому необходимо, чтобы наука, более грубыми прикосновениями и совсем не для удовольствия, занялась теми же вопросами, поэтической обработкой которых люди наслаждались испокон веков. Эти замечания должны служить оправданием строгой научной обработки и вопросов любовной жизни человека. Как раз наука и требует самого полного отказа от «принципов наслаждения», насколько это возможно для нашей психической деятельности.

•

Во время психоаналитического лечения у врача имеется достаточно возможности знакомиться с областью любовной жизни невротиков. Такое знакомство показывает нам, что подобное же поведение в этой области можно наблюдать у среднего здорового человека и даже у выдающихся людей. Вследствие счастливой случайности в подборе материала, благодаря накоплению однородных впечатлений перед нами вырисовываются определенные типы в любовной жизни. Один такой мужской тип выбора объекта я хочу описать, потому что он отличается рядом таких «условий любви», сочетание которых непонятно, даже странно, и, вместе с тем, этот тип допускает простое психологическое объяснение.

1. Первое из этих «условий любви» можно было бы назвать специфическим; если оно имеется налицо, следует уже искать и другие отличительные признаки это-

го типа. Его можно назвать условием «пострадавшего третьего». Сущность его состоит в том, что лица, о которых идет речь, никогда не избирают объектом своей любви свободной женщины, а непременно такую, на которую предъявляет права другой мужчина: супруг, жених или друг. Это условие оказывается в некоторых случаях настолько роковым, что на женщину сначала не обращают никакого внимания, или она даже отвергается до тех пор, пока она никому не принадлежит; но человек такого типа влюбляется тотчас же в ту же самую женщину, как только она вступит в одно из указанных отношений к какому-нибудь другому мужчине.

2. Второе условие, быть может, уже не такое постоянное, однако столь же странное. Этот тип выбора объекта пополняется только благодаря сочетанию этого условия с первым, между тем как первое условие само по себе, кажется, встречается очень часто. Второе условие состоит в том, что чистая, вне всяких подозрений, женщина никогда не является достаточно привлекательной, чтобы стать объектом любви, привлекает же в половом отношении только женщина, внушающая подозрение, — верность и порядочность которой вызывают сомнения. Эта последняя особенность может дать целый ряд переходов, начиная с легкой тени на репутации замужней женщины, которая не прочь пофлиртовать, до открытого полигамического образа жизни кокотки или жрицы любви. Но представитель нашего типа не может отказаться хотя бы от какой-нибудь особенности в таком роде. Это условие с некоторым преувеличением можно назвать «любовью к проститутке».

Подобно тому, как первое условие дает удовлетворение враждебным чувствам по отношению к мужчине, у которого отнимают любимую женщину, второе условие — причастность женщины к проституции — находится в связи с необходимостью испытывать чувство ревности, которое, очевидно, является потребностью влюбленных этого типа. Только в том случае, если они могут ревновать, страсть их достигает наибольшей силы, женщина приобретает настоящую ценность, и они никогда не упускают возможности испытать это наиболее сильное чувство. Удивительно то, что ревнуют не к законному обладателю любимой женщины, а к претендентам, к чужим, в близости к которым ее подозревают. В резко выраженных случаях любящий не проявляет жела-

ния быть единственным обладателем женщины и, по-видимому, чувствует себя хорошо в таком «тройственном союзе». Один из моих пациентов, который сильно страдал из-за увлечений «на стороне» своей дамы, ничего, однако, не имел против ее замужества и всеми силами содействовал ему; по отношению к мужу он затем в течение многих лет не проявлял и следа ревности. В другом типичном случае пациент был, правда, вначале при первых любовных связях очень ревнив к мужу и заставил свою даму отказаться от супружеских отношений с ним; но в многочисленных более поздних связях он вел себя так же, как другие, и не находил, чтобы законный супруг являлся помехой.

Следующие пункты рисуют уже не условия, предъявляемые к объекту любви, а отношения любящего к объекту своей любви.

3. В нормальной любовной жизни ценность женщины определяется ее непорочностью и понижается с приближением к разряду проститутки. Поэтому странным отклонением от нормального кажется то обстоятельство, что влюбленные нашего типа относятся к женщинам именно такого разряда как к наиболее ценным объектам любви. Любовным связям с этими женщинами они отдаются всеми силами своей души, со страстью, поглощающей все другие интересы жизни. Они и могут любить только таких женщин и всякий раз предъявляют к себе требование неизменной верности, как бы часто ни нарушали ее в действительности. В этих чертах описываемых любовных отношений чрезвычайно ясно выражен навязчивый характер этих отношений, свойственных в известной степени всякому состоянию влюбленности. Не следует, однако, полагать, на основании этой верности и силы привязанности, что одна-единственная такая любовная связь заполняет всю жизнь таких людей, или она бывает только один раз в жизни. Наоборот, страстные увлечения такого рода повторяются с теми же особенностями много раз в жизни лиц такого типа как точная копия предыдущей. Больше того, в зависимости от внешних условий, например, перемены места жительства и среды, любовные объекты могут так часто сменять один другой, что из них образуется длинный ряд.

4. Более всего поражает наблюдателя проявляющаяся у любовников такого типа тенденция спасать воз-

любленную. Мужчина убежден, что возлюбленная нуждается в нем, что без него она может потерять всякую нравственную опору и быстро опуститься до низкого уровня. Он ее спасает тем, что не оставляет ее. В некоторых случаях намерение спасти может быть оправдано ссылкой на половую неустойчивость и сомнительное общественное положение возлюбленной; но оно проявляется так же определенно и там, где ссылка на действительное положение вещей не имеет места. Один из принадлежащих к описываемому типу мужчин, умевший завоевывать своих дам чрезвычайно искусными соблазнами и находчивой диалектикой, затем делал в своих любовных связях всевозможные усилия, чтобы при помощи им самим сочиненных трактатов удержать очередную любовницу на пути «добродетели».

Если бросить взгляд на отдельные черты нарисованной здесь картины, на условия, требующие, чтобы любимая была несвободна и принадлежала к разряду проституток, на высокую ее оценку, на потребность испытывать чувство ревности, на верность, которая, однако, сочетается с легкостью перехода от одной к другой женщине, и на намерение спасать, то кажется маловероятным, чтобы все эти особенности могли происходить из одного источника. И все же при психоаналитическом углублении в историю жизни лиц, о которых идет речь, легко открыть такой источник. Этот своеобразный выбор объекта любви и такие странные любовные отношения имеют то же психическое происхождение, что и любовная жизнь у нормального человека: они происходят от детской фиксации нежности на матери и представляют из себя одно из последствий этой фиксации. В нормальной любовной жизни сохраняется не много черт, в которых несомненно проявлеятся влияние материнского прообраза на выбор объекта, вроде, например, предпочтения, оказываемого молодыми людьми более зрелым женщинам; следовательно, отделение любовного влечения (либидо) от матери произошло сравнительно скоро. У людей нашего типа, напротив, влечение к матери и после наступления половой зрелости имело место так долго, что у выбранных ими позже объектов любви оказываются ясно выраженные материнские признаки, и в них легко узнать замену матери. Здесь напрашивается сравнение с деформацией черепа

новорожденного: после длительных родов череп новорожденного представляет из себя слепок тазовых ходов матери.

На нас лежит в таком случае обязанность указать на вероятность того, что характерные черты мужчин нашего типа, условия их любви и их поведение в любви действительно происходят от материнской констелляции. Легче всего это сделать по отношению к первому условию, чтобы женщина была несвободна и чтобы был пострадавший третий. Совершенно очевидно, что у выросшего в семье ребенка неотъемлемо связан с представлением о матери тот факт, что мать принадлежит отцу, и «пострадавшим третьим» является не кто иной, как отец. Так же естественна для детских отношений переоценка, благодаря которой возлюбленная является единственной, незаменимой: ибо ни у кого не бывает больше одной матери, и отношение к ней зиждется на не повторяющемся и не допускающем никакого сомнения событий (рождении).

Раз все объекты любви только замена матери, то понятно и «образование ряда», которое кажется столь резко противоречащим условию верности. Психоанализ показывает нам и на других примерах, что действующее в бессознательном незаменимое часто проявляется расчлененным на бесконечный ряд — бесконечный потому, что всякий суррогат все-таки не дает удовлетворения. Так, например, у детей в известном возрасте возникает непреодолимое желание задавать все новые и новые вопросы, и это объясняется тем, что им надо поставить один-единственный вопрос, который они не решаются задать. А болтливость некоторых невротических больных объясняется тяжестью тайны, которую им хочется разгласить и которую, несмотря на все искушения, они все-таки не выдают.

То, однако, что избранный объект относится к проституткам, совершенно противоречит тому, что источником его является материнский комплекс. Сознательному мышлению взрослого человека мать представляется личностью высокой нравственной чистоты, и немного найдется таких внешних впечатлений, которые были бы для нас так мучительны, как сомнение в этом смысле по отношению к матери. Но как раз это резкое противоречие между «матерью» и «проституткой» и побуждает нас исследовать историю развития и бессознательное

взаимоотношение этих двух комплексов, так как мы уже давно знаем, что в бессознательном часто сливается воедино то, что в сознании расщеплено на два противоположных понятия. Исследование возвращает нас к тому периоду жизни, когда мальчик впервые узнает подробности о половых отношениях между взрослыми — приблизительно к годам, предшествующим половой зрелости. Грубые рассказы, проникнутые явным намерением оскорбить и возмутить, знакомят его с тайной половой жизни и подрывают авторитет взрослых, оказывающийся несовместимым с обнаружением их половых отношений. То обстоятельство, что эти откровения относятся к родителям, производит самое сильное впечатление на новопосвященного. Нередко слушатель прямо-таки протестует, возражая приблизительно так: весьма возможно, что твои родители или родители других людей проделывают между собой нечто подобное, но это совершенно невозможно между моими родителями.

В то же время мальчик в виде редко недостающего королария к «ознакомлению с половым вопросом» узнает о существовании известного рода женщин, которые благодаря своей профессии отдаются половой любви, и потому все их презирают. Это презрение ему самому остается чуждым; у него рождается к этим несчастным только смешанное чувство томления и жути, так как он знает, что и он сам через них может приобщиться к половой жизни, которую считал до сих пор преимуществом только «больших». Когда он уже перестает сомневаться в том, что его родители составляют исключение из отвратительных правил половой жизни, он цинично говорит себе, что различие между его матерью и падшей женщиной уже не так-то велико, что в сущности обе они делают одно и то же. «Просвящающие» рассказы разбудили в нем следы воспоминаний о его ранних детских летах и желаниях и оживили в нем связанные с ними переживания. Ребенок начинает желать свою мать в этом новом смысле и снова начинает ненавидеть отца как соперника, стоящего на пути к осуществлению этого желания, он попадает, как мы говорим, во власть «комплекса Эдипа». Он видит измену со стороны матери в том, что она полюбила отца, а не его, и не может этого ей простить. Эти переживания, если только они не проходят быстро, не проявляются

ни в чем реально, а только изживаются в фантазиях, которые имеют своим содержанием сексуальную жизнь матери при самых разнообразных обстоятельствах: их напряжение с особенной легкостью разрешается в актах самоудовлетворения. Вследствие постоянного взаимодействия обоих побудительных мотивов этих душевных движений — полового желания и жажды мести — наибольшим предпочтением пользуются фантазии о неверности матери; любовник, с которым изменяет мать, обладает почти всеми чертами собственной персоны, вернее, собственной идеализированной личности, выросшей по возрасту до уровня отца. То, что я в другом месте[1] описал, как «семейный роман», составляет разнообразные продукты этой работы фантазии и сплетение их с разными эгоистическими интересами определенного периода жизни. Познакомившись с этой частью истории душевного развития, мы уже не можем находить непонятным и противоречивым то обстоятельство, что принадлежность возлюбленной к проституции обусловлена непосредственно влиянием материнского комплекса. Описанный нами тип мужской любовной жизни носит следы этого развития, и его можно просто понять как фиксацию на фантазиях мальчика в периоде половой зрелости, нашедших после свое воплощение в реальной жизни. Легко допустить, что усиленный онанизм в годы переходного возраста также благоприятствует фиксации этих фантазий.

Тенденция спасать любимую женщину с такими фантазиями, разросшимися до того, что они получили власть над реальной любовной жизнью, находится как будто только в отдаленной поверхностной связи, исчерпываемой сознательными доводами. Любимая женщина подвергается, мол, опасности, благодаря своей склонности к непостоянству и неверности, и вполне понятно, что любящий старается уберечь ее от опасности, охраняя ее добродетель и противодействуя ее дурным наклонностям. Однако, изучение «покрывающих воспоминаний», фантазий и ночных сновидений таких лиц показывает, что здесь имеет место прекрасно удавшаяся «рационализация» бессознательного мотива, подобная удавшейся вторичной обработке материала сновидений. На самом деле

[1] O. Rank. «Миф о рождении героев», 1909.

мотив спасения имеет самостоятельное значение и историю и является продуктом материнского или, вернее, родительского комплекса, когда ребенок слышит, что он обязан жизнью родителям, что мать «даровала ему жизнь», то в нем соединяются нежные чувства с душевными движениями, выражающими стремление быть большим и достичь самостоятельности, и зарождают в нем желание вернуть родителям этот дар и отплатить им тем же. Непокорность мальчика как будто выражает: мне ничего не надо от отца, я хочу вернуть ему все, что я ему стоил. Он рисует себе фантазии о с п а с е н и и о т ц а о т с м е р т е л ь н о й о п а с н о с т и и таким образом расплачивается с ним. Эта фантазия часто переносится на императора, короля или иную знатную особу и в таком измененном виде становится доступной сознанию и даже годной для поэтической обработки. По отношению к отцу преобладает угрожающее значение фантазии о спасении, а по адресу матери проявляется ее нежное значение. Мать подарила жизнь ребенку, и нелегко возместить такой своеобразный дар чем-нибудь равноценным. Но при незначительном изменении значения слов — что так легко удается в бессознательном и что можно уподобить сознательному слиянию понятий — спасти мать приобретает значение: подарить или сделать ей ребенка, разумеется, вполне похожего на самого себя. Это удаление от первоначального смысла спасения не очень велико, изменение значения слов не произвольно. Мать подарила ему жизнь — его собственную, — и за это ей дарится другая жизнь, жизнь ребенка, имеющего максимальное сходство с ним самим. Сын проявляет свою благодарность тем, что желает иметь от матери сына, равного себе, т. е. в фантазии о спасении он совершенно отождествляет себя с отцом. Все влечения — нежные, благородные, похотливые, непокорные и самовластные находят удовлетворение в этом одном желании быть своим собственным отцом. Не исчезает и момент опасности при таком изменении значения; ведь самый акт рождения представляет из себя опасность, из которой спасение приходит благодаря усилиям матери. Рождение является первой жизненной опасностью и прообразом всех последующих, внушающих нам страх; переживания при рождении остаются у нас, вероятно, в том аффективном выражении, которое мы называем страхом. М а к д у ф в шотланд-

ской легенде, не рожденный матерью, а вырезанный из утробы ее, поэтому не знал и страха.

Древний снотолкователь Артемидор был, несомненно, прав, утверждая, что сновидение меняет свой смысл в зависимости от личности видевшего сон. По законам выражения бессознательных мыслей «спасение» может иметь различное значение в зависимости от того, фантазирует ли о нем женщина или мужчина. Оно может в равной мере иметь значение сделать ребенка — дать начало рождению (у мужчины), как и самой родить ребенка (у женщины). Особенно в связи с водой можно ясно видеть эти различные значения спасения в сновидениях и в фантазиях. Если мужчина спасает во сне женщину, то это значит: он делает ее матерью, — что, согласно вышеизложенному, соответствует смыслу: он ее делает своею матерью. Когда женщина спасает кого-нибудь (ребенка) из воды, то этим она признает себя, подобно царевне в легенде о Моисее, родившей его матерью.

Иногда фантазия о спасении отца также получает смысл нежного отношения. Тогда она выражает желание иметь отца сыном, т. е. иметь такого сына, как отец. Вследствие всех этих отношений мотива спасения к родительскому комплексу, тенденция спасать возлюбленную составляет существенную черту описанного здесь любовного типа.

Я не считаю нужным приводить доказательства правильности метода моей работы, которая в данном случае, как и при описании анальной эротики, стремится к тому, чтобы сначала выделить из всего материала наблюдения крайне и резко очерченные типы. В обоих случаях имеется гораздо большее количество индивидов, у которых можно наблюдать только отдельные или только не резко выраженные черты этого типа. И само собой разумеется, что только связное изложение всех тех наблюдений, на основании которых установлены эти типы, даст нам возможность правильно их оценить.

ОБ УНИЖЕНИИ ЛЮБОВНОЙ ЖИЗНИ

I

Если практикующий врач-психоаналитик задает себе вопрос: с каким страданием чаще всего к нему обращаются за помощью, то он принужден будет ответить: с психической импотенцией, — если не считать разнообразных проявлений страха. Этой странной болезнью заболевают мужчины с сильно выраженной чувственностью, и заболевание проявляется в том, что специальные органы отказываются выполнять функции полового акта, хотя до и после акта они могут быть вполне здоровыми и дееспособными и хотя данный субъект имеет большую склонность к выполнению этого акта. Первым поводом к пониманию своего состояния является факт, приводящий его к убеждению, что такие неудачи постигают его только при половых попытках с определенными особами, между тем как с другими у него не случается ничего подобного. Тогда он приходит к убеждению, что задержку его мужской потенции вызывают особенные свойства сексуального объекта. Иной раз такой больной сам рассказывает, что у него получается ощущение в нем самом какого-то препятствия, что он замечает какое-то внутреннее противодействие, которое мешает сознательному его намерению. Но больной не в состоянии понять, в чем же состоит это препятствие и какие именно особенности полового объекта его вызывают. Если подобные неудачи случались у него неоднократно, то в таком случае он склонен установить ошибочную причинную связь и полагает, что именно воспоминание о первой неудаче является таким препятствующим и отпугивающим переживанием и становится причиной последующих неудач; в первый же раз дело касалось «случайности».

Психоаналитическое исследование психической импотенции произведено и опубликовано несколькими авторами. Каждый аналитик из собственного опыта может подтвердить приводимые ими объяснения. Речь действительно идет о парализующем влиянии известных психических комплексов, которые недоступны сознанию индивида. На первом плане стоит, как общее содержание этого патогенного материала, сохранившая свою силу и влияние инцестуозная (кровосмесительная) фиксация

либидо на матери и на сестре. Кроме того, нужно принять во внимание влияние случайных мучительных впечатлений, находящихся в связи с детскими сексуальными проявлениями, и вообще все моменты, понижающие либидо, которое должно быть направлено на женщину как на половой объект.

Если подвергнуть, при помощи психоанализа, детальному исследованию случаи резкой психической импотенции, то получается следующая картина действующих при ней психосексуальных процессов. Почвой болезни служит и здесь, как, вероятно, при невротических страданиях, задержка в развитии либидо до степени ее нормальной завершенной формы, Здесь еще не слились два течения, слияние которых только и обеспечивает вполне нормальную любовную жизнь, — два течения, которые мы различаем как нежное и чувственное.

Наиболее старое из этих двух течений — нежное. Оно берет начало с самых ранних лет, образовалось на почве интересов инстинкта самосохранения и направлено на представителей родной семьи или на лиц, занятых уходом и воспитанием ребенка. К нему с самого начала присоединяется известная доля половых влечений, компонентов эротического интереса, которые нормально выражены уже более или менее ясно с детства, а у невротиков во всех случаях открываются психоанализом, произведенным в более позднем возрасте. Оно соответствует первичному детскому выбору объекта. Мы видим из него, что половые влечения находят свои первые объекты в связи с оценкой, исходящей из влечения Я, точно так же, как первые сексуальные удовлетворения получаются в связи с функциями, необходимыми для сохранения жизни. «Нежность» родителей и воспитателей, которая редко не отличается явным эротическим характером («ребенок — эротическая игрушка»), много содействует тому, чтобы усилить эти придатки эротики к объектам фиксации влечений и поднять их на такую высоту, при которой они должны повлиять на последующее развитие, в особенности, если этому способствуют еще и некоторые другие обстоятельства.

Нежные фиксации ребенка сохраняются в течение всего детства, и к ним притекают новые эротические переживания, и эротика благодаря этому отклоняется от своих половых целей. В возрасте половой зрелости к нежным фиксациям присоединяется еще «чувственное»

чение, которое определенно сознает свои цели. Оно, понятно, идет всегда прежними путями и снабжает значительно большим количеством либидо объекты первого инфантильного выбора. Но вследствие того, что оно наталкивается там на воздвигнутые препятствия кровосмесительного ограничения, то оно стремится найти возможно скорей переход от этих, реально не подходящих, объектов к другим, посторонним, с которыми было бы возможно настоящее половое сожительство. Эти посторонние объекты избираются, однако, по образу инфантильных, но со временем они привлекают к себе ту нежность, которая была фиксирована на прежних. Мужчина оставляет отца и мать — как предписывается в Библии, — чтобы следовать за женой, нежность и чувственность сливаются воедино. Высшая степень чувственной влюбленности связана с наибольшей психической оценкой (нормальная переоценка полового объекта мужчиной).

При неудаче этого процесса решающее значение имеют два момента развития либидо. Во-первых, степень реального запрета, который не допускает нового выбора объекта и обесценивает его для индивида. Ведь нет никакого смысла заниматься выбором объекта, если запрещено вообще выбирать, или не имеешь никакой надежды выбирать что-нибудь достойное. Во-вторых, степень привлекательности, которой могут обладать те инфантильные объекты, от которых следует уйти; она пропорциональна эротической фиксации, которой они были наделены еще в детстве. Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает действовать общий механизм образования неврозов. Либидо отвращается от реальности, подхватывается работой фантазии, усиливает образы первых детских объектов и фиксируется на них. Но кровосмесительное ограничение заставляет оставаться в бессознательном либидо, обращенное на эти объекты, изживание чувственного течения, кроющегося теперь в бессознательном, в онанистических актах способствует тому, чтобы укрепить эти фиксации. Положение дела не меняется и тогда, когда неудавшийся в реальности прогресс совершается в фантазии, т. е. когда в фантастических ситуациях, ведущих к онанистическому удовлетворению, первоначальные половые объекты заменяются посторонними. Благодаря такому замещению фантазии делаются способными про-

никнуть в сознание; но в реальном либидо при этом не замечается никакого прогресса.

Таким образом может случиться, что вся чувственность молодого человека окажется связанной в бессознательном с инцестуозными объектами или, как мы еще иначе формулируем, она фиксирована на бессознательных инцестуозных фантазиях. В результате получается абсолютная импотенция, которая к тому же еще и укрепляется благодаря одновременно приобретенному действительному ослаблению органов, выполняющих половой акт.

Для образования собственно так называемой психической импотенции требуются более мягкие условия. Чувственное течение во всем объеме вынуждено скрываться за нежным течением, оно должно быть в достаточной мере сильным и свободным от задержек, чтобы хотя бы отчасти пробить себе путь к реальности. Половая активность таких лиц носит на себе явные признаки того, что руководящие ею психические импульсы действуют не во всем объеме; она капризна, подвижна, легко нарушается, функционирует часто неправильно, доставляет мало удовольствия. Но главным образом она избегает слияния с нежным течением. Таким образом создается ограничение в выборе объектов. Оставшееся активным чувственное течение ищет только таких объектов, которые не напоминают запретных инцестуозных лиц; если какое-нибудь лицо производит впечатление, вызывающее высокую психическую оценку, то оно влечет за собой не чувственное возбуждение, а эротически недействительную нежность. Любовная жизнь таких людей остается расщепленной в двух направлениях, нашедших свое выражение в искусстве, как небесная и земная (животная) любовь. Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить. Они ищут объектов, которых им не нужно любить, чтобы отдалять чувственность от любимых объектов, и странная несостоятельность в форме психической импотенции наступает, — согласие законам «чувствительности комплекса» (Komplexempfindlichkeit) и «возвращения вытесненного (Rückkehr des Verdrängten) тогда, когда иной раз какая-нибудь незначительная черта лица объекта, избранного во избежание инцеста, напоминает объект, которого следует избегать.

Главным средством против такого нарушения, которым пользуются люди с расщепленным любовным чувством, является психическое унижение полового объекта, в то время как переоценка, присущая при нормальных условиях половому объекту, сохраняется для инцестуозного объекта и его заместителей. Чувственность может свободно проявляться только при выполнении условия унижения, притом возможны значительные проявления половой активности и сильное чувство наслаждения. Этому благоприятствует еще другое. Лица, у которых нежное и чувственное течение недостаточно слились, не обладают по большей части достаточно тонким любовным чувством; у них сохранились половые ненормальности, неудовлетворение которых ими ощущается как определенное понижение удовольствия, а удовлетворение возможно только с приниженными, мало оцениваемыми половыми объектами.

Понятны теперь мотивы упомянутых в первом очерке фантазий мальчика, который принижает мать до степени проститутки. В них проявляется старание, хотя бы фантазии, перекинуть мост через пропасть, разделяющую эти два течения любовной жизни, завладеть матерью как объектом чувственного влечения, ценою ее унижения.

2

До сих пор мы занимались врачебно-психологическим исследованием психической импотенции, не оправдываемым заглавием этой статьи. Но дальше мы поймем, что нам нужно было начать с этого вступления, чтобы иметь возможность обратиться к настоящей теме.

Психическую импотенцию мы свели к неслиянию нежного и чувственного течения в любовной жизни; и указанную задержку развития объяснили влиянием детских фиксаций и более поздним запретом при промежуточном возникновении инцестуозного запрета. Против этого учения можно, во-первых, выдвинуть следующее возражение: если оно дает нам слишком много, оно нам объясняет, почему некоторые лица страдают психической импотенцией, то для нас остается загадочным, как иные люди могли избежать этого стра-

дания. Так как приходится сознаться, что все указанные видимые моменты — как то: сильная детская фиксация, кровосмесительный запрет и запрет в более поздние годы развития после наступления половой зрелости — имеются почти у всех культурных людей, то было бы вполне правильно заключить, что психическая импотенция является общим страданием культурного человека, а не болезнью отдельных лиц.

Если понятие о психической импотенции брать шире и не ограничивать только невозможностью полового акта, при наличности полового желания и физически здорового полового аппарата, то сперва приходится причислить сюда всех тех мужчин, которых называют психастениками, которым если и удается всегда акт, то он не доставляет особенного наслаждения; это встречается чаще, чем полагают. Психоаналитическое исследование таких случаев, не объясняя сначала разницы в симптоматологии, открывает те же этнологические моменты. От анэстетичных (лишенных чувственности) мужчин легко оправдываемая аналогия ведет к громадному числу фригидных женщин, отношение которых к половой любви нельзя лучше описать и понять, как указанием на полное его сходство с более известной психической импотенцией мужчин.

Но если мы не будем расширять понятие о психической импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматологии, то мы не сможем не согласиться с тем, что любовные проявления мужчины в нашем современном культурном обществе вообще носят типичные признаки психической импотенции. Нежное и чувственное течения только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом. Такое обстоятельство обусловливается кроме того тем, что к его половым стремлениям присоединяются компоненты извращенности, которых он не осмеливается удовлетворить с женщиной, заслуживающей уважения. Полное половое удовольствие он может испытать только тогда, когда безудержно отдается наслаждению, чего он, например, не осмеливается проявлять со своей высоконравственной супругой. Отсюда происходит его

потребность в униженном половом объекте, женщине этически малоценной, у которой, по его мнению, нет эстетических требований, которой неизвестны его общественные отношения, и она не в силах о них судить. Перед такой женщиной он всего легче обнаруживает свою половую силу даже в том случае, если его нежность направлена к более высоко стоящей. Возможно, что так часто наблюдаемая склонность мужчин высших общественных классов выбирать себе любовницу или даже законную супругу из женщин низкого сословия является только следствием потребности в униженном половом объекте, с которым психологически связана возможность полного удовлетворения.

Я не колеблюсь объявить, что два момента, действительные при настоящей психической импотенции: интенсивная инцестуозная фиксация детского возраста и реальный запрет в юношеском возрасте, являются причиной также и этого, такого частого, проявления в поведении культурных мужчин в их любовной жизни. Пусть это и звучит неприятно и парадоксально, но следует сказать, что тот, кто в любовной жизни хочет быть свободным и счастливым, тот должен преодолеть респект перед женщиной и примириться с представлением о кровосмесительстве с матерью или с сестрой. Тот, кто готов в ответ на такое требование подвергнуть себя серьезной внутренней проверке перед самим собой, тот непременно найдет, что считает в сущности половой акт чем-то унизительным, что грязнит и позорит человека и не только его тело. Происхождение этой оценки, в которой, верно, не легко сознаться, можно найти только в периоде юности, когда чувственное течение было уже сильно развито, а удовлетворение было почти одинаково запрещено как по отношению к постороннему, так и к инцестуозному объекту.

В нашем культурном обществе женщины находятся под таким же влиянием воспитания, но, кроме того, еще и под влиянием поведения мужчин. Для них, разумеется, одинаково дурно и в том случае, когда они не находят в мужчине его половой мужской силы, как и тогда, когда повышенная вначале оценка их в периоде влюбленности сменяется после обладания пренебрежением. У женщины существует очень слабая потребность в унижении полового объекта; в связи с этим находится, несомненно, и то обстоятельство, что обычно

у женщины не проявляется ничего похожего на половую переоценку мужчины. Но длительное половое воздержание и удержание чувственности в области фантазии вызывают у нее другое важное последствие. Впоследствии она уже не в силах разрушить связь между чувственными переживаниями и запретом и оказывается психически импотентной, т. е. фригидной, в то время, как ей, наконец, разрешаются подобного рода переживания. Поэтому у многих женщин является стремление сохранить тайну еще даже и тогда, когда сношения ей уже разрешаются; у других появляется способность нормально чувствовать только в этом случае, когда условия запрета снова имеют место при какой-либо тайной любовной связи. Изменяя мужу, она в состоянии сохранять любовную верность второго разряда.

Я полагаю, что условие запрета имеет в любовной жизни женщины то же значение, что унижение полового объекта у мужчины. Оба являются следствием длительного откладывания начала половой жизни после наступления половой зрелости, как этого требует воспитание ради культурных целей. Оба стремятся прекратить психическую импотенцию, которая является следствием отсутствия слияния чувственного и нежного течений. Если следствия одной и той же причины оказываются различными у мужчины и у женщины, то причиной этому является, быть может, иное различие в поведении обоих полов. Культурная женщина обыкновенно не нарушает запрета в течение периода ожидания, и таким образом у нее создается тесная связь между запретом и сексуальностью. Мужчина нарушает большей частью запрет под условием унижения полового объекта, и поэтому это условие и переносится в его последующую любовную жизнь.

Ввиду столь сильно назревшего в современном культурном обществе стремления к реформе половой жизни, считаю не лишним напомнить, что психоаналитическому исследованию так же чужды какие бы то ни было тенденции, как и всякому другому. Оно стремится лишь к тому, чтобы вскрыть связи и зависимости, находя в скрытом причину общеизвестного. Психоанализ не может ничего иметь против того, чтобы его выводы были использованы при проведении реформы для создания

полезного вместо вредного. Но он не может наперед сказать, не будут ли те или иные установления иметь следствием другие, более тяжелые жертвы.

3

Тот факт, что культурное обуздание любовной жизни влечет за собой общее унижение полового объекта, должен нас побудить перенести наше внимание с объектов на самые влечения. Вред первоначального запрета сексуального наслаждения сказывается в том, что позднейшее разрешение его в браке не дает уже полного удовлетворения. Но и неограниченная половая свобода с самого начала не приводит к лучшим результатам. Легко доказать, что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии наслаждаться любовью. Это относится как к отдельным индивидам, так и к народам. Во времена, когда удовлетворение любви не встречало затруднений, как, например, в периоде падения античной культуры, любовь была обеспечена, жизнь пуста. Нужны были сильные «реактивные образования» (Reaktion-sbildungen), чтобы создать необходимые аффективные ценности. Все это дает основание утверждать, что аскетические течения христианства дали любви психическую ценность, которой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего значения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых была наполнена почти исключительно борьбой с либидинозными искушениями.

Объяснение встречающихся в этой области трудностей и неясностей прежде всего обращается, разумеется, к общим свойствам наших органических влечений. В общем, конечно, совершенно верно, что психическое значение влечения повышается в связи с отказом от его удовлетворения. Стоит только попробовать подвергнуть одинаковому голоданию группу самых разнообразных людей. С возрастанием властной потребности в пище сглаживаются все индивидуальные раз-

личия и вместо них наступают однообразные проявления единого неудовлетворенного влечения. Но верно ли, что с удовлетворением влечения так уже сильно понижается его психическая ценность? Стоит вспомнить, например, отношение алкоголика к вину. Разве не правда, что вино дает алкоголику всегда одно и то же токсическое удовлетворение, часто сравниваемое в поэзии с эротическим, его можно сравнить с эротическим и с точки зрения научного понимания? Слыхали ли вы, чтобы пьяница принужден был вечно менять напитки, потому что он теряет вкус к одному и тому же напитку? Напротив, привычка все больше и больше укрепляет связь между человеком и излюбленным сортом вина. Слыхали ли вы, чтобы пьяница проявлял потребность отправиться в страну, где вино дорого или где запрещено его пить, чтобы пьяница старался возбудить свое особенное удовлетворение, создавая подобные затруднения? Ничего подобного. То, что говорят наши великие алкоголики, например, Беклин, о своем отношении к вину, звучит как чистейшая гармония, как образец счастливого брака. Почему же у любящего совершенно иное отношение к своему сексуальному объекту?

Я думаю, что следовало бы — как это странно ни звучит — допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения. Тогда из длительной и трудной истории развития этого влечения выделяются два момента, может быть, вызывающие также затруднение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора объекта, с промежуточным возникновением инцестуозного запрета, окончательный объект полового влечения никогда не совпадает с первоначальным, а является только его суррогатом. Психоанализ научил нас: если первоначальный объект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения, то он нередко подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых не удовлетворяет вполне ни один. Это может нам объяснить то непостоянство в выборе объекта и ту неутомимость, которыми так нередко отличается любовная жизнь взрослого.

Во-вторых, мы знаем, что половое влечение распадается на большое число компонентов, — не все могут войти в состав его позднейшего образования, — но их

жно прежде всего подавить или найти другое применение. К ним относятся сначала копрофильные части влечения, которые оказались несовместимыми с нашей эстетической культурой, вероятно, с тех пор, как мы благодаря вертикальному положению тела при ходьбе удалили наш орган обоняния от поверхности земли. Далее, той же участи подлежит значительная часть садистических импульсов, которые также относятся к числу проявлений любовной жизни. Но все эти процессы развития захватывают только верхние слои сложной структуры. Основные процессы, вызывающие любовное возбуждение, остаются незатронутыми. Экскрементальное слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным, положение гениталий — inter urinas et faeces — остается предопределяющим и неизменным моментом. Здесь можно было бы, несколько изменив, повторить известное изречение Наполеона: «анатомия решает судьбу». Гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом развития в сторону эстетического совершенствования, они остались животными, и поэтому и любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то слишком много, то слишком мало. То, что стремится из них сделать культура, недостижимо; оставшиеся без применения возбуждения дают себя знать при активных половых проявлениях в виде неудовлетворенности.

Таким образом, приходится, может быть, примириться с мыслью, что равновесие между требованиями полового влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно устранить лишения отказа и страдания, как и общую опасность прекращения в отдаленном будущем всего человеческого рода в силу его культурного развития. Хотя этот мрачный прогноз основан на том только единственном предположении, что культурная неудовлетворенность является необходимым следствием известных особенностей, приобретенных половым влечением под давлением культуры. Но именно эта неспособность полового влечения давать полное удовлетворение, как только это влечение подчинилось первым требованиям культуры, становится источником величайших культурных достижений, осуществляемых благодаря все дальше идущему сублимированию ком-

понентов этого влечения. Ибо какие мотивы могли бы побудить людей давать другое применение сексуальным импульсам, если бы при каком-либо распределении их они могли бы получать полное счастье? Они не отошли бы от этого счастья и не делали бы дальнейших успехов.

Таким образом, кажется, что благодаря непримиримому разладу между требованиями обоих влечений — сексуальными и эгоистическими — люди становятся способными на все высшие достижения, хотя постоянно подвергаются опасности заболеть неврозом, особенно наиболее слабые из них.

Цель науки — ни пугать, ни утешать. Но я и сам готов допустить, что такие общие заключения, как высказанные выше, следует построить на более широком основании, и что, может быть, некоторые направления в развитии человечества могут помочь исправить указанные нами в изолированном виде последствия.

ТАБУ ДЕВСТВЕННОСТИ

Немногие детали сексуальной жизни примитивных народов производят такое странное впечатление на наше чувство, как оценка этими народами девственности, женской нетронутости. Ценность девственности с точки зрения ухаживающего мужчины кажется настолько несомненной и само собой понятной, что нами почти овладевает смущение, когда мы хотим оправдать и обосновать это мнение. Требование, чтобы девушка в браке с одним мужем не сохранила воспоминаний о сношениях с другим, представляет из себя не что иное, как последовательное развитие исключительного права обладания женщиной, составляющее сущность монополии, распространение этой монополии на прошлое.

Нам не трудно уже позже оправдать то, что казалось сначала предрассудком, нашим мнением о любовной жизни женщины. Кто первый удовлетворяет с трудом в течение долгого времени подавляемую любовную тоску девушки и при этом преодолевает ее сопротивление, сложившееся под влиянием среды и воспитания,

вступает с ней в длительную связь, возможность которой не открывается уже больше никому другому. Вследствие этого переживания у женщин развивается «состояние подчиненности», которое является порукой нерушимой длительности обладания ею и делает ее способной к сопротивлению новым впечатлениям и искушениям со стороны посторонних.

Выражение «сексуальная подчиненность» предложено в 1892 г. v. Krafft-Ebing'ом для обозначения того факта, что одно лицо может оказаться в необыкновенно большой зависимости и несамостоятельности по отношению к другому лицу, с которым находится в половом общении. Эта принадлежность может иной раз зайти так далеко, до потери всякого самостоятельного желания, до безропотного согласия на самые тяжелые жертвы собственными интересами; упомянутый автор, однако, отмечает, что известная доля такой зависимости «безусловно необходима для того, чтобы связь была длительной». Такая доля сексуальной подчиненности действительно необходима для сохранения культурного брака и для подавления угрожающих ему полигамических тенденций, и в нашем социальном общежитии этот фактор всегда принимается в расчет.

Krafft-Ebing объясняет возникновение сексуальной подчиненности «необыкновенной степенью влюбленности и слабости характера», с одной стороны, и безграничным эгоизмом, с другой стороны. Однако аналитический опыт не допускает возможности удовлетвориться этим простым объяснением. Он показывает, что решающим моментом является величина сексуального сопротивления, которое необходимо преодолеть вместе с концентрацией и неповторяемостью процесса преодоления. Поэтому «подчиненность» гораздо чаще встречается и бывает интенсивней у женщины, чем у мужчины, а у последнего в наше время все же чаще, чем в античные времена. Там, где мы имеем возможность изучить сексуальную «подчиненность» у мужчин, она оказалась следствием преодоления психической импотенции при помощи данной женщины, к которой с того времени и привязался этот мужчина. Таким ходом вещей, повидимому, объясняются много странных браков и не одна трагическая судьба, даже повлекшая к самым значительным последствиям.

Неправильно описывают поведение примитивных на-

родов, о котором ниже идет речь, те, кто утверждает, что эти народы не придают никакого значения девственности, и в доказательство указывают, что дефлорация девушек совершается у них вне брака и до первого супружеского сношения. Наоборот, кажется, что и для них дефлорация является актом, имеющим большое значение, но она стала предметом табу, заслуживающим названия религиозного запрета. Вместо того, чтобы представить ее жениху и будущему мужу девушки, обычай требует того, *чтобы именно он уклонился от этого.*

В мои планы не входит собрать полностью литературные свидетельства, доказывающие существование этого запрета, проследить его географическую распространенность и перечислить все формы, в которых он выражается. Я довольствуюсь поэтому тем, что констатирую, что подобное устранение девственной плевы, совершаемое вне последующего брака, является чем-то весьма распространенным у живущих в настоящее время примитивных народов. Так Crawley говорит: «Брачный обряд сводится к прободению девственной плевы определенным лицом, но не мужем, что очень распространено на низких уровнях культуры, особенно же в Австралии».

Если же дефлорация не должна иметь места при первом брачном сношении, то ее должен совершить раньше — каким-нибудь образом и кто-нибудь. Я приведу несколько мест из вышеупомянутой книги Crawley'я, в которой имеются сведения по этому вопросу, и которые дают нам основание для некоторых критических замечаний.

S. 191. «У диери и у некоторых соседних племен (в Австралии) распространен обычай разрывать девственную плеву, когда девушка достигает половой зрелости. У племен Портланда и Гленелга совершить это у невесты выпадает на долю старой женщины, а иногда приглашаются белые мужчины с целью лишить невинности девушек».

S. 307: «Преднамеренный разрыв плевы совершается иногда в детстве, но обыкновенно во время наступления половой зрелости... Часто он соединяется, как, например, в Австралии, с специальным актом оплодотворения».

S. 348 (по сообщениям Spenser'a и Gillen'a об австралийских племенах, у которых существуют на-

местные эксогамические брачные ограничения): «Плева искусственно пробуравливается, и присутствующие при этой операции мужчины совершают в точно установленном порядке (необходимо заметить: по определенному церемониалу) половой акт с девушкой. Весь процесс состоит, так сказать, из двух актов: разрушения плевы и последующего полового общения»[1].

S. 349: «У мазаев (в экваториальной Африке) совершение этой операции составляет одно из самых главных приготовлений к браку. У закаев (Малайские острова), у баттов (Суматра) и альфуров (на Целебесе) дефлорация производится отцом невесты. На Филиппинских островах имелись определенные мужчины, специальностью которых была дефлорация невест в том случае, если плева не была еще в детстве разрушена старой женщиной, которой это специально поручалось. У некоторых эскимосских племен лишение невинности невесты представляется ангекоку или шаману[2].

Замечания, о которых я уже упомянул, относятся к двум пунктам. Во-первых, приходится жалеть о том, что в этих указаниях нет более тщательного различия между одним только разрушением плевы без полового акта и половым актом с целью такого разрушения. Только в одном месте мы определенно слышали, что весь процесс распадается на два акта: на (ручную или инструментальную) дефлорацию и на последующий затем половой акт. Очень обильный материал у Bartels-Ploss'а оказывается почти непригодным для наших целей, потому что в их изложении психологическое значение акта дефлорации совершенно исчезает перед анатомическим его результатом. Во-вторых, очень желательно было бы узнать, чем отличается «церемониальный» (чисто формальный, торжественный, официальный)

---

[1] Плева искусственно нарушается, и затем произведший операцию мужчина имеет сношение (церемониальное, заметим это) с девушкой по установленным правилам... Обряд состоит из двух частей: из разрывания плевы и сношения.

[2] Важным прелиминарием к бракосочетанию у мазаев является совершение этой операции у девушек. Эта дефлорация производится отцом невесты у сакаев, батта и альфуров на Целебесе. На Филиппинских островах существуют мужчины по своей профессии лишающие невинности невест; если у старухи девственная плева не была разорвана в детстве, она могла производить ту же операцию над невестами. Дефлорация невесты у некоторых эскимосских племен доверяется ангекоку (шаману).

половой акт при этих обстоятельствах от нормального полового общения. Доступные мне авторы или слишком стыдились об этом говорить, или опять-таки придавали слишком мало значения таким сексуальным подробностям с психологической точки зрения. Мы можем надеяться, что оригинальные сообщения путешественников и миссионеров более подробны и недвусмысленны, но при теперешней недоступности этой, по большей части иностранной, литературы, я не могу сказать ничего определенного. Впрочем, можно пренебречь сомнением по поводу этого второго пункта, принимая во внимание соображение, что церемониальный мнимый половой акт, вероятно, представляет собой замену и может быть сменил настоящий акт, который прежде совершался полностью[1].

Для объяснения этого табу девственности можно указать на разнообразные моменты, которым я дам краткую оценку. При дефлорации девушки обыкновенно проливается кровь; первая попытка объяснения так и ссылается на страх примитивных народов перед кровью, так как они считают, что в крови находится жизнь. Это табу крови доказывается многими предписаниями, не имеющими ничего общего с сексуальностью; оно, очевидно, имеет связь с запрещением убивать и составляет защитительную меру против первичной кровожадности, сладострастия убийства первобытного человека. При таком понимании табу девственности приводится в связь с соблюдаемым почти без исключения табу менструаций. Примитивный человек не может отделить таинственный феномен месячного кровотечения от садистических представлений. Менструации, особенно первые, он истолковывает как укус духообразного зверя, может быть, как признак сексуального общения с этим духом. Иной раз какое-нибудь сообщение дает возможность узнать в этом духе духа предка, и тогда нам становится понятным в связи с другими взглядами дикарей, что менструирующая девушка становится табу как собственность этого духа предка.

С другой стороны, нас предупреждают, чтобы мы не

---

[1] Относительно многочисленных других случаев свадебных церемоний не подлежит никакому сомнению, что возможность распоряжаться невестой в половом отношении предоставляется не жениху, а другим лицам, напр., помощникам и спутникам его («шаферам» по нашему обычаю).

слишком переоценивали влияние одного только такого момента, как страха крови. Этот страх не мог, ведь, уничтожить такие обычаи, как обрезание мальчиков и еще более жестокое обрезание девушек (отсечение клитора и малых губ), которые отчасти в обычае у тех же самых народов, или прекратить значение других церемониалов, при которых также проливается кровь. Не было бы поэтому ничего удивительного в том, если бы этот страх преодолевался в пользу мужа при первом половом сношении.

Второе объяснение также не принимает во внимание сексуальное, но заходит гораздо дальше. Оно указывает на то, что примитивный человек является жертвой постоянно подстерегающего его чувства страха, согласно психоаналитическому учению о неврозах. Эта склонность к страху сильнее всего проявляется во всех случаях, каким-либо образом отступающих от обычного, привносящих нечто новое, неожиданное, непонятное, жуткое. Отсюда и происходит доходящая до самых поздних религий церемония, связанная со всяким новым начинанием, с началом всякого нового периода времени, с появлением всякого первенца у человека, животного и плода. Никогда опасности, которые угрожают боящемуся, по его мнению, не ожидаются им больше, чем в начале опасного положения, и тогда-то и является самым целесообразным защититься от них. Первое половое общение в браке по своему значению имеет все основания на то, чтобы ему предшествовали эти меры предосторожности. Обе попытки объяснения как страхом перед кровью, так и страхом перед всем первородным, не противоречат одна другой, а, наоборот, подкрепляют друг друга. Первое половое общение несомненно акт, внушающий опасение, тем более, что при нем проливается кровь.

Третье объяснение, — Crawley отдает ему предпочтение, — обращает внимание на то, что табу девственности входит в одну большую связь явлений, охватывающих всю сексуальную жизнь. Не только первое половое общение с женщиной представляет из себя табу, но половой акт, вообще, пожалуй, можно было бы сказать, что женщина в целом является табу. Женщина является табу не только в исключительных, вытекающих из ее половой жизни положениях — менструации, беременности, родов и послеродового периода, но и вне этих поло-

жений общение с женщиной подвержено таким серьезным и многочисленным ограничениям, что у нас имеются все основания сомневаться в означенной сексуальной свободе дикарей. Совершенно верно, что в определенных случаях сексуальность примитивных народов не знает никаких преград, но обычно она, по-видимому, сильнее сдерживается запрещениями, чем на более высоких ступенях культуры. Как только мужчина предпринимает что-нибудь особенное, — экспедицию, охоту, военный поход, — он должен держаться вдали от женщины, особенно же воздержаться от полового общения; в противном случае его сила была бы парализована, и он потерпел бы неудачу. И в обычаях повседневной жизни открыто проявляется стремление к разъединению полов. Женщины живут с женщинами, мужчины с мужчинами; семейной жизни в нашем смысле у многих примитивных племен нет, разъединение полов доходит иной раз так далеко, что лицам одного пола запрещается произносить собственные имена другого пола, что у женщин развивается свой язык с особой сокровищницей слов. Сексуальная потребность вынуждает всякий раз вновь преодолевать эти преграды, созданные разъединением полов, но у некоторых племен свидание даже супругов может иметь место только вне дома и втайне.

Где примитивный человек установил табу, там он боится опасности, и нельзя отрицать, что во всех этих предписаниях избегать женщины выражается принципиальная перед ней боязнь. Может быть, эта боязнь объясняется тем, что женщина иная, не такая, как мужчина, всегда непонятна и таинственна, чужда и потому враждебна. Мужчина боится быть ослабленным женщиной, заразиться ее женственностью и оказаться поэтому неспособным. Ослабляющее и расслабляющее, вялое напряжение действий полового акта может быть образцом, оправдывающим такие опасения, а распространение этого страха оправдывается сознанием того влияния, которое женщина приобретает над мужчиной, благодаря половому общению и вниманию к себе, которое она этим завоевывает. Во всем этом нет ничего такого, что устарело бы, что не продолжало бы жить и среди нас.

Многие наблюдатели живущих в настоящее время примитивных народов пришли к выводу, что их любовные порывы сравнительно слабы и никогда не достигают

той интенсивности, которую мы обычно находим у культурного человечества. Другие возражали против такой оценки, однако перечисленные обычаи табу указывают, во всяком случае, на существование силы, сопротивляющейся любви, так как она отвергает женщину, как чуждую и враждебную.

В выражениях, немногим только отличающихся от принятой в психоанализе терминологии, Crawley доказывает, что каждый индивид отделяется от других посредством «taboo of personal isolation», и что именно мелкие различия при сходстве в других отношениях объясняют чувства чуждости и враждебности между ними. Было бы очень соблазнительно проследить эту идею и из этого «нарцизма мелких различий» вывести враждебность, которая, как мы видим, с успехом борется во всех человеческих отношениях с чувствами общности и одолевает заповедь всеобщего человеколюбия. Психоанализ полагает, что открыл главную из причин нарцистического, сильно пропитанного презрением, отрицательного отношения к женщинам тем, что указал на происхождение этого презрения из кастрационного комплекса и влияние этого комплекса на суждение о женщине.

Однако мы замечаем, что последние соображения далеко увели нас от нашей цели. Общее табу женщины не проливает никакого света на особенные предписания. касающиеся первого полового акта с девственным индивидом. Здесь мы должны удовлетвориться двумя первыми попытками дать объяснение страхом перед кровью и страхом перед впервые совершающимся, но даже и об этих объяснениях мы должны сказать, что они обнаруживают суть запрещения табу, о котором идет речь. В основе этого запрещения лежит, очевидно, намерение запретить именно мужу что-то такое или уберечь его от чего-то такого, что неотделимо от первого полового акта, хотя, согласно сделанному нами вначале замечанию, именно с этим связана особенная привязанность женщины к одному этому мужчине.

На этот раз наша задача состоит не в том, чтобы объяснить происхождение и значение предписаний табу. Это я сделал в моей книге «Totem und Tabu»; там я дал оценку значения первичной амбивалентности для табу и защищал мнение о происхождении табу из доисторических процессов, приведших к образованию человече-

ской семьи. Из современных наблюдений над обычаями табу у примитивных народов нельзя заключить о таком первоначальном его значении. Предъявляя подобное требование, мы слишком легко забываем, что даже самые примитивные народы живут в условиях культуры, весьма отдаленной от первичной, во временном отношении такой же старой, как и наши, и также соответствующей более поздней, хотя и другой ступени развития.

В настоящее время мы находим табу у примитивных народов уже развившимся в весьма искусную систему, совершенно подобно тому, как наши невротики проделывают развитие своих фобий, и старые мотивы табу — замененными новыми гармонически согласованными. Не обращая внимания на эти генетические проблемы, мы хотим остановиться только на том взгляде, что примитивный человек создает табу там, где боится опасности. Эта опасность, вообще говоря, психическая, потому что примитивный человек не вынужден делать различий, которые нам кажутся неизбежными. Он не отличает материальную опасность от психической и реальную от воображаемой. Согласно его последовательно проводимому анимистическому миросозерцанию, всякая опасность исходит от враждебного намерения равного ему одушевленного существа — как опасность, которой угрожает сила природы, так и грозящая со стороны другого человека или зверя. С другой стороны, он привык свои собственные внутренние враждебные душевные движения проецировать во внешний мир, приписывать их объектам, которые он ощущает как неприятные или хотя бы даже как чуждые. Источником таких опасностей считает он и женщину, а первый половой акт с женщиной считается особенно большой опасностью.

Я полагаю, что нам удастся выяснить, какова эта повышенная опасность, и почему она именно угрожает будущему мужу, если мы более подробно исследуем поведение современных женщин нашего культурного уровня при подобных же условиях. В результате такого исследования я утверждаю, что подобная опасность действительно существует, так что примитивный человек защищается посредством табу девственности против кажущейся, но вполне правильной, хотя и психической опасности.

Мы считаем нормальной реакцией, когда женщина после полового акта на высоте удовлетворения обни-

мает, прижимает к себе мужчину, видим в этом выражение ее благодарности и обещание длительной верности. Но мы знаем, что это поведение обычно не распространяется и на случай первого полового общения; очень часто он приносит женщине, остающейся холодной и неудовлетворенной, только разочарование, и обычно должно пройти много времени, и нужно частое повторение полового акта для того, чтобы он давал удовлетворение также и женщине. От этих случаев только начальной и скоро проходящей фригидности ведет непрерывный ряд к тем печальным случаям постоянной холодности, которые не могут преодолеть никакие нежные старания мужчины. Я полагаю, что эта фригидность женщины еще недостаточно понятна, и за исключением тех случаев, когда нужно вину за нее вменить недостаточной потенции мужчины, требует объяснения при помощи сродных ей явлений.

Столь частые попытки избежать первого полового общения я не хочу принимать здесь во внимание, потому что они имеют несколько объяснений, и в первую очередь, если не безусловно, именно в них нужно видеть выражение общего стремления женщин к сопротивлению. Но зато я думаю, что свет на загадку женской фригидности проливают некоторые патологические случаи, в которых женщина после первого и даже после всякого повторного общения открыто проявляет свою враждебность к мужчине, ругая его, поднимая против него руку или даже действительно ударяя его. В одном замечательном случае такого рода, который мне удалось подвергнуть подробному анализу, это случалось, несмотря на то, что женщина очень любила мужа, обычно сама требовала полового акта и явно испытывала при этом большое удовлетворение. По моему мнению, эта странная противоречивая реакция является следствием тех же душевных движений, которые обычно могут проявиться как фригидность, т. е. оказывается в состоянии подавить нежную реакцию, не имея возможности проявиться сама. В патологическом случае разлагается на оба компонента то, что при гораздо более частой фригидности сливается в одно задерживающее действие, совершенно подобно тому, как нам это уже давно известно в так называемых «двухвременных» симптомах навязчивости. Опасность, которая таким образом возникает благодаря дефлорации женщины, состоит в том, что

актом дефлорации можно навлечь на себя ее враждебность, и именно у будущего мужа имеются все основания стараться избежать этой вражды.

Анализ дает возможность без всякого труда угадать, какие именно душевные движения у женщины принимают участие в описанном парадоксальном ее поведении, в котором я надеюсь найти объяснение ее фригидности. Первый половой акт пробуждает целый ряд таких душевных движений, которым не должно быть места при желательной направленности женщины и часть которых и не возникает вновь при последующих общениях. В первую очередь тут приходится подумать о боли, которая причиняется девственнице при дефлорации, и, может быть, склонны будут считать этот момент решающим и не искать более других. Но нельзя приписывать такого значения боли, скорее можно это сделать нарцистической уязвленности, вытекающей из разрушения органа и рационально оправдываемой сознанием того, что дефлорация понижает сексуальную ценность. Но свадебные обычаи примитивных народов предупреждают и против такой переоценки. Мы слышали, что в некоторых случаях церемония протекает в два периода, что после разрыва плевы (рукой или инструментом) следует официальный, действительный или мнимый, половой акт, с заместителями мужа, и это нам показывает, что смысл предписания табу не исчерпывается тем, что избегают анатомической дефлорации, что мужа необходимо уберечь от чего-то другого, а не только от реакции жены на болезненное поранение.

Другую причину разочарования в первом половом акте мы видим (по крайней мере, у культурной женщины) в том, что ожидания, с ним связанные, и осуществление не могут совпасть. До этого времени половое общение ассоциировалось с самым строгим запретом и легальный, разрешенный половой акт не воспринимается как таковой. Насколько тесной может быть такая связь, видно из почти комического старания многих невест сохранить в тайне новые любовные отношения от всех чужих и даже от родителей в тех случаях, где в этом нет никакой настоящей необходимости и не приходится ждать ни с чьей стороны протестов против этих отношений. Девушки так открыто и говорят, что любовь теряет для них цену, если другие о ней знают. В некоторых случаях этот мотив может разрастись до

такой силы, что мешает вообще развитию способности любить в браке. Женщина снова находит свою нежную чувствительность только в запретных отношениях, которые нужно держать в тайне, и при которых она только чувствует уверенность в собственной, свободной от влияний, воле.

Однако и этот мотив недостаточно глубок; кроме того, связанный с культурными условиями, он лишен тесной связи с состоянием примитивных народов. Тем значительнее поэтому следующий момент, обусловленный историей развития либидо. Благодаря стараниям психоанализа нам стало известно, как постоянны и сильны самые ранние привязанности либидо. Речь при этом идет о сохранившихся сексуальных желаниях детства, у женщины по большей части о фиксации либидо на отце или на заменяющем его брате, желания, которые довольно часто направлены были не на coitus, а на нечто другое, или включали и его, но только как неясно осознанную цель. Супруг является всегда только, так сказать, заместителем, но никогда не «настоящим»; первым имеет право на любовь женщины другой, в типичных случаях отец; муж, самое большее, второе. Все зависит от того, насколько интенсивна эта фиксация и как крепко она удерживается для того, чтобы заместитель был отклонен как неудовлетворительный. Фригидность таким образом занимает место среди генетических условий невроза. Чем сильнее психический момент в сексуальной жизни женщины, тем устойчивее окажется ее распределение либидо против потрясений первого сексуального акта, тем менее потрясающе подействует на нее физическое обладание. Фригидность может тогда укрепиться как невротическая задержка или послужит почвой для других неврозов, и даже незначительное понижение мужской потенции приходится при этом принимать во внимание как вспомогательный момент.

По-видимому, обычай примитивных народов считается с мотивом прежнего сексуального желания, поручая дефлорацию старейшему, священнику, святому мужу, т. е. заместителю отца (см. выше). Отсюда, как мне кажется, ведет прямая дорога к вызывавшему столько споров jus primae noctis средневекового помещика. A. J. Storfer отстаивал тот же взгляд, кроме того, объяснил широко распространенный институт «Тобиясова брака» (обычая воздержания в течение первых трех

ночей) как признание преимущественных прав патриарха, как и до него уже это сделал C. G. Jung. В соответствии с нашим предположением мы находим среди суррогатов отца, которым поручена дефлорация, также и изображения богов. В некоторых областях Индии новобрачная должна принести в жертву деревянному Lingam свою плеву, и, по сообщению святого Августина, в римском брачном церемониале имелся такой же обычай (в его время?) с тем только послаблением, что молодой женщине приходилось только садиться на огромный каменный фаллус Приапа.

К более глубоким слоям возвращается другой мотив, который, как это можно сказать, является главным виновником парадоксальной реакции против мужа и влияние которого, по моему мнению, проявляется еще во фригидности женщины. Благодаря первому у женщины, кроме описанных, оживают еще другие прежние душевные движения, которые вообще противятся женской функции и роли.

Из анализа многих невротических женщин нам известно, что они проделали раннюю стадию развития, в течение которой они завидовали брату в том, что у него имеется признак мужественности, и чувствовали себя из-за отсутствия этого признака (собственно, его уменьшения) обойденными или обиженными. Эту «зависть из-за penis'а» мы причисляем к «кастрационному комплексу». Если понимать под «мужским» желание быть мужчиной, то это поведение можно назвать «мужским протестом», — название, придуманное Alf. Adler'ом, чтобы объявить этот фактор вообще носителем невроза. В этой фазе девочки часто не скрывают своей зависти и вытекающей из нее враждебности по отношению к более счастливому брату: они пытаются мочиться, стоя прямо, как брат, чтобы отстоять свое мнимое половое равноправие. В упомянутом уже случае неограниченной агрессивности после coitus'а по отношению к любимому мужу я мог установить, что эта фаза имела место до выбора объекта. Позже только либидо маленькой девочки обратилось на отца, и тогда она стала желать вместо penis'а — ребенка.

Я не был бы удивлен, если бы в других случаях временная последовательность этих переживаний оказалась обратной и та часть кастрационного комплекса проявила свое действие только после состоявшегося выбора объек-

та. Но мужская фаза женщины, во время которой она завидует мальчику из-за penis'а, исторически во всяком случае более ранняя и больше приближается к первоначальному нарцизму, чем к любви к объекту.

Несколько времени тому назад случай дал мне возможность понять сон новобрачной, который оказался реакцией на ее дефлорацию. Он легко выдавал желание женщины кастрировать молодого супруга и сохранить себе его penis. Несомненно, было достаточно места и для более безобидного толкования, что желательно было продления и повторения акта, но некоторые детали сновидения выходили за пределы такого смысла, а характер и дальнейшее поведение видевшей сон свидетельствовали в пользу более серьезного понимания. За этой завистью из-за penis'а проявляется враждебное ожесточение женщины против мужчины, которое всегда можно заметить в отношениях между полами и самые явные признаки которого имеются в стремлениях и в литературных произведениях «эмансипированных». Эту враждебность женщины Ferenczi — не знаю, первый ли — приводит путем соображений палебиологического характера к эпохе дифференциации полов. Сначала, думает он, копуляция имела место между двумя однородными индивидами, из которых один развился и стал более сильным и заставил другой, более слабый, перетерпеть половое соединение. Ожесточение за это превосходство сохранилось еще во врожденных склонностях современной женщины. Не думаю, чтобы пользование подобными размышлениями заслуживало упрека, поскольку удается не придавать им слишком большого значения.

После такого перечисления мотивов, сохранившихся в фригидности следов парадоксальной реакции женщины на дефлорацию, можно, обобщая, формулировать, что незрелая сексуальность женщины разряжается на мужчине, который впервые познакомил ее с сексуальным актом. Но в таком случае табу девственности приобретает достаточный смысл, и нам понятно предписание, требующее, чтобы этих опасностей избег именно тот мужчина, который навсегда должен вступить в совместную жизнь с этой женщиной. На более высоких ступенях культуры значение этой опасности отступает на задний план в сравнении с обещанием «подчиненности», а также и перед другими моти-

вами и соблазнами; девственность рассматривается как благо, от которого мужчине не надо отказываться. Но анализ помех в браке показывает, что мотивы, которые заставляют женщину желать отомстить за свою дефлорацию, не совсем исчезли из душевной жизни культурной женщины. Я полагаю, что наблюдатель должен заметить, в каком необыкновенно большом числе и чувствует себя несчастной, между тем как после расторжения этого брака она отдает свою нежность и счастье второму мужу. Архаическая реакция, так сказать, исчерпалась на первом объекте.

Однако табу девственности и помимо того не исчезло в нашей культурной жизни. Народная душа знает о нем, и поэты иногда пользовались им как сюжетом творчества, Anzengruber изображает в одной комедии, как простоватый деревенский парень отказывается жениться на суженой ему невесте, потому что она «девка, за которую первый поплатится жизнью». Он соглашается поэтому на то, чтобы она вышла замуж за другого, и хочет затем на ней жениться, как на вдове, когда она уже не опасна. Заглавие пьесы «Яд девственности» напоминает о том, что укротители змей заставляют ядовитую змею сперва укусить платок, чтобы потом безопасно иметь с ней дело[1].

Табу девственности и часть его мотивировки нашли могучее изображение в известном драматическом образе, в Юдифи из трагедии Hebel'я «Юдифь и Олоферн». Юдифь одна из тех женщин, девственность которой защищается табу. Первый ее муж был парализован в брачную ночь таинственным страхом и никогда больше не решался дотронуться до нее. Моя красота — красота ядовитой ягоды, — говорит она. — Наслаж-

---

[1] Мастерски сжатый рассказ A. Schnitzler'a, несмотря на различие в ситуации, заслуживает быть здесь приведенным. Погибший от несчастного случая любовник многоопытной в любви артистки создал ей как бы новую девственность, заклиная смертным проклятием мужчину, который будет ею обладать первым после него. Находящаяся под запретом этого табу, женщина в течение некоторого времени не решается на любовные отношения. Но после того, как она влюбилась в одного певца, она прибегнула к уловке подарить раньше ночь барону v. Leisenbogh'y, который уже несколько лет добивался ее. На нем и исполняется проклятие; он погибает от удара, узнав о причине своего нежданного любовного счастья.

дение ею приносит безумие и смерть». Когда ассирийский полководец осаждает ее город, у нее созревает план соблазнить его своей красотой и погубить; она пользуется таким образом патриотическим мотивом для сокрытия сексуального. После дефлорации могучим и хвастающим своей физической силой и беспощадностью мужчины она находит в своем возмущении силу отрубить ему голову и таким образом становится освободительницей своего народа. Отрубление головы известно как символическая замена кастрации; Юдифь, таким образом, женщина, кастрирующая мужчину, лишившего ее невинности, как этого желало описанное мною сновидение новобрачной. Hebbel с явной преднамеренностью сексуализировал патриотический рассказ из апокрифов Ветхого Завета, потому что там Юдифь, возвратившись, хвастает, что она не обесчещена, и в библейском тексте также отсутствует какое бы то ни было указание на ее странную брачную ночь. Вероятно, с тонким чутьем поэта он почувствовал древний мотив, включенный в тот тенденциозный рассказ, и только вернул сюжету его прежнее содержание.

J. Sadger в прекрасном анализе показал, как Hebbel руководился в выборе сюжета собственным родительским комплексом, и как это случилось, что в борьбе между полами он всегда становился на сторону женщины и проникал своим чувством в самые потаенные душевные ее движения. Он цитирует также мотивировку, указанную самим поэтом, объясняющую внесенные им изменения сюжета, и совершенно правильно находит ее искусственной и как бы предназначенной для того, чтобы внешне оправдать нечто для самого поэта скрытое в бессознательном его, а по существу скрыть это. Не хочу касаться объяснения Sadger'a, почему овдовевшая, согласно библейскому сказанию, Юдифь должна была превратиться в девственную вдову. Он указывает на намерение детской фантазии отрицать сексуальное общение между родителями и превратить мать в незапятнанную деву. Но я продолжаю: после того как поэт утвердил девственность своей фантазии, его чувствительная фантазия остановилась на враждебной реакции, которая вызывается нарушением девственности.

В заключение мы можем поэтому сказать: дефлорация имеет не одно только культурное последствие —

привязать женщину навсегда к мужчине; она дает также выход архаической реакции враждебности к мужчине, которая может принять патологические формы, довольно часто проявляющиеся как задержка в любовной жизни брака, и этой же реакции можно приписать тот факт, что вторые браки так часто оказываются более удачными, чем первые. Соответствующее табу девственности, боязнь, с которой муж у примитивных народов избегает дефлорации, находят свое полное оправдание в этой враждебной реакции.

Интересно, что, как аналитик, можешь встретить женщин, у которых обе противоположные реакции, подчиненности и враждебности, нашли себе выражение и остались в тесной связи между собой. Встречаются женщины, которые как будто совсем разошлись со своими мужьями и все же могут делать только тщетные усилия расстаться с ними. Как только они пробуют обратить свою любовь на другого мужчину, выступает, как помеха, образ первого, уже больше не любимого. Анализ тогда показывает, что эти женщины привязаны еще к своим мужьям из подчиненности, но не из нежности. Они не могут освободиться от них, потому что не совершили над ними своей мести, в ярко выраженных случаях не осознали даже своих мстительных душевных желаний.

ИНФАНТИЛЬНАЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(Дополнение к сексуальной теории)

Трудность исследовательской работы в психоанализе как нельзя лучше характеризуется тем обстоятельством, что, несмотря на беспрерывное, длящееся десятки лет наблюдение, все же легко не заметить общих черт и типичных отношений, пока они, наконец, не бросятся в глаза с полной очевидностью; нижеследующими замечаниями я хотел бы исправить подобного рода недосмотр в области инфантильной сексуальной теории.

Читателю, знакомому с моими «Тремя статьями по сексуальной теории», должно быть известно, что в последующих изданиях этого труда я никогда его не перерабатывал, а отмечал только добавлениями и изменениями текста последующее развитие наших взглядов. При этом нередко бывало, что прежнее и новое сливалось в одно свободное от всяких противоречий целое. Сначала все внимание сосредоточилось на описании основного различия и сексуальной жизни детей и взрослых, затем на первый план выплыли прегенитальные организации либидо и замечательный, чреватый последствиями, факт двукратного начала сексуального развития. Наконец, наше внимание привлечено было инфантильным сексуальным исследованием и, исходя из него, нетрудно было установить, насколько конечное состояние инфантильной сексуальности (приблизительно в пятилетнем возрасте), приближается к окончательному формированию сексуальности у взрослого. На этом я остановился в последнем издании сексуальной теории (1922).

На с. 65 этого издания я упоминаю, что «часто или всегда уже в детском возрасте совершается выбор объекта таким образом, как мы его изобразили характерным для фазы развития в период наступления половой зрелости, а именно, что все сексуальные устремления направляются на одно лицо, на котором они хотят достичь своей цели. Это составляет тогда наибольшее приближение к окончательной форме сексуальной жизни после наступления половой зрелости, которая только возможна в детские годы. Отличие от этой формы заключается еще только в том, что объединение частичных влечений (Partialtriebe) и подчинение их примату гениталий в детстве совершается очень неполно или даже совсем не происходит. Установление этого примата в целях продолжения рода составляет таким образом последнюю фазу, которую проходит сексуальная организация».

В настоящее время меня уже больше не удовлетворяет положение, что в раннем детском периоде примат гениталий совсем не устанавливается или устанавливается очень неполно. Близость детской сексуальной жизни к жизни взрослых заходит гораздо дальше и выражается не только в том, что происходит выбор

объекта. Если и не достигается настоящего объединения частичных влечений под приматом гениталий, то все же на кульминационном пункте всего хода развития инфантильной сексуальности интерес к гениталиям и пользование ими приобретает господствующее значение, мало уступающее их значению в период половой зрелости. Основной характер этой «инфантильной генитальной организации» составляет одновременно ее отличие от окончательной генитальной организации взрослых. Он заключается в том, что для обоих полов играют роль только одни гениталии, мужские. Существует не примат гениталий, а примат phallus'а.

К сожалению, мы можем описать данное положение вещей только у мальчика, что касается соответствующих процессов у маленькой девочки, у нас нет еще определенного взгляда. Маленький мальчик несомненно замечает различие между мужчинами и женщинами, но пока у него нет еще повода привести это различие в связь с различием их гениталий. Для него вполне естественно предположение, что у всех других живых существ, людей и животных, имеются такие же гениталии, как и у него самого, и нам даже известно, что он ищет чего-то аналогичного своему органу и у неодушевленных предметов[1]. Эта легко возбуждаемая, переменчивая, столь богатая ощущениями часть тела, в высокой степени занимает интерес мальчика и выдвигает беспрерывно новые задачи перед его влечением к исследованию. Он хотел бы увидеть ее и у других лиц, чтобы сравнить ее со своей собственной, и ведет себя так, будто предчувствует, что этот орган мог бы и должен был бы быть больше; движущая сила, которую позже в период наступления зрелости обнаружит эта мужская часть тела, в этот период жизни проявляется преимущественно как влечение к исследованию, как сексуальное любопытство. Много эксгибиционистских и агрессивных действий, совершаемых ребенком, которые в более позднем возрасте не задумываясь считали бы проявлением похоти, при анализе, оказываются

[1] Впрочем, замечательно, в какой малой степени привлекает к себе внимание ребенка другая часть мужских гениталий, мошонка с ее содержимым. Опираясь на анализы, нельзя было бы никогда узнать, что гениталии состоят еще из чего-либо иного, чем penis.

экспериментами, сделанными с целью сексуального исследования.

В течение этого исследования ребенок приходит к открытию, что penis не составляет общего достояния всех сходных с ним существ. Толчком к этому служит то, что ребенок случайно заметил, как выглядит гениталий маленькой сестры или подруги. Наблюдательные дети уже до того, на основании своих наблюдений при мочеиспускании девочек, видя другое положение и слыша другой шум, начинают подозревать, что здесь имеется что-то другое, и стараются тогда повторить эти наблюдения с целью выяснения положения вещей. Известно, как они реагируют на это отсутствие penis'а. Они не приемлют этот недостаток, считают, что все-таки видят орган, маскируют противоречие между наблюдением и своей предвзятостью соображением, что орган еще мал и вырастет, и постепенно приходят к заключению важному в аффективном отношении, что он по крайней мере имелся и затем его отняли. Отсутствие penis'а понимается как результат кастрации, и ребенок стоит перед задачей выяснить отношение кастрации к самому себе. Дальнейшее развитие слишком общеизвестно, чтобы нужно было здесь о нем повторять. Мне только кажется, что значение кастрационного комплекса можно вполне оценить только тогда, если принять во внимание также его развитие в фазе примата phallus'а[1].

Известно также, насколько большая доля унижения женщины, жуткого чувства перед ней, предрасположения к гомосексуальности проистекает из окончательного убеждения в отсутствии penis'а у женщины. Ferenczi недавно совершенно правильно объяснил символ ужаса в мифологии — голову Медузы впечатлением от лишенных penis'а женских гениталий[2].

[1] Совершенно верно указывалось на то, что у ребенка возникает представление о нарцистическом повреждении от телесного урона при отнятии от материнской груди после кормления, при ежедневном выделении фекальных масс, и даже уже при отделении от материнского органа во время рождения, но о кастрационном комплексе можно говорить только тогда, если такое представление о потере связывается с мужскими гениталиями.

[2] Я хотел бы прибавить, в массе имеются в виду гениталии матери, Афина, на панцире которой имеется голова Медузы, становится именно поэтому недоступной женщиной, вид которой убивает всякую мысль о сексуальном сближении.

Но все же не следует полагать, что ребенок так скоро и легко обобщает свое наблюдение, что у некоторых женщин не имеется penis'а, этому препятствует уже предположение, что отсутствие penis'а является следствием кастрации в наказание за что-то. Напротив, ребенок думает, что только недостойные женщины, которые, вероятно, виновны в таких же непозволительных душевных движениях, как и он сам, лишились своих гениталий. А уважаемые женщины, как мать, еще долго сохраняют penis. Для ребенка быть женщиной еще не значит не иметь penis'а[1]. Только позже, когда ребенок стремится разрешить проблему рождения детей и открывает, что рождать детей могут только женщины, лишается penis'а также и мать, и иногда строятся очень сложные теории для объяснения обмена penis'а на ребенка. При этом никогда не открывают женских гениталий: ребенок живет в животе (кишках) матери и рождается через выход из кишечника. С этими последними теориями мы выходим за период инфантильной сексуальности.

Важно еще отметить, какие превращения проделывает хорошо знакомая половая полярность во время детского сексуального развития. Первая противоположность вводится моментом выбора объекта, предполагающего субъект и объект. На прегенитальной садистически-анальной организации о мужском и женском еще не приходится говорить, господствующим является противоположность между *активным* и *пассивным*. На следующей затем ступени инфантильной генитальной организации хотя и существует *мужское*, но женского еще нет; противоположность здесь означают: *мужские гениталии* или *кастрированный*. Только с окончанием развития во время половой зрелости сексуальная полярность совпадает с *мужским* и *женским*. Мужское включает субъект, активность и обладание penis'ом, за женским остаются объект и пассивность. Вагина приобретает ценность как вместилище для penis'а, ей достается в наследство значение материнской утробы.

---

[1] Из анализа молодой женщины я узнал, что она, оставшись без отца, но имея нескольких теток, в течение нескольких лет латентного уже периода продолжала думать, что у матери и теток имеется penis. Но слабоумную тетку она считала — как и себя — кастрированной.

Остроумие и его отношение к бессознательному

А. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ВВЕДЕНИЕ

Кто имел когда-либо повод осведомляться в литературе у эстетов и психологов, какое объяснение может быть дано сущности остроумия и его отношению к другим видам душевной деятельности, тот, конечно, должен будет признать, что философские старания не коснулись остроумия в той мере, какой она заслуживает благодаря своей роли, которую оно играет в нашей душевной жизни. Только немногие мыслители подробнее интересовались проблемами остроумия. Правда, среди лиц, занимавшихся исследованием остроумия, имеются блестящие имена: поэта Jean Paul'я (Fr. Richter'a) и философов Th. Vischer'a, Kuno Fischer'a и Th. Lipps'a, но и у этих авторов тема остроумия стоит на заднем плане, в то время, как главный интерес исследования сосредоточен на более широкой и более заманчивой проблеме комического.

При изучении этой литературы получается такое впечатление, как будто совершенно невозможно трактовать остроумие вне его связи с комическим.

По Th. Lipps'у остроумие является «чрезвычайно субъективным комизмом», т. е. комизмом, «который мы сами производим, который относится к нашему поведению, как к таковому, и к которому мы всегда относимся, как подлежащий ему субъект, но никогда, как объект, а также не как добровольный объект». Поясняющее это положение примечание гласит: остроумием называется вообще «всякое сознательное и искусное создание комизма, будет ли это комизм созерцания или комизм ситуации».

K. Fischer поясняет отношение остроумия к комическому с помощью исследования карикатуры, занимающей в его изложении среднее место между остроумием и комизмом. Объектом комизма является безобразное в какой бы то ни было форме своего проявления: «Там, где оно скрыто, оно должно быть обнаружено в свете комического созерцания, где оно мало или едва заметно, оно должно быть выхвачено и так подчеркнуто, чтоб оно было ясно и очевидно... Так возникает карикатура». «Весь наш духовный мир, интеллектуальное царство наших мыслей и представлений не развертывается под взглядом внешнего созерцания; оно не может быть непосредственно представлено при помощи образного и наглядного изображения, но оно сохраняет и свои задержки, недостатки, уродства, массу смешного и множество комических контрастов. Чтобы подчеркнуть их и сделать их доступными эстетическому созерцанию, нужна сила, которая была бы в состоянии не только изобразить объекты, но и сама могла бы рефлектировать и пояснить эти изображения: сила, проясняющая мысли. Такой силой является только суждение. Суждением, производящим комический контраст, является острота; она втихомолку участвовала уже в карикатуре, но в суждении она приобрела свойственную ей форму и свободное поприще для своего развития».

Как видно, Lipps усматривает характерные черты, выделяющие остроумие среди других видов комического, в деятельности, в активном поведении субъекта в то время, как K. Fischer характеризует остроумие отношением к своему объекту, который должен

выявить скрытое уродство царства мыслей. Основательность этих определений не может быть проверена; их даже едва ли можно понять, если рассматривать их вне той взаимозависимости, из которой они кажутся здесь вырванными, и мы стоим, таким образом, перед необходимостью поработать над изображением комического у авторов, чтобы узнать от них что-нибудь об остроумии. Между тем в других местах видно будет, что эти авторы сумели указать на существенные и общераспространенные характерные черты остроумия, при которых это отношение к комическому не принято во внимание.

Характеристика остроумия у K. Fischer'а, которою автор сам, по-видимому, вполне удовлетворяется, гласит: «остроумие есть игривое суждение». Для пояснения этого выражения мы укажем на аналогию: «подобно тому, как эстетическая свобода заключается в игривом созерцании вещей». В другом месте эстетическое отношение к объекту характеризуется условием, что мы от этого объекта ничего не требуем, в особенности никакого удовлетворения наших серьезных потребностей, а довольствуемся наслаждением при созерцании этого объекта. Эстетическое отношение является игривым в противоположность работе. — «Могло случиться, что из эстетической свободы возник особый вид суждения, свободный от оков и правил, который я ввиду его происхождения хочу назвать «игривым суждением», и что в этом понятии сохранено первое условие, если не целиком вся формула, разрешающая нашу задачу. «Свобода дает остроумие, а остроумие дает свободу», — сказал Jean Paul. «Остроумие является одной только игрой идеями».

Издавна любили определять остроумие как ловкое умение находить сходство между несходными вещами, следовательно, находить скрытое сходство. Jean Paul сам остроумно выразил эту мысль следующим образом: «Остроумие — это переодетый священник, который венчает каждую пару». Th. Vischer продолжает: «Он венчает охотнее всего ту пару, к соединению которой родственники относятся нетерпимо». Но Vischer же возражает, что существуют остроты, при которых нет и речи о сравнении, а следовательно, и о нахождении сходства. Он дает, таким образом, несколько отличное от Jean Paul'я определение остроумия, как умения с поразительной быстротой связы-

вать в одно целое несколько представлений, являющихся собственно чуждыми друг другу по своему внутреннему содержанию и связи. Затем K. Fischer подчеркивает, что в множестве остроумных суждений имеет место отыскивание не сходств, а различий, а Lipps обращает внимание на то, что эти определения относятся к тем остротам, которые остроумный человек знает, а не к тем, которые он создает.

Другими точками зрения, которые в некотором смысле связаны друг с другом и которыми пользуются для определения понятия или описания остроумия, являются: «контраст представлений», «смысл в бессмыслице» и «смущение вследствие непонимания и внезапное уяснение».

Определение, как, например, Kraepelin'а, переносит центр тяжести на контраст представлений. Острота является «произвольным связыванием или соединением двух контактирующих друг с другом каким-либо образом представлений, в большинстве случаев с помощью речевой ассоциации». Такому критику, как Lipps'у, нетрудно открыть полную несостоятельность этой формулы, но он сам не исключает момента контраста, а передвигает его на другое место. «Контраст продолжает существовать, но это — не так или иначе понятый контраст представлений, связанных со словами, но контраст или противоречие значения или незначительности слов». Примеры поясняют, как должно понимать последнее. «Контраст возникает лишь благодаря тому, что... мы признаем за словами некоторое значение, которое мы, однако, не можем затем вновь признать за ними».

В дальнейшем развитии этого последнего определения приобретает значение антитеза «смысл и бессмыслица». «То, что мы в один момент считаем осмысленным, оказывается для нас затем совершенно бессмысленным. В этом заключается для нас в настоящем случае комический процесс». «Остроумным кажется выражение в том случае, если мы с психологической необходимостью приписываем ему определенное значение и, приписывая ему это значение, тотчас снова отрицаем его. При этом под значением можно разуметь различное. Мы приписываем выражению смысл и знаем, что логически он ему не принадлежит. Мы находим в выражении истину, которую мы все-таки в силу

законов познания или общего навыка нашего мышления не можем найти в нем; мы признаем за ним логические и практические следствия, выходящие за пределы его действительного содержания, чтобы сейчас же отрицать эти следствия, как только мы примем во внимание качество этого выражения. Во всяком случае психологический процесс, который вызывает в нас остроумное выражение и на котором покоится чувство комизма, заключается в непосредственном переходе от этого признания смысла, истины, значительности к сознанию или впечатлению относительной ничтожности».

Если это объяснение звучит так убедительно, то желательно было бы все-таки поставить здесь вопрос, способствует ли эта антитеза осмысленного и бессмысленного, на которой покоится чувство комизма, и определению понятия остроумия, поскольку оно отличается от комизма.

И момент «непонимания и внезапного уяснения» тоже заводит нас далеко в проблему отношения остроумия к комизму». Kant говорит о комическом вообще, что замечательная особенность его заключается в том, что оно может обмануть нас только на один момент. Heymans показывает, как осуществляется эффект остроумия последовательной сменой непонимания и внезапного уяснения. Он поясняет свое мнение прекрасной остротой Гейне, который заставляет одного из своих героев, бедного лотерейного коллекционера Гирш-Гиацинта, хвастать тем, что великий барон Ротшильд обходится с ним, как с человеком вполне ему равным, вполне фамиллионьярно (famillionär). Здесь слово, являющееся источником остроумия, кажется прежде всего ошибочным словообразованием, чем-то непонятным, несуразным, загадочным. Поэтому оно приводит нас в смущение. Комизм получается в результате исчезновения смущения, в результате понимания слова. Lipps дополняет, что за этой первой стадией, во время которой мы узнаем, что смущающее нас слово означает то-то и то-то, следует вторая стадия, во время которой сознают, что это бессмысленное слово смутило нас, а затем оказалось действительно имеющим смысл. Лишь это второе уяснение, познание того, что бессмысленное с точки зрения обыденной практики языка слово было виною всему, лишь это превращение в ничто вызывает комизм.

Кажется ли нам та или другая из обеих этих трактовок более понятной — мы благодаря рассуждению о непонимании и внезапном уяснении подошли ближе к определенному мнению. Если комический эффект Гейневского фамиллионьярно основан на разгадке якобы бессмысленного слова, то «остроумие» следует, конечно, усмотреть в образовании этого слова и в характере образованного таким образом слова.

Кроме всей связи с обсуждавшимися только что точками зрения, все авторы указывают и на другую особенность остроумия, существенную для него. «Краткость — душа и тело остроумия, и даже оно само»,— говорит Jean Paul, видоизменяя таким образом одну лишь фразу старого болтуна Полония в шекспировском Гамлете (действ. 2-е, сцена II):

И так как краткость есть душа ума,
А многословие — его прикраса,
Я буду краток.

Важно затем описание краткости остроумия у Lipps'a. «Острота говорит то, что она говорит, не всегда мало, но всегда слишком немногими словами, т. е. словами, которые согласно строгой логике или обычному образу мышления и речи недостаточны для этого. Она может, наконец, попросту сказать кое-что, умалчивая об этом».

«Что остроумие должно выхватывать нечто спрятанное или скрытое» (K. Fischer), было уже указано при сопоставлении остроумия с карикатурой. Я подчеркиваю еще раз это определение, так как и оно тоже больше относится к сущности остроумия, чем к сущности комизма.

Я, конечно, понимаю, что вышеприведенные небольшие выдержки из работ авторов, писавших об остроумии, недостаточны для суждения о ценности этих работ. Вследствие трудностей, возникающих при желании правильно передать столь сложный, с такими тонкими нюансами ход мыслей, я не могу избавить любознательных читателей от труда почерпнуть желательные для них познания из первоначальных источников. Но я не знаю, будут ли они полностью удовлетворены ими. Указанные авторами и приведенные в предшествую-

щем критерии и особенности остроумия — активность, отношение к содержанию нашего мышления, характер игривого суждения, сочетание несходного, контраст представлений, «смысл в бессмыслице», последовательная смена смущения вследствие непонимания и внезапного уяснения, выхватывание скрытого и особый вид лаконичности остроумия — хотя и кажутся на первый взгляд очень меткими и так легко подтверждаемыми целым рядом примеров, что мы не можем подвергнуться опасности недооценить ценность таких взглядов, но все это disjecta membra, которые мы хотели бы видеть объединенными в одно органическое целое. Они приводят в результате к познанию остроумия не более, чем ряд анекдотов, характеризующих личность, биографию которой нам нужно узнать. В результате всего вышеизложенного мы совсем не знаем того, что общего имеет, например, лаконичность остроумия с его характером игривого суждения, и далее у нас нет объяснения, должно ли остроумие удовлетворять всем этим условиям, чтобы быть истинным остроумием, или только некоторым из них, и какие из этих условий могут быть заменены другими, а какие из них необходимы. Мы хотим также произвести группировку и подразделение острот, основываясь на их особенностях, признанных существенными. Подразделение, которое мы находим у авторов, опирается, с одной стороны, на технические приемы, с другой стороны, на употребление острот в разговоре (остроумие, являющееся результатом созвучия, игра слов, — карикатурная, характеризующая острота, остроумное отпарирование).

Нам, следовательно, нетрудно будет указать дальнейшему исследователю объяснения остроумия его цели. Чтобы иметь возможность рассчитывать на успех, мы должны были бы либо внести в эту работу новые точки зрения, либо попытаться проникнуть глубже путем усиления нашего внимания и углубления нашего интереса. Мы можем указать на то, что в применении этого последнего средства, по крайней мере, недостатка не было. Прямо поразительно, сколькими немногими примерами таких признанных острот довольствуются авторы для своих исследований, и как каждый заимствует те же самые остроты у своих предшественников. Мы не можем отказаться от необходимости также проанализировать те же самые примеры,

которые были уже приведены классическими авторами, писавшими об остроумии, но мы намерены, кроме этого, заняться исследованием и нового материала, чтобы иметь более широкие основания для наших выводов. Затем мы намерены сделать объектами нашего исследования такие примеры остроумия, которые в жизни произвели на нас самих огромнейшее впечатление и заставили нас много смеяться.

Заслуживает ли тема остроумия такого исследования? Я думаю, что это не подлежит сомнению. Помимо личных мотивов, которые будут раскрыты во время развития этой работы и которые побуждают меня сделать попытку разрешения проблемы остроумия, я могу сослаться на существование тесной связи между душевными процессами, связи, которая обещает психологическому познанию в какой-нибудь одной отдаленной области нечто ценное, не вполне еще признанное в других областях. Нужно помнить также и о том, какую своеобразную, прямо-таки очаровательную прелесть представляет остроумие в нашем обществе. Новая острота обладает таким же действием, как событие, к которому проявляют величайший интерес; она передается от одного к другому, как только что полученное известие о победе. Даже видные люди, которые считают нужным сообщать свою биографию, рассказывать, какие города и страны они видели, с какими выдающимися людьми они общались, не пренебрегают случаем поместить в своем жизнеописании те или иные прекрасные остроты, слышанные ими.

II. ТЕХНИКА ОСТРОУМИЯ

Следуя прихоти случая, мы берем первый пример остроумия, который встретился нам в предыдущей главе.

В той части «Путевых картин», которая озаглавлена «Луккские воды», Г. Гейне выводит ценный образ лотерейного коллекционера и мозольного оператора Гирш-Гиацинта из Гамбурга, который хвастает перед поэтом своими отношениями с богатым бароном Ротшильдом и в заключение говорит: «И как бог свят, господин доктор, я сидел рядом с Соломоном Рот-

шильдом, и он обращался со мною, как с своим равным, совершенно фамиллионьярно»[1].

На этом считающемся превосходным и очень смешным примере Heymans и Lipps выяснили происхождение комического эффекта остроты из «смущения вследствие непонимания и внезапного уяснения» (см. выше). Но мы оставляем этот вопрос в стороне и задаем себе другой вопрос: что же именно превращает разговор Гирш-Гиацинта в остроту? Это может зависеть только от причин двоякого рода: или сама по себе мысль, выраженная в предложении, носит черты остроумия, или остроумие кроется в самом способе того выражения, которое мысль нашла в предложении. В какой из этих двух сторон мы усмотрим характер остроумия, в той мы и проследим его глубже, исследуем и постараемся уловить его.

Мысль может найти свое выражение в общем в различных разговорных формах — следовательно, в словах, которые могут очень верно передавать ее. В речи Гирш-Гиацинта мы имеем определенную форму выражения мысли и, как мы догадываемся, особенную, своеобразную форму, не ту, которая легче всего может быть понята. Попытаемся выразить эту же мысль по возможности верно другими словами. Lipps уже сделал это и пояснил таким образом до некоторой степени изложение поэта. Он говорит: «Мы понимаем, что Гейне хочет сказать, что обращение было фамильярным, но носило тот именно общеизвестный характер, который обычно не доставляет удовольствия благодаря привкусу миллионерства». Мы ничего не изменяем в этой мысли, если даем ей другое изложение, которое быть может лучше подходит к разговору Гирш-Гиацинта: «Ротшильд обошелся со мной, как с совсем равным, совсем фамильярно, т. е. постольку, поскольку это может сделать миллионер». «Снисходительность богатого человека заключает в себе всегда что-то неудобное для того, кто испытывает ее на себе», прибавим мы еще[2].

---

[1] Г. Гейне. Собр. соч., т. I, с. 359. Спб., 1904. Изд. 2-е. Перев. П. Вейберга. — У переводчика слово «familionär» переведено «фамиллионерно». (Я. К.).

[2] Этой же остротой мы займемся еще в другом месте, и там мы будем иметь повод предпринять корректуру данного Lipps'ом изложения этой остроты, приближающегося к нашему изложению, но и его изложение не мешает нижеследующим рассуждениям.

Останемся ли мы при этом или при другом равнозначащем тексте этой мысли, мы видим, что вопрос, который мы задали себе, уже предрешен. Характер остроумия проистекает в этом примере не за счет мысли. Замечание, которое Гейне вкладывает в уста своему Гирш-Гиацинту, верно и метко; замечание это таит очевидную горечь, которая, понятно, легко возникает у бедного человека при виде такого большого богатства, но все же мы не решимся назвать это замечание остроумным. Если кто-нибудь не может освободиться при чтении этого замечания в нашей передаче от воспоминания об изложении этой мысли у самого поэта и продолжает все-таки думать, что мысль эта сама по себе остроумна, то мы можем указать на надежный критерий утерянной в нашей передаче характерной черты остроумия. Рассказ Гирш-Гиацинта заставляет нас громко смеяться, верная же передача смысла этого рассказа по Lipps'у или в нашем изложении может нам нравиться, побуждать нас к размышлению, но смеяться она не может нас заставить.

Но если характер остроумия в нашем примере происходит не за счет мысли, то его следует искать в форме, в подлинном тексте его выражения. Нам нужно изучить особенность этого способа выражения, чтобы понять, что можно обозначить, как технику слова или выражения этой остроты; техника эта должна находиться в тесной связи с сущностью остроты, так как характерная черта и эффект остроты исчезают при замене этой техники выражения другою. Впрочем, мы находимся в полном согласии с другими авторами, придавая такое значение словесному выражению остроты. Так, например, K. Fischer говорит: «Прежде всего одна только форма уже превращает суждение в остроту, и при этом невольно вспоминается фраза Jean Paul'я, выясняющая и доказывающая ту же природу остроты в остроумном же изречении: «Так побеждает одна только позиция, будь то позиция ратников или позиция фраз».

В чем же заключается «техника» этой остроты? Что произошло с мыслью, заключающейся в нашем изложении, покуда из нее получилась острота, по поводу которой мы так искренно, от души смеялись? С ней произошли две перемены, как показывает сравнение нашего изложения с текстом поэта. Во-первых, имело

место значительное *сокращение*. Для того, чтобы целиком выразить заключающуюся в остроте мысль, мы должны были прибавить к словам «Р. *обошелся со мною, как с совсем равным, совсем фамильярно*», второе предложение, которое в наикратчайшей форме гласит: т. е. *постольку, поскольку это может сделать миллионер*. И после этого лишь мы почувствовали еще потребность в поясняющем добавлении. У поэта это выражено гораздо короче: «Р. *обошелся со мною, как с совсем равным, совсем фамиллионьярно*». Все ограничение, которое второе предложение прибавляет к первому, констатирующему фамильярное обращение, утрачено в остроте.

Но это ограничение опущено все-таки не без замены, из которой его можно реконструировать. Имело место и другое видоизменение. Слово «*фамильярно*» в лишенном остроумия выражении мысли превратилось в тексте остроты в «*фамиллионьярно*», и, без сомнения, именно с этим словообразованием связан характер остроумия и смехотворный эффект остроты. Новообразованное слово покрывается в своем начале словом «фамильярно» первого предложения, а в своих конечных слогах словом «миллионер» второго предложения. Замещая одну только составную часть слова «миллионер», оно, вследствие этого, замещает как будто все второе предложение и заставляет нас, таким образом, угадывать пропущенное в тексте остроты второе предложение. Его нужно описать, как смешанное образование из двух компонентов «фамильярно» («familiär») и «миллионер» («millionär»), и можно попытаться графически, наглядно выяснить себе его возникновение из обоих этих слов[1].

Fa**mili** är	Фа**мил** ьярно
milionär	**мил**ионер
Fa**mili**onär	Фа**мил**ионьярно

[1] Слоги, общие обоим словам, напечатаны здесь жирным шрифтом в противовес различным типам отдельных составных

Процесс же, превративший мысли в остроту, можно представить себе следующим образом; хотя он и может показаться на первый взгляд чисто фантастическим, но, тем не менее, он в точности представляет действительно имеющийся налицо факт:

«Р. обошелся со мной совсем фамильярно, т. е. постольку, поскольку это может сделать миллионер».

Теперь предположим, что на эти предложения действует укомплектовывающая сила, и что второе предложение по какой-либо причине менее резистентно. Тогда оно исчезнет, а существенная составная часть его, слово «миллионер», которая может противостоять давлению, будет как бы вдавлена в первое предложение, сольется с столь подобным ему элементом этого предложения «фамильярно», и именно эта случайно имеющаяся возможность спасти существенное во втором предложении будет способствовать гибели других, менее важных составных частей. Таким образом возникает острота: «Р. обошелся со мной совсем

```
фа                 ⁄ ьярно              ⎛famili   on — är⎞
    ╲   мил          лионьярно          ⎝  mili ⁄        är⎠
                   ╲ лионер
```

Даже помимо такой укомплектовывающей силы, которая нам ведь неизвестна, мы можем описать процесс образования остроты, т. е. технику остроумия в этом случае, как **сгущение с заместительным образованием**; и действительно, в нашем случае заместительное образование состоит в создании **смешанного слова**. Это смешанное слово «**фамиллионьярно**» само по себе непонятное, будучи присоединено к этой связи, в которой оно стоит, становится тотчас понятным и исполненным смысла, является носителем заставляющего нас смеяться эффекта остроты, механизм которого не стал нам все-таки ни на йоту яснее с открытием этой техники остроумия.

частей обоих слов. Второе Л (L), которое едва заметно при произношении, разумеется, должно быть пропущено. Понятно, что созвучие обоих слов в нескольких слогах дало повод технике остроумия к созданию смешанного слова.

Поскольку может имеющий место в разговоре процесс сгущения с заместительным образованием в виде смешанного слова доставить нам удовольствие и заставить нас смеяться? Мы замечаем, что это — другая проблема, обсуждение которой мы должны отложить до тех пор, пока мы не найдем к ней подхода. Предварительно мы займемся техникой остроумия.

По нашему мнению, техника остроумия не может быть безразлична для понимания сущности последнего; поэтому мы хотим прежде всего исследовать, существуют ли другие примеры острот, построенных аналогично Гейневскому «фамиллионьярно». Их существует не особенно много, но все же достаточно, чтобы составить из них небольшую группу, которая характеризуется словообразованием путем смешивания. Гейне сам создал из слова «миллионер» вторую остроту, как бы подражая самому себе; он говорит «Millionarr», что является, как нетрудно догадаться, сокращенной комбинацией слов «Millionär» и «Narr» (что по-немецки: дурак), и, подобно первой остроте, дает выражение подавленной задней мысли.

Вот другие известные мне примеры: жители Берлина называют «Форкенкладезем» один колодец в своем городе, сооружение которого доставило много неприятностей бургомистру «Форкенкладу»[1], и этому названию нельзя отказать в остроумии, хотя слово «колодец» должно было быть превращено для этого в неупотребительное «кладезь», чтобы получилось нечто общее с фамилией. Злое остроумие Европы окрестило однажды одного монарха Клеопольдом, вместо Леопольда, из-за его тогдашних отношений к одной даме по имени Клео; это — несомненная работа сгущения, которая присоединением одной единственной буквы постоянно делает неприятный намек. — Собственные имена вообще легко подвергаются этой обработке со стороны техники остроумия: в Вене было два брата, по фамилии Salinger; один из них был биржевой маклер (Börsensal). Это

---

[1] Настоящая фамилия бургомистра Forkenbeck; чтобы сохранить технику этой остроты, пришлось несколько видоизменить эту фамилию. (Я. К.).

дало повод назвать одного брата S e n s a l i n g e r[1], в то время, как для другого брата в отличие вошло нелюбезное прозвище S c h e u s a l i n g e r[2]. Оно было удобно, и, конечно, остроумно; я не знаю, было ли оно справедливо. Острота обычно не очень заботится об этом

Мне рассказали следующую остроту, явившуюся результатом сгущения: молодой человек, который вел на чужбине легкомысленный образ жизни, посещает после долгого отсутствия живущего на родине друга, который опешил, увидя на руке у своего гостя обручальное кольцо. «Как? — восклицает он, — разве вы женаты?» «Да, — гласит ответ: — В е н ч а л ь н о, н о э т о т а к». Острота великолепна: в слове в е н ч а л ь н о имеются оба компонента: слово: обручальное кольцо, превращенное в в е н ч а л ь н о и предложение: п е ч а л ь н о, н о э т о т а к.

Действию остроты не мешает здесь тот факт, что смешанное слово не является собственно непонятным и не является неспособным к существованию продуктом, подобно слову «фамиллионьярно», а целиком покрывается одним из обоих сгущенных элементов[3].

Я сам случайно доставил материал для остроты вполне аналогичной опять-таки тому же «фамиллионьярно». Я рассказывал одной даме о больших заслугах одного исследователя. «Этот человек заслуживает, конечно, монумента», полагает она. — «Возможно, что он его когда-нибудь получит, отвечаю я, но в настоящий момент его успех очень невелик». «М о н у м е н т и м о м е н т — противоположности». Дама эта объединила противоположности: «Итак, пожелаем ему м о н у м е н т а л ь н о г о успеха».

Прекрасной обработкой этой же темы в английском языке, я обязан несколькими примерами на иностранном языке, которые указывают на тот же механизм, что и наше «фамиллионьярно».

---

[1] Сгущение слов: { Sensal (маклер) / Salinger — Sensalinger

[2] Сгущение слов: { Scheusal (урод) / Salinger — Scheusalinger.

[3] Слово «венчально» является продуктом сгущения слов $\frac{\text{венчально}}{\text{печально}}$ = в е н ч а л ь н о. (Я. К.).

Английский автор de Quincey, — рассказывает Brill, — отметил где-то, что старые люди склонны к тому, чтобы впадать в «anecdotage». Это слово образовалось из слияния частью покрывающих друг друга слов $\frac{\text{anecdot}}{\text{dotage}}$ (детская болтовня).

В одной анонимной краткой истории Brill нашел однажды обозначение для Рождества Христова в виде «the alcoholidays». Обозначение это является прямым слиянием слов $\frac{\text{alcohol}}{\text{holidays}}$ (праздничные дни).

Когда Флобер напечатал свой знаменитый роман «Саламбо», в котором действие происходит в Карфагене, Сен-Беф в насмешку за точное описание деталей прозвал его Carthaginoiserie: $\frac{\text{Carthaginois}}{\text{chinoiserie}}$ (китайщина).

Автором превосходнейшей остроты, принадлежащей к этой группе, является один из первых мужей Австрии, который после значительной научной и общественной деятельности занял высшую должность в государстве. Я позволил себе употребить эти остроты, которые приписываются этому лицу и которые в действительности все имеют один и тот же отпечаток, в качестве материала для исследования[1] прежде всего потому, что вряд ли можно добыть лучший материал.

Г. N. обратил однажды внимание на личность автора, который был известен целым рядом действительно скучных статей, напечатанных им в ежедневной венской газете. Статьи эти трактуют о небольших эпизодах из отношений Наполеона I к Австрии. Автор имел красные волосы. Г. N., услышав его имя, спрашивает: «Не красный ли это пошляк (Fadian)[2], который проходит через историю Наполеонады?».

---

[1] Имею ли я право на это? Я узнал эти остроты, по крайней мере, не нескромным путем. Они всем известны в этом городе (Вене) и перебывали на устах у всех. Часть из них опубликовал Ed. Hanslick в «Neue Freie Presse» и в своей автобиографии. За искажения, которые быть может произошли в остальных остротах и которых едва ли можно было избежать, я прошу извинения.

[2] Rote Fadian — красный пошляк, rote Faden — красная нить. Отсюда — непереводимая игра слов. (Я. К.).

Чтобы понять технику этой остроты, мы должны обратиться к тому процессу редукции, который упраздняет эту остроту путем изменения, выражения и вместо этого опять создает первоначальный полный текст мысли, который безусловно можно уловить в каждой хорошей остроте. Острота г. N. о красном пошляке (Fadian) произошла из двух компонентов; из неодобрительного мнения об авторе и из воспоминания о знаменитой притче, которою Гете начинает выдержки «Из дневника Оттилиенса»[1]. Недовольная критика могла бы гласить: это, следовательно, — человек, который вечно пишет одни только скучные фельетоны о Наполеоне в Австрии! Это выражение вовсе не остроумно. Также и прекрасное сравнение Гете не остроумно и, конечно, не способно заставить нас смеяться. Лишь когда оба эти выражения приходят в связь друг с другом и подвергаются своеобразному процессу сгущения и слияния, тогда возникает острота, и при этом перворазрядная острота[2].

Возникновение связи между дурным отзывом о надоедливом историке и прекрасным сравнением я должен изложить несколько более сложным путем, чем во многих подобных случаях, по соображениям, которые я здесь еще не могу объяснить. Я попытаюсь заменить предполагаемый процесс следующей конструкцией. Прежде всего элемент постоянного возвращения к одной и той же теме мог пробудить у г. N. отдаленное воспоминание об известном месте у Гете, которое в большинстве случаев неправильно цитируется словами: «это проходит красной нитью». «Красная нить» сравнения оказала видоизменяющее влияние на способ выражения первого предложения вследствие случайного обстоятельства, что и тот, кого ругали, был красным, а именно: красноволо-

---

[1] Мы слышим об особом устройстве в английском флоте. Все без исключения канаты в королевском флоте, от самого толстого до самого тонкого, сплетены таким образом, что через всю их длину проходит красная нить, которая не может быть выдернута, если не расплетен весь канат, и мельчайшие частички которой несут на себе печать принадлежности к короне. Так же тянется и через дневник Оттиленса нить влечения и привязанности, которая все связывает и характеризует все в целом.

[2] Я хочу указать только на то, как мало согласуется это регулярно повторяющееся наблюдение с утверждением, что острота является игривым суждением.

сым. Теперь эта мысль могла гласить: следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет скучные фельетоны о Наполеоне. Теперь начинает действовать процесс, обусловивший сгущение обеих частей в одно целое. Под давлением этого процесса, который нашел первую точку опоры в тождестве элемента «красный», слово «скучный» ассимилировалось с Faden (нить) и превратилось в «fad» (пошлый), а теперь оба компонента могли слиться в подлинный текст остроты, в котором на этот раз цитата участвует чуть ли не в большей мере, чем само первоначально имевшееся ругательное суждение:

Следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет
пошлый (fad) вздор о N.
красная нить (Faden), которая
проходит через все в целом.

Не красный ли это пошляк (Fadian), который проходит через всю историю N. Оправдание, а также корректуру этого изложения я дам в одной из дальнейших глав, когда я буду анализировать эту остроту, исходя из чисто формальных точек зрения. Но, что бы в этом изложении ни было под сомнением — тот факт, что здесь произошло сгущение, не может подлежать никакому сомнению. Результатом сгущения является опять-таки, с одной стороны, значительное укорочение, с другой стороны, вместо бросающегося в глаза словообразования путем смешивания, здесь происходит взаимное проникновение составных частей обоих компонентов. «Красный пошляк» (Fadian) могло бы все-таки существовать просто как ругательство; в нашем случае — это безусловно продукт сгущения.

Если читатель в этом месте впервые вознегодует по поводу образа мышления, угрожающего ему разрушением удовольствия, получаемого от остроумия, но не выясняющего ему, однако, источников этого удовольствия, то я прежде всего попрошу его вооружиться терпением. Мы занимаемся только техникой остроумия, исследование которой обещает и разъяснение лишь в том случае, если мы будем иметь довольно большой материал.

Анализом последнего примера мы уже подготовлены к тому, что если мы встретим процесс сгущения еще и в других примерах, то замена подавленному может быть дана не в словообразовании путем смешивания, а в другом изменении выражения. В чем состоит эта замена другого рода мы узнаем из других острот г. Nr.

«Я ездил с ним tête-à-bête». Нет ничего легче, чем редуцировать эту остроту. Очевидно, что она может означать только: я ездил tête-a-tête с X., и этот X. — глупая скотина. Ни одна из обеих этих фраз не остроумна. Но и объединенная в одно предложение мысль: я ездил tête-à-tête с этой глупой скотиной X. так же мало остроумна. Острота получается лишь в том случае, когда «глупая скотина» опускается и взамен этого одно tête превращает свое t в b, причем благодаря этой незначительной модификации первоначально подавленное слово «скотина» опять-таки получает свое выражение. Технику этой группы острот можно описать как сгущение с незначительной модификацией, и, конечно, острота будет тем удачнее, чем меньше бросается в глаза замещающая модификация.

Совершенно такова же, хотя и несложна, техника другой остроты. Г. N. в разговоре говорит об одном человеке, который заслуживает много похвал, но в котором можно найти и много недостатков: «Да, тщеславие является одной из его четырех Ахиллесовых пят»[1]. Небольшая модификация заключается здесь в том, что вместо одной Ахиллесовой пяты, наличность которой должно признать, конечно, у всякого героя, у Y. констатируют четыре. Но четыре пятки, а, следовательно, и четыре ноги имеет только животное. Таким образом, обе сгущенные в остроте мысли гласили: «Y., если не обратить внимания на его тщеславие, выдающийся человек; но я все же не люблю его; он все-таки скорее животное, чем человек»[2].

---

[1] Эту же самую остроту высказал еще раньше Г. Гейне по адресу Альфреда де Мюссе.

[2] Одно из усложнений техники данного примера заключается в том, что модификация, которою заменяется пропущенное руга

Такова же, но только гораздо проще, другая острота, которую я имел возможность слышать in statu nascendi в семейном кругу. Из двух братьев-гимназистов один — отличный ученик, другой — посредственный. Однажды и с образцовым учеником произошел в школе несчастный случай, о котором мать завела разговор, чтобы выразить свое опасение, что это может означать начало длительного ухудшения. Затемняемый до сих пор своим братом мальчик охотно ухватился за этот повод: «Да, — говорит он, — K a r l g e h t a u f a l l e n V i e r e n z u r ü c k (что в переводе означает: К а р л о п у с к а е т с я н а ч е т в е р к и (вместо п я т е р о к). К а р л п я т и т с я н а з а д н а ч е т в е р е н ь к а х»).

Модификация заключается здесь в небольшом добавлении к уверению, что другой также по его мнению опускается. Но эта модификация замещает и заменяет страстную защиту его собственных интересов. «Вообще вы не должны думать, что он потому только одареннее меня, что он лучше меня успевает в школе. Он все же только глупое животное, т. е. гораздо глупее меня».

Прекрасным примером сгущения с небольшой модификацией является другая весьма известная острота г. N., который утверждал об одном принимавшем участие в общественной жизни человеке, что он и м е е т в е л и к у ю б у д у щ н о с т ь п о з а д и с е б я. Тот, к кому относилась эта острота, был молодым человеком, который по своему происхождению, воспитанию и личным качествам, казалось, имел призвание со временем стать руководителем партии и, находясь во главе ее, достигнуть кормила правления. Но времена изменились, партия перестала принимать участие в правлении, и тут можно было предсказать, что и из предназначавшегося ей в руководители человека тоже ничего путного не выйдет. Кратчайшее редуцированное изложение, которым можно было бы заменить эту остроту, должно было бы гласить: э т о т ч е л о в е к и м е л в п е р е д и в е л и к о е б у д у щ е е, к о т о р о г о т е п е р ь н е с т а л о. Вместо пропускаемых: слово «и м е л»

тельство, должна быть обозначена, как н а м е к на это ругательство, так как она приводит к нему только путем процесса умозаключения.

и придаточного предложения, в главном предложении происходит небольшое изменение: слово «впереди» заменяется противоположным ему словом «позади»[1].

К услугам почти такой же модификации прибег г. N. в случае с одним кавалером, назначенным министром земледелия только потому, что он сам занимался земледелием. Общественное мнение имело случай узнать его, как наименее способного из всех тех, кто занимал эту должность. Но, когда он сложил с себя обязанности министра и опять вернулся к своим земледельческим занятиям, г. N. сказал о нем: «Он, как Цинциннат, вернулся на свое место перед плугом».

Римлянин, которого также призвали от земледелия к министерству, опять занял свое место позади плуга. Перед плугом шел, как тогда, так и теперь, только бык.

Удачным сгущением с небольшой модификацией является также высказанное Карлом Краусом сообщение об одном так называемом револьвер-журналисте, который поехал в одну из Балканских стран восточным erpress-поездом. Очевидно, в этом слове имеется совпадение двух других слов: «экспресс-поезд» и «Erpressung» («шантаж», «вымогательство»). Вследствие связи между ними элемент «Erpressung» оказывается только требуемой от слова «Express-поезд» модификацией. Эта острота, симулирующая опечатку, представляет для нас еще другой интерес.

Мы легко могли бы в значительной мере умножить число этих примеров, но я думаю, что у нас нет нужды в новых случаях, чтобы уловить характер техники во второй группе: сгущение с модификацией. Если мы сравним вторую группу с первой, техника которой состояла в сгущении со словообразованием путем смешивания, то мы легко заметим, что разница между ними — несущественная, и переход от одной группы к

---

[1] На технику этой остроты оказывает влияние еще и другой момент, упоминание о котором я приберегаю для дальнейшего изложения. Он касается характерной черты содержания модификации. (Изображение путем противоположности, бессмыслицы). Технике остроумия ничто не препятствует пользоваться одновременно многими приемами, которые мы сможем изучить только по очереди.

другой выражен нерезко. Словообразование путем смешивания и модификация подпадают под понятие заместительного образования и, если угодно, то мы могли бы описать словообразование путем смешивания тоже, как модификацию основного слова вторым словом.

Но здесь мы должны сделать первую остановку и спросить себя, каким известным в литературе моментом покрываются целиком или отчасти первые полученные нами результаты. Очевидно, краткостью, которую Jean Paul называет душою остроты (см. выше с. 180). Но краткость сама по себе еще не остроумна, иначе каждое лаконическое выражение было бы остротой. Краткость остроты должна быть особого рода. Мы вспоминаем, что Lipps сделал попытку точнее описать особенность краткости остроумия (см. выше, с. 180). Наше же исследование установило и доказало, что краткость остроумия часто является результатом особого процесса, который оставляет в тексте остроты второй след: заместительное образование. Но при применении процесса редукции, который имел целью упразднить своеобразный процесс сгущения, мы нашли также, что острота зависит только от словесного выражения, которое создается путем процесса сгущения. Естественно, что теперь весь наш интерес сосредоточится на этом странном и до сих пор не оцененном в должной мере процессе. Мы все еще никак не можем понять, как из него может возникнуть все самое ценное в остроумии: удовольствие, доставляемое нам остроумием.

Известны ли уже в какой-либо другой области душевной жизни подобные процессы, которые мы описали здесь, как технику остроумия? Да, в одной-единственной и, по-видимому, очень отдаленной области. В 1900 году я выпустил в свет книгу, которая, как показывает ее заглавие «Толкование сновидений»[1], делает попытку объяснить загадочность сновидения и считает его производным нормальной душевной деятельности. Я имел там основание противопоставить явное, часто странное содержание сновидения — латентным, но вполне правильным мыслям сновидения, из которых оно происходит, и предпринял

[1] Проф. З. Фрейд. «Толкование сновидений». Пер. с третьего изд. К-во «Современные проблемы», М., 1913.

тщательное исследование процессов, которые создают сновидение из латентных мыслей сновидения, а также и психических сил, которые принимают участие в этом превращении. Совокупность превращающих процессов я назвал работой сна и, как часть этой работы сна, я описал процесс сгущения, который обнаруживает величайшее сходство с процессом сгущения в технике остроумия, ведет, как и этот, к укорочению и создает заместительные образования такого же характера. Каждому известны из его воспоминаний о своих собственных сновидениях смешанные образы лиц и даже предметов, выступающие в сновидении; сновидение тоже образует такие слова, которые могут быть разложены затем путем анализа (например, Автодидаскер=Автодидакт+Ласкер)[1]. В других случаях, встречающихся, быть может, еще чаще, сгущающая работа сновидения создает не смешанные образы, а картины вполне тождественные предмету или лицу с примесью или изменением, происходящим из другого источника. Следовательно, в этих случаях мы имеем точно такие же модификации, как в остротах г. N. Мы не можем сомневаться, что как в одном, так и в другом случае мы имеем перед собой один и тот же психический процесс, который мы узнаем по идентичным результатам. Такая столь далеко идущая аналогия техники остроумия с работой сна, должна, конечно, повысить наш интерес к технике остроумия и пробудить в нас надежду извлечь из сравнения остроты и сновидения нечто новое для объяснения остроумия. Но мы временно отложим эту работу ввиду того, что мы исследовали технику остроумия лишь в очень небольшом числе случаев, и мы, следовательно, не знаем, существует ли та аналогия, которую мы хотим провести. Итак, мы прекращаем сравнение со сновидением и возвращаемся опять к технике остроумия, прерывая в этом месте нить нашего исследования, которое мы в дальнейшем, быть может, вновь продолжим.

Первое, что мы хотим узнать, это — можно ли доказать процесс сгущения с заместительным образованием во всех остротах так, чтобы его можно было обозначить как общую характерную черту техники остроумия.

[1] «Толкование сновидений». М., 1913. С. 249. К-во «Современные проблемы».

Я вспоминаю об одной остроте, которая осталась у меня в памяти в силу особых обстоятельств. Один из великих учителей моей молодости, которого мы не считали способным оценить остроту и от которого мы никогда не слышали ни одной его собственной остроты, пришел однажды, улыбаясь, в институт и дал охотнее, чем когда-либо раньше, ответ по поводу своего веселого настроения: «Я прочел великолепную остроту. В парижский салон был введен молодой человек, который был родственником великого J. J. Rousseau и носил эту же фамилию. Кроме того, он был рыжеволосым. Но он вел себя так неловко, что хозяйка дома, критикуя его, обратилась к гр-ну, который его представил: «Vous m'avez fait connaître un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau». И он снова засмеялся.

Это — по номенклатуре авторов — острота по созвучию, и острота не перворазрядная, играющая собственным именем так же, как и острота капуцина из «Лагеря Валленштейна», которая, как известно, построена по образцу Abraham'a a Santa Clara:

Lässt sich nennen den Wallensteien,
ja freilich ist er uns allen ein Stin
des Anstosses und Argernisses[1].

Но какова же техника этой остроты?

Теперь оказывается что характерная черта, которую мы, быть может, надеялись доказать во всех случаях, исчезает уже в первом новом случае. Здесь нет никакого пропуска и никакого укорочения. Дама высказывает в остроте почти все, что мы можем предположить в ее мыслях. «Вы заинтересовали меня родственником J. J. Rousseau, быть может, его родственником по духу, а оказывается, что это рыжий глупый юнец, roux et sot». Я, правда, сделал здесь добавление, вставку, но эта попытка редукции не упразд-

[1] И Валленштейном ведь зваться привык:
Я, дескать, камень — какой вам опоры?
Подлинно — камень соблазна и ссоры!

Библиотека всемирной литературы. Европейские классики. Шиллер, т. II. Лагерь Валленштейна. С. 20. Пер. Л. Мея, М., 1913. (Я. К.).

Что эта острота в силу другого момента заслуживает еще более высокой оценки, сможет быть показано лишь в дальнейшем.

няет остроты. Она остается и происходит за счет созвучия $\frac{\text{Rousseau}}{\text{roux sot.}}$ Этим доказывается, что сгущение с заместительным образованием не принимало никакого участия в осуществлении этой остроты.

Но что же оказывается? Новые попытки редукции могут показать мне, что эта острота остается устойчивой до тех пор, покуда фамилия Rousseau не заменяется другой. Я ставлю, например, вместо этой фамилии — фамилию Racine, и тотчас критика дамы, которая может иметь место, как и раньше, теряет всякий след остроумия. Теперь я знаю, где мне искать технику этой остроты, но я еще колеблюсь формулировать ее. Я пытаюсь толковать следующим образом: техника остроты заключается в том, что одно и то же слово — фамилия — выступает в двояком применении, один раз — как одно целое, а затем — разделенное на свои слоги, как шарада.

Я могу привести несколько примеров, которые по своей технике вполне идентичны с этим.

Одна итальянка отомстила Наполеону I за бестактное замечание остротой, основанной на этой же технике двоякого применения. На придворном балу он сказал ей, указывая ей на ее поселян: «Tutti gli Italiani danzando si male», на что она метко возразила: «Non tutti, ma buona parte».

(По Th. Vischer'у и K. Fischer'у). Когда в Берлине была однажды поставлена «Антигона», критика нашла, что исполнению недоставало характера античности. Берлинское остроумие усвоило эту критику в следующем виде. Antik? Oh, nee. (Антично? О, нет $\frac{\text{Antik? oh, nee}}{\text{Artigone}}$.

Во врачебных кругах ходка аналогичная острота, возникающая путем разделения. Когда врач допрашивает одного из своих юных пациентов, не занимался ли он когда-нибудь мастурбацией, он, вероятно, не слышит другого ответа, кроме: O na, nie. (О нет, никогда) $\frac{\text{O na, nie}}{\text{Onanie.}}$

Во всех трех примерах, которые достаточны для этого вида остроты, имеет место одна и та же техника

остроумия. Слово употребляется в них двояко, один раз — целиком, другой раз — разделенное на слоги, причем в этом разделении его слоги получают совершенно другой смысл[1].

Многократное употребление одного и того же слова, один раз — как чего-то целого, а затем — слогов, на которые оно распадается, является первым встречающимся нам случаем уклонения от техники сгущения. После краткого размышления мы можем догадаться из множества приходящих нам в голову примеров, что новооткрытая нами техника вряд ли ограничивается одним этим приемом. Очевидно, имеется необозримое, на первый взгляд, число всевозможных приемов, прибегая к которым можно использовать одно и то же слово или один и тот же набор слов для многократного применения в предложении. Должны ли все эти возможности учитываться нами, как технические приемы остроумия? По-видимому, да; нижеследующие примеры эстрот покажут это.

Можно прежде всего взять один и тот же набор слов и только немного изменить их порядок. Чем незначительнее изменение, тем скорее получается впечатление, что теми же словами выражена мысль все-таки отличная от первой, тем удачнее в техническом отношении острота.

---

[1] Удачность этих острот основана на том, что одновременно нашел себе применение другой технический прием, гораздо более высокого порядка (см. ниже). — Кроме того, я могу на этом месте обратить внимание на отношение остроты к загадке. Философ Fr. Brentano создал особый вид загадок, в которых нужно отгадать один-два слога, которые, будучи присоединены к слову или находясь с ним в том или ином сочетании, придают ему другой смысл, например:

«Кузнец таз куя, сказал, тоскуя: «Лучше таз ковать, чем тосковать», или: Wie du dem Inder hast verschrieben, in der Hast verschrieben?

(Как ты записал индейца, записал ли ты его, ненавидя?).

Слоги, которые нужно отгадать, заменяются в предложении слогом «dal», повторяемым соответственно каждому недостающему слогу. Коллега философа остроумно отомстил ему, когда услышав о помолвке философа, человека уже в зрелых годах, спросив: Dal daldal daldaldal? (Brentano brennt-a-no? Брентано, не пылает ли он?)

В чем же заключается разница между этими загадками и вышестоящими остротами? В том, что в первых техника дана как условие и должно отгадать текст в то время, как в остротах дан текст, а техника скрыта.

D. Spitzer (см. с. 208):

«Супружеская чета X. живет на широкую ногу. По мнению одних, муж много заработал и при этом отложил себе (sich zurückgelegt) немного, по мнению других, жена немного прилегла (sich zurückgelegt) и при этом много заработала»[1].

Это прямо-таки чертовски удачная острота! И с помощью каких незначительных средств она создана! Много заработал — немного отложил (sich zurückgelegt), немного прилегла (sich zurückgelegt) — много заработала; это является собственно не чем иным, как перестановкой обеих фраз, благодаря которой сказанное о муже резко отличается от сказанного о жене. Конечно, и здесь это опять-таки не исчерпывает всей техники этой остроты[2].

Большой простор открывается технике остроумия, когда «многократное употребление одного и того же материала» прибегает к употреблению слова — или слов, — являющихся источником остроты, в одном случае — в неизмененном виде, в другом — с небольшой модификацией.

Вот, например, еще одна острота г. N.

Он слышит от одного человека, который сам был рожден евреем, враждебный отзыв о характере евреев. «Да», думает он про себя, «Ваш антесемитизм[3] был мне известен, но ваш антисемитизм является для меня новостью».

Здесь изменена одна только буква, модификация которой при невыразительном произношении едва может быть уловлена. Этот пример напоминает о других остротах г. N., основанных на модификации (см. с. 192), но в отличие от них ему недостает сгущения; в самой остроте сказано все, что должно быть сказано. «Я знаю, что раньше вы сами были евреем;

---

[1] Острота основана на двояком значении слова «ich zurücklegen»; отложить и прилечь (Я. К.).

[2] Равно как не исчерпывает этот механизм отличной, приведенной у Brill'я остроты Oliver Wendell Holmes'a: "Put not your trust in money, but put your money in trust» Здесь предсказывается противоречие, которое не наступает. Вторая часть этого предложения упраздняет противоречие. Кроме того, это — хороший пример непереводимости острот с такой техникой.

[3] Ante — прежде.

следовательно, меня удивляет, что именно вы ругаете евреев». Прекрасным примером такой остроты, возникающей путем модификации, является также известное восклицание: Traduttore — Traditore!

Сходство, граничащее почти с тождественностью, создает для переводчика настоятельную необходимость стать нарушителем закона в отношении к своему автору[1].

Разнообразие возможных небольших модификаций при этих остротах так велико, что ни одна из них неодинакова с другой.

Вот острота, имевшая место на юридическом экзамене! Кандидат должен перевести место из Corpus juris:

«Labeo[2] ait»... Я проваливаюсь, говорит он»...

— «Вы провалились, говорю я», — заявляет экзаменатор и на этом заканчивает экзамен. Кто ошибочно признает имя великого ученого-юриста за слово, к тому же неправильно переводя его, тот, конечно, не заслуживает лучшего отношения. Но техника остроты заключается в применении экзаменатором почти тех же самых слов для наказания экзаменующегося, которые обнаружили незнание этого последнего. Эта острота является, кроме того, примером «находчивости», техника которой, как можно будет показать, немногим отличается от выясняемой здесь техники остроумия.

Слова являются пластическим материалом, с которым можно поступить всячески. Есть слова, которые в некоторых случаях утрачивают свое первоначальное прямое значение. В одной остроте Lichtenberg'а подчеркнуты именно те соотношения, при которых потерявшие свой первоначальный смысл слова снова должны получить его:

«Как идут дела?» — спросил слепой хромого. «Как видите», — ответил хромой слепому.

В немецком (как и в русском) языке есть слова, которые могут быть в одном случае — полны смысла, в другом случае — смысл их может быть незначительным. Словам этим придается не

---

[1] Brill цитирует вполне аналогичную остроту, основанную на модификации: Amantes — amentes (Влюбленные — дураки).

[2] Labeo — Лабеон, великий юрист. (Я. К.).

одно только значение. Из одного и того же корня развиваются два различных производных, одно — в слово, полное значения, другое — в потерявшие свое прямое значение суффиксы и приставки, но тем не менее оба слова произносятся вполне тождественно. Созвучие между полным значения словом и потерявшими свое значение слогами может быть и случайным. В обоих случаях техника остроумия может извлечь пользу из таких соотношений речевого материала.

Schleiermacher'у приписывается, например, острота, которая важна для нас как почти чистый пример такого технического приема: Fifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft[1].

Это безусловно остроумно, хотя и недостаточно сильно для остроты. Здесь отпадает множество моментов, которые могут ввести нас в заблуждение при анализе других острот до тех пор, покуда мы не исследуем каждый из них в отдельности. Мысль, выраженная в этом тексте, не ценна. Она дает, во всяком случае, совсем неудовлетворительное определение ревности. Здесь нет и речи о «смысле в бессмыслице», о «скрытом смысле», о «смущении и внезапном уяснении». Здесь даже при величайшей натяжке нельзя найти контраста представлений, и только с большой натяжкой можно найти контраст между словами и тем, что они означают. Здесь нельзя найти никакого укорочения; наоборот, текст производит впечатление многоречивости. И все же это острота и даже очень совершенная. Ее единственная бросающаяся в глаза характерная черта является вместе с тем и той чертой, с упразднением которой исчезает острота; заключается она в том, что одни и те же слова подвергаются здесь многократному употреблению. Затем нужно решить, можно ли отнести эту остроту к разряду тех, в которых слова употребляются один раз — как целое, а другой раз — разделенное на свои слоги (как Rousseau, Antigone), или к тому другому разряду, в котором разнородный смысл создается благодаря употреблению полных значения и

---

[1] Ревность — это страсть, которая ревностно ищет, что причиняет страдание. В русском переводе сохранился только намек на созвучие слов: ревность — ревностно, страсть — страдание. (Я. К.).

потерявших свое прямое значение составных частей слова. Кроме этого, заслуживает внимания еще только один момент техники остроумия. Здесь создана необычная связь, предпринят вид унификации, при котором ревность определяется через самое себя, своим собственным термином. И это также, как мы здесь услышим, является техникой остроумия. Оба эти момента будут, таким образом, достаточны для определения искомого характера остроумия.

Если мы еще глубже вдумаемся в разнообразие «многократного употребления» одного и того же слова, то мы сразу заметим, что мы имеем перед собой формы «двусмысленности» или «игры слов», которые давно уже были общеизвестны и оценены в качестве технических приемов остроумия.

Зачем же мы старались открыть нечто новое, если мы могли бы позаимствовать его из самой поверхностной статьи об остроумии? В свое оправдание мы можем привести только то, что мы подчеркиваем в этом самом феномене разговорного выражения еще и другую сторону. То, что у авторов выявляет «игривый характер» остроумия, относится у нас к разряду «многократного употребления».

Дальнейшие случаи многократного употребления, которые можно объединить и под названием двусмысленности в новую третью группу, легко могут быть отнесены к разрядам, которые, конечно, не отличаются резко друг от друга, точно так же, как и вся третья группа от второй. Прежде всего существуют: а) случаи двусмысленности имени собственного и его вещественного значения, например: «Drück dich aus unserer Gesellschaft ab, Pistol» (у Шекспира), что в переводе может означать:

Убирайся из нашего общества, Пистоль. Или: Спусти курок в нашем обществе, пистолет.

«Mehr Hof, als Freiung» («Побольше ухаживаний, чем сватовства»), — сказал остроумный житель Вены по адресу нескольких красивых девушек, за которыми несколько лет ухаживали, но которые все-таки еще не нашли себе мужей. «Hof» и «Freiung» — две примыкающие друг к другу площади в центре города Вены.

[Аналогичный пример такой двусмысленности встречается в диктантах для испытания сообразительности учеников: В деревне волки церковь съели. Прекрасный образец такого остроумия дан в первой части трилогии А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»: «По нитке с миру сбираю, царь, Нагому на рубаху», говорит шут о боярине Нагом». (Я. К.).].

Там, где имя собственное нельзя употребить — можно было бы сказать: где им нельзя злоупотребить — двусмысленность может быть достигнута путем известных нам небольших модификаций».

«Почему французы отказались от Лоэнгрина?», спрашивали в прошедшие времена. Ответ гласил:

« $\frac{\text{Elsas}}{\text{Elsass}}$ wegen» » $\left(\text{Из-за } \frac{\text{Эльзаса}}{\text{Эльзы}} \ldots\right)$.

b) Двусмысленность вещественного и метафорического значения слова, являющаяся обильным источником для техники остроумия. Я привожу один только пример: один коллега — врач, известный остряк, сказал однажды поэту Артуру Шнитцлеру: «Я не удивляюсь, что ты стал известным поэтом. Ведь у твоего отца нашлось уже зеркало для его современников». Зеркало, которое употреблял отец поэта, известный врач Шнитцлер, было ларингоскопическим зеркалом. По известному выражению Гамлета цель драмы, а также поэта, создающего ее, «была, есть и будет — отражать в себе природу: добро, зло, время и люди должны видеть себя в нем, как в зеркале». (III., сцена 2). Перевод Кронеберга.

c) Собственно двусмысленность или игра слов, так сказать, идеальный случай многократного употребления. Над словом не производят никаких насильственных манипуляций, оно не расчленяется на слоги, составляющие его, нет нужды подвергать его какой-либо модификации, не нужно смешивать область, к которой оно принадлежит, как, предположим, имя собственное, с другой областью. В таком виде, в каком оно находится и стоит в общей структуре фразы, оно может выражать двоякий смысл благодаря стечению некоторых обстоятельств.

В нашем распоряжении имеется очень много примеров:

(По К. Fischer'у). Одним из первых актов последнего Наполеона, во время его регентства, явилась конфискация имущества Орлеанского дома. Удачная игра слов сказала тогда: «C'est le premier v o l de l'aigle». «V o l» значит п о л е т, а также г р а б е ж.

Людовик XV захотел испытать остроумие одного из своих придворных, о таланте которого ему рассказывали. При первом удобном случае он приказывает кавалеру сострить над ним самим; он сам, король, хочет быть «сюжетом» этой остроты. Придворный ответил удачной пословицей: «Le roi n'est pas s u j e t». «Sujet» значит также и п о д д а н н ы й.

Врач, отходящий от постели больной женщины, говорит, покачивая головой, сопровождающему его супругу: «Эта женщина мне н е н р а в и т с я». «Она мне давно уже н е н р а в и т с я», поспешно соглашается муж.

Врач имеет в виду, разумеется, состояние здоровья больной женщины, но он выразил свое опасение за больную такими словами, что муж может найти в них подтверждение своего супружеского отвращения.

Г е й н е сказал об одной сатирической комедии: «Эта сатира не была бы такой е д к о й, если бы поэт имел больше е д ы». Эта острота является скорее примером метафорической и обыденной двусмысленности, чем примером чистой игры слов. Но кому охота держаться здесь точных разграничений?

Другой хороший пример приводится некоторыми авторами (H e y m a n s, L i p p s) в форме, затрудняющей понимание игры слов[1]. Правильное изложение

---

[1] «Когда С а ф и р, — так говорит H e y m a n s, — отвечает богатому кредитору, которого он посещает, на вопрос: «Вы, конечно, пришли за 300 гульденов», фразой: «Нет, вы проиграли 300 гульденов» (umkommen — приходить за и проигрывать), то именно то, что он думает, выражено в вполне корректной, разговорной и отнюдь не необычной форме». В действительности, дело обстоит так: ответ Сафира с а м п о с е б е о б д у м а н вполне ясно и определенно. Мы понимаем также, что он хочет сказать, а именно, что он не намерен уплатить свой долг. Но Сафир употребляет те же слова, которые до этого были употреблены кредитором, и мы не можем, следовательно, не принять их в таком смысле, в каком они были употреблены кредитором. А тогда ответ Сафира больше не имеет никакого смысла. Кредитор вообще не «приходит». Он не может также приходить за 300 гульденов, т. е. он не может прийти, чтобы принести 300 гульденов. К тому же

и формулировку этой остроты я нашел недавно в одном, правда, мало распространенном сборнике острот.

«Сафир встретился однажды с Ротшильдом Когда они немного поболтали друг с другом, Сафир сказал: «Послушайте, Ротшильд, моя касса истощилась, не могли бы вы одолжить мне 100 дукатов». — «Пожалуй, — ответил Ротшильд, — это для меня пустяки, но только при условии, что вы сострите». — «Для меня это тоже пустяки», — возразил Сафир. — «Хорошо, тогда приходите завтра ко мне в контору». Сафир явился точно в назначенное время. «Ах, — сказал Ротшильд, увидя вошедшего Сафира, — вы пришли за (kommen um) своими 100 дукатами?» — «Нет, — возразил этот, это вы проиграли (kommen um) свои 100 дукатов, так как мне до конца дней своих не придет в голову возвратить их вам».

«Что $\frac{\text{представляют}}{\text{выставляют}}$ (stellen vor) эти статуи?», спросил приезжий у жителя Берлина при виде ряда памятников на площади. «Что? — ответил тот, — либо правую, либо левую ногу»[1].

[«Куда вы попадете, если воткнете нож между четвертым и пятым ребром?» — спрашивает профессор на экзамене у студента-медика.— «В тюрьму»,— отвечает, не задумываясь, последний. (Я. К.)][2].

Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Притом же, в настоящую минуту я не припомню имен всех студентов, а между профессорами есть такие, которые покамест не имеют никакого имени».

он, как кредитор, не должен приносить, а должен требовать. Комизм состоит в том, что слова Сафира могут рассматриваться, таким образом, одновременно как содержащие определенный смысл и как бессмыслица». (Lipps).

Согласно вышеизложенному, полностью переданному содержанию в целях объяснения — техника этой остроты гораздо проще, чем думает Lipps. Сафир приходит не для того, чтобы принести 300 гульденов, а для того, чтобы взять их у богача. Таким образом, отпадают рассуждения о «смысле и бессмыслице» в этой остроте.

[1] Дальнейший анализ этой игры слов см. ниже.

[2] (Эта острота, аналогичная по своей технике предыдущей, приведена вследствие невозможности дать удовлетворительный перевод первой). (Я. К.).

Мы приобретем навык в дифференциальной диагностике, если прибавим сюда другую общеизвестную профессорскую остроту: «Разница между ординарным и экстраординарным профессором заключается в том, что ординарные не совершили ничего экстраординарного, а экстраординарные не совершили ничего ординарного». Это, конечно, игра двумя значениями слов «ординарный» и «экстраординарный»: штатный и внештатный, с другой стороны, и способный или выдающийся, с другой стороны. Но сходство этой остроты с другими известными нам примерами напоминает нам о том, что здесь гораздо больше бросается в глаза многократное употребление, чем двусмысленность. В этом предложении не слышно ничего другого, кроме повторяющегося «ординарный», то, как такового, то негативно модифицированного (ср.: с. 200). Кроме того, здесь опять-таки прибегают к уловке: понятие определяется и подробнее описывается при помощи своего же подлинного текста (ср.: Eifersucht ist eine Leidenschaft и т. д.); два коррелативных понятия определяются хотя бы и негативно, одно через другое, что создает искусственное ограничение. Наконец, здесь можно отметить также и точку зрения унификации, создание более тесной внутренней связи между элементами выражения, чем этого можно было бы ожидать, судя по их природе.

Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Шефер поклонился мне, как собрату, потому что он тоже писатель и часто упоминал обо мне в своих полугодичных отчетах; да он и кроме того часто цитировал меня и, когда не заставал меня дома, то всегда был так добр, что писал цитату мелом на двери моей комнаты[1].

[А. д'Актиль («Афоризмы»):

Всякий пусть узнает и услышит,
Что прекрасней солнца в мире нет:
Красоты подобной не опишет
Ни судебный пристав, ни поэт. (Я. К.)]

---

[1] Г. Гейне. Собр. соч., т. I, с. 114, Спб. 1904. Изд. II-е. Пер. П. Вейнберга. Цитировать — значит здесь вызывать в суд, цитата вызов о явке в суд. (Я. К.).

«Wiener Spaziergänger» D. Spitzer нашел для социального типа, расцветшего во времена реакции, лаконическую, но очень остроумную, биографическую характеристику:

«Железный лоб — железная касса — железная корона». (Последняя — орден, с награждением которым был связан переход в дворянское сословие). Превосходная унификация, все как будто сделано из железа! Различные, но не очень резко друг с другом контрастирующие толкования эпитета «железный», делают возможными эти «многократные употребления».

Другая игра слов может облегчить нам переход к новому подвиду техники двусмысленности. Остроумный коллега во время дела Дрейфуса стал автором следующей остроты:

«Эта девушка напоминает мне Дрейфуса. Армия не верит в ее невинность».

Слово «невинность», на двусмысленности которого построена эта острота, в одном случае имеет смысл противоположный: виновности, преступлению, в другом случае — смысл противоположный сексуальной опытности. Существует много примеров такого рода двусмысленности, и во всех этих примерах действие остроты сводится особенно к сексуальной двусмысленности. Для этой группы можно было бы сохранить термин «двоякое толкование».

Прекрасный пример такой двоякотолкуемой остроты представляет острота на с. 200, сообщенная D. Spitzer'ом.

«По мнению одних, муж много заработал и при этом немного отложил себе (sich zurückgelegt), по мнению других, жена немного прилегла (sich zurückgelegt) и много при этом заработала».

Но если сравнить этот пример двусмысленности с двояким толкованием с другими примерами, то бросается в глаза разница, которая очень важна для техники. В остроте о «невинности» один смысл слова так же доступен нашему пониманию, как и другой; мы на самом деле не можем отличить, является ли более употребительным и более родственным нам сексуальное или не-сексуальное значение слова. Иначе обстоит дело в примере D. Spitzer'a. В этом примере один ба-

нальный смысл слов «sich etwas zurückgelegt», который больше бросается в глаза, как будто прячет и скрывает сексуальный смысл, который может совсем ускользнуть от простодушного читателя. Приведем для резкой противоположности другой пример, где нет такого сокрытия сексуального значения, как, например, гейневская характеристика услужливой дамы: «Sie konnte nichts abschlagen, ausser ihr Wasser» (что в переводе может означать: «Она не может ни в чем отказать, кроме воды, или она не может мочиться).

Все это звучит как сальность, и впечатление остроумия получается с трудом[1]. Эта особенность, заключающаяся в том, что оба значения двусмысленности неодинаково бросаются в глаза нам, может иметь место и при остротах не-сексуального характера. Это происходит оттого, что первый смысл сам по себе более употребителен, или потому, что он особенно подчеркнут благодаря связи с другими частями предложения (напр., «c'est le premier vol de l'aigle). Все эти случаи я предлагаю называть двусмысленностью с намеком.

Мы уже подвергли рассмотрению очень много различных технических приемов остроумия, и я боюсь, что мы можем потерять их общий обзор. Попытаемся поэтому дать сводку этих технических приемов:

I. Сгущение:
 a) с смешанным словообразованием,
 b) с модификацией.

II. Употребление одного и того же материала:
 c) целое и части,
 d) перестановка,
 e) небольшая модификация,
 f) одни и те же слова, употребленные в полном смысле и потерявшие первоначальный смысл.

III. Двусмысленность:
 g) обозначение имени собственного и вещи,

---

[1] Ср. K. Fischer (с. 233), который предлагает для таких двусмысленных острот, в которых оба значения не стоят в одинаковой мере на первом плане, а в которых одно значение оттесняется другим, название «двоякого толкования», которое я выше употребил в несколько ином смысле. Такое наименование — вещь условная. Практика языка не приняла никакого категорического решения.

h) метафорическое и вещественное значение,

i) собственно двусмысленность (игра слов).

k) двоякое толкование,

l) двусмысленность с намеком.

Это разнообразие сбивает нас. Оно может вызвать в нас недовольство тем, что мы слишком много внимания уделили техническим приемам остроумия, и легко может показаться, что мы переоцениваем их значение для познания сущности остроумия. Это предположение вполне возможно, несмотря на тот неопровержимый факт, что острота всякий раз упраздняется, как только мы устраняем работу этих технических приемов в способе выражения. Поэтому мы укажем также и на то, что мы ищем единства в этом разнообразии. Возможно, что все эти технические приемы можно привести к одному знаменателю. Соединить вторую и третью группу, как мы уже сказали, нетрудно. Двусмысленность, игра слов, является только идеальным случаем употребления одного и того же материала. Последняя рубрика является, очевидно, при этом более объемлющим понятием. Примеры разделения, перестановки одного и того же материала, многократного употребления с легкой модификацией (c, d, e) могли бы не без некоторой натяжки быть отнесены к категории двусмысленности. Но что общего между техникой первой группы — сгущением с заместительным образованием — и техникой двух последних групп, многократным употреблением одного и того же материала?

Я думаю, что между ними существует простая и очевидная связь. Употребление одного и того же материала является ведь только частным случаем сгущения; игра слов является не чем иным, как сгущением без заместительного образования; сгущение остается всеобъемлющей категорией. Укомплектовывающая или правильнее экономящая тенденция управляет всеми этими техническими приемами. Все является, по-видимому, результатом экономии, как говорит принц Гамлет (Thrift, Horatio, Thrift).

Проверим эту экономию на отдельных примерах. «C'est le premier vol de l'aigle». Это первый полет орла. Да, но это — полет с целью грабежа. «Vol» означает, к счастью для существования этой остроты, как «полет», так и «грабеж». Не произошло ли при этом сгущение и экономия? По всей вероятности, вся

торая мысль опущена и при этом без всякой замены. Двусмысленность слова «vol» сделала излишним такую замену или, что будет так же правильно: слово «vol» содержит в себе замену подавленной мысли без того, чтобы первому предложению понадобилось присоединение нового предложения или какого-либо изменения. Это именно является солью этой двусмысленности.

Другой пример: железный лоб — железная касса — железная корона. Какая чрезвычайная экономия в изложении мысли в сравнении с таким изложением, в котором слово «железный» не имело бы места! «При достаточной дерзости и бессовестности нетрудно нажить большое состояние, и в награду за такие заслуги, разумеется, не замедлит явиться дворянство».

Да, в этих примерах сгущение, а, следовательно, и экономия очевидны. Но наличность ее нужно доказать во всех примерах. Где же скрыта экономия в таких остротах как Rousseau — roux et sot, Antigone — antik? o—nee, в которых мы сперва не заметили сгущения и которые побудили нас прежде всего установить технику многократного употребления одного и того же материала? Здесь мы, конечно, не обойдемся одним процессом сгущения, но если мы заменим его покрывающим его понятием «экономия», то дело пойдет на лад. Что мы экономим в примерах Rousseau, Антигоны и т. д. — легко сказать. Мы экономим проявление критики, образование суждения. Оба они уже даны в самих именах. В примере Leidenschaft — Eifersucht мы экономим утомительное составление определения: Eifersucht, Leidenschaft и Eifer sucht, Leiden schafft; прибавить сюда вспомогательные слова, и определение готово. То же относится ко всем другим анализированным до сих пор примерам. Там, где экономия меньше всего, как в игре слов Сафира, там все же сэкономлена, по крайней мере, необходимость вновь создавать текст ответа: «Вы $\frac{\text{пришли за}}{\text{проиграли}}$ 100 дукатов» («Sie kommen um ihre 100 Dukaten»); текст обращения достаточен и для ответа. Этого мало, но только в этом малом заключается острота. Многократное употребление одного и того же материала как для обращения, так и для ответа, относится, конечно, к «экономии». Совсем так, как Гамлет хочет ис-

толковать быструю смену в последовательности смерти своего отца и свадьбы своей матери:

От похоронных пирогов осталось
Холодное на свадебный обед.
(Пер. А. Кронеберга)

Но прежде чем принять «тенденцию к экономии», как всеобщую характерную черту техники остроумия и поставить вопрос, откуда она происходит, что она означает и каким образом из нее вытекает получение удовольствия от остроты, мы хотим дать место сомнению, которое заслуживает того, чтобы быть выслушанным. Возможно, что каждый технический прием остроумия проявляет тенденцию к экономии в способе своего выражения, но обратное положение, быть может, не имеет места. Не каждая экономия в способе выражения, не каждое сокращение является уже в силу одного этого остротой. Мы уже стояли однажды перед этим вопросом тогда, когда мы надеялись только доказать в каждой остроте процесс сгущения, и тогда уже мы сделали себе обоснованное возражение, что лаконизм не есть еще острота. Должен существовать, следовательно, особый вид сокращения и экономии, от которой зависит характер остроты; покуда мы не знаем этой особенности, одно только нахождение общности в технических приемах остроумия не приблизит нас к разрешению нашей проблемы. Кроме того, мы находим в себе мужество сознаться, что эта экономия, создающая технику остроумия, не может нам импонировать. Она напоминает, быть может, экономию некоторых хозяек, которые тратят время и деньги на поездку на отдаленный базар, из-за того только, что там можно достать овощи на несколько копеек дешевле. Какую экономию выгадывает остроумие благодаря своей технике? Произнесение нескольких новых слов, которые можно было бы, в большинстве случаев, найти без труда. Вместо этого острота из кожи лезет вон, чтобы найти одно слово, сразу покрывающее смысл обеих мыслей; к тому же она должна часто превращать способ выражения первой мысли в неупотребительную форму, которая дала бы ей опорные точки для соединения со второй мыслью. Не проще ли, легче и, собственно, экономнее было бы выразить обе мысли так, как это именно нужно, хотя бы при этом и не осуществилась ника-

кая общность выражения? Не будет ли больше, чем уничтожена экономия, добытая выраженными словами, излишней тратой интеллектуальной энергии? И кто делает при этом экономию, кому она нужна?

Мы можем пока избежать этих сомнений, если мы перенесем это сомнение в другую плоскость. Знаем ли мы уже на самом деле все виды техники остроумия? Конечно, будет предусмотрительнее собрать новые примеры и подвергнуть их анализу.

Мы фактически не задумывались еще над одной большой, быть может, самой многочисленной группой острот и поддались, быть может, при этом влиянию низкой оценки, которая стала уделом этих острот. Это — те остроты, которые в общей совокупности называются каламбурами (Calembourgs — фр.; Kalauer — нем.) и считаются низшей разновидностью остроумия, вероятно, потому что они — «самые дешевые» и могут быть созданы с затратой наименьшего количества энергии. И, действительно, они предъявляют минимум требований к технике выражения в то время, как настоящая игра слов предъявляет максимум требований. И если в последнем случае оба значения находят свое выражение в идентичном и потому только один раз употребленном слове, то каламбур удовлетворяется тем, что оба слова, употребляемые для обоих значений, напоминают друг друга благодаря какому-нибудь большому сходству, будь это общее сходство их структуры, рифмоподобное созвучие, общность некоторых начальных букв и т. п. Много примеров таких, не совсем удачно названных «острот по созвучию», находится в проповеди капуцина в «Лагере Валленштейна».

Не о войне здесь речь — о вине;
Лучше точить себе зубы — не сабли!
Что Оксенштирн вам? — бычачий-то лоб!
Лучше коль целую тушу загреб!
Рейнские волны погибели полны;
Монастыри все теперь — пустыри;
Все-то аббатства и пустыни ныне
Стали не братства — прямые пустыни.
И представляет весь край благодатный
Край безобразия...

(Пер. Л. Мея).

Особенно охотно острота модифицирует гласную букву в слове; напр., об одном враждебно относившемся к монархизму итальянском поэте, который затем был вынужден воспевать немецкого кайзера в гекзаметрах. Hevesi говорит: «Так как он не мог истребить Цезареи, то он упразднил цезуры».

При том множестве каламбуров, которые имеются в нашем распоряжении, особый интерес представляет, быть может, отметить действительно неудачный пример, бывший в тягость Гейне. После того, как он долгое время разыгрывал перед своей дамой «индийского принца», он затем сбрасывает маску и признается: «Madame! Я вас обманул!.. Я также был в Калькутте, как то калькутское жаркое, которое я вчера ел на обеде». Очевидно, недочет этой остроты заключается в том, что оба сходных слова не только просто сходны, но они собственно идентичны. Птица, жаркое из которой он ел, называется так потому, что она происходит или должна происходить из той же самой Калькутты[1].

K. Fischer уделил этим формам остроты много внимания и хочет резко отграничить их от «игры слов». «Каламбур это — неудачная игра слов, потому что он играет словом не как словом, а как созвучием». Игра же слов «переходит от созвучия слова в само слово». С другой стороны, он причисляет также и такие остроты, как фамиллионьярно», Антигона (Antik? o nee) и т. д. к остротам по созвучию. Я не вижу необходимости следовать за ним в этом отношении. В игре слов — слово также является для нас только звуковой картиной, с которой связывается тот или иной смысл. Практика языка также и здесь не делает никакой резкой разницы, и если она относится к «каламбуру» с пренебрежением, а к «игре слов» с некоторым уважением, то эта оценка, по-видимому, обусловливается другими точками зрения, а не техническими приемами. Следует обратить внимание на то, какого

---

[1] Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать в следующем виде: человек, который выдавал себя за потомка князя Пожарского и который, наконец, сбросил с себя маску, воскликнул: «Я вас обманул.. Я имею такое же отношение к Пожарскому, как и пожарские котлеты, которые я вчера ел на обеде». (Я. К.).

рода те остроты, которые выслушиваются как «каламбуры». Есть люди, которые обладают даром, находясь в веселом расположении духа, в течение продолжительного времени отвечать каламбуром на каждую обращенную к ним речь. Один из моих друзей, являющийся образцом скромности, когда речь идет о его серьезных достижениях в науке, славится таким даром. Когда общество, которое он однажды уморил таким образом своими каламбурами, выразило свое удивление по поводу его выдержки, он сказал: «Ja, Ich liege hier auf der Ka-Lauer». «Я стою здесь на страже». Kalauer — каламбур), а когда его попросили, наконец, перестать, он поставил условие, чтоб его называли Poeta Ka-laureatus. Но оба эти примера являются отличными остротами, возникшими путем сгущения со смешанным словообразованием. (Ich liege hier auf der Lauer um Kalauer zu machen. Я стою здесь на страже, чтобы каламбурить).

Но во всяком случае из спорных мнений, касающихся вопроса об отграничении каламбура от игры слов, мы заключаем, что первый не может помочь нам в изучении совершенно новой техники остроумия. Хотя каламбур и отказывается от притязаний на многосмысленное употребление одного и того же материала, центр тяжести все же падает на повторение уже известного, на аналогию обоих служащих для каламбура слов, и, таким образом, последний является только подвидом группы, которая достигает своей вершины в собственно игре слов.

Но в действительности есть остроты, в технике которых почти совершенно отсутствует всякая связь с техникой рассмотренных нами до сих пор групп.

Рассказывают о Гейне, что он однажды вечером встретился в одном парижском салоне с поэтом Soulié и вступил с ним в беседу. В это время в зал вошел один из тех парижских денежных королей, которых недаром сравнивают по богатству с Мидасом, и увидел себя тотчас окруженным толпой, которая обходилась с ним с величайшей почтительностью. «Посмотрите-ка, — сказал Soulié, обращаясь к Гейне, — как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу». Бросив беглый взгляд на объект почитания, Гейне, словно внося поправку, сказал:

«О, он должен быть уже старше». (K. Fischer).

В чем заключается техника этой великолепной остроты? В игре слов, по мнению K. Fischer'a: «Так, напр., слова «золотой телец» могут обозначать Маммону, а также служение идолу; в первом случае центром тяжести является золото, во втором — изображение животного. Слова эти могут служить и не для совсем лестного прозвища для какого-либо человека, имеющего много денег и мало ума». Если мы попробуем устранить выражение «золотой телец», мы, конечно, этим самым упраздним также и остроту. Тогда Soulié должен был бы сказать: «Посмотрите-ка, как люди лебезят перед дураком, только потому, что он богат», а это, конечно, вовсе неостроумно. Ответ Гейне стал бы тогда тоже невозможен.

Но мы должны напомнить себе, что речь идет вовсе не о довольно остроумном сравнении Soulié, а об ответе Гейне, который, конечно, гораздо остроумнее. Но тогда мы не имеем никакого права касаться фразы о золотом тельце; эта фраза остается необходимым условием для слов Гейне, и редукция должна коснуться только этих последних. Если мы будем передавать содержание этих слов: «О, он должен быть уже старше», то мы сможем заменить их примерно только так: «О, это уже больше не теленок, это уже взрослый бык». Итак, для остроты Гейне является излишним то, что он употребляет «золотой телец» не в метафорическом, а в личном смысле, относя его к самому денежному тузу. Не содержалась ли уже эта двусмысленность в мнении Soulié!

Но что же? Мы замечаем, что эта редукция не совсем уничтожает остроту Гейне, а наоборот, оставляет неприкосновенной ее сущность. Теперь дело обстоит так, что Soulié говорит: «Посмотрите-ка, как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу!», а Гейне отвечает: «О, это уже больше не телец, это — уже бык». И в этом редуцированном изложении это все-таки еще острота. Другая же редукция слов Гейне невозможна.

Жаль, что в этом прекрасном примере содержатся такие сложные технические условия. Мы не можем на нем прийти ни к какому выяснению, поэтому мы оставляем его и ищем другой пример. в котором мы

надеемся уловить внутреннее родство с предыдущим.

Это одна из «купальных острот», которые имеют своей темой боязнь галицийских евреев перед купаньем. Мы, ведь, не требуем от наших примеров дворянской грамоты, мы не спрашиваем об их происхождении, а только об их способности, могут ли они вызвать в нас смех и заслуживают ли они нашего теоретического интереса. Но именно еврейские остроты больше всего отвечают обоим этим требованиям.

«Два еврея встречаются вблизи бани. «Взял ты уже ванну?» — спрашивает один. — «Как, — спрашивает в свою очередь другой, — разве не хватает одной?».

[Один друг жалуется при встрече другому: «Дела идут очень плохо. Я потерял голову». — «А кто ее нашел?», — спрашивает другой. (Я. К.)].

Когда человек смеется от всего сердца над остротой, тогда он не особенно расположен исследовать ее технику. Поэтому освоиться с этими анализами несколько трудно. «Это — комическое недоразумение» — легче всего напрашивается такое именно объяснение. — Хорошо, но какова техника этой остроты? — Очевидно, двусмысленное употребление слова «взять» [«терять»]. Для одного — это бесцветный вспомогательный глагол; для другого — глагол в прямом значении. Итак, это случай слова, имеющего полный смысл и потерявшего свой первоначальный прямой смысл (Группа II, f). Если мы заменим выражение «взять ванну» равноценным, более простым «купаться» [или во втором примере «терять голову» — «отчаиваться»], то острота пропадает. Ответ больше не подходит. Итак, острота происходит опять-таки за счет выражения «взять ванну» [«терять голову»].

Совершенно верно; однако, кажется, что и в этом случае редукция поставлена не в нужном месте. Острота заключается не в вопросе, а в ответе. в ответном вопросе: «Как? Разве не хватает одной?». [«А кто ее нашел?»]. И этот ответ нельзя лишить заключающегося в нем остроумия никакой распространенностью изложения или изменением его, лишь бы оно не нарушало смысла ответа. У нас получается такое впечатление, что в ответе второго еврея недосмотр слова «ванна» [«голова»] имеет больше значения, чем не-

понимание слова «взять» [«терять»]. Но мы и здесь неясно видим это и обратимся к третьему примеру.

Это — опять-таки еврейская острота, но она имеет только еврейские аксессуары, ядро же ее имеет общечеловеческое значение. Конечно, и этот пример имеет свои нежелательные осложнения, но, к счастью, не те, которые препятствовали до сих пор ясности нашего понимания.

«Один обедневший человек занял у зажиточного знакомого 25 флоринов, уверив его в своем бедственном положении. В тот же самый день благотворитель застает его в ресторане перед тарелкой семги с майонезом. Он упрекает его: «Как, вы занимаете у меня деньги, а потом вы заказываете себе семгу с майонезом. Для этого вам понадобились мои деньги?» — «Я не понимаю, — отвечает обвиняемый, — когда я не имею денег, я не могу кушать семгу с майонезом, когда я имею деньги, я не смею кушать семгу с майонезом Когда же я, собственно, буду кушать семгу с майонезом?».

Здесь, наконец, больше нельзя найти следов двусмысленности. Повторение слов «семга с маойнезом» тоже не может заключать в себе техники этой остроты, так как оно не является «многократным употреблением» одного и того же материала, а действительным повторением требуемого по содержанию идентичного выражения. Мы остаемся некоторое время беспомощными перед этим анализом и захотим, быть может, увильнуть от него, оспаривая за этим анекдотом, заставившим нас смеяться, характер остроты.

Но что замечательного можно сказать об ответе обедневшего? Что ему, собственно, поразительным образом придан характер логичности. Но это — неправильно; ответ, конечно, нелогичен. Этот человек, наоборот, защищается тем, что он употребил данные ему взаймы деньги на лакомый кусочек, и с видом человека, имеющего право на это, спрашивает — когда же он, собственно, может кушать семгу. Но это вовсе не есть правильный ответ. Давший ему деньги взаймы совсем не упрекает его в том, что ему захотелось семги, как раз в тот день, когда он занял деньги, а напоминает ему о том, что он при настоящем своем положении вообще не имеет права думать о таких деликатесах. Этот единственно возможный смысл

упрека обедневший бонвиван оставляет без внимания и отвечает на что-то другое, как будто он не понял упрека.

Не заложена ли в этом именно увиливании ответа от смысла упрека техника этой остроты? Подобное изменение точки зрения, передвигание психического акцента можно было бы доказать затем и в обоих прежних примерах.

И вот оказывается, что это можно доказать очень легко и таким образом вскрыть подлинную технику этих примеров. Soulié обращает внимание Гейне на то, что общество в девятнадцатом столетии почитает «золотого тельца» так, как это делали некогда иудеи в пустыне. На это должен был бы последовать, примерно, следующий ответ Гейне: «Да, такова человеческая природа, тысячелетия ничего не изменили», или еще что-нибудь, вроде этого, выражающее его согласие с Soulié. Но Гейне уклоняется в своем ответе от упомянутых мыслей; он отвечает вообще не по существу; он пользуется двусмысленностью, предоставляемой фразой «золотой телец», чтобы избрать побочный путь; он выхватывает одну составную часть фразы «телец» и отвечает так, как будто на это слово падало ударение в речи Soulié: «О, это уже не телец» и т. д.[1].

Еще яснее это уклонение в остроте о купании. Этот пример требует графического изображения:

Первый спрашивает: «Взял ты ванну?». Ударение падает на элемент: ванна.

Второй отвечает так, как будто вопрос гласил: «Взял ты ванну?»

Текст «взял ванну» делает возможным только такое передвигание ударения. Если бы вопрос гласил: «Ты купался?», то, конечно, никакое передвигание не было бы возможным. Неостроумный ответ был бы тогда таков: «Купался? Что ты подразумеваешь? Я не знаю, что это такое». Техника же этой остроты заключается в передвигании ударения с «ванны» на «взять»[2].

[1] Ответ Гейне является комбинацией двух технических приемов остроумия: уклонения (от прямого ответа) и намека. Он ведь не говорит прямо: это — бык.

[2] Слово «взять» весьма пригодно, вследствие своей способности к многостороннему употреблению для создания такой игры слов. Вот чистый пример, который я хочу сообщить, в противоположность вышеприведенной остроте, возникшей путем передвига-

Вернемся к примеру с «семгой с майонезом», как к самому чистому случаю передвигания. Поисследуем новое в этом примере в различных направлениях. Прежде всего мы должны как-нибудь назвать открытую здесь технику. Я предлагаю обозначить ее как передвигание, потому что сущность ее состоит в отклонении хода мыслей, в передвигании психического акцента с первоначальной темы на другую. Затем нам надлежит заняться исследованием того, в каком отношении стоит техника передвигания к способу выражения остроты. Наш пример (семга с майонезом) указывает нам, что острота, возникающая путем передвигания, в высокой степени независима от словесного выражения. Она зависит не от слова, а от хода мыслей. Чтобы уничтожить ее, нам недостаточно произвести замену слов, сохраняя смысл ответа. Редукция возможна только в том случае, если мы изменим ход мыслей и заставим лакомку прямо ответить на упрек, которого он избегает в этом изложении остроты. Тогда редуцированное изложение будет гласить: «Я не могу отказать себе в том, что мне нравится, а откуда я беру деньги для этого — это мне безразлично. В этом вы имеете объяснение того, почему я именно сегодня ем семгу с майонезом после того, как вы дали мне взаймы деньги». — Но это было бы не остротой, а цинизмом.

Очень поучительно будет сравнить эту остроту с другой остротой, очень близкой ей по смыслу.

Один человек, который был подвержен пьянству, добывал себе средства к существованию тем, что давал уроки. Но его порок стал мало-помалу известен, и вследствие этого он потерял большинство своих уроков. Од-

---

ния: «Известный биржевик и директор банка гуляет со своим другом по улице. Перед одним кафе он ему предлагает: «Войдем и возьмем что-нибудь». Друг удерживает его от этого: «Но, г. тайный советник, там ведь есть люди».

[Все вышесказанное о выражении «взял ванну», относится и к аналогичному выражению «потерял голову». Первый друг говорит: «Я потерял голову!» Ответ второго: «А кто нашел ее?», относится только к слову «потерял» и передвигает, таким образом, на это слово психический акцент. Передвигание это облегчается до некоторой степени тем, что слово «терять» может быть употреблено в самых разнообразных значениях. Так, например, общеупотребительны выражения: терять почву под собой, терять надежду, терять счет, терять состояние, потерянный человек, растеряться и т. д. (Я. К.)].

ному его другу было поручено взяться за его исправление. «Посмотрите, вы могли бы иметь лучшие уроки в городе, если бы вы отказались от пьянства. Итак, сделайте это». — «Что вы предлагаете мне? — был негодующий ответ. — Я даю уроки с тем, чтобы иметь возможность пить; должен ли я отказаться от пьянства с тем, чтобы я получил уроки!».

Эта острота тоже имеет внешний вид логичности, который бросился нам в глаза при «семге с майонезом». Но это уже не острота, возникающая путем передвигания. Это прямой ответ на вопрос. Цинизм, который там скрыт, здесь откровенно признается. «Пьянство для меня — самое главное». Техника этой остроты, собственно, очень убога и не может объяснить нам действия этой последней. Она заключается лишь в перестановке одного и того же материала, строго говоря, лишь в превращении отношения средств и цели между пьянством и получением уроков. Не оттеняя в редукции этого момента, я уничтожаю эту остроту, излагая ее примерно так: «Что это за бессмысленное требование? Главным для меня является пьянство, а не уроки. Уроки для меня только средство, чтобы иметь возможность пить дальше». Таким образом, острота происходит в действительности за счет способа выражения.

В остроте о купании зависимость остроты от текста (взял ты ванну?) очевидна, и изменение текста ведет к упразднению остроты. Здесь техника более сложна и является сочетанием двусмысленности (подвида f) и передвигания. Текст вопроса допускает двусмысленность, и острота осуществляется благодаря тому, что ответ имеет в виду не того, кто ставит вопрос, а связывается с побочными мыслями. Соответственно этому мы можем найти редукцию, которая делает возможным существование двусмысленности и все-таки упраздняет остроту благодаря тому только, что мы уничтожаем передвигание:

— «Взял ты ванну?» — «Что я должен был взять? Ванну? Что это такое?».—Но это уже больше не острота, а неудачное или шутливое преувеличение.

[Соответственно этому аналогичная редукция остроты о «потере головы» гласила бы: «Я потерял голову». — «Каким образом? Ведь она крепко сидит на плечах». (Я. К.)].

Совсем такую же роль играет двусмысленность в остроте Гейне о «золотом тельце». Она дает возможность ответу уклониться от упомянутого хода мыслей, причем такое же уклонение имеет место в остроте о «семге с майонезом», не примыкая в ней так близко к тексту. В редукции речь Soulié и ответ Гейне гласили бы, примерно так: «Вид этого общества, лебезящего перед человеком только потому, что он богат, живо напоминает мне о поклонении золотому тельцу». — А Гейне отвечает: «То, что его почитают так за его богатство, это — еще небольшая беда. Вы еще не ясно оттеняете, что ему прощают его глупость за его богатство». Этим при сохранении двусмысленности была бы упразднена острота, возникающая путем передвигания.

Теперь мы должны ответить на возражение, которое может быть поставлено нам на вид: как разграничить друг от друга эти мудреные различия, если они все-таки стоят в тесной связи друг с другом. Не является ли каждая двусмысленность поводом к передвиганию, к отклонению хода мыслей от одного смысла к другому? Или мы должны согласиться с тем, что «двусмысленность» и «передвигание» нужно считать представителями двух различных типов техники остроумия? Конечно, между двусмысленностью и передвиганием существует связь, но она не имеет ничего общего с нашим распознаванием технических приемов остроумия. При двусмысленности острота не содержит в себе ничего, кроме многократного толкования пригодного к этому слова, которое дает слушателю возможность найти переход от одной мысли к другой, причем переход этот можно было бы приблизительно с некоторой натяжкой — поставить наряду с передвиганием. При остроте же, возникающей путем передвигания, сама острота содержит в себе ход мыслей, в котором произведено такое передвигание. Передвигание относится здесь к той работе, которая создала остроту, а не к той, которая необходима для понимания остроты. Если это различие для нас не очевидно, то мы имеем в редукции верное средство, которое может наглядно показать нам это различие. Но мы не хотим оспаривать ценности этого возражения. Благодаря ему мы обратим внимание на то, что мы не должны сваливать в одну кучу психические процессы при обра

довании остроты (работа остроумия) с психическими процессами при восприятии остроты (работа понимания). Только первые процессы являются предметом нашего настоящего исследования».[1] [2].

Существуют ли еще и другие примеры техники передвигания? Их нелегко найти. Чистым примером, которому также недостает так сильно подчеркиваемой в нашем образце этой категории острот логичности, является следующая острота:

Торговец лошадьми рекомендует покупателю верховую лошадь: «Если вы возьмете эту лошадь и сядете на нее в 4 часа утра, то в $^1/_2$7 вы будете в Прессбурге».— «А что я буду делать в Прессбурге в $^1/_2$7 утра?».

Передвигание здесь произведено блестяще. Торговец упоминает о раннем прибытии в маленький городок, очевидно, только имея в виду доказать на примере быстроту бега лошади. Покупатель не принимает во внимание быстроходности лошади, в чем он больше не сомневается, и входит только в обсуждение чисел, упомянутых в примере. Редукцию этой остроты затем нетрудно дать.

Большие трудности представляет другой очень неясный по своей технике пример, который все же можно разгадать, как двусмысленность с передвиганием. Эта острота рассказывает об уловке «шадхена» (посредника при заключении брака у евреев) и относится к группе, которой мы еще посвятим много внимания.

Шадхен заверил жениха, что отца девушки нет в живых. После обручения выясняется, что отец еще жив и отбывает тюремное наказание. Жених упрекает шадхена. «А что я вам сказал? — говорит последний, — разве это ж и з н ь?».

Двусмысленность заключается в слове «жизнь», и передвигание состоит в том, что шадхен переходит от обычного смысла, противоположностью которого явля-

---

[1] О последних процессах см. дальнейшие главы.

[2] Пожалуй, здесь не излишни будут несколько слов для дальнейшего понимания. Передвигание всегда имеет место между обращением и ответом, который продолжает ход мыслей в ином направлении, чем то, в котором была начата речь. Оправдание ограничению передвигания от двусмысленности вытекает яснее всего из тех примеров, в которых имеется комбинация обоих факторов, где, следовательно, текст речи допускает двусмысленность, которая не имелась в виду говорящим, а ответ указывает путь к передвиганию.

ется «смерть», к тому смыслу, который имеет это слово в обороте речи: «Это — не жизнь». Он дает при этом запоздалое объяснение своему тогдашнему выражению, хотя это многократное толкование именно сюда не подходит. Эта техника очень сходна с техникой остроты о «золотом тельце» и о «ванне». Но здесь следует принять во внимание еще и другой момент, который благодаря показательности мешает пониманию техники. Можно было бы сказать, что эта острота характеризует: она стремится иллюстрировать примером характерную для посредников брака смесь лживой дерзости и находчивого остроумия. Мы услышим, что это только показная сторона, фасад остроты; его смысл, т. е. его цель — другая. Но в данный момент мы не будем останавливаться на попытке создания редукции этой остроты[1].

После этих сложных и трудно поддающихся анализу примеров нам все-таки доставило бы удовлетворение, если мы могли бы распознать в одном случае чистый и ясный пример «остроты, возникшей путем передвигания». «Проситель приносит богатому барону прошение о выдаче вспомоществования для поездки в Остендэ. Врачи рекомендовали ему для восстановления его здоровья морской курорт. «Хорошо, я вам дам немного денег для этой цели, — говорит богач, — но должны ли вы поехать именно в Остендэ, в самый дорогой из всех морских курортов?». — «Господин барон, — гласит обиженный ответ, — ничто не дорого для меня, когда речь идет о моем здоровье». — Это, конечно, правильная точка зрения, но только неправильная для просителя. Ответ был дан с точки зрения богатого человека. Проситель ведет себя так, как будто это были его собственные деньги, которыми он должен пожертвовать для своего здоровья, как будто деньги и здоровье относятся в данном примере к одному и тому же лицу.

Обратимся опять к столь поучительному примеру с «семгой с майонезом». Мы видели в нем тоже только его показную сторону, по которой можно было бы судить о поразительной силе логической мысли, но мы благодаря анализу узнали, что эта логичность имела целью скрыть недочет мышления, а именно: передви-

---

[1] См. ниже гл. III.

тание хода мыслей. Исходя из этого мы можем, хотя бы путем ассоциации по контрасту, вспомнить о других остротах, которые в противоположность только что упомянутой открыто выставляют напоказ нечто несуразное, бессмыслицу, нелепость. Мы полюбопытствуем узнать, в чем состоит техника этих острот.

Я привожу самый яркий и вместе с тем самый чистый пример всей этой группы. Это опять-таки еврейская острота.

Исаак был назначен в артилллерию. Он, очевидно, смышленый малый, но он непослушен и относится без интереса к службе. Один из его начальников, который был к нему расположен, отводит его в сторону и говорит ему: «Исаак, ты нам не годишься. Я дам тебе совет: купи себе пушку и работай самостоятельно».

Совет, над которым можно от души посмеяться, является очевидной бессмыслицей. Пушек для продажи не существует, и один человек не может быть самостоятельным, как вооруженная сила так, как это имеет место в торговле. Но для нас ни на одну минуту не подлежит сомнению, что этот совет не является пустой бессмыслицей, а остроумной бессмыслицей, отличной остротой. Но благодаря чему бессмыслица становится, таким образом, остротой?

Нам не придется долго размышлять над этим. Из приведенных во введении рассуждений автором мы могли догадаться, что в такой остроумной бессмыслице скрывается смысл и что именно этот смысл в бессмыслице превращает бессмыслицу в остроту. Смысл в нашем примере легко найти. Офицер, который дал бессмысленный совет артиллеристу Исааку, только притворяется дурачком, чтобы показать Исааку, как глупо тот себя ведет. Он копирует Исаака. «Я хочу теперь дать тебе совет, который точь-в-точь так же глуп, как и ты». Он соглашается с глупостью Исаака и ставит ее на вид ему, делая ее основой предложения, которое должно соответствовать желаниям Исаака, так как, если бы Исаак владел собственной пушкой и промышлял бы орудием войны за свой собственный счет, как пригодились бы ему тогда его сообразительность и его честолюбие!

Я прерываю анализ этого примера, чтоб показать тот же смысл бессмыслицы на одном более кратком

и более простом, но менее ясном случае остроты-бессмыслицы.

«Никогда не родиться — было бы самым лучшим уделом смертных детей человечества». «Но, прибавляют мудрецы из «Fliegende Blätter», — среди 10.000 человек вряд ли найдется один, который воспользовался бы этой возможностью».

Современное добавление к древней мудрой поговорке является очевидной бессмыслицей, которая становится еще более нелепой благодаря кажущемуся предусмотрительным «вряд ли». Но оно связано с первым предложением как неоспоримо верное ограничение и может, таким образом, открыть нам глаза на то, что эта приемлемая с благоговением мудрость немногим лучше бессмыслицы. Кто вовсе не родился, тот, вообще, не является дитятей человечества; для него не существует ни хорошего, ни самого лучшего. Бессмыслица в остроте служит здесь, таким образом, для открытия и изображения другой бессмыслицы, как в примере артиллериста Исаака.

Я могу присоединить сюда третий пример, который по своему содержанию вряд ли заслуживал бы подробного изложения, которого он требует, но который особенно отчетливо выясняет опять-таки применение бессмыслицы в остроте для изображения другой бессмыслицы.

Один человек, уезжая, поручил свою дочь своему другу с просьбой, чтоб он охранял во время его отсутствия ее добродетель. Он вернулся спустя несколько месяцев и нашел ее забеременевшей. Разумеется, он начал упрекать своего друга. Последний, по-видимому, не мог объяснить себе этого несчастного случая. «Где же она спала?» — спросил, наконец, отец. — «В комнате с моим сыном». — «Но как же ты мог позволить ей спать в одной комнате с твоим сыном после того, как я просил тебя охранять ее?» — «Но между ними была ширма. Там была кровать твоей дочери, тут — кровать моего сына, а между ними — ширма». «А если он зашел за ширму? — «Разве так, — сказал второй задумчиво, — тогда это было возможно».

От этой очень мало удачной по своим остальным качествам остроты мы легче всего можем перейти к редукции. Она, очевидно, должна была бы гласить:

ты не имеешь никакого права упрекать меня. Как же ты мог быть так г л у п и оставить свою дочь в доме, в котором она должна была жить в постоянном обществе молодого человека. Как будто возможно было бы постороннему человеку нести при таких обстоятельствах ответственность за добродетель девушки. Кажущаяся глупость друга также и здесь является, таким образом, только отображением глупости отца. Редукцией мы устранили нелепость в остроте, а с ней упразднили и самую остроту. От самого элемента «нелепость» мы не избавились. Она находит себе другое место в связи с предложением, редуцирующим ее смысл.

Теперь мы можем попытаться произвести редукцию также и остроты о пушке. Офицер должен был бы сказать: «Исаак, я знаю, что ты смышленый делец. Но я говорю тебе, что ты делаешь б о л ь ш у ю г л у п о с т ь, не понимая, что на военной службе дело не может обстоять так, как в деловой жизни, где каждый работает на свой риск, конкурируя с другими. На военной службе необходимо подчиняться и действовать сообща».

Таким образом, техника приведенных до сих пор острот-бессмыслиц заключается, действительно, в том, что нам преподносится нелепость, бессмыслица, смысл которой заключается в наглядном выяснении, изображении другой какой-нибудь бессмыслицы и нелепости.

Имеет ли употребление бессмыслицы в технике остроумия всякий раз такое значение? Я привожу здесь еще один пример, который отвечает на этот вопрос в положительном смысле.

Когда Ф о к и о н а однажды после речи наградили аплодисментами, он, обратясь к своим друзьям, спросил: «Р а з в е я с к а з а л ч т о-н и б у д ь н е л е п о е?»

Этот вопрос звучит как бессмыслица. Но мы вскоре понимаем его смысл. «Разве я сказал что-нибудь такое, что могло понравиться этому глупому народу? Я, собственно, должен был бы стыдиться этого одобрения; если это понравилось глупцам, то оно само было не очень-то разумно».

Но другие примеры могут указать нам на то, что бессмыслица очень часто употребляется в технике остроумия, не служа цели изображения другой бессмыслицы.

Одного известного университетского преподавателя, который обычно обильно уснащал остротами свой малонравившийся слушателям специальный предмет, в день

рождения его младшего сына поздравили с тем, что ему было дано в удел счастье иметь ребенка уже в таком преклонном возрасте. «Да, — возразил он человеку, желавшему ему счастья, — поразительно, что могут произвести человеческие руки». Этот ответ кажется особенно бессмысленным и неуместным. Детей называют ведь благословением бога прямо в противоположность творению человеческих рук. Но сейчас же нам приходит в голову, что этот ответ имеет смысл, и именно скабрезный смысл. Здесь нет и речи о том, что счастливый отец хочет притвориться глупым, чтобы назвать глупым что-то или кого-то. Кажущийся бессмысленным ответ действует на нас ошеломляюще, смущающе, как мы сказали бы вместе с авторами, писавшими об остроумии. Мы слышали, что авторы усматривали все действие таких острот в смене «смущения и внезапного уяснения». Мы попытаемся позже создать свое суждение об этом. Пока мы удовольствуемся лишь тем, что мы отметим, что техника этой остроты заключается в преподношении нам такого смущающего, бессмысленного ответа.

Совсем особое место среди этих острот-бессмыслиц занимает острота Lichtenberg'a.

Он удивился, что у кошек вырезаны две дыры как раз в том месте их шкурки, где у них должны быть глаза. Удивляться чему-то само собой разумеющемуся,· чему-то, что может быть объяснено только идентичными же словами — является, конечно, нелепостью. Это напоминает об одном всерьез понимаемом восклицании у Michelet (Das Weib), которое, насколько я помню, гласит приблизительно так: «Как хорошо все устроено в природе, что ребенок, как только он появляется на свет, имеет мать, готовую принять его на свое попечение!» Фраза Michelet — действительно нелепость, фраза же Lichtenberg'a — острота, которая пользуется нелепостью для какой-то цели, за которой что-то скрывается. Что именно? Этого мы, конечно, не можем указать в данный момент.

Из двух групп примеров мы уже узнали, что работа остроумия пользуется двумя уклонениями от нормального мышления, сгущением и бессмыслицей, как техническими приемами для создания остроумного выражения. Мы, конечно, вправе ожидать, что и другие

ошибки мышления могут найти такое же применение. Действительно, можно указать несколько примеров такого рода:

Один гражданин приходит в кондитерскую и приказывает дать себе торт, но вскоре он отдает его обратно, и требует вместо него стаканчик ликеру. Он выпивает его и хочет уйти, не заплатив. Владелец лавки задерживает его. «Что вам угодно от меня?» — «Вы должны заплатить за ликер». — «Ведь я отдал вам за него торт». — «Но ведь вы за него тоже не заплатили». — «Но ведь я его и не ел».

И этот рассказ имеет видимость логичности, которая, как мы уже знаем, служит удобным фасадом для ошибки мышления. Ошибка заключается, очевидно, в том, что хитрый покупатель создает между возвращением торта и получением ликера соотношение, которое на самом деле не существовало. Суть вещей распадается, наоборот, на два процесса, которые для продавца друг от друга независимы и только по собственному предположению покупателя стоят в соотношении замены одного другим. Он сначала взял и возвратил торт, за который он, следовательно, ничего не должен заплатить, затем он берет ликер и за него он должен заплатить. Можно сказать, что покупатель двусмысленно употребляет выражение «за это», правильнее говоря, он создает с помощью двусмысленности связь, не имеющую фактических оснований[1].

Теперь нам представляется удобный случай сделать немаловажное признание. Мы занимаемся здесь исследованием техники остроумия на примерах и должны, следовательно, быть уверены, что выбранные нами примеры, действительно, являются истинными остротами. Но дело обстоит таким образом, что мы в целом ряде случаев колеблемся, следует ли назвать соответствующий пример остротой или нет. В нашем распоряжении ведь не будет такого критерия до тех пор, пока само исследование не даст нам его. Ходячее мнение нена-

[1] Подобная техника бессмысленности получается тогда, когда острота может сохранить связь, которая оказывается упраздненной благодаря особым условиям ее содержания. Сюда относится нож Lichtenberg'a без клинка, где отсутствует рукоятка. Такова же острота, рассказанная J. Falke. «То ли это место, где Duke of Wellington произнес эти слова?» — «Да, это то место, но этих слов он никогда не произносил».

дежно и само нуждается в проверке своей правильности; мы при решении выдвинутого нами вопроса не можем опереться ни на что иное, как только на некоторое «чутье», которое мы понимаем в том смысле, что мы судим о чем-нибудь согласно уже существующим определенным критериям, еще недоступным нашему пониманию. Ссылку на это чутье мы не будем выдавать за достаточное обоснование. Мы сомневаемся, должны ли мы считать последний пример остротой, софистической остротой или просто софизмом. Кроме того, мы не знаем еще, в чем заключается характер остроты.

Наоборот, нижеследующий пример, который выявляет, так сказать, более грубую ошибку мышления, является несомненной остротой. Это опять-таки история с посредником брака.

Шадхен защищает девушку, которую он предлагает в качестве невесты, от недостатков, отмечаемых молодым человеком. «Теща мне не нравится, — говорит этот последний, она — ехидный, глупый человек». — «Ведь, вы женитесь не на теще, а на дочери». — «Да, но она уже не молода и лицом она тоже не хороша». — «Это ничего, если она не молода и не красива, тем более она будет вам верна». — «Денег там тоже не много». — «Кто говорит о деньгах? Разве вы женитесь на деньгах? Вы ведь хотите иметь жену». — «Но, ведь, она к тому еще и горбата!» — «А что же вы хотели? Чтоб она не имела ни одного недостатка!»

Таким образом, речь идет, действительно, о немолодой, некрасивой девушке с небольшим приданым, причем у нее отталкивающая мать, и, кроме того, она награждена безобразным уродством. Это, конечно, условия отнюдь не заманчивые для заключения брака. Но посредник умеет при каждом отдельном из этих недостатков указать на ту точку зрения, благодаря которой можно с ним примириться; непростительный горб он оценивает затем как единственный недостаток, который нужно простить каждому человеку. И здесь имеется налицо видимость логичности, которая характерна для софизма и которая должна скрыть ошибку мышления. Девушка имеет очевидные, явные недостатки: несколько таких, которые можно простить, и один такой, которого нельзя простить. Она не подходит для брака. Но посредник ведет себя таким образом, как

будто каждый отдельный недостаток устраняется благодаря его возражению в то время, как в действительности каждый из них до некоторой степени обесценивает выгоды брака, и все эти недостатки вскоре суммируются в одно общее впечатление. Посредник настаивает на обсуждении каждого фактора в отдельности и сопротивляется объединению их в одну общую сумму.

Та же ошибка мышления является ядром другого софизма, по поводу которого можно много смеяться, но можно и сомневаться, вправе ли мы называть его остротой.

А взял у В медный котел; после того как котел был возвращен, В предъявил к А иск, так как в котле была большая дыра, благодаря которой он стал негоден для употребления. А защищается: «Во-первых, я вообще не брал котла у В, во-вторых, в котле была уже дыра, когда я взял его у В, в-третьих, я вернул котел в целости». Каждое возражение в отдельности само по себе хорошо, но взятые вместе они исключают друг друга. А обсуждает изолированно то, что должно быть рассматриваемо в связи друг с другом, точь-в-точь так, как поступает посредник с недостатками невесты. Можно также сказать: «А ставит «и» на том месте, на котором возможно только «либо—либо».

Другой софизм мы находим в следующей истории с посредником брака.

Жених замечает, что у невесты одна нога короче другой и что она хромает. Шадхен вступает с ним в спор. «Вы неправы. Предположите, что вы женитесь на женщине с здоровыми, равными конечностями. Какой вам расчет? Вы ни на одну минуту не будете спокойны, что она не упадет, не сломает себе ногу и затем не останется хромой на всю жизнь. А потом боль, волнения, расходы на врача! Если же вы женитесь на этой девушке, то с вами этого не может случиться, здесь вы имеете готовое дело».

Видимость логики здесь очень невелика, и никто не захочет отдать предпочтение уже «готовому несчастью» перед несчастьем, могущим только произойти. Ошибку, содержащуюся в ходе мысли, можно будет легче выявить на втором примере, на истории, в изложении которой я не могу избежать жаргона.

В храме в Кракове сидит великий раввин N и молится со своими учениками. Внезапно он издает крик

и, спрошенный своими озабоченными учениками, говорит: «Только что умер великий раввин L в Лемберге». Община накладывает траур по умершему. В течение ближайших нескольких дней опрашиваются прибывшие из Лемберга, как умер раввин, чем он был болен, но они ничего не знают об этом, они оставили его в наилучшем самочувствии. Наконец выясняется вполне определенно, что раввин L не умер в тот момент, когда раввин N телепатически почувствовал его смерть, так как он жив еще до сих пор. Иноверец воспользовался удобным случаем, чтобы подтрунить над учеником краковского раввина по поводу этого события. «Большой позор для вашего раввина, что он увидел тогда раввина L умирающим в Лемберге. Этот человек жив еще поныне». — «Это ничего, — возражает ученик, — взгляд от Кракова до Лемберга был все же великолепен».

Здесь открыто признается общая двум последним примерам ошибка мышления. Ценность фантастического представления без всякого зазрения превозносится в сравнении с реальностью. Дальновидный взгляд через пространство, отделяющее Краков от Лемберга, был бы импозантным телепатическим актом, если бы он передал нечто действительно происшедшее, но это неважно для ученика. Ведь было все-таки возможно, чтобы раввин L умер в Лемберге в тот момент, когда краковский раввин провозгласил о его смерти; ученик же передвинул акцент с условия, при котором поступок учителя был бы достоин удивления, на безусловное удивление этим поступком. «In magnis rebus voluisse sat est» свидетельствует о подобной же точке зрения. Точно так же, как в этом примере, реальность не принимается во внимание и ей предпочитается возможность, так и в предыдущем примере посредник брака требует от жениха, чтобы он принял во внимание возможность того, что женщина может благодаря несчастному случаю стать хромой, и оценил эту возможность как нечто более многозначительное в сравнении с чем вопрос, действительно ли она хрома или нет, отступает на задний план.

К этой группе софистических ошибок мышления примыкает другая очень интересная группа, в которой ошибку мышления можно назвать автоматической. Быть может, это только каприз случая,

что все примеры этой новой группы, которые я приведу, относятся опять-таки к историям с шадхенами.

Шадхен привел с собой для переговоров о невесте помощника, который должен был подтверждать все его сведения. «Она стройна, как ель», — говорит шадхен. — Как ель,— повторяет эхо.— «А глаза у нее такие, что их нужно посмотреть». — Ах, какие глаза у нее, подтверждает эхо. «А образована она, как никакая другая девушка». — И как образованна! — «Но одно, правда, — признается посредник, — она имеет небольшой горб». — Но какой горб, — подкрепляет эхо. Другие истории вполне аналогичны, но они более остроумны.

Жених при знакомстве с невестой неприятно поражен и отводит посредника в сторону, чтобы сообщить ему о недостатках, которые он нашел в невесте. «Зачем вы привели меня сюда?» — спрашивает он с упреком. «Она отвратительна и стара, она косит; у нее плохие зубы и слезящиеся глаза...» — «Вы можете говорить громко, — вставляет посредник, — она глуха тоже».

Жених делает первый визит в дом невесты вместе с посредником, и в то время, как они ожидают в гостиной появления семьи, посредник обращает его внимание на стеклянный шкаф, в котором выставлена напоказ серебряная утварь. «Взгляните сюда. По этим вещам вы можете судить, как богаты эти люди». — «А разве невозможно, — спрашивает недоверчивый молодой человек,— что эти вещи были взяты взаймы только для этого случая с той целью, чтобы произвести впечатление богатства?» — «Ну, что приходит вам в голову, — отвечает, возражая, посредник, — разве можно доверить этим людям что-нибудь!».

Во всех трех случаях происходит одно и то же. Человек, который несколько раз подряд реагирует одинаковым образом, продолжает этот способ выражения также и по ближайшему поводу, который оказывается неподходящим и противоречит тем целям, к которым стремится этот человек. Он не видит необходимости приспособляться к требованиям ситуации и поддается автоматизму привычки. Так, помощник посредника в первом рассказе забывает, что его взяли с собой для того, чтобы он подавал голос в пользу предлагаемой невесты, и до сих пор он оправдывал возложенную на

него задачу, подчеркивая своим повторением указываемые положительные черты невесты, но затем он подчеркивает и ее робко признаваемый горб, который он должен был бы преуменьшить. Во втором рассказе посредник был так увлечен перечислением недостатков и пороков невесты, что он дополняет их список теми недостатками, о которых знает только он один, хотя это, конечно, не входит в круг его обязанностей и намерений. В третьем рассказе, наконец, он настолько увлекается рвением уверить молодого человека в богатстве этой семьи, что он, желая оказаться правым в одном только пункте доказательства, приводит такой довод, который уничтожает все его старания. Повсюду автоматизм берет верх над целесообразным изменением мышления и выражения.

Это легко понять, но это же должно сбить нас с толку, если мы обратим внимание на то, что эти три истории могут быть названы комическими с таким же правом, с каким мы их привели в качестве остроумных. Открытие психического автоматизма принадлежит к технике комического, как и всякое разоблачение, когда человек сам себя выдает. Мы очутились внезапно перед проблемой отношения остроумия к комизму, которую мы думали обойти (см. введение). Являются ли эти истории только комическими и не остроумными в то же время? Работает ли здесь комизм теми же средствами, что и остроумие? И опять-таки, в чем заключается особый характер остроумного?

Мы должны держаться того взгляда, что техника последней исследованной нами группы острот заключается не в чем ином, как в преподношении «ошибок мышления», но мы вынуждены признать, что их исследование привело нас скорее к затемнению вопроса, чем к выяснению его. Но мы все-таки не перестаем надеяться, что благодаря полному изучению технических приемов остроумия мы придем к некоторым данным, которые послужат нам исходным пунктом для дальнейших рассуждений.

Ближайшие примеры остроумия, на которых мы будем базировать наше дальнейшее исследование, не представят больших трудностей. Их техника напомнит нам прежде всего уже знакомую нам технику.

Вот, например, острота Lichtenberg'a:

«Январь — это месяц, когда приносят своим друзьям добрые пожелания, а остальные месяцы — это те, в течение которых они не исполняются».

Так как эти остроты следует назвать скорее тонкими, чем удачными, и так как они пользуются малоэнергичными приемами, то мы хотим усилить получаемое от них впечатление, умножая их число.

«Человеческая жизнь распадается на две половины: в течение первой половины стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой».

«Жизненное испытание состоит в том, что испытывают то, чего не хотят испытать» (Оба примера у K. Fischer'a).

Эти примеры неизбежно напоминают нам рассмотренную нами раньше группу, особенностью которой является «многократное применение одного и того же материала». Особенно последний пример дает нам повод поставить вопрос, почему мы не включили его в эту прежнюю группу вместо того, чтобы приводить его в связи с новой группой. Испытание описывается опять через само себя, как в другом месте ревность. И это указание я не буду особенно оспаривать. Но я полагаю, что в двух других примерах, имеющих аналогичный же характер, другой новый момент является более поразительным и многозначительным, чем многократное употребление одного и то же слова, которому здесь недостает даже намека на двусмысленность. А именно, я хочу подчеркнуть, что здесь созданы новые и неожиданные единства, новые отношения представлений друг к другу и определение одного понятия другим или отношением к общему третьему понятию. Я назвал бы этот процесс унификацией. Он, очевидно, аналогичен сгущению благодаря укомплектовыванию в одни и те же слова. Так, две половины человеческой жизни описываются при помощи открытого между ними взаимоотношения; в течение первой половины стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой. Это, точнее говоря, два очень сходных отношения друг к другу, которые взяты для изображения. Сходству отношений соответствует сходство

слов, которое может напомнить нам о многократном употреблении одного и того же материала

(стремиться вперед)
___
(стремиться обратно)

В остроте Lichtenberg'a — январь и противопоставляемые ему месяцы характеризуются опять-таки модифицированным отношением к чему-то третьему; это — пожелания счастья, которые люди приносят в течение одного месяца и которые не исполняются в течение других месяцев. Отличие от многократного применения одного и того же материала, которое приближается к двусмысленности, здесь ясно и очевидно[1].

Прекрасным примером унификационной остроты, не нуждающейся в пояснении, является следующая:

Французский писатель од, J. B. Rousseau на-

[1] Я хочу воспользоваться ранее упомянутым своеобразным негативным отношением остроты к загадке (то, что скрыто в остроте, дано в загадке и наоборот), чтобы описать «унификацию» лучше, чем это позволяют сделать вышеприведенные примеры. Многие из загадок, сочинением которых занимался философ G. Th. Fechner после того, как он потерял зрение, отличаются в высокой степени унификацией, придающей им особую прелесть. Такова, напр., загадка № 203.

Die bieden ersten finden ihre Ruhestätte
Im Paar der andern, und das Ganze macht ihr Bette»,

О двух парах слогов, которые нужно отгадать, не сказано ничего, кроме их отношения друг к другу и кроме отношения всего в целом к первой паре слогов (Разгадка: Totengräber). Или следующие два примера, в которых описание происходит путем указания отношения к одному и тому же или слегка модифицированному третьему:

№ 170. Die erste Silb'hat Zähn'und Haare,
Die zweite Zähne in den Haaren.
Wer auf den Zähnen nicht hat Haare
Vom Ganzen kaufe keine Ware. (Rosskamm.)

№ 168. Die erste Silbe frisst,
Die andere Silbe isst,
Die dritte wird qefressen
Das ganze wird gegessen". (Seuerkraut.)

Наибольшая унификация содержится в загадке Schleiermacher'a, которую нельзя не назвать остроумной:

Von der letzten umschlunqen
Schwebt das vollendete Ganze
Zu den zwei ersten empor. (Galgenstrick.)

В большинстве загадок, в которых искомое слово расчленяется на слоги, унификация отсутствует, т. е. признак, по которому нужно отгадать один из слогов, совершенно независим от признака, данного для второго, третьего слога, и от опорных точек, по которым можно отгадать все в целом.

писал одну оду потомству (à la posterité); Вольтер нашел, что стихотворение это по своей ценности отнюдь не имеет достаточных оснований, чтобы оно могло дойти до потомства и сказал остроумно: «Это стихотворение не дойдет по своему адресу». (По K. Fischer'у).

Последний пример может обратить наше внимание на то, что по существу унификация является тем моментом, который лежит в основе так называемых находчивых острот. Находчивость состоит ведь в переходе от обороны к агрессивности, в «обращении острия от себя в сторону противника», в «отплате тою же монетой», следовательно, в создании неожиданного единства между атакой и контратакой.

Так, например, пекарь говорит трактирщику, у которого нарывает палец: «Он, вероятно, попал в твое пиво?». — «Этого не было, но мне под ноготь попала одна из твоих саек». (По Überhorst'у).

Светлейший князь объезжает свои владения и замечает в толпе человека, похожего на собственную высокую персону. Он подзывает его, чтобы спросить: «Служила ли его мать когда-либо в резиденции?». — «Нет, ваша светлость, — гласит ответ, — мать не служила, зато мой отец — да».

Герцог Карл Вюртембергский случайно наталкивается во время одной из своих верховых прогулок на красильщика, занятого своим делом. «Может ли он покрасить мою белую лошадь в синий цвет», подзывает его герцог и получает ответ: «Конечно, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения!».

В этих отличных «поездках на обратных», — в которых на бессмысленный вопрос отвечают столь же невозможным условием — принимает участие еще и другой технический момент, который отсутствовал бы, если бы ответ красильщика гласил: «Нет, ваша светлость, я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения».

В распоряжении унификации имеется еще и другой, особенно интересный технический прием, присоединение при помощи союза **и**. Такое присоединение означает связь; мы понимаем его не иначе. Когда Гейне рассказывает, например, в «Путешествии на

Гарц» о городе Геттингене: «Вообще геттингенские жители разделяются на студентов, профессоров, филистеров и скот», то мы понимаем это сопоставление именно в таком смысле, который еще резче подчеркивается добавлением Гейне: «все они немногим различаются между собой». Или когда Гейне говорит о школе, где он должен был перенести «латынь, побои и географию», то это присоединение, которое более чем ясно благодаря тому, что побои поставлены посредине между обоими учебными предметами, хочет сказать нам, что мы должны распространить отношение ученика к занятиям, несомненно определяемое отношением к побоям, и на латынь и географию.

У Lipps'а, мы находим среди примеров «остроумного перечисления» («Koordination») стих очень близкий Гейневскому «студенты, профессора, филистеры и скот»:

«С трудом и вилкой мать вытащила его из соуса»; как будто бы труд был инструментом, подобно вилке, добавляет Lipps, поясняя[1]. Но получается впечатление, как будто этот стих совсем неостроумен, а только очень комичен в то время, как Гейневское присоединение несомненно остроумно. Быть может, мы впоследствии вспомним об этих примерах, когда нам больше не нужно будет избегать проблемы соотношения комизма и остроумия.

На примере герцога и красильщика мы заметили, что этот пример остался бы остротой, возникшей путем унификации, и в том случае, если бы ответ красильщика гласил: «Нет, я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения». Но ответ гласил: «Да, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения». В замене собственно уместного «нет» словом «да» и заключается новый технический прием остроумия, употребление которого мы проследим на других примерах. Одна из приведенных у K. Fischer'а острот более проста. Фридрих Великий слышит об одном силезском проповеднике, о котором говорили, что он общается с

---

[1] («У одного богатого и старого человека были молодая жена и размягчение мозга...». К. Макушинский. «Старый муж».

духами. Фридрих приказывает этому человеку прийти и встречает его вопросом: «Умеет ли он заклинать духов?». Ответ был: «Так точно, ваше величество, но они не приходят». Здесь вполне очевидно, что прием остроумия заключается не в чем ином, как в замене единственно возможного «нет» его противоположностью. Чтобы произвести эту замену, к слову «да» должно быть присоединено «но», так что «да» и «но» по смыслу равны «нет».

Это изображение при помощи противоположности, как мы его называем, служит работе остроумия в различных продукциях. В следующих двух примерах оно выступает в чистом виде: Гейне: Эта дама во многих отношениях подобна Венере Милосской: она также чрезвычайно стара, тоже не имеет зубов и имеет несколько белых пятен на желтоватой поверхности своего тела. Это — изображение отвратительной внешности при помощи аналогии ее с прекрасным. Эти аналогии могут состоять, конечно, только в двусмысленно выраженных качествах или во второстепенных чертах. Последнее относится ко второму примеру:

Lichtenberg: Великий дух.

«Он объединил в себе качества великих мужей. Он держал голову криво, как Александр, всегда поправлял волосы, как Цезарь, мог пить кофе, как Лейбниц, и когда он однажды прочно сидел в кресле, он забыл о еде и питье, как Ньютон, и его должны были будить, как этого последнего; свой парик он носил, как д-р Джонсон, и пуговица от брюк была всегда у него расстегнута, как у Сервантеса».

Особенно хороший пример изображения при помощи противоположности, в котором абсолютно не имеет места употребление двусмысленных слов, привезен J. v. Falke'ом, из его поездки в Ирландию: «Место действия — кабинет восковых фигур», — сказали мы madame Tussaud. И здесь имеется проводник, сопровождающий общество, в котором и стар и млад, от фигуры к фигуре со своими объяснениями. «This is the Duke of Wellington and his hor-

se». После этого одна молодая девушка задает вопрос: «Which is the Duke of Wellington and which is his horse?». «Just, as you like, my pretty child», гласит ответ, «you pay the money and you have the choice». (Какая фигура — герцог В, а какая — его лошадь? — Как вам будет угодно, мое дитя, вы заплатили деньги, и выбор принадлежит вам).

Редукция этой ирландской остроты должна была бы гласить: «Как не стыдно предлагать обозрению публики эти восковые фигуры людей! Ведь в них нельзя отличить лошадь от всадника! (Шутливое преувеличение). И за это платят хорошие деньги! Это негодующее выражение драматизируется, подкрепляется небольшими подробностями, вместо публики вообще выступает одна дама, фигура всадника определяется индивидуально столь популярной в Ирландии личностью герцога Веллингтона. Бесстыдство же владельца или проводника, который тянет у людей деньги из кармана и не дает ничего взамен этого, изображается путем противоположности, с помощью речи, в которой он восхваляется как добросовестный делец, у которого на уме нет ничего, кроме соблюдения прав, которые публика приобрела уплатой денег. Теперь можно также отметить, что техника этой остроты совсем не проста. Найдя путь к тому, чтобы торжественно уверить обманщика в его добросовестности, эта острота является примером изображения при помощи противоположности; но повод, по которому острота прибегает к этому изображению, требует от нее совсем другого: она отвечает деловой солидностью там, где от нее ожидают сходства фигур, и является, таким образом, примером передвигания. Техника этой остроты заключается в комбинации обоих приемов.

От этого примера легко перейти к небольшой группе, которую можно было бы назвать остротами, возникающими путем преувеличения. В них «да», которое было бы уместно в редукции, заменяется отрицанием «нет», но это «нет» равносильно в силу своего содержания даже усиленному «да», и обратно: «нет» заменяется таким же «да». Отрицание стоит на месте утверждения с преувеличением; такова, например, эпиграмма Lessing'a:

«Прекрасная Галатея! Говорят, что она красит свои волосы в черный цвет?».— «О, нет: ее волосы были уже черны, когда она их купила».

Или мнимая ехидная защита книжной мудрости Lichtenberg'ом:

«Есть многое на небе и земле,

Что и во сне, Горацио, не снилось.

Твоей учености», — сказал презрительно Гамлет. Lichtenberg знает, что это определение далеко не метко, так как оно не реализует всего того, что можно возразить против ученой мудрости. Поэтому он прибавляет еще недостающее суждение. «Но в учености есть и многое такое, чего нет ни на небе, ни на земле». Его изложение подчеркивает, чем вознаграждается книжная мудрость за порицаемый Гамлетом недостаток, но в этом вознаграждении заключается второй и еще больший упрек.

Еще яснее, хотя и грубы, две еврейские остроты, так как свободны от всякой примеси передвигания.

Два еврея говорят о купании. «Я ежегодно купаюсь один раз, — говорит один из них, — нужно ли это или нет».

Ясно, что таким хвастливым уверением в своей чистоплотности он уличает себя только в нечистоплотности.

Один еврей замечает остатки пищи на бороде у другого еврея. «Я могу сказать тебе, что ты вчера ел». — «А ну-ка, скажи». — «Чечевичную похлебку». — «Неправда, позавчера».

Великолепной остротой, возникшей путем преувеличения, которая легко может быть отнесена за счет изображения при помощи противоположности, является следующая острота:

Король, снизойдя, посещает хирургическую клинику, и застает профессора, готовящегося к ампутации ноги; отдельные стадии этой ампутации король сопровождает громкими выражениями своего королевского благоговения: «Браво, браво, мой милый профессор». По окончании операции профессор подходит к королю и спрашивает с глубоким поклоном: «Прикажете, ваше величество, ампутировать и вторую ногу?».

То, о чем думал про себя профессор во время королевского одобрения, можно выразить, конечно, только

в таком виде: «Все это производит такое впечатление, как будто я ампутирую ногу этому бедняге по королевскому указу и только ради королевского благоволения. Однако я, в действительности, имею другие основания для этой операции». Но затем он подходит к королю и говорит: «Я не имею никаких других оснований для производства этой операции, чем указ вашего величества. Высказанное мне одобрение так осчастливило меня, что я ожидаю только приказания вашего величества, чтобы ампутировать и здоровую ногу! Высказывая противоположную мысль, ему удается дать понять то, о чем он думает и о чем он должен умолчать. Эта противоположность есть невероятное преувеличение.

Изображение при помощи противоположности является, как мы видим на этих примерах, часто употребляемым и очень энергичным приемом техники остроумия. Но мы должны не проглядеть и другого момента, заключающегося в том, что эта техника свойственна отнюдь не одному только остроумию. Когда Марк Антоний, произнеся длинную речь о трупе Цезаря на форуме и завоевав у слушателей расположение, опять бросает, наконец, фразу:

«Брут — достойный уважения человек», — то он знает, что народ крикнет ему в ответ только истинный смысл его слов:

«Они — изменники: достойные уважения люди».

[Аналогичной техникой пользуется Шуйский в «Борисе Годунове» Пушкина:

...Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха... (Я. К.)].

Или когда «Simplizissimus» переписывает собрание неслыханных сальностей и цинизмов, как выражения из «Gemütsmenschen» («Нравственные люди»), то это — тоже изображение при помощи противоположности. Но это называют «иронией», а не остротой. Иронии не свойственна никакая другая техника, кроме техники изображения при помощи противоположности[1]. Кроме того, говорят и пишут об ирони-

[1] Ср.: у Крылова: «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» (Я. К.).

ческой остроте. Таким образом, нельзя больше сомневаться в том, что одна техника недостаточна для характеристики остроты. К технике должно присоединиться еще нечто другое, чего мы до сих пор не открыли. Но, с другой стороны, все-таки неоспоримо, что с упразднением техники исчезает и острота. A priori может показаться трудным объединить друг с другом оба эти спорных пункта, которые добыты нами для объяснения остроумия.

Если изображение при помощи противоположности относится к техническим приемам остроумия, то мы, конечно, вправе ожидать, что остроумие может использовать и противоположный прием, т. е. изображение при помощи сходного и родственного. Продолжение нашего исследования, действительно, покажет нам, что это является техникой новой, совершенно особой, обширной группы острот по смыслу. Мы определим своеобразность этой техники гораздо точнее, если мы вместо изображения при помощи «родственного» скажем: изображение при помощи принадлежащего друг другу или находящегося в связи друг с другом. Мы сделаем почин последней характеристикой и поясним ее сейчас же примером.

Один американский анекдот гласит: двум не очень-то щепетильным дельцам удалось рядом очень смелых предприятий создать себе очень большое состояние, после чего их стремление было направлено на то, чтобы войти в высшее общество. Среди прочего им казалось вполне целесообразным заказать свои портреты самому дорогому и знаменитому художнику, появление произведений которого считалось событием. На большом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые. Хозяева подвели весьма влиятельного критика и знатока искусства к стене, на которой висели оба портрета, рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрения и удивления. Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему чего-то не хватало, и спросил только, указывая на свободное место между двумя портретами: «And where is the Saviour?» (А где же Спаситель? или: я не вижу здесь изображения Спасителя).

Смысл этой фразы ясен. Здесь опять идет речь об изображении чего-то, что не должно быть выражено

прямо. Каким образом осуществляется это «непрямое изображение?». При помощи целого ряда легко возникающих ассоциаций и заключений мы проследим путь изображения этой остроты в обратом направлении.

Вопрос: где Спаситель, изображение Спасителя? позволяет нам догадаться, что вид обоих портретов напоминает говорящему подобное же, известное как ему, так и нам зрелище, в котором имеется отсутствующий здесь элемент: изображение Спасителя посредине между двумя другими портретами. Такой случай возможен только один: Христос, висящий между двумя разбойниками. Недостающий элемент подчеркивается остротой, сходство же заключается в оставленных в остроте без внимания портретах, находящихся направо и налево от Спасителя. Оно может состоять только в том, что и повешенные в салоне портреты — суть портреты разбойников. То, что критик хочет сказать и чего он не может сказать, было, таким образом, следующим: вы — пара грабителей. Подробнее: какое мне дело до ваших портретов? Я знаю только то, что вы — пара грабителей. И, в конце концов, он сказал это путем некоторых ассоциаций и умозаключений; этот путь мы называем намеком.

Мы тотчас вспоминаем, что мы уже встречали намек, а именно: при двусмысленности. Если из двух значений, которые находят свое выражение в одном и том же слове, одно, как более частое и более употребительное настолько выступает на первый план, что оно прежде всего приходит нам в голову, в то время, как другое, как более отдаленное, отступает на задний план, то этот случай мы называли двусмысленностью с намеком. В целом ряде исследованных нами до сих пор примеров мы заметили, что техника их вовсе не проста, и рассматривали намек, как усложняющий ее момент. (Например, ср. остроту о жене, возникающую путем перестановки, где жена немного прилегла и при этом много заработала, или остроту-бессмыслицу при поздравлении по поводу рождения младшего сына, где отец удивляется тому, что могут произвести человеческие руки. С. 228).

В американском анекдоте мы имеем намек свободный от двусмысленности и в качестве характерной чер

ты его находим замену одного представления другим, находящимся с ним в связи. Легко догадаться, что связь эта может реализоваться больше, чем одним способом. Чтобы не потеряться в этом множестве видов, мы будем обсуждать только резко выраженные вариации и будем иллюстрировать их лишь немногими примерами.

Реализуемая для замены связь может быть только созвучием, так что этот подвид аналогичен каламбуру при произношении острот вслух. Но это не созвучие двух слов, а созвучие целых фраз, характерных оборотов речи и т. п.

Например, Lichtenberg'у принадлежит изречение: «Новый курорт хорошо лечит», которое живо напоминает нам о поговорке: «Новая метла хорошо метет»; у них тождественны: первое слово, третье слово и вся структура предложения. Это изречение возникло в голове остроумного мыслителя, вероятно, как подражание известной поговорке. Изречение Lichtenberg'a является, таким образом, намеком на поговорку. С помощью поговорки нам указывается на нечто, что не высказывается прямо, и именно: что в действии, оказываемом курортами, принимает участие еще и другой временной момент, кроме теплых вод, занимающих одно и то же постоянное место в его целебных свойствах.

Подобным же образом вскрывается технически и другая шутка или острота Lichtenberg'a: девочка, которой четыре моды. Это созвучно с определением возраста «четыре года», и было, может быть, первоначально опиской в этом определении. Но употребление смены мод вместо смены годов для определения возраста лиц женского пола, является удачным приемом.

Связь может состоять в тождестве вплоть до единичной небольшой модификации. Эта техника параллельна опять-таки словесной технике. Оба вида остроумия вызывают почти одно и то же впечатление; однако их можно отличить друг от друга по процессам, происходящим при работе остроумия.

Вот пример такой словесной остроты или каламбура: великая, но известная не только объемом своего

голоса певица Мария Свит[1] была обижена тем, что заглавие театральной пьесы, инсценированной по известному роману Ж. Верна, послужило намеком на ее безобразную наружность[2]. «Путешествие вокруг Свита в 80 дней».

Или: «Что ни сажень — то королева», являющееся модификацией известного шекспировского: «Что ни дюйм — то король», служащее намеком на эту цитату и сказанное про одну знатную и пережившую свое величие даму. В действительности, можно было бы немного возразить, если бы кто-нибудь захотел отнести эту остроту к сгущению с модификацией (с. 204) или к заместительному образованию. (Ср.: tête-à-bête).

Об одном имеющем высокие стремления, но своеобразном в достижении своих целей, своенравном человеке один из его друзей сказал: «Он — набитый идеалист». «Он — набитый дурак» — это общеупотребительный оборот речи, на который намекает эта модификация и на смысл которого она сама претендует. И здесь можно описать технику тоже как сгущение с модификацией.

Почти невозможно отличить намек с модификацией от сгущения с заместительным образованием тогда, когда модификация ограничивается изменением букв, как, например, дихтерит (Dichter — поэт). Намек на страшную заразу дифтеритом рисует бездарное поэтическое творчество тоже, как нечто опасное в общественном отношении.

Отрицательные приставки дают широкую возможность создания очень удачных намеков с незначительными изменениями.

«Мой товарищ по неверию Спиноза», говорит Гейне. «Мы, немилостью божьей, поденщики, крепостные, негры, отбывающие барщину...» так начинается у Lichtenberg'а неприведенный дальше манифест этих несчастных, которые имеют, во всяком случае, больше права на такое титулование, чем короли и князья на немодифицированное.

---

[1] Настоящая фамилия певицы Wilt. Фамилия эта является модификацией слова Welt. Соответственно этому модификацией русского Свет явилась фамилия Свит. (Я. К.).

[2] Она была очень толста. (Я. К.).

Формой намека является, наконец, и пропуск, который можно сравнить с сгущением без заместительного образования. Собственно, при каждом намеке пропускается нечто, а именно: приводящие к намеку пути, по которым идет течение мыслей. Речь идет только о том, что больше бросается в глаза: пробел или заместительное образование, отчасти выполняющее пробел в тексте намека. Таким образом, мы вернулись бы опять от целого ряда примеров с грубыми пропусками к собственно намеку.

Пропуск без замещения дан в следующем примере: в Вене живет остроумный и воинственный писатель, который неоднократно бывал бит своими противниками за резкость своих полемических статей. Когда однажды в обществе обсуждалось новое преступление одного из его обычных противников, кто-то отозвался: «Если бы X слышал это, он получил бы опять пощечину». К технике этой остроты относится прежде всего смущение вследствие непонимания этой мнимой бессмыслицы, потому что получение пощечины как непосредственное следствие того, что о чем-то слышали, никак не может быть понято нами. Но бессмыслица исчезает, когда вставляют пробел: тогда он написал бы такую едкую статью против лица, о котором идет речь, что и т. д. Намек, получающийся в результате пропуска, и бессмыслица являются, таким образом, техническими приемами этой остроты.

Гейне: «Он хвалил себя так много, что курительные свечи поднялись в цене». Этот пробел легко выполнить. Пропущенное заменено следствием, которое служит намеком на этот пропуск. Самохвальство издает зловоние. (Немецкая поговорка).

Еще одна острота о евреях, встретившихся у бани: «Вот и еще год прошел!» — вздыхает один из них.

Эти примеры не оставляют никакого сомнения в том, что пропуск относится к намеку.

Бросающийся в глаза пробел имеется в нижеследующем примере, являющемся истинной и настоящей остротой, возникающей путем намека. После одного празднества художников в Вене был издан юмористический сборник, в котором, между прочим,

было помещено следующее замечательное изречение: «Жена — как зонтик. В случае необходимости все же прибегают к услугам комфортабельности».

Зонтик мало защищает от дождя. «Все же» может только означать: когда падает сильный дождь, и комфортабельностью является омнибус (общественный экипаж). Но, так как мы здесь имеем дело с формой сравнения, то мы отложим пока более подробное исследование этой остроты.

Истинный клубок колких намеков содержат «Луккские воды» Гейне; они превращают эту форму остроумия в искусное орудие для полемических целей (против графа Платена). Прежде чем читатель может догадаться об этом орудии, создается прелюдия к определенной теме, непригодной для прямого изображения; прелюдия состоит из намеков, созданных из самого разнообразного материала, как, например, в исковерканных словах Гирш-Гиацинта: «Вы слишком корпулентны, а я слишком тощ. У вас богатое воображение, а у меня тем более деловитости. Я — практик, а вы — диарретик (вместо — теоретик. Diarrhea — понос). Одним словом, вы совершенно мой антиподекс (вместо — антипод. Podex — задница»). — «Венера Уриния» (Urin — моча) — толстая Гудель из Дрекваля (Dreck — кал) в Гамбурге и т. п., затем эти события, о которых рассказывает поэт, принимают другое направление, которое якобы прежде всего свидетельствует только о невежливых вольностях поэта, но вскоре открывает свое символическое отношение к полемическим целям и является, таким образом, тоже намеком. Наконец нападки на Платена прорываются, и намеки на ставшую уже известной тему о гомосексуальности графа клокочут и струятся из каждой фразы, которую Гейне направляет против таланта и характера своего противника, напр.:

«Если музы и неблагосклонны к нему, то дух языка все-таки находится в его полном распоряжении или, вернее, он умеет его насиловать, ибо свободной любви этого духа у него нет, он должен постоянно бегать также за этим юношей, и умеет он схватывать только внешние формы, которые, несмотря на свою прекрасную закругленность, лишены всякого благородства».

«С ним бывает в этих случаях то же, что со страусом, который считает себя достаточно спрятавшимся, когда уткнул в песок голову так, что видным остался только хвост. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы хвост упрятала в песок, а нам показала голову».

Намек является самым употребительным и охотнее всего применяемым приемом остроумия; он лежит в основе большинства недолговечных созданий остроумия, которые мы обычно вплетаем в нашу речь и которые теряют свой смысл при отделении от взрастившей их почвы и при самостоятельном существовании. Но именно намек вновь напоминает нам о тех соотношениях, которые чуть было не ввели нас в заблуждение при оценке техники остроумия. Намек тоже сам по себе неостроумен; есть корректно созданные намеки, которые вовсе не претендуют на остроумие. Остроумен только «остроумный» намек, так что признак остроумия, который мы проследили вплоть до техники остроумия, опять ускользает от нас.

Я назвал намек «непрямым изображением» и обращу теперь внимание только на то, что можно с большим успехом объединить различные виды намека с изображением при помощи противоположности и с техническими приемами, о которых будет речь впереди, в одну большую группу, которую можно было бы назвать всеобьемлющим названием «непрямое изображение». Ошибки мышления — унификация — непрямое изображение — таковы наименования тех рубрик, под которыми можно подвести ставшие нам известными технические приемы остроумной мысли.

При продолжении исследования нашего материала мы, вероятно, найдем новый подвид непрямого изображения, который доступен яркому охарактеризованию, но иллюстрировать который можно лишь немногими примерами. Это — изображение при помощи мелочи или детали, разрешающее задачу: дать полное выражение целой характеристике с помощью крохотной детали. Присоединение этой группы к намеку становится возможным благодаря тому, что эта деталь находится в такой связи с материалом, который подлежит изображению, что ее можно вывести как следствие из этого материала, например:

«Галицийский еврей едет в поезде; он устроился очень удобно, расстегнул свой сюртук и положил ноги на скамейку. В вагон входит модно одетый господин. Тотчас еврей приводит себя в порядок и усаживается в скромной позе. Вошедший перелистывает книгу, что-то высчитывает, соображает и вдруг обращается к еврею с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда у нас иомкипур»? (Судный день). «Так вон оно что», — говорит еврей и опять кладет ноги на скамейку, прежде чем ответить на вопрос.

Нельзя отрицать, что это изображение при помощи детали связано с тенденцией к экономии, которую мы отметили при исследовании техники словесных острот, как общую всем без исключения остротам черту.

Совершенно таков же и следующий пример:

Врач, приглашенный помочь баронессе при разрешении от бремени, заявляет, что время еще не наступило и предлагает барону тем временем сыграть в соседней комнате в карты. Спустя некоторое время до слуха обоих мужчин доносится стон баронессы: «Ah mon dieu, que je souffre!». Супруг вскакивает, но врач удерживает его: «Это — ничего, играем дальше». Спустя некоторое время слышно, как роженица опять стонет: «Боже мой, боже мой, какие боли!» — «Не хотите ли вы войти к роженице, господин профессор?»,—спрашивает барон.—«Нет, нет, еще не время». Наконец, из соседней комнаты слышится не оставляющий сомнений крик: «Ай, ай, ай», тогда врач бросает карты и говорит: «Пора».

Эта удачная острота показывает на примере шаг за шагом меняющихся жалобных возгласов знатной роженицы, как болевые ощущения дают возможность пробиться первичной природе через все наслоения воспитания и, как важное решение ставится в зависимость от как будто незначительного выражения.

Другой вид непрямого изображения, услугами которого пользуется остроумие, сравнение, мы пренебрегали так долго, потому что обсуждение его наталкивается на новые трудности, или потому, что сравнение особенно отчетливо оттеняло те трудности, которые уже имели место в других случаях.

Мы еще раньше признали, что относительно некоторых подлежащих исследованию примеров мы не мо

гли отрешиться от сомнения, следует ли их вообще отнести к остротам, и в этой неуверенности мы усматривали опасную угрозу для основ нашего исследования. Но ни при каком другом материале я не ощущал эту неуверенность так сильно и так часто как при остротах, возникающих путем сравнения. Ощущение, которое позволяет мне, — а также и многим другим при тех же самых условиях, что и мне — сказать «Это — острота, это можно считать остротой», прежде чем открыт еще скрытый существенный характер остроты, что ощущение легче всего покидает меня при остроумных сравнениях. Если я сразу без размышления считаю сравнение остротой, то мгновение спустя я замечаю, что удовольствие, которое оно мне доставляет, другого качества, чем то, которым я обязан остроте, и тот факт, что остроумные сравнения лишь очень редко вызывают оглушительные раскаты смеха, свидетельствующего об удачной остроте, не дает мне возможности отделаться от сомнения, как и раньше, несмотря на то, что я ограничиваюсь самыми лучшими и самыми эффектными примерами этого вида.

Легко показать, что есть прекрасные и эффектные примеры сравнений, которые отнюдь не производят на нас впечатления острот. Таково сравнение нежности, проходящей через дневник Оттилиенса, с красной нитью в английском флоте. Я не могу отказать себе в удовольствии привести и другое сравнение, которым я не перестал еще восхищаться и которое произвело на меня неизгладимое до сих пор впечатление. Это — сравнение, которым Ферд. Л а с с а л ь закончил свою знаменитую защитительную речь («Наука и рабочие»): «На человека, который, как я сам выяснил, посвятил всю свою жизнь девизу «Наука и рабочие», не может произвести никакого впечатления также и осуждение, которое он встретит на своем пути, к а к л о п н у в ш а я р е т о р т а н е п р о и з в о д и т н и к а к о г о в п е ч а т л е н и я н а у г л у б л е н н о г о в с в о и н а у ч н ы е э к с п е р и м е н т ы х и м и к а. С л е г к а н а м о р щ и в л о б п о п о в о д у с о п р о т и в л е н и я м а т е р и а л а, о н с п о к о й н о п р о д о л ж а е т с в о и и с с л е д о в а н и я и р а б о т ы, к а к т о л ь к о п р е п я т с т в и е у с т р а н е н о».

Богатый выбор метких и остроумных сравнений имеется в сочинениях L i c h t e n b e r g'а я хочу позаим-

ствовать оттуда материал для нашего исследования.

«Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-нибудь бороды». Это, кажется, конечно, остроумным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что остроумное действие исходит не из самого сравнения, а из одного его побочного качества. «Факел истины» — сравнение, собственно, не новое, и издавна употребляемое и закрепленное за фиксированной фразой, как это всегда бывает, когда речь идет о счастливом сравнении, подхваченном практикой языка. В то время, как в обычной разговорной речи мы больше почти не замечаем сравнения «факел истины», у Lichtenberg'а ему вновь придается первоначальный смысл, и из него развивается претензия на остроту, построенная на дальнейшем сравнении. Но такое употребление в прямом смысле оборотов речи, потерявших свой прямой смысл, уже известно нам как технический прием остроумия; он находит себе место при многократном употреблении одного и того же материала (см. с. 201). Весьма возможно, что остроумное впечатление от Lichtenberg'овской фразы проистекает только от применения этого технического приема остроумия.

Это же рассуждение относится и к другому остроумному сравнению того же автора:

«Большим светилом этот человек не был, но он был большим подсвечником... Он был профессором философии».

Называть ученого великим светилом, «lumen mundi», — это уже давно неэффектное сравнение, независимо от того, было ли это первоначально остротой или нет. Но это сравнение освежают, ему вновь придают силу и первоначально принадлежавший ему смысл, получая модифицированное производное от него и второе новое сравнение такого рода. Условие этой остроты содержится в способе, благодаря которому возникло второе сравнение, а не в самих обоих сравнениях. Это — случай такой же техники остроумия, как в примере с факелом.

Следующее сравнение кажется остроумным на другом основании, подлежащем такой же оценке.

«Я рассматриваю рецензии, как особый вид

детской болезни, которая в большей или меньшей степени поражает новорожденные книги. Иногда от этой болезни умирают самые здоровые, а слабейшие часто переносят ее. Некоторые совсем не заболевают ею. Часто пытались предохранить их талисманом предисловия и посвящения или же пытались произносить над ними свой собственный приговор; но это не всегда помогало».

Сравнение рецензии с детской болезнью основано сперва только на том, что, как первая, так и вторая поражают свои объекты вскоре после того, как эти последние увидели свет божий. Я не решаюсь утверждать, действительно ли оно так уж остроумно. Но затем сравнение это продолжено; оказывается, что дальнейшая участь новых книг может быть изображена в рамках этого же самого сравнения или путем примыкающего к нему сравнения. Такое продолжение сравнения, несомненно, остроумно, но мы уже знаем, благодаря какой технике оно кажется таким; это — случай унификации, создание непредполагавшейся связи. И характер унификации не изменяется здесь оттого, что она заключается в присоединении к первому сравнению.

При целом ряде других сравнений мы поддаемся искушению передвинуть несомненно имеющееся впечатление остроумия на другой момент, который опять-таки не имеет ничего общего с природой сравнения. Это — те сравнения, которые содержат бросающееся в глаза сопоставление, а часто и абсурдно звучащую аналогию, или которые заменяются такой аналогией в результате сравнения. Большинство примеров Lichtenberg'а относится к этой группе.

«Жаль, что у писателей нельзя видеть ученой требухи, чтобы исследовать, что они ели». «Ученая требуха» — это приводящее в смущение, собственно абсурдное определение, которое становится понятным только благодаря сравнению. Как обстояло бы дело, если бы впечатление остроумия от этого сравнения целиком происходило за счет смущающего характера этого сопоставления? Это соответствовало бы одному из хорошо известных нам приемов остроумия, изображению при помощи бессмыслицы.

Lichtenberg применил это же сравнение усвоения прочитанного и заученного материала с усвоением психической пищи также и в другой остроте.

«Он был очень высокого мнения о занятиях в комнате и стоял, таким образом, за ученую кормежку в хлеву».

Столь же абсурдное или, по крайней мере, бросающееся в глаза определение, которое, как мы начинаем замечать, является собственно носителем остроумия, содержится и в других сравнениях того же автора:

«Это — закаленная сторона моей моральной конституции, в этом пункте я могу кое-что выдержать».

«Каждый человек имеет и свою моральную изнанку, которую он не показывает без нужды и прикрывает штанами хорошего воспитания до тех пор, пока это возможно».

Затем нас не должно удивлять, что мы в целом получаем впечатление очень остроумного сравнения; мы начинаем замечать, что мы склоняемся вообще к тому, чтобы распространить в своей оценке то, что относится к части целого, на все в целом. Впрочем, «штаны приличия» напоминают о подобном же приводящем в смущение стихе Гейне:

«Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы,
На штанах терпения».

Несомненно, что оба эти последние сравнения несут на себе отпечаток, который можно найти не во всех хороших, т. е. удачных сравнениях. Они, можно было бы сказать, в высокой мере принижают, они сопоставляют вещь высшей категории, абстрактное понятие (здесь: приличие, терпение) с вещью весьма конкретной природы и даже низкого сорта (с штанами). Имеет ли это своеобразие что-нибудь общее с остроумием, об этом мы еще должны будем поговорить в другом месте. Попытаемся проанализировать здесь еще другой пример, в котором принижающий характер выступает особенно отчетливо. В фарсе Nestroy'a: «Он хочет повеселиться» приказчик Вейнберл, рисующий в своем воображении картину, как он когда-нибудь, будучи старым солидным купцом, вспомнит о днях своей юности, говорит: «Когда, таким образом, в задушевном разговоре будет разрублен лед перед магазином воспоминаний, когда магазинная дверь прошедшего

будет вновь открыта, и ящик фантазии будет наполнен товарами старины...» Это, конечно, сравнение абстрактных понятий с очень обыкновенными конкретными вещами, но острота зависит — исключительно или только отчасти — от того обстоятельства, что приказчик пользуется теми сравнениями, которые взяты из обихода его повседневной деятельности. Приведение же абстрактного понятия в связь с этим обыкновенным, которое сплошь заполняет его, является актом унификации.

Вернемся к сравнениям Lichtenberg'a.

«Побудительные основания, исходя из которых делают что-нибудь, могут быть систематизированы так же, как и 32 ветра, и название их формулируется подобным же образом, например, хлеб — хлеб — слава или слава — слава — хлеб».

Как это часто бывает при остротах Lichtenberg'a, и здесь впечатление меткости, глубокомысленности и проницательности преобладает настолько, что наше суждение о характере остроумия вводится этим в заблуждение. Когда в таком выражении присоединяется нечто слегка остроумное к превосходной мысли, то нас, вероятно, возьмет соблазн признать все в целом за удачную остроту. Я скорее решился бы утверждать, что все, что здесь действительно остроумно, проистекает из удивления по поводу странной комбинации «хлеб — хлеб — слава», следовательно, это — острота, пользующаяся изображением при помощи бессмыслицы.

Странное сопоставление или абсурдное определение может возникнуть само по себе как результат сравнения.

Lichtenberg: двуспальная женщина — односпальный церковный стул. За обоими скрывается сравнение с кроватью, но кроме смущения вследствие непонимания в обоих случаях действует еще и другой технический момент намека: один раз — на усыпительное действие проповедей, другой раз — на вечно неисчерпаемую тему половых отношений.

Lichtenberg'ская характеристика некоторых од:

«Они в поэзии являются тем, чем в прозе являются бессмертные произ-

ведения Якова Бема: род пикника, причем автор доставляет слова, а читатель — мысли».

«Когда он философствует, он обычно бросает на предметы приятный лунный свет; все в целом нравится, но ни один предмет не виден при этом отчетливо».

Или Гейне: «Ее лицо было как рукопись, наведенная по стертым письменам пергамента, где под свежечерным монашеским писанием звучат полуугасшие стихи древнегреческого поэта о любви».

Или продолженное сравнение с весьма принижающей тенденцией в «Луккских водах»[1].

«Католический священнослужитель ведет себя скорее, как приказчик, который служит в большом торговом предприятии. Церковь, этот большой торговый дом, шефом которого является папа, дает ему определенную работу и определенное жалование за исполнение ее; он работает вяло, как каждый не работающий на собственный риск; у него много сослуживцев, и в большом деловом обороте он легко остается незамеченным; его интересует только кредит торгового дома, а еще больше — сохранение этого кредита, так как при могущем произойти банкротстве он лишился бы средств к жизни. Протестантский священнослужитель, наоборот, является повсюду сам принципиалом и делает религиозные дела за собственный счет. Он не занимается крупной торговлей, как его католический товарищ по профессии, а только мелкой торговлей, и так как он должен сам управлять своим предприятием, он не должен быть вялым, он должен расхваливать предметы своей веры, предметы же своих конкурентов он должен принижать, и, как настоящий мелочный торговец, он стоит в своем балагане, где продажа производится в розницу, полный профессиональной зависти ко всем большим торговым домам, в особенности к большому торговому дому в Риме, оплачиваю-

---

[1] В русском переводе «Луккских вод» это сравнение было пропущено, по-видимому, из цензурных соображений. (Я. К.)

щему труд многих тысяч бухгалтеров и упаковщиков и имеющему свои отделения во всех четырех частях света».

При наличии этого примера, равно как и многих других, мы больше не можем не признать, что и сравнение может само по себе быть остроумно без того, чтобы это впечатление относилось за счет усложнения одним из известных нам технических приемов остроумия. Но в таком случае от нас совершенно ускользает понимание того, чем именно определяется остроумный характер сравнения, так как он происходит, конечно, не за счет сравнения, как формы выражения мысли, или действия сравнения. Мы можем отнести сравнение только к виду «непрямого изображения», которым пользуется техника остроумия, и должны оставить неразрешенной проблему, выступающую при сравнении гораздо отчетливее, чем при ранее обсуждавшихся приемах остроумия. Конечно, тот факт, что решение вопроса, является ли данный пример остротой или нет, представляет в случае сравнения больше трудностей, чем при других формах выражения, должен иметь свое особое основание.

Но и этот пробел в нашем понимании не является основанием для того, чтобы жаловаться на нас, говоря, что первое исследование осталось безрезультатным. При той тесной связи, которую мы должны приписать различным особенностям остроумия, непредусмотрительно было бы ожидать, что мы сможем полностью выяснить одну сторону проблемы, прежде чем мы бросим взгляд на другие ее стороны. Мы, конечно, должны будем подойти к выдвинутой нами проблеме с другой стороны.

Уверены ли мы, что от нашего исследования не ускользнул ни один из возможных технических приемов остроумия? Конечно, нет. Но при продолжительной проверке нового материала мы можем убедиться в том, что мы все же изучили самые частые и самые важные технические приемы остроумия, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо для создания суждения о природе этого психического процесса. Такого суждения в настоящее время еще нет, но зато мы приобрели важное указание, в каком направлении мы должны искать дальнейшего выяснения проблемы. Интересные процессы сгущения с заместительным образованием, которые мы распознали, как ядро техники сло-

весного остроумия, указывают нам на образование сновидения, в механизме которого были открыты те же самые процессы. На то же указывают и технические приемы острот по смыслу: передвигание, ошибки мышления, бессмыслица, непрямое изображение, изображение при помощи противоположности, — которые все без исключения вновь проявляются в технике работы сна. Передвиганию сновидение обязано своим странным внешним видом, который не позволяет нам видеть в нем продолжение наших бодрствующих мыслей. За использование бессмысленного и абсурдного (как техническими приемами) сновидение заплатило званием психического продукта и побудило авторов предположить распад душевной деятельности, приостановку критики, морали и логики, как условия для образования сновидения. Изображение при помощи противоположности столь употребительно в сновидении, что с ним обычно считаются даже народные, абсолютно неправильные сонники; непрямое изображение, замена мысли сновидения намеком, деталью, символикой, аналогичной сравнению, являются именно тем, что отличает способ выражения сновидения от нашего бодрствующего мышления[1]. Такая столь далеко идущая аналогия между приемами работы остроумия и приемами работы сна едва ли может быть случайной. Подробное доказательство этой аналогии и проверка ее обоснованности явится одной из наших будущих задач.

III. ТЕНДЕНЦИЯ ОСТРОУМИЯ

Когда я в конце предыдущей главы привел Гейневское сравнение католического священнослужителя с служащим большого торгового дома, а протестантского — с самостоятельным мелким торговцем, я испытал задержку, направленную на то, чтобы не приводить этого сравнения. Я говорил себе, что среди моих читателей, вероятно, найдутся некоторые, считающие нужным почитать не только религию, но и ее управление и персонал. Эти читатели придут только в негодование по поводу сравнения, и аффективное состояние отобьет у них всякий интерес к решению вопроса о том, является ли это сравнение остроумным само по

[1] Ср. мое «Толкование сновидений». Глава IV, Работа сна.

себе или только вследствие каких-нибудь присоединившихся моментов. При других сравнениях, как, например, при находящемся рядом с ним сравнении о лунном свете, который некая философия бросает на предметы, не нужно было бы беспокоиться о таком влиянии на часть читателей, которое мешало бы нашему исследованию; самый набожный человек был бы расположен создать себе суждение о нашей проблеме.

Легко угадать характер остроты, с которым связана такая разница в реакции на остроту у слушателей. В одном случае острота является самоцелью и не преследует никакой особой цели, в другом случае — она обслуживает такую цель: она становится тенденциозной. Только острота, имеющая тенденцию, подвержена опасности наткнуться на таких людей, которые не пожелают ее выслушать.

Не тенденциозная острота названа Th. Vicher'ом «абстрактной» остротой; я предпочитаю называть ее «безобидной» («harmlos»).

Так как мы раньше подразделили остроты согласно материалу, на котором выяснялась их техника, на словесные остроты и остроты по смыслу, то нам надлежит исследовать отношение этого подразделения к только что произведенному. Словесная острота и острота по смыслу, с одной стороны, и абстрактная и тенденциозная острота, с другой стороны, не стоят ни в какой связи по влиянию, оказываемому ими друг на друга. Это — два совершенно независимые друг от друга подразделения острот. Быть может, у кого-нибудь создалось такое впечатление, как будто безобидные остроты являются преимущественно словесными остротами в то время, как остроты с ярко выраженными тенденциями в большинстве случаев прибегают к услугам более сложной техники острот по смыслу; однако существуют безобидные остроты, пользующиеся игрою слов и созвучием, наряду с безобидными остротами, пользующимися всеми приемами острот по смыслу. Не менее легко показать, что тенденциозная острота по технике своей может быть не чем иным, как словесной остротой. Так, например, остроты, «играющие» собственными именами, часто имеют более обидную, оскорбительную тенденцию; они относятся, разумеется, к словесным остротам. Но самыми безобидными из всех острот являются все-таки словесные остроты; таково,

например, ставшее недавно излюбленным рифмоплетство, в котором техника заключается в многократном употреблении одного и того же материала с совершенно своеобразной модификацией:

"Und weil er Geld in Menge hatte,
lag stets er in der Hängematte".

(И так как он имел много денег, он всегда лежал в гамаке).

Надеюсь, что никто не станет отрицать, что удовольствие от такого рода невзыскательных рифм является тем именно фактором, благодаря которому мы распознаем остроту.

Хорошие примеры абстрактных или безобидных острот по смыслу имеются в большом числе среди сравнений Lichtenberg'а; некоторые из них мы уже изучили. Я присоединяю сюда еще некоторые:

«Чтобы возвести эту постройку надлежащим образом, прежде всего должен быть заложен хороший фундамент, и я не знаю более прочного фундамента, чем тот, в котором над каждым слоем «pro» сейчас же кладут слой «contra».

«Один рождает мысль, другой устраивает ей крестины, третий приживает с ней детей, четвертый посещает ее на смертном одре, а пятый погребает ее» (сравнение с унификацией).

«Он не только не верил ни в каких духов, но и не раз боялся их». Острота заключается здесь исключительно в бессмысленном изображении, которое ставит понятие, имеющее обычно незначительную ценность, в сравнительной степени, понятие же, считающееся более важным, ставит в положительной степени. Если отказаться от этой остроумной оболочки, то мысль эта будет гласить: гораздо легче победить разумом боязнь привидений, чем защищаться от них, вообразив их существующими. Но это вовсе не остроумно, это — правильное и еще слишком мало оцененное психологическое суждение, то именно суждение, которое Lessing выразил следующими известными словами:

«Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten»

(Не все те свободны, которые иронизируют по поводу своих цепей).

Я хочу воспользоваться удобным случаем, представляющимся здесь, чтобы устранить могущее все-таки возникнуть недоразумение. «Безобидная» или «абстрактная» острота отнюдь не должна быть равнозначна «празднословной» остроте; она является только противоположностью обсуждаемым в дальнейшем «тенденциозным» остротам. Как показывает вышеприведенный пример, безобидная, т. е. лишенная тенденций острота тоже может быть очень содержательной и выражать нечто ценное. Но содержание остроты вполне независимо от остроты и является содержанием той мысли, которая получила здесь остроумное выражение благодаря особой технике. Конечно, как часовой мастер обычно снабжает особенно хороший механизм ценным футляром, так может обстоять дело и с остротой: лучшие произведения остроумия используются именно как оболочка для самых содержательных мыслей.

Если мы обратим сугубое внимание на то, чтобы отличать содержание мыслей от остроумной оболочки, то мы придем к заключению, которое разъяснит нам многое в нашем суждении об остроумии, в чем мы были не уверены. А именно, оказывается, хотя это и поражает нас, что наше благосклонное отношение к остроте является результатом суммированного действия содержания и техники остроумия, и что мы по одному из факторов совершенно ложно судим о размерах другого. Лишь редукция остроты выясняет нам обман суждения.

Впрочем, то же самое оказывается верным и для словесной остроты. Когда мы слышим, что «жизненное испытание состоит в том, что испытывают то, чего не хотят испытать», то мы смущены, думаем, что слышим новую истину, и проходит некоторое время, пока мы узнаем в этой оболочке тривиальную мысль: «Страдания учат уму-разуму» (K. Fischer). Отличная техника остроумия, определяющая «испытание» почти только употреблением слова «испытывать», вводит нас в обман настолько, что мы переоцениваем содержание этой фразы. Так же обстоит для нас дело и при остроте Lichtenberg'а об «январе», которая возникает путем унификации (с. 235) и которая не говорит ничего, кроме того, что мы уже давно знаем, а именно, что новогодние пожелания сбываются так же редко, как

и другие пожелания. Так же обстоит дело и во многих подобных случаях.

Обратное мы встречаем при других остротах, в которых нас, очевидно, пленяет меткость и правильность мысли, так что мы называем предложение блестящей остротой в то время, как блестяща только мысль, а техника остроумия часто слаба. Как раз в остротах Lichtenberg'a ядро мысли часто гораздо ценнее чем остроумная оболочка, на которую мы затем часто неправильно распространяем оценку первого. Так, например, замечание о «факеле истины» (с. 252) является едва ли остроумным сравнением, но оно так метко, что мы можем отметить это предложение как особенно остроумное.

Остроты Lichtenberg'a являются выдающимися прежде всего благодаря содержанию их мыслей и их меткости. Гёте по праву сказал об этом авторе, что за его остроумными и шутливыми идеями скрыты прямо-таки проблемы, правильнее говоря, что они затрагивают разрешение проблем. Когда он, например, отмечает, как остроумную, мысль:

«Он так ревностно читал Гомера, что всегда читал Agamemnon вместо angenommen» (технически: глупость + созвучие), то он этим вскрывает тайну очитки[1]. Такова же острота (с. 228), техника которой показалась нам очень неудовлетворительной:

«Он удивлялся, что у кошек вырезаны в шкуре две дыры как раз на том месте, где у них были глаза». Глупость, выставленная здесь напоказ, только кажущаяся; в действительности за этим глупым замечанием скрыта большая проблема телеологии в построении организма животного; совсем уж не так само собой понятно, что щель век открывается там, где лежит свободная часть роговой оболочки, пока эмбриология не объяснит нам этого совпадения.

Мы хотим подчеркнуть, что мы получаем от остроумного предложения совокупное представление, в котором мы не можем отделить участие содержания мыслей от участия работы остроумия; быть может, в дальнейшем будет найдена еще большая параллель.

---

[1] Ср. мою «Психопатологию обыденной жизни». Кн-во «Современные проблемы». М., 1924.

Для нашего теоретического объяснения сущности остроумия безобидные остроты должны быть важнее чем тенденциозные, бессодержательные — ценнее чем глубокомысленные. Безобидная и бессодержательная игра слов выставит перед нами проблему остроумия в чистейшей ее форме, так как при ней мы избегаем опасности быть введенным в заблуждение тенденцией и в обман суждения логичным смыслом. На таком именно материале наше познание может сделать новый успех.

Я выбираю по возможности безобидный пример словесной остроты:

Девушка, которой доложили о приходе гостей в то время, когда она совершала свой туалет, воскликнула: «Ах, как жаль, что человек не может показаться как раз тогда, когда он (am anziehendsten) одевается[1].

привлекательнее всего

Так как у меня возникает сомнение, имею ли я право выдавать эту остроту за безобидную, я заменяю ее другой, наивно простодушной, которая была бы свободна от такого возражения.

В одном доме, куда я был приглашен в гости, к концу обеда было подано мучное блюдо, называемое Roulard, приготовление которого требует большого кулинарного искусства. Поэтому один из гостей спрашивает: «Дома приготовлено это блюдо?», на что хозяин дома отвечает: «Да, конечно, Home-Roulard». (Home-Rule).

На этот раз мы хотим исследовать не технику остроумия, а думаем обратить внимание на другой, самый важный момент. Выслушивание этой импровизированной остроты доставило присутствующим — ясно вспоминаемое мною — удовольствие и заставило нас смеяться. В этом случае, как и в других бесчисленных случаях, получение слушателем удовольствия может проистекать не от тенденций и не от содержания мыслей; не остается ничего другого как привести это получение удовольствия в связь с техникой остроумия. Описанные нами выше технические приемы остроумия — сгущение, передвигание, непрямое изображение и т. д. — обладают, таким образом, способностью вызывать у слушателей удовольствие, хотя мы еще совсем не мо-

---

[1] R. Kleinpaul. Die Rätsel der Sprache.

жем понять, как могут они обладать такой способностью. Таким легким путем мы получили второе положение для объяснения остроумия; первое положение гласило (с. 184), что характер остроумия зависит от формы выражения. Подумаем еще о том, что второе положение не научило нас собственно ничему новому. Оно обособляет только то, что содержалось уже в прежде сделанном нами опыте. Мы вспоминаем, что когда удавалось редуцировать остроту, т. е. заменить одно выражение другим, тщательно сохранив его смысл, то этим упразднялся не только характер остроумия, но и смехотворный эффект, следовательно, удовольствие от остроты.

Мы не можем идти здесь дальше, не разделавшись с нашими философскими авторитетами.

Философы, которые причисляют остроумие к комическому и само комическое трактуют в эстетике, характеризуют комическое представление одним непременным условим, согласно которому мы при этом ничего не хотим от вещей, не нуждаемся в них для удовлетворения какой-нибудь из наших важных жизненных потребностей, а просто довольствуемся их созерцанием и наслаждаемся их представлением. «Это наслаждение, этот ряд представлений — чисто эстетический; он зависит только от себя, только в себе имеет свою цель и не выполняет никаких других жизненных целей». (K. Fischer).

Мы едва ли находимся в противоречии с этими словами K. Fischer'а и переводим, быть может, только его мысли в наш способ выражения, когда мы подчеркиваем, что остроумная деятельность не может все-таки быть названа нецелесообразной или бесцельной, так как она поставила себе целью, несомненно, вызывать у слушателя удовольствие. Я сомневаюсь, можем ли мы вообще предпринять что-либо, при чем не была бы принята в соображение цель. Если наш душевный аппарат не нужен нам для выполнения одного из необходимых удовлетворений, то мы позволяем ему самому работать для удовольствия, стремимся извлечь удовольствие из его собственной работы. Я полагаю, что это вообще является условием, которому подчинены все эстетические представления, но я слишком мало понимаю в эстетике, чтобы доказать это положение; что же касается остроумия, то я могу, на основании двух дока-

занных раньше положений, утверждать, что оно является деятельностью, направленной на получение удовольствия от душевных процессов — интеллектуальных или других. Существуют, конечно, еще и другие виды деятельности, которые имеют своей целью то же самое. Быть может, их отличие заключается в том, из какой области душевной деятельности они черпают удовольствие, а может быть, в методе, которым они при этом пользуются. В настоящую минуту мы этого не можем решить; но мы придерживаемся того мнения, что техника остроумия и отчасти управляющая ею тенденция к экономии (с. 210) имеют отношение к получению удовольствия.

Но прежде чем мы попытаемся разрешить загадку, каким образом технические приемы работы остроумия могут вызывать удовольствие у слушателя, мы хотим напомнить о том, что в целях упрощения и большей ясности мы совсем отложили в сторону тенденциозные остроты. Мы должны все-таки попытаться объяснить, каковы тенденции остроумия и каким образом оно обслуживает эти тенденции.

Одно наблюдение прежде всего напоминает нам о том, что мы не должны оставлять в стороне тенденциозную остроту при исследовании происхождения удовольствия, получаемого от остроумия. Удовольствие от безобидной остроты в большинстве случаев умеренное; отчетливое благоволение, легкая усмешка — вот в большинстве случаев все, что она может вызвать у слушателя, и к тому же некоторую часть этого эффекта нужно еще отнести за счет содержания мысли, как мы заметили на соответствующих примерах (с. 261). Острота, лишенная тенденциозности, почти никогда не вызывает тех неожиданных взрывов смеха, которые делают столь неотразимой тенденциозную остроту. Так как техника в обоих случаях может быть одною и тою же, то у нас должно возникнуть предположение, что тенденциозная острота в силу своей тенденциозности должна обладать источниками удовольствия, недоступными безобидной остроте.

Тенденции остроумия легко обозреть. Там, где острота не является самоцелью, т. е. там, где она не безобидна, она обслуживает только две тенденции, которые могут быть даже объединены в одну точку зрения; она является либо враждебной остротой (кото-

рая обслуживает агрессивность, сатиру, оборону), либо скабрезной остротой (которая служит для обнажения). Прежде всего нужно опять заметить, что технический вид остроумия — будет ли это словесная острота или острота по смыслу — не имеет никакого отношения к обеим этим тенденциям.

Гораздо подробнее нужно изложить, каким образом остроумие обслуживает эти тенденции. Я хотел бы при этом исследовании сделать почин не враждебной, а обнажающей остротой. Эта последняя гораздо реже удостаивалась исследования, как будто отрицательное отношение к материалу исследования было перенесено здесь на самый предмет исследования; мы, однако, не позволим ввести себя в заблуждение, так как мы вскоре наткнемся на пограничный случай остроумия, который обещает привести нас к выяснению не одного неясного пункта.

Известно, что понимается под «сальностью»: умышленное подчеркивание в разговоре сексуальных обстоятельств и отношений. Пока это определение не более основательно, чем другие определения. Доклад об анатомии половых органов или о физиологии совокупления не имеет, несмотря на это определение, ни одной точки соприкосновения, ничего общего с сальностью. К этому присоединяется еще и то, что сальность направлена на определенное лицо, которое вызывает половое возбуждение и которое благодаря выслушиванию сальности должно узнать о возбуждении говорящего и благодаря этому должно само прийти в сексуальное возбуждение. Вместо этого возбуждения оно может быть также пристыжено или приведено в смущение, что означает только реакцию на возбуждение и таким окольным путем признание этого возбуждения. Таким образом, сальность первоначально направлена на женщину и должна быть приравнена к попытке совращения. Если мужчина затем забавляется в мужском обществе, рассказывая или выслушивая сальности, то этим изображается вместе с тем и первоначальная ситуация, которая не может быть осуществлена вследствие социальных задержек. Кто смеется над слышанной сальностью, тот смеется как очевидец сексуальной агрессивности.

Сексуальное, которое образует содержание сальности, охватывает больше, чем то, чем один пол отличается от другого; кроме этого, оно охватывает и то, что обще обоим полам, на что распространяется стыд, сле

довательно, на экскрементируемое во всем его объеме. А это есть тот объем, который имеет сексуальное в детском возрасте, когда в представлении существует как бы клоака, внутри которой сексуальное и экскрементальное, плохо или вовсе не отделены друг от друга[1]. Повсюду в области психологии неврозов сексуальное замыкается экскрементальным; оно понимается в старом, инфантильном смысле.

Сальность — это как бы обнажение лица противоположного пола, на которое она направлена. Произнесением скабрезных слов она вынуждает лицо, к которому они относятся, представить себе соответствующую часть тела или физиологическое отправление и показывает ему, что и произнесший эти слова сам представляет себе то же самое. Нет сомнения, что первоначальным мотивом сальности является удовольствие, испытываемое от рассматривания сексуального в обнаженном виде.

Для нашего объяснения будет только полезно, если мы вернемся к самым основам. Влечение видеть то, что отличает один пол от другого, является одним из первоначальных компонентов нашего либидо. Оно само является, быть может, уже заменой и сводится на предполагаемое первичным удовольствие, испытываемое от прикосновения к сексуальному. Как это очень часто бывает, рассматривание заменило и здесь ощупывание[2]. Либидо рассматривания и ощупывания существует у каждого в двояком виде, активно и пассивно, в мужском и женском виде, и формируется смотря по преобладанию полового характера в одном или другом направлении. У маленьких детей можно легко наблюдать влечение к самообнажению. Там, где зародыш этого влечения не претерпевает участи преодоления и подавления, он развивается в перверзию взрослых мужчин, известную в качестве эксгибиционистического стремления. У женщины пассивное эксгибиционистическое влечение почти всегда преодолевается великолепным реактивным образованием в виде сексуальной стыдливости, но не без того, чтобы оно не сохранило за собой лазейки в одежде. Мне остается только указать, как растяжимы и варьирующи по условности и по

[1] См. мою «Теорию полового влечения».
[2] Влечение к контректации Moll'я.

обстоятельствам оставшиеся разрешенным женщине размеры эксгибиционизма.

У мужчины продолжает существовать высокая степень этого стремления, как составная часть либидо, и оно обслуживает вступление в половой акт. Если это стремление дает о себе знать при первом приближении к женщине, то оно должно обслуживаться двумя мотивами разговора: во-первых, чтобы заявить о себе женщине, и, во-вторых, потому, что, вызывая при помощи разговора определенное представление, можно привести самоё женщину в ответное возбуждение и разбудить в ней влечение к пассивному эксгибиционизму. Эта домогающаяся речь — еще не сальность, но она переходит в сальность. А именно там, где готовность женщины наступает скоро, там сальный разговор недолговечен, он тотчас уступает место сексуальному действию. Иначе обстоит дело, когда нельзя рассчитывать на быструю готовность женщины, и вместо этой готовности наступает оборонительная реакция женщины. Тогда сексуально возбуждающий разговор, каким является сальность, будет самоцелью; так как сексуальная агрессивность тормозится в своем прогрессировании до акта, то она не спешит вызвать возбуждение и извлекает удовольствие из признаков этого возбуждения у женщины. Агрессия изменяет при этом также и свой характер в том же самом смысле, как и каждое либидинозное побуждение, которому противопоставляется препятствие; она становится прямо враждебной, жестокой и призывает, таким образом, на помощь против препятствия садистические компоненты полового влечения.

Неподатливость женщины является, следовательно, ближайшим условием для образования сальности (конечно, такая неподатливость, которая обозначает просто отсрочку и не считает безнадежным дальнейшее домогательство). Идеальный случай такого сопротивления женщины получается в результате одновременного присутствия другого мужчины, третьего участника, потому что тогда немедленная податливость женщины, безусловно, исключена. Этот третий сейчас же получает величайшее значение для развития сальности; но прежде всего нельзя не принять во внимание присутствия женщины. У простого народа или в трактире для мелкого люда можно наблюдать, что лишь приближение кельнерши или трактирщицы вызывает

сальность; на более высокой социальной ступени наступает противоположное: именно приближение женщины кладет конец сальности; мужчины приберегают этот вид беседы, который первоначально предполагает присутствие стыдливой женщины, до той поры, когда они останутся «в холостом обществе». Так постепенно место женщины занимает зритель, теперь слушатель, инстанция, для которой предназначена сальность, и эта последняя, благодаря такому превращению, приближается уже к характеру остроты.

Наше внимание, начиная с этого момента, может быть обращено на два фактора: на роль третьего, слушателя, и на содержание условий самой сальности.

Для тенденциозной остроты нужны в общем три лица: кроме того лица, которое острит, нужно второе лицо, которое берется как объект для враждебной или сексуальной агрессивности, и третье лицо, на котором достигается цель остроты, извлечение удовольствия. Более глубокое обоснование этих соотношений мы найдем в дальнейшем, пока же мы отметим лишь тот факт, что по поводу остроты смеется не тот, кто острит, следовательно, не он получает удовольствие, а бездеятельный слушатель. В таком же отношении находятся три лица при сальности. Этот процесс можно описать так: либидинозный импульс первого лица, поскольку удовлетворение женщиной наталкивается на задержку, развивает враждебный импульс против второго лица и призывает первоначально мешавшее третье лицо в союзники. Сальным разговором первого лица женщина обнажается перед третьим лицом, которое теперь подкупается в качестве слушателя удовлетворением его собственного либидо, полученным без всякого труда.

Замечательно, что такой сальный разговор чрезвычайно излюблен простым народом, и дело никогда не обходится без него, если общество находится в веселом настроении духа. Но достойно внимания также и то, что при этом сложном процессе, который несет в себе столько характерных черт тенденциозной остроты, самой сальности не предъявляется ни одно из тех формальных требований, которые характеризуют остроту. Высказывание открытой непристойности доставляет первому лицу удовольствие и заставляет третье лицо смеяться.

Лишь когда мы подымаемся до высокообразованного общества, присоединяется формальное условие остроумия. Сальность становится остроумной и терпимой только в том случае, если она остроумна. Техническим приемом, которым она в большинстве случаев пользуется, является намек, т. е. замена деталью, чем-либо находящимся в отдаленной связи, которую слушатель реконструирует в своем представлении в полную и прямую скабрезность. Чем больше несоразмерность между прямо данным в сальности и между неизбежно возбужденным ею у слушателя, тем тоньше острота, тем скорее она может рискнуть войти в хорошее общество. Кроме грубого и тонкого намека, в распоряжении остроумной сальности имеются, как можно легко показать на примерах, все другие приемы словесной остроты и остроты по смыслу.

Теперь становится, наконец, понятно, чтó острота доставляет для обслуживания своей тенденции. Она делает возможным удовлетворение влечения, похотливого и враждебного, несмотря на стоящее на пути препятствие, она обходит препятствие и черпает, таким образом, удовольствие из ставшего недоступным благодаря препятствию источника удовольствия. Стоящее на пути препятствие является собственно не чем иным, как повышенной (соответственно более высокой ступени образования и общества) неспособностью женщины переносить незамаскированную сексуальность. Мыслимая в исходной ситуации присутствующей, женщина продолжает все еще учитываться присутствующей, или ее влияние продолжает действовать на мужчин запугивающим образом и в ее отсутствии. Можно наблюдать, как мужчины высшего общества тотчас предрасполагаются обществом ниже стоящих девушек к замене остроумной сальности простой.

Силу, которая затрудняет или делает невозможным для женщины и в незначительной степени также и для мужчины получение удовольствия от незамаскированной скабрезности, мы называем «вытеснением» и узнаем в ней тот же психический процесс, который в случае серьезных заболеваний держит вдали от сознания целые комплексы побуждений вместе и их производными и является главным обусловливающим фактором при так называемых психоневрозах. Мы признаем за культурой и высшим воспитанием большое влияние на

образование вытеснения и предполагаем, что при этих условиях осуществляется изменение психической организации (которое может быть привнесено и как унаследованное предрасположение), вследствие которого то, что воспринималось прежде как приятное, кажется теперь неприятным и отвергается всеми психическими силами. Благодаря вытесняющей работе культуры оказываются потерянными первичные, но отвергнутые нашей цензурой, возможности наслаждения. Но для психики человека каждое отречение очень тяжело, и мы, таким образом, находим, что тенденциозная острота возвращает средство упразднить отречение, вновь получить потерянное. Когда мы смеемся по поводу тонкой скабрезной остроты, то мы смеемся над тем самым, что заставляет крестьянина смеяться при грубой сальности; удовольствие проистекает в обоих случаях из одного и того же источника, но смеяться по поводу грубой сальности мы не могли бы, нам было бы стыдно или она показалась бы нам отвратительной. Мы можем смеяться лишь тогда, когда остроумие пришло нам на помощь.

Таким образом для нас подтверждается то, что мы предположили вначале: тенденциозная острота располагает иными источниками удовольствия, чем безобидная, при которой все удовольствие так или иначе связано с техникой. Мы можем также снова подчеркнуть, что при тенденциозной остроте мы не в состоянии отделить при помощи нашего восприятия, какая часть нашего удовольствия проистекает из источников техники, а какая — из источников тенденции. *Мы, следовательно, строго говоря, не знаем, над чем мы смеемся.* При всех скабрезных остротах, мы подвержены ярким обманам суждения о «доброкачественности» остроты, поскольку эта острота зависит от формальных условий; техника этих острот часто очень бедна, а их смехотворный эффект огромен.

Мы хотим теперь исследовать, играет ли острота ту же самую роль при обслуживании враждебной тенденции.

С самого начала мы наталкиваемся и здесь на те же самые условия. Враждебные импульсы против ближних подвержены, начиная с нашего индивидуального детства, равно как и с детских времен человечес-

кой культуры, тем же самым ограничениям, тому же прогрессирующему вытеснению, что и наши сексуальные стремления. Мы еще не дошли до того, чтобы быть в состоянии любить своих врагов или подставить им левую щеку после удара в правую щеку; все моральные предписания в области ограничения деятельной ненависти несут еще и поныне на себе ясные признаки того, что они должны были первоначально считаться действительными для небольшой общины соплеменников. Поскольку все мы можем чувствовать себя принадлежащими к одному народу, мы позволяем себе не принимать во внимание большинство этих ограничений в отношении к чужому народу. Но внутри своего собственного круга мы все же сделали успехи в сдерживании враждебных побуждений, как это резко выразил Lichtenberg: «Там, где теперь говорят: «Извините, пожалуйста», там прежде давали пощечину». Насильственная враждебность, запрещенная законом, сменилась руганью; лучшее признание обуздания человеческих побуждений лишает нас все больше и больше способности сердиться на ближнего, ставшего нам на пути, благодаря своему последовательному «Tout comprendre c'est tout pardonner[1]. Будучи еще детьми, мы одарены сильной способностью к враждебности; позже высшая личная культура учит нас, что нехорошо употреблять ругательства и даже там, где борьба сама по себе разрешена, число приемов, которые не должны применяться как средства борьбы, чрезвычайно велико. С тех пор, как мы должны были отказаться от выражения враждебности при помощи действия — этому препятствует и беспристрастное третье лицо, в интересах которого лежит охрана личной безопасности, — мы создали (точно так же, как и при сексуальной агрессивности) новую технику оскорбления, которая имеет целью завербовать это третье лицо против нашего врага. Делая врага мелким, низким, презренным, комическим, мы создаем себе окольный путь наслаждения по поводу победы над ним. Это наслаждение подтверждает нам своим смехом третье лицо, не приложившее никаких усилий к этой победе.

Мы, таким образом, подготовлены к роли остроумия при враждебной агрессивности. Острота позволяет нам

---

[1] «Все понять — это значит все простить».

использовать в нашем враге все то смешное, которого мы не смеем отметить вслух или сознательно; таким образом, острота обходит ограничения и открывает ставшие недоступными источники удовольствия. Далее, она подкупает слушателя благодаря тому, что она доставляет ему удовольствие, не производя строжайшего испытания нашей пристрастности, как это мы сами делаем иной раз, подкупленные безобидной остротой, переоценивая содержание остроумно выраженного предложения. В немецком языке существует очень меткое выражение: «Насмешники привлекают на свою сторону».

Возьмем, например, разбросанные в предыдущей главе остроты гр-на N. Это все без исключения ругательства. Они носят такой характер, как будто N. хотел громко воскликнуть: Но ведь министр земледелия сам — бык! Оставьте меня в покое с Y., который лопается от тщеславия! Более скучного, чем статьи этого историка о Наполеоне в Австрии, я еще никогда не читал! Но высокопоставленность его особы делает для него невозможным выражение своих суждений в этой форме. Поэтому они прибегают к помощи остроумия, обеспечивающего им у слушателя успех, которого они никогда не имели бы в неостроумной форме несмотря на то, что содержание их, быть может, соответствует истине. Одна из этих острот особенно поучительна, это — острота о «красном пошляке (Fadian)», быть может, самая агрессивная из всех острот. Что в ней заставляет нас смеяться и всецело отвлекает наше внимание от вопроса, справедливо ли это суждение о бедном писателе или нет? Конечно, остроумная форма, следовательно, сама острота. Но над чем мы смеемся при этом? Без сомнения, над самим лицом, которое представлено нам, как «красный пошляк (Fadian)» и в особенности над его красными волосами. Образованный человек отвык насмехаться над телесными недостатками, и для него красные волосы не относятся даже к заслуживающим насмешки телесным недостаткам. Но красные волосы продолжают подвергаться насмешкам у гимназистов и у простого народа, а также еще на ступени образования общественных и парламентарных представителей. А эта острота гр-на N. искуснейшим образом дала нам возможность, чтобы мы, взрослые и чуткие люди, смеялись, как гимнази-

сты, над красными волосами историка X. Это, конечно, не входило в цели гр-на N; но весьма сомнительно, чтобы кто-нибудь, создающий свою остроту, должен был точно знать ее цель.

Если в этих случаях препятствие для агрессивности, обойденное с помощью остроты, было внутренним — эстетический протест против ругани, — то в других случаях оно может быть чисто внешнего происхождения. Таков случай, когда светлейший, которому бросились в глаза сходство его собственной персоны с другим человеком, спрашивает: «Служила ли его мать когда-либо в резиденции?» и находчивый ответ на этот вопрос гласит: «Мать не служила, зато мой отец — да». Спрошенный хотел бы, конечно, осадить наглеца, который осмелился опозорить таким намеком память любимой матери, но этот наглец — светлейший князь, которого он не смеет ни осадить, ни оскорбить, если он не хочет искупить этой мести ценою всей своей жизни. Это значило бы, таким образом, молча задушить в себе обиду, но к счастью, острота указывает путь отмщения без риска, принимая этот намек с помощью технического приема унификации и адресуя его нападающему светлейшему князю. Впечатление остроты настолько определяется здесь тенденцией, что мы при наличии остроумного ответа склонны забыть, что вопрос нападающего сам остроумен, благодаря содержащемуся в нем намеку.

Внешние обстоятельства так часто являются препятствием для ругани или оскорбительного ответа, что тенденциозная острота особенно охотно употребляется для осуществления возможности агрессивности или критики лиц вышестоящих или претендующих на авторитет. Острота представляет собой протест против такого авторитета, освобождение от его гнета. В этом же факте заключается ведь и вся прелесть карикатуры, по поводу которой мы смеемся даже тогда, когда она мало удачна, потому только, что мы ставим ей в заслугу протест против авторитета.

Если мы будем иметь в виду, что тенденциозная острота весьма пригодна к нападению на все большое, достойное и могущественное, которое защищено от непосредственного унижения внутренними задержками или внешними обстоятельствами, то мы должны будем

прийти к особому пониманию некоторых групп острот, высказываемых малоценными, бессильными людьми. Я имею в виду истории с посредниками брака, с некоторыми из которых мы познакомились при исследовании разнообразных технических приемов острот по смыслу. В некоторых из них, напр., в примерах: «Она глуха также» и «разве можно доверять этим людям что-нибудь!» посредник высмеивается как неосторожный и оплошный человек, который становится комичным благодаря тому, что у него как бы автоматически вырывается правда. Но согласуется ли то, что мы, с одной стороны, узнали о природе тенденциозной остроты и степень нашего благоволения к этим историям, с другой стороны, с убожеством лиц, над которыми, по-видимому, смеется острота? Достойны ли эти противники остроумия? Не обстоит ли дело скорее таким образом, что остроумие лишь выдвигает вперед посредника, чтобы попасть в нечто более значительное, что оно, как говорит пословица, целит в бровь, а попадает в глаз? Этой трактовки фактически нельзя не допустить.

Вышеизложенное толкование историй о посредниках может быть продолжено. Правда, мне не нужно вникать в них, я могу удовольствоваться тем, что буду видеть в этих историях «шутки» и могу отказать им в характере остроты. Существует, следовательно, и такая субъективная условность остроты; мы обратили теперь на нее внимание и должны будем впоследствии исследовать ее. Она говорит, что только то является остротой, что я могу считать остротой. То, что для меня является остротой, может для других быть только комической историей. Но если острота допускает это сомнение, то причина этого лежит лишь в том, что она имеет показную сторону, — в нашем смысле комический — фасад, которым вполне насыщается взгляд одного человека в то время, как другой человек может сделать попытку рассмотреть, что находится позади этого фасада. Может возникнуть также подозрение, что этот фасад предназначен для того, чтобы ослепить испытующий взгляд, что такие истории, следовательно, что-то скрывают.

Во всяком случае, если наши истории с посредниками — остроты, то тем лучшими остротами они явля-

ются, так как они благодаря своему фасаду могут скрыть не только то, что им нужно сказать, но также и то, что они должны сказать нечто запретное. Продолжение же этого толкования, открывающего скрытое и разоблачающего, что эти истории с комическим фасадом являются тенденциозными остротами, было бы следующим: каждый, у которого в неосторожный момент вырывается правда, собственно рад тому, что он освобожден от необходимости притворяться. Это — верное и глубоко психологическое положение. Без такого внутреннего согласия никто не позволит одержать верх над собою автоматизму, который выявляет здесь истину. Но этим самым смешная личность шадхена превращается в достойную сожаления, симпатичную личность. Как должен блаженствовать, наконец, человек, который может сбросить ярмо притворства, когда он пользуется первым удобным случаем, чтобы выкрикнуть последнюю долю истины! Как только он замечает, что дело проиграно, что невеста не нравится молодому человеку, он охотно обнаруживает, что она имеет еще один скрытый недостаток, который не бросился в глаза претенденту на руку невесты; или он пользуется поводом, чтобы привести вместо детали решительный аргумент, чтобы выразить при этом людям, в пользу которых он работает, свое презрение: «Скажите, пожалуйста, разве кто доверит этим людям что-нибудь!». Вся ирония падает на только вскользь упомянутых в этой истории родителей, которые считают позволительным подобное надувательство, лишь бы во что бы то ни стало выдать замуж свою дочь; на убожество девушек, которые позволяют себе выходить замуж при подобных обстоятельствах; на недостойность браков, заключению которых предшествуют такие прелюдии. Посредник является тем именно человеком, который может дать выражение такой критике, так как он в большинстве случаев знает об этих злоупотреблениях, но он не должен говорить о них вслух, потому что он бедный человек, который может добывать средства к жизни только путем использования этих злоупотреблений. Но в подобном же конфликте находится и дух народа, создавшего эту и ей подобные истории, так как он знает, что святость заключенных браков в большой мере страдает от указания на события при заключении брака.

Вспомним также и о замечании, сделанном нами при исследовании техники остроумия; оно гласит, что бессмыслица в остроте часто заменяет насмешку и критику в мыслях, скрывающихся за остротой, в чем работа остроумия, впрочем, тождественна работе сновидения. Мы видим, что это положение вещей здесь снова подтверждается. Что насмешка и критика относятся не к личности посредника, который в предыдущих примерах является только козлом отпущения остроумия, будет доказано рядом других острот, в которых посредник является в противоположность этим остротам мыслящей личностью, диалектика которой способна на самую замысловатую вещь. Это — истории с логическим фасадом вместо комического, софистические остроты по смыслу. В одной из них (с. 231) посредник прекрасно знает, как ему вести диспут о недостатке невесты, которая хромает. Это, по крайней мере, «готовое дело». Другая женщина с здоровыми конечностями подвержена постоянной опасности, она может сломать себе ногу, а затем придет болезнь, боли, расходы по лечению, которые можно сэкономить, женившись на готовой хромоножке. Или в другой истории он находит возражения на целый ряд указаний относительно недостатков невесты, сделанных претендентом; на каждое указание в отдельности он приводит веские аргументы, чтобы при последнем указании, которое не может быть ничем скрашено, возразить: «А что же вы хотели? Чтоб она не имела ни одного недостатка?», как будто от прежних возражений не осталось никакого неблагоприятного впечатления. Нетрудно в обоих примерах указать на слабое место в аргументации. Мы сделали это и при исследовании техники. Но теперь нас интересует нечто другое. Если речи посредника придается такая строгая логическая видимость, которая при тщательной проверке оказывается только видимостью, то истина скрывается в том, что острота указывает на правоту посредника; мысль не решается серьезно признать за ним правоту, заменяет эту серьезность видимостью, которую производит острота, но под видом шутки часто кроется серьезность. Мы не ошибемся, если признаем за всеми этими историями с логическим фасадом, что они серьезно думают то, что они утверждают с намеренно ложным обоснованием. Лишь это применение софизма для скрытого изо-

бражения истины придает ему характер остроумия, который зависит, следовательно, главным образом от тенденции. На что должно быть указано в обеих историях, это на то, что претендент, действительно, оказывается смешным: он тщательно выискивает отдельные преимущества, которые являются, однако, ненадежными, и забывает при этом, что он должен быть подготовлен к тому, чтобы взять в жены смертного человека с неизбежными недостатками в то время, как единственным качеством, которое делает приемлемой более или менее недостаточную личность женщины, является взаимное расположение и готовность к исполненному любви приспособлению, о нем нет и речи при всей этой торговле.

Содержащееся во всех этих примерах высмеивание претендента на брак, причем посредник играет только пассивную роль рассудительного человека, выражено в других историях гораздо отчетливее. Чем отчетливее эти истории, тем меньше техники остроумия содержится в них; они являются только как будто пограничным случаем остроумия, с техникой которого у них имеется одна только общая черта: фасадное образование. Но вследствие той же тенденции и сокрытия ее за фасадом им присуще в полной мере действие остроты. Бедность техническими приемами делает, кроме того, понятным, почему многие остроты этого рода не могут быть без особого ущерба лишены комического элемента жаргона, который действует подобно технике остроумия.

Такова следующая история, в которой при всей силе тенденциозного остроумия нет абсолютно техники остроумия. Посредник спрашивает: «Чего вы требуете от вашей невесты?» — Ответ: «Она должна быть красива, она должна быть богата и образована». — «Хорошо», — говорит посредник, «но из этого я сделаю три партии». Здесь выговор сделан мужчине прямо, он больше не облачен в форму остроты.

В приведенных до сих пор примерах замаскированная агрессивность направлялась еще и против лиц — в остротах о посредниках против сторон, — которые участвуют в деле заключения брака: невесты, жениха и их родителей. Но объектами нападения остроумия могут в такой же мере быть и целые инсти-

туты, лица, поскольку они являются носителями этих институтов, уставы морали и религии, мировоззрения, которые пользуются таким уважением, что возражение против них не может быть сделано иначе, как под маской остроумия, а именно остроты, скрытой за своим фасадом. Темы, которые имеет в виду такая тенденциозная острота, могут быть немногочисленны, но ее формы и облачения крайне разнообразны. Я думаю, что мы правильно поступаем, обозначая этот вид тенденциозного остроумия особым наименованием. Какое наименование пригодно для этого, выяснится после того, как мы истолкуем некоторые примеры этого вида.

Я вспоминаю о двух историях: об обедневшем гурмане, который был застигнут при поедании «семги с майонезом», и о пьянице-учителе, — которые мы изучили, как софистические остроты, возникшие путем передвигания; я продолжаю их толкование. Мы уже слышали с тех пор, что если видимость логичности относится к фасаду истории, то мысли (скрывающиеся за фасадом) хотели бы серьезно сказать: этот человек прав, — но в силу получающегося противоречия они не решаются признать за человеком правоту иначе, чем в одном пункте, в котором нетрудно доказать его неправоту. Избранная «острота» является настоящим компромиссом между его правотой и его неправотой, что, конечно, не является решением вопроса, но соответствует конфликту в нем самом. Обе истории просто носят эпикурейский характер, они говорят: «Да, этот человек прав, нет ничего высшего, чем наслаждение, и совершенно безразлично, каким образом доставляют его себе». Но это звучит ужасно безнравственно, и фактически это не совсем хорошо, но в основе его лежит не что иное, как «Carpe diem» поэтов, которые ссылаются на непрочность жизни и на бесплодность добродетельного отречения от мирских благ. Если идея, что человек в остроте о «семге с майонезом» должен быть прав, действует на нас так отталкивающе, то это происходит только вследствие иллюстрации истины на наслаждении низшего рода, которое кажется нам совершенно излишним. В действительности, у каждого из нас были минуты и целые эпохи в жизни, когда он признавал за этой жизненной философией ее права и ставил на вид моральному учению, что оно умеет только требовать, не давая никакого

вознаграждения. С тех пор, как мы больше не верим в указание на потусторонний мир, в котором всякий отказ должен вознаграждаться удовлетворением — впрочем, есть очень мало набожных людей, если за отличительную черту верования принять отречение от мирских благ — с тех пор «Carpe diem» стало серьезным лозунгом. Я охотно отсрочу удовлетворение, но разве я знаю, буду ли я завтра еще в живых:

«Di doman' non c'é certezza»[1].

Я охотно откажусь от всех запрещенных обществом путей удовлетворения, но уверен ли я, что общество вознаградит меня за это отречение от мирских благ, открыв мне — хотя бы с некоторой отсрочкой — один из дозволенных путей? Можно громко сказать то, о чем шепчут эти остроты: желания и страсти человека имеют право на то, чтобы и им внимали наряду с взыскательной и беспощадной моралью, и в наши дни было сказано убедительно и проникновенно, что эта мораль является только корыстолюбивым предписанием немногих богачей и сильных мира сего, которые могут в любой момент без отсрочки удовлетворить свои желания. Покуда медицина не научилась обеспечивать нашу жизнь и покуда социальные установления не направлены на то, чтоб она складывалась более радостно, до тех пор не может быть задушен в нас голос, протестующий против требований морали. Каждый честный человек сделает, в конце концов, эту уступку, по крайней мере, для себя. Разрешение конфликта возможно лишь окольным путем благодаря новому рассуждению. Нужно свою жизнь так связать с другой, уметь так тесно идентифицировать себя с другим человеком, чтобы можно было преодолеть недолговечность своей собственной жизни; нельзя незаконно удовлетворять собственные нужды, но нужно оставлять их неисполненными, так как только существование стольких неудовлетворенных требований может развить силу, необходимую для изменения общественного строя. Однако не все личные потребности могут быть подвергнуты такому передвиганию и перенесены на других людей, и полного и окончательного разрешения конфликта — нет.

---

[1] Lorenzo dei Medici.

Мы знаем теперь, как нужно назвать эти последние истолкованные нами остроты: это — циничные остроты; то, что они скрывают, это — цинизмы.

Среди институтов, на которые нападает циничная острота, ни один из них не охраняется более серьезно и более настойчиво моральными предписаниями, и тем не менее ни один из них не является столь заманчивым для нападения, чем институт брака, к которому, таким образом, и относится большинство циничных острот. Никакое посягательство не задевает так личность, как посягательство на сексуальную свободу, и нигде культура не пыталась произвести такого давления, как в области сексуальности. Для наших целей достаточен один-единственный пример: упомянутая на с. 248: «Запись в родовую книгу принца Карнавала»:

«Жена — как зонтик; в случае необходимости все же прибегают к услугам комфортабельности».

Сложную технику этого примера мы уже обсудили: смущающее вследствие своей непонятности, по-видимому, невозможное сравнение, которое, как мы теперь видим, само по себе неостроумно, далее намек (комфортабельность = общественному экипажу), и как самый сильный технический прием, — пропуск, делающий остроту еще непонятнее. Сравнение нужно было бы провести в следующем виде: женятся для того, чтобы обеспечить себя от искушений чувственности, а затем оказывается все-таки, что брак не дает удовлетворения одной несколько более сильной потребности точно так, как берут с собой зонтик, чтобы защитить себя от дождя, и тем не менее мокнут, когда падает дождь. В обоих случаях нужно искать более сильной защиты, какой в данном случае является общественный экипаж, а в первом случае — доступные за деньги женщины. Теперь острота почти целиком заменена цинизмом. Что брак не является институтом, удовлетворяющим сексуальность мужчины, не решаются сказать громко и открыто, если к этому не вынуждает любовь к истине и страстное желание реформы в духе Christian'a v. Ehrenfels'a. Сила остроты заключается в том, что она все-таки — разными окольными путями — сказала это.

Для тенденциозной остроты представляется особенно благоприятный случай, когда критика протеста направляется на собственную личность; осторожнее

говоря, на личность, в которой принимает участие личность человека, создающего остроту, следовательно, на собирательную личность, например, на свой народ. Это условие самокритики может нам объяснить, почему именно на почве еврейской народной жизни выросло большое число удачных острот, из которых мы привели здесь достаточное число примеров. Это — истории, созданные евреями и направленные против своеобразности еврейского характера. Остроты, созданные не евреями о евреях, в большинстве случаев, являются плоскими шутками, в которых острота происходит за счет того, что не еврей относится к еврею, как к комической фигуре. Остроты о евреях, созданные евреями, тоже допускают такой прием, но они знают свои истинные недостатки, равно как и связь их с их положительными чертами, и участие собственной личности в порицаемой создает очень трудно поддающееся изображению субъективное условие работы остроумия. Впрочем, я не знаю, случается ли еще так часто, чтобы народ в такой мере смеялся над своим собственным существом.

В качестве примера я могу указать на упомянутую на с. 250 историю о том, как еврей в вагоне железной дороги тотчас перестает соблюдать все правила приличного поведения после того, как он узнает в человеке, вошедшем в купе, своего единоверца. Мы изучили эту остроту как доказательство наглядного пояснения при помощи детали, изображение при помощи мелочи; она должна изображать демократический образ мышления евреев, который делает небольшую разницу между господами и рабами, но, к сожалению, нарушает дисциплину и взаимный контакт между людьми. Другой, особенно интересный ряд острот изображает взаимоотношения между бедным и богатым евреем; героями этих острот являются проситель и благотворитель — хозяин дома или барон. Проситель, которого принимали в гости каждое воскресенье в одном и том же доме, появляется однажды в сопровождении неизвестного молодого человека, который тоже намеревается сесть за стол к обеду. «Кто это?» — спрашивает хозяин дома и получает ответ: — «это — мой зять с прошлой недели: я обещал содержать его в течение первого года.» Тенденция этих историй все одна и та же; она выступает отчетливее всего в следующей истории. Проситель

обращается к барону за деньгами для поездки на курорт Остендэ; врач, выслушав его жалобы, предписал ему курорт. Барон находит, что Остендэ очень дорогое местопребывание; более дешевый курорт принесет ту же пользу. Проситель отклоняет это предложение следующими словами: «Господин барон, для моего здоровья нет ничего, что было бы дорого». Это — великолепная острота, возникающая путем передвигания, которую мы могли бы взять за образец этого вида остроумия. Барон, очевидно, хочет сэкономить свои деньги, проситель же отвечает так, как будто деньги барона — это его деньги, которые, конечно, менее ценны для него, чем его здоровье. Дерзость этого требования вызывает в нас смех. Но все эти остроты за некоторым исключением не снабжены фасадом, который мешал бы правильному пониманию этих острот. Истина скрывается за тем, что проситель, который мысленно обращается с деньгами богача как с своими собственными, на самом деле почти имеет право по священным заповедям евреев на такую ошибочность суждения. Протест, создавший эту остроту, направлен, разумеется, против закона, тяжело обременяющего даже набожного человека.

Другая история гласит: проситель встречает на лестнице в доме одного богатого человека своего товарища по ремеслу, который не советует ему продолжать свой путь. «Не ходи сегодня наверх, барон сегодня не в духе; он никому не дает больше одного гульдена». — «Я все-таки пойду наверх, — говорит первый проситель. — Почему я должен подарить ему этот один гульден? Разве он мне что-нибудь дарит?».

Эта острота пользуется техникой бессмыслицы, заставляет просителя утверждать, что барон ему ничего не дарит в тот самый момент, когда он собирается выпросить у него подарок. Но эта бессмыслица только кажущаяся. Почти верно, что богатый не дарит ему ничего, так как закон обязует богатого дать ему милостыню, и, строго говоря, он должен быть благодарен, что проситель доставляет ему случай сделать благодеяние. Обыденное мещанское понимание милостыни находится в противоречии с религиозным — оно открыто возмущается против религиозного в истории с бароном, который, будучи глубоко тронут рассказом просителя о его страданиях, бранит своего лакея: «Вы-

киньте его вон: он действует на мои нервы». Это открытое изложение тенденции создает опять пограничный случай остроты. От совсем неостроумной жалобы: «В действительности нет никакого преимущества быть богатым среди евреев. Чужое страдание не позволяет наслаждаться собственным счастьем» — эти последние истории переходят для более наглядного пояснения почти исключительно к отдельным ситуациям.

Другие истории свидетельствуют о глубоком пессимистическом цинизме. Истории эти являются опять-таки в техническом отношении пограничными случаями остроумия, равно как и нижеследующая: глухой обращается за советом к врачу, который ставит правильный диагноз, что пациент пьет, вероятно, слишком много водки и поэтому глух. Врач советует больному не делать этого впредь, глухой обещает принять во внимание этот совет. Спустя некоторое время врач встречает его на улице и спрашивает его громко, как идут его дела. «Благодарю вас, — гласит ответ, — вам не нужно так кричать, г. доктор, я отказался от пьянства и опять слышу хорошо». Спустя некоторое время они опять встречаются. Доктор спрашивает обычным голосом о состоянии его здоровья, но он замечает, что его не понимают. «Как? Что?» — «Мне кажется, что вы опять пьете водку, — кричит ему доктор в ухо, — и потому опять не слышите». — «Вы правы, — отвечает глухой. — Я опять начал пить водку, но я хочу объяснить вам почему. Покуда я не пил, я слышал; но все, что я слышал, было не так хорошо, как водка». — В техническом отношении эта острота — не что иное, как наглядное пояснение; жаргон, искусство рассказывать должно служить для того, чтобы вызывать смех, но за этим нас подкарауливает печальный вопрос: не прав ли этот человек, сделав такой выбор?

То, на что намекают все эти пессимистические истории, это — разнообразное безнадежное состояние еврея; в силу этого я должен причислить их к тенденциозной остроте.

Другие в подобном же смысле циничные остроты, и не только еврейские истории, нападают на религиозные догмы и даже на веру в бога. История о «взгляде раввина», техника которой состояла в ошибочности сопоставления фантазии и действительности (трактовка этой техники как передвигания тоже была бы правиль-

на), является такой циничной или критической остротой, которая направлена против чудотворцев и, конечно, также против веры в чудесное. Гейне, лежа на смертном одре, создал одну прямо-таки святотатственную остроту. Когда дружески настроенный пастор сослался на божью милость и указал ему, что он может надеяться на то, что он найдет у бога прощение всех своих грехов, то Гейне ответил: «Bien sûr, qu'il me pardonnera; c'est són métier»[1]. Это — унизительное сравнение, имеющее в техническом отношении только ценность намека, так как métier, дело или призвание, имеет только ремесленник или врач, и имеет он только одно-единственное métier. Но сила этой остроты заключается в ее тенденции. Она не может сказать ничего иного, кроме: конечно, он мне простит, для этого он ведь и существует, я его не создал себе ни для какой другой цели (как имеют своего врача, своего адвоката). И в нем, бессильно лежавшем на смертном одре, живо было еще сознание того, что он создал себе бога и наделил его могуществом, чтобы при случае воспользоваться его услугами. Нечто вроде творчества дало знать о себе еще незадолго до его гибели, как творца.

К обсуждавшимся до сих пор видам тенденциозного остроумия.

обнажающему или скабрезному,

агрессивному (враждебному),

циничному (критическому, святотатственному), я хотел бы присоединить еще четвертый, новый и самый редкий вид, характеристика которого должна быть наглядно выяснена хорошим примером.

Два еврея встречаются на галицийской станции в вагоне железной дороги. «Куда ты едешь?», — спрашивает один. — «В Краков», — гласит ответ. — «Ну, посуди сам, какой ты лгун, — вспылил первый, — когда ты говоришь, что ты едешь в Краков, то ты ведь хочешь, чтоб я подумал, что ты едешь в Лемберг. А теперь я знаю, что ты действительно едешь в Краков. Почему же ты лжешь?».

[1] Конечно, он меня простит; ведь это его ремесло.

Эта ценная история, которая производит впечатление чрезвычайной софистики, оказывает свое действие, очевидно, при помощи техники бессмыслицы. Второго еврея упрекают в лживости, так как он сообщил, что он едет в Краков, что в действительности является целью его поездки! Этот сильный технический прием — бессмыслица — сопряжен здесь с другим техническим приемом, изображением при помощи противоположности, так как согласно беспрекословному утверждению первого другой лжет, когда он говорит правду, и говорит правду при помощи лжи, но более серьезным содержанием этой остроты является вопрос об условиях правды: острота намекает опять-таки на проблему и пользуется для этого ненадежностью одного из самых употребительных у нас понятий. Будет ли правдой, если человек описывает вещи такими, какими они суть, и не заботится о том, как слушатели воспримут сказанное? Или это только иезуитская правда? И не состоит ли истинная правдивость скорее в том, чтобы принять во внимание слушателя и способствовать тому, чтобы он получил верное отображение того, что знает сам рассказывающий? Я считаю остроты этого рода достаточно отличными от других, чтобы отвести им особое место. То, на что они нападают, не является личностью или институтом, а надежностью нашего познания, одного из наших спекулятивных достояний. Термин «скептические» остроты будет, таким образом, подходящим для них.

В ходе наших рассуждений о тенденциях остроумия мы, быть может, получили некоторые разъяснения и, конечно, нашли множество побуждений к дальнейшим исследованиям. Но результаты этой главы соединяются с результатами предыдущей в одну трудную проблему. Если верно, что удовольствие, доставляемое остроумием, происходит, с одной стороны, за счет техники, с другой стороны, за счет тенденции, то с какой же общей точки зрения можно объединить два эти столь различные источника удовольствия от остроумия?

В. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

IV. МЕХАНИЗМ УДОВОЛЬСТВИЯ И ПСИХОГЕНЕЗ ОСТРОУМИЯ

Из каких источников вытекает своеобразное удовольствие, доставляемое нам остроумием — это мы предполагаем уже достоверно нам известным. Мы знаем, что мы можем быть обмануты и можем заменить удовольствие, доставленное нам содержанием мыслей предложения, собственно удовольствием от остроумия, но что это последнее имеет по существу два источника: технику и тенденции остроумия. Что мы хотели бы теперь узнать, это — каким образом из этих источников вытекает удовольствие, т. е. механизм этого действия удовольствия.

Нам кажется, что искомое объяснение можно гораздо легче получить при тенденциозной остроте, чем при безобидной. Итак, мы начнем с первой.

Удовольствие при тенденциозной остроте получается в результате того, что удовлетворяется тенденция, которая в противном случае не была бы удовлетворена. Что такое удовлетворение является источником удовольствия, это — не нуждается ни в каком дальнейшем доказательстве. Но тот способ, с помощью которого остроумие реализует это удовлетворение, связан с особыми условиями, из которых можно, быть может, извлечь дальнейшее разъяснение. Здесь следует различать два случая. Более простой случай это тот, когда на пути к удовлетворению тенденции стоит внешнее препятствие, которое человек обходит при помощи остроты. Мы нашли это, например, в ответе, полученном светлейшим князем на вопрос, жила ли когда-либо мать спрашиваемого в резиденции, или в выражении критика, которому два богатых мошенника показали свои портреты: And where is the Saviour? В первом случае тенденция клонилась к тому, чтобы возразить на ругательство ругательством, в другом случае — к тому, чтобы нанести оскорбление вместо того, чтобы дать требуемый отзыв. Здесь противодействие оказывают чисто внешние моменты: те лица, к которым относятся ругательства, обладают властью. Все-таки нам может броситься в глаза, что эти и аналогичные им остроты тенденциозной природы, хотя и удовлетворяют нас,

однако, они не в состоянии вызвать сильный смехотворный эффект.

Иначе обстоит дело, когда на пути к прямому осуществлению тенденции стоят не внешние моменты, а внутренние препятствия, когда внутреннее побуждение противоречит тенденции. Это условие как бы осуществляется, согласно нашему предположению, в агрессивных остротах г. N., у которого сильная склонность к брани подавлялась высокоразвитой эстетической культурой. С помощью остроумия внутреннее сопротивление для этого частного случая было преодолено, задержки были упразднены. Благодаря этому, как и в случае внешнего препятствия, стало возможным удовлетворение тенденции, было избегнуто подавление и связанная с ней «психическая запруда»; механизм развития удовольствия, поскольку дело касается обоих случаев, — один и тот же.

Мы, конечно, чувствуем на этом месте желание подробнее вникнуть в различие психологической ситуации для случая внешнего и внутреннего препятствия, так как нам представляется возможным, что в результате упразднения внутреннего препятствия может получиться гораздо более интенсивное удовольствие. Но я предлагаю удовольствоваться малым и удовлетвориться пока выяснением одного момента, который остается для нас существенным. Случаи внешнего и внутреннего препятствия отличаются только тем, что в одном случае упраздняется существующая уже наготове задержка, а в другом случае избегается создание новой задержки. Мы думаем, что мы не заслуживаем упрека в спекулятивном мышлении, утверждая, что как для создания, так и для сохранения психической задержки требуется «психическая затрата». Если оказывается, что в обоих случаях применения тенденциозной остроты целью является получение удовольствия, то уместно предположить, что *такое получение удовольствия соответствует экономной психической затрате.*

Таким образом, мы опять наткнулись на принцип *экономии*, который мы встретили при технике словесной остроты. Но в то время, как там мы прежде всего думали найти экономию в употреблении по возможности меньшего числа слов или по возможности одних и тех же слов, здесь нам чуется гораздо более

объемлющий смысл экономии психической затраты, и мы должны считать, что можно подойти ближе к сущности остроумия через более точное определение еще очень неясного понятия «психической затраты».

Некоторая неясность, которую мы не могли преодолеть при обсуждении механизма удовольствия, получаемого от тенденциозной остроты, является для нас небольшим наказанием за то, что мы пытались выяснить более сложное раньше, чем больше простое, тенденциозную остроту раньше, чем безобидную. Мы замечаем, что экономия затраты энергии, расходуемой на задержки или подавление, оказывается тайным источником действия удовольствия, получаемого нами от тенденциозной остроты, и обращаемся к механизму удовольствия при безобидной остроте.

Из соответствующих примеров безобидных острот, относительно которых нам нет нужды бояться нарушения нашего мнения о них из-за содержания или тенденции, мы должны сделать заключение, что технические приемы остроумия сами являются источником удовольствия, и хотим теперь поверить, можно ли свести это удовольствие к экономии психической затраты. В одной группе этих острот (игре слов) техника состояла в том, что наша психическая установка направлялась на созвучие слов вместо смысла слов, что мы ставили (акустическое) изображение слова на место его значения, данного отношением к предметным представлениям. Мы, действительно, можем предположить, что этим дано большое облегчение психической работе и что мы при серьезном употреблении слов должны сильно напрягать свое внимание, чтобы удержаться от этого удобного приема. Мы можем наблюдать, что болезненные состояния мыслительной деятельности, при которых, вероятно, ограничена возможность концентрировать на одном месте психическую затрату, действительно, выдвигают на первый план представление о созвучии слов такого рода в сравнении с значением слов и что такие больные в своих речах следуют, как говорит формула, «внешним» (вместо «внутренних») ассоциациям представлений о словах. Также и у ребенка, который привык еще трактовать слова, как вещи, мы замечаем склонность искать за тождественным или сходным текстом тождественный смысл, склон-

ность, становящуюся источником многих ошибок, над которыми смеются взрослые. Если нам доставляет в остроумии несомненное удовольствие переход из одного круга представлений в другой (как при Home-Roulard из области кухни в область политики) путем употребления одного и того же или сходного слова, то это удовольствие нужно, конечно, по праву свести к экономии психической затраты. Удовольствие от остроумия, вытекающее из такого «короткого замыкания», оказывается также тем бо́льшим, чем более чуждыми являются друг другу оба круга представлений, приведенные в связь тождественным словом, чем дальше они лежат друг от друга, тем больше, следовательно, удается экономия мысленного пути благодаря техническому приему остроумия. Заметим, кроме того, что острота пользуется здесь приемом установления связи, которая отбрасывается и тщательно избегается серьезным мышлением[1].

Вторая группа технических приемов остроумия —

---

[1] Если я позволю себе предупредить здесь изложение в тексте, то я смогу теперь же пролить свет на то условие, которое оказывается руководящим в практике языка, чтобы назвать остроту «удачной» или «неудачной». Если я с помощью двусмысленного или немного модифицированного слова попадаю кратчайшим путем из одного круга представлений в другой в то время, как между обоими кругами представлений не существует одновременно более глубокой связи, то я создал неудачную остроту. В этой неудачной остроте одно это слово, «соль», является единственной существующей связью между обоими несходными представлениями. Таким случаем является вышеприведенный пример: Home-Roulard. «Удачная» же острота получается в том случае, если правым оказывается детское ожидание и если подобием слов, действительно, указывается одновременно на другое существенное подобие смысла, как в примере: Traduttore—Traditore. Оба несходные представления, которые связаны здесь внешней ассоциацией, стоят, кроме того, в остроумной связи, которая свидетельствует об их родственности по существу. Внешняя ассоциация заменяет только внутреннюю связь; она служит только для того, чтобы указать на эту связь или выяснить ее. «Переводчик не только подобен предателю, он тоже является до некоторой степени предателем; он по праву получил свое имя».

Выясненная здесь разница совпадает с нижеприведенным отделением «шутки» от «остроты». Но было бы неправильно, если бы мы исключили такие примеры, как Home-Roulard из обсуждения вопроса о природе остроумия. Принимая во внимание своеобразное удовольствие от остроты, мы находим, что «неудачные» остроты отнюдь не неудачны, как остроты, т. е. не неспособны доставить удовольствие.

унификация, созвучие, многократное употребление, модификация известных оборотов речи, намек на цитату — позволяет отметить как общую характерную черту тот факт, что каждый раз находят вновь нечто известное там, где вместо него можно было бы ожидать что-то новое. Эта возможность вновь обрести нечто известное исполнена удовольствия, и нам опять-таки нетрудно видеть в этом удовольствии — удовольствие от экономии, отнести его к экономии психической затраты.

Тот факт, что вновь нахождение известного, «опознание» исполнено удовольствия, является, по-видимому, общепризнанным. Groos говорит: «Опознание повсюду, где оно не слишком механизировано (как, например, при одевании, где...), связано с чувством удовольствия. Один только признак известного легко сопровождается уже тем тихим удовольствием, которое испытывает Фауст, когда он вновь вступает после жуткой встречи в свой кабинет»... «Если самый акт опознания возбуждает такое удовольствие, то мы можем ожидать, что человек постарается упражнять эту способность ради нее самой, следовательно, экспериментировать, играя ею. И, действительно, Аристотель усматривает в радости от опознания основу художественного наслаждения, и следует признать, что этого принципа нельзя игнорировать, хотя он и не имеет такого большого значения, как полагает Аристотель».

Groos обсуждает затем игры, характерная черта которых состоит в повышении удовольствия от опознания благодаря тому, что на пути к этому последнему воздвигают препятствия, следовательно, создают «психическую запруду», которая устраняется актом познания. Но его попытка объяснения не принимает во внимание того факта, что познание само по себе исполнено удовольствия в то время, как он, ссылаясь на эти игры, учитывает удовольствие от познания как радость силы (die Freude an der Macht), как преодоление трудности. Я считаю этот последний момент вторичным и не вижу никаких причин уходить от более простого понимания, согласно которому познание само по себе, т. е. благодаря уменьшению психической затраты, исполнено удовольствия, и основанные на этом удовольствии игры пользуются лишь механизмом запруды, чтобы повысить свою ценность.

Общеизвестно, что рифма, аллитерация, припев и дру-

гие формы повторения подобных созвучных слов в поэзии пользуются тем же самым источником удовольствия, вновь нахождением известного. «Чувство силы» не играет при этих технических приемах, являющих собою такую полную аналогию с «многократным употреблением», никакой значительной роли.

При том близком отношении, какое существует между опознанием и воспоминанием, мы можем без риска утверждать, что существует также удовольствие от воспоминания, т. е., что акт воспоминания сопровождается сам по себе чувством удовольствия подобного же происхождения. Groos, по-видимому, не склоняется к такому предположению, но он считает удовольствие от воспоминания производным опять-таки чувства силы, в котором он ищет — на мой взгляд неправильно — главную основу наслаждения при всех почти играх.

На «вновь нахождении известного» основано также применение другого технического вспомогательного приема остроумия, о котором до сих пор еще не было речи. Я имею в виду момент актуальности, являющийся при очень многих остротах обильным источником удовольствия и объясняющий некоторые особенности генезиса и существования острот. Есть остроты, которые совершенно свободны от этого условия, и в работе об остроумии мы вынуждены пользоваться почти без исключения такими примерами. Но мы не можем забыть о том, что мы, быть может, еще сильнее смеялись по поводу некоторых других острот, чем по поводу подобных долговечных острот; при этом употребление острот первого рода (недолговечных) было для нас труднее, так как они требовали долгих комментариев, и даже с помощью этих комментариев они не могли достигнуть определенного эффекта. Эти остроты содержат намеки на людей и на события, которые в то время были «актуальны», вызывали всеобщий интерес и держали всех в напряжении. После того, как этот интерес угасает и соответствующее происшествие исчерпано, эти остроты также лишаются части своего действия в смысле удовольствия (Lustwirkung), и нередко очень значительной части, как, например, острота, созданная моим дружественным, гостеприимным хозяином, когда он назвал розданное мучное блюдо «Home-Roulard»; она кажется мне теперь не столь удачной, как тогда, когда Home-Rule был постоянной руб

рикой в политическом отделе наших газет. Если я попытаюсь теперь оценить достоинство этой остроты указанием на то, что одно это слово перевело нас с большой экономией окольного мысленного пути из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, то я должен был бы изменить это указание в том смысле, «что это слово переводит нас из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, но этот последний круг вызывал наш оживленный интерес, так как он все время занимал нас». Другая острота: «Эта девушка напоминает мне Дрейфуса; армия не верит в ее невинность», несмотря на то, что ее технические приемы должны были бы остаться неизменными, в настоящее время как будто утратила свою яркость. Смущение, возникающее вследствие сравнения, и двоякое толкование слова «невинность» не могут искупить того, что этот намек, касавшийся тогда события, к которому относились с живейшим возбуждением, напоминает теперь о происшествии, интерес к которому иссяк. Следующая острота тоже может служить примером актуальной остроты: кронпринцесса Луиза обратилась с запросом в крематорий в Готе, сколько стоит сожжение. Управление ответило: «Сожжение стоит 5000 марок, но ей посчитают только 3000 марок, так как она один раз уже перегорела»; эта острота кажется для настоящего времени неудачной; одно время мы оценивали ее очень высоко, а некоторое время спустя, когда нельзя рассказать ее, не присовокупив к ней комментария о том, кто такая была принцесса Луиза и как следует понимать ее «горение», она, несмотря на отличную игру слов, останется без эффекта.

Большое число находящихся в обращении острот имеет определенную длительность существования, собственное определенное течение, слагающееся из периода расцвета и периода упадка и оканчивающееся полным забвением. Потребность людей извлекать удовольствие из мыслительных процессов создает затем все новые и новые остроты, опираясь на новые злободневные интересы. Жизненная сила актуальных острот отнюдь не принадлежит этим остротам, она заимствуется при помощи намека у всяких других интересов, прекращение которых определяет и судьбу самой остроты. Момент актуальности, присоединявшийся как особенно

обильный, хотя и непостоянный источник удовольствия к собственным источникам остроумия, не может быть просто сопоставлен с вновь нахождением известного. Речь может идти скорее об особой квалификации известного, которому должно принадлежать свойство свежего, недавнего, нетронутого забвением. При образовании сновидения тоже приходится встречаться с особым предпочтением, которое оказывается свежему материалу, и нельзя не предположить, что ассоциация со свежим материалом вознаграждается своеобразным удовольствием и, таким образом, облегчается ее возникновение.

Унификация, которая является собственно только повторением в области связи, существующей между определенными мыслями, вместо повторения материала, нашла себе у G. Th. Fechner'а особую оценку в качестве источника удовольствия, доставляемого остроумием. Fechner говорит: «На мой взгляд, в поле зрения, которое мы имеем перед собой, главную роль играет принцип объединенной связи разнообразного материала, но он нуждается в подкрепляющих побочных условиях, чтобы увеличить благодаря своему своеобразному характеру, размеры того удовольствия, которое могут доставить относящиеся сюда случаи»[1].

Во всех этих случаях повторения одной и той же связи или одного и того же словесного материала, вновь нахождения известного и свежего — нам отнюдь не возбраняется производить испытываемое при этом удовольствие из экономии психической затраты, если эта точка зрения оказывается весьма пригодной для объяснения отдельных деталей и для новых обобщений. Мы знаем, что нам еще предстоит точное выяснение того способа, с помощью которого осуществляется эта экономия, и смысла выражения «психическая затрата».

Третья группа психических приемов остроумия — в большинстве случаев острот по смыслу — которая охватывает ошибки мышления, передвигание, бессмыслицу, изображение при помощи противоположного и др., на первый взгляд носит как будто особый отпечаток и не обнаруживает ничего общего с технически-

---

[1] Глава XVII озаглавлена: «Об остроумных и метких сравнениях, игре слов и других случаях, носящих характер забавного, веселого, смешного».

ми приемами вновь нахождения известного или замены предметных ассоциаций словесными ассоциациями; тем не менее именно в данном случае очень легко показать точку зрения экономии или уменьшения психической затраты.

Вообще не подлежит сомнению, что легче и удобнее уклоняться от избранного мысленного пути, чем придерживаться его, сваливать в одну кучу противоположные понятия, чем противопоставлять их, что особенно удобно принимать отбрасываемые логикой умозаключения и не принимать, наконец, во внимание при сочетании слов или мыслей условие, согласно которому должен получиться также и смысл; а это, именно, делают те технические приемы остроумия, о которых идет речь. Но эта постановка вопроса вызовет удивление по поводу того, что такой образ действия работы остроумия является источником удовольствия, так как при всех такого рода недочетах мыслительной деятельности вне остроумия мы испытываем только неприятное чувство отталкивания от них.

«Удовольствие от бессмыслицы», как мы могли бы коротко сказать, в действительной жизни скрыто вплоть до полного его исчезновения. Чтобы доказать его, мы должны подробно рассмотреть два случая, в которых оно очевидно в настоящее время и всегда будет очевидно: поведение учащегося ребенка и поведение взрослого в настроении, измененном под влиянием интоксикации. В то время, когда ребенок учится владеть запасом слов родного языка, ему доставляет очевидное удовольствие, «играя, экспериментировать» (Groos) этим материалом, и он соединяет слова, не связывая этого соединения со смыслом слов, чтобы достигнуть эффекта удовольствия, получаемого от их ритма или рифмы. Это удовольствие ему постепенно воспрещается, и, наконец, ему остается дозволенной лишь имеющая смысл связь слов. В более позднем возрасте эти стремления невольно ищут выхода из заученных ограничений в употреблении слов путем искажения слов определенными надстройками и изменения их формы некоторыми приемами (редупликации, дрожащая речь) или даже созданием своего собственного языка для употребления среди товарищей по игре; стремления эти впоследствии вновь выплывают на поверхность у душевнобольных некоторых категорий.

Я полагаю, что это является постоянным мотивом, которому следует ребенок, начиная такого рода игры; в дальнейшем развитии он предается им уже с сознанием того, что они бессмысленны, и находит удовольствие в этой прелести запрещенного разумом. Он пользуется игрой для того, чтобы избежать гнета критического разума. Но гораздо сильнее те ограничения, которые при воспитании касаются правильного мышления и обособления действительно существующего в реальности от ложного, и потому протест против принуждения к мышлению и к реальности — глубок и длится долго; даже феномены фантастической деятельности подпадают под эту точку зрения. Сила критики в позднейшем периоде детства и в периоде обучения, простирающемся за пределы зрелости, в большинстве случаев оказывается настолько возросшей, что удовольствие от «бессмыслицы, освобожденной от гнета и критики», только в редких случаях рискует проявиться в прямом виде. Человек не решается высказать бессмыслицу, но характерная для ребенка склонность к бессмысленному, нецелесообразному поведению оказывается прямым производным удовольствием от бессмыслицы. В патологических случаях можно легко заметить, что эта склонность настолько усилилась, что она опять управляет разговором и ответами гимназистов подобно тому, как это было в детстве. У некоторых заболевших неврозом гимназистов я мог убедиться, что бессознательно действующее удовольствие, испытываемое от продуцированной ими бессмылицы, принимало не меньшее участие в их ошибочных действиях, чем истинное незнание.

И студент впоследствии не отказывается продемонстрировать протест против принуждения к мышлению и к реальности; власть этого принуждения, как он чувствует, становится все более нетерпимой и все более неограниченной. Сюда относится добрая часть студенческих кутежей. Человек является «неутомимым искателем удовольствия» — я уже не помню, у какого автора я нашел это счастливое выражение — и ему очень тяжело отказаться от однажды вкушенного удовольствия.

Веселой бессмыслицей пьяной болтовни студент пытается спасти для себя удовольствие, которое он получает от свободы мышления и которое становится для него все более и более недоступным благодаря влия-

нию университетских лекций. Даже еще позднее, когда он, будучи зрелым человеком, встречается с другими зрелыми людьми на научном конгрессе и опять чувствует себя учащимся, то «банкетная газета» после окончания заседания, которая карикатурно превращает новые открытия в бессмыслицы, должна вознаградить его за вновь прибавившиеся задержки мышления.

Слова «пьяная болтовня» и «банкетная газета», дают доказательства того, что критика, вытеснившая удовольствие от бессмыслицы, стала уже настолько сильной, что она не может быть даже временно устранена без токсического вспомогательного действия. Изменение настроения является самым ценным, что доставляет человеку алкоголь и в силу чего этот «яд» не для каждого является одинаково ненужным. Веселое настроение, эндогенно возникшее или токсически вызванное, уменьшает задерживающие силы и скрытую за ними критику и делает, таким образом, вновь доступными источники удовольствия, над которыми тяготел запрет. Чрезвычайно поучительно видеть, как с подъемом настроения уменьшаются претензии на остроумие. Расположение духа заменяет остроумие, равно как остроумие должно стремиться заменить собой расположение духа, в котором проявляются прежде запрещенные возможности наслаждения и скрытое за ними удовольствие от бессмыслицы.

«Mit wenig Witz und viel Behagen».
(Мало остроумия и много веселья).

Под влиянием алкоголя взрослый человек опять превращается в ребенка, которому доставляет удовольствие свободное распоряжение течением своих мыслей без необходимости соблюдать логическую связь.

Мы надеемся, что мы также доказали, что эти технические приемы острот-бессмыслиц соответствуют источнику удовольствия. Нам остается только повторить, что это удовольствие проистекает от экономии психической затраты, от уменьшения гнета критики.

Бросив еще раз взгляд назад на обособленные в три группы технические приемы остроумия, мы замечаем, что первая и третья из этих групп, замена предметных ассоциаций словесными ассоциациями и употребление бессмыслицы для воссоздания старых свобод и избавления от гнета интеллектуального воспитания, могут

быть объединены; это — психические облегчения (Erleichterungen), которые можно до некоторой степени противопоставить экономии, составляющей технику второй группы. К облегчению уже существующей и экономии предстоящей еще психической затраты, к этим двум принципам сводится, таким образом, вся техника остроумия и вместе с тем все удовольствие, проистекающее от этих технических приемов. Впрочем, оба эти вида техники и получение удовольствия совпадают — по крайней мере в главных чертах — с разделением остроумия на словесные остроты и остроты по смыслу.

Предшествующие рассуждения привели нас внезапно к истории развития или психогенезу остроумия; к этому психогенезу мы хотим теперь подойти ближе. Мы изучили предварительные ступени остроумия, развитие которых вплоть до тенденциозного остроумия может открыть, вероятно, новые взаимоотношения между различными характерными чертами остроумия. Перед каждой остротой существует нечто, что мы могли бы обозначить как игру или «шутку». Игра — мы будем придерживаться этого наименования — наступает у ребенка в то время, когда он учится употреблять слова и присоединять мысли одна к другой. Эта игра следует, вероятно, одному из влечений, которые вынуждают ребенка к упражнению своих способностей (Groos); он наталкивается при этом на действие удовольствия, которое проистекает от повторения сходного, от вновь нахождения известного, от созвучности и т. д., и которое объясняется как неожиданная экономия психической затраты. Нечего удивляться тому, что эти эффекты удовольствия поощряют ребенка к игре и побуждают его продолжить эти эффекты, не обращая внимания на значение слов и на связь предложений. Игра словами и мыслями, мотивируемая определенными эффектами удовольствия от экономии, является, таким образом, первой предварительной ступенью остроумия.

Усиление момента, который заслуживает названия критического отношения или разумности, кладет конец этой игре. Игра забрасывается как нечто бессмысленное или прямо противоречащее здравому смыслу; она становится невозможной вследствие критического отно-

шения. При этом исключается всякая возможность (кроме случайной) извлекать удовольствие из этих источников вновь нахождения известного и т. д., разве только взрослый приходит в радостное настроение, которое упраздняет критическую задержку подобно веселью ребенка. Хотя в этом случае становится опять возможной старая игра, сопровождающаяся получением удовольствия, но человек не хочет ожидать этого случая и не хочет отказаться от удовольствия, которое он может испытать. Он, следовательно, ищет средств, которые сделали бы его независимым от радостного настроения; дальнейшее развитие этого процесса в остроту управляется двумя стремлениями: избежать критики и заменить собой расположение духа.

Этим начинается вторая предварительная ступень остроумия — шутка. Она стремится получить удовольствие, доставляемое игрой, заставив замолчать вместе с тем голос критики, который не позволяет возникнуть чувству удовольствия. К этой цели ведет только один-единственный путь: бессмысленное сопоставление слов или противоречащее здравому смыслу нанизывание мыслей должно все-таки иметь какой-нибудь смысл. Все искусство работы остроумия направлено на то, чтобы найти такие слова и такие констелляции мыслей, при которых это условие было бы выполнено. Все технические приемы остроумия находят в себе применение уже здесь, при шутке, и практика языка в свою очередь не отграничивает резко шутку от остроты. Шутка отличается от остроты тем, что в шутке смысл ускользнувшей от критики фразы не должен быть ценным, новым или даже просто удачным; он должен быть выражен именно в таком-то определенном виде, хотя бы это было неупотребительно, излишне и бесполезно. При шутке на первом плане стоит удовлетворение от осуществления того, что запрещено критикой.

Простой шуткой является, например, определение Schleiermacher'ом ревности, как страсти, которая ревностно ищет, что причиняет страдания (Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft). Шуткой является и следующее восклицание проф. Kästner'а, преподававшего физику в Геттингене в XVIII столетии и слывшего остряком: на вопрос о возрасте, заданный им студенту по фамилии Война, он, получив ответ, что студенту 30 лет, вос-

кликнул: «Ах, в таком случае я имею честь видеть тридцатилетнюю войну». Шуткой ответил Rokitansky на вопрос о том, какие профессии избрали его четыре сына (два врача и два певца): «Zwei heilen und zwei heulen»[1]. Этот ответ был верен и потому не мог быть оспариваем, но он не прибавил ничего нового к тому, что содержалось в выражении, стоящем в скобках. Несомненно, что этот ответ принял другую форму только ради удовольствия, вытекающего из унифицирования и созвучия обоих слов.

Я надеюсь, что только что высказанное нами положение стало, наконец, ясным. В оценке технических приемов остроумия нам всегда мешало то обстоятельство, что они свойственны не одному только остроумию и что тем не менее сущность остроумия зависит от них, так как устранение их путем редукции влекло за собой утрату характера остроты и удовольствия от остроты. Мы теперь замечаем, что то, что мы описали, как технические приемы остроумия — и в некотором смысле мы должны так продолжать называть их — является скорее источником, из которого остроумие извлекает удовольствие, и мы не удивляемся тому, что другие приемы, ведущие к той же цели, пользуются этими же самыми источниками. Свойственная же остроумию и только ему одному присущая техника, заключается в способности обеспечивать применение доставляющих удовольствие приемов от возражения критики, которая может упразднить удовольствие. Об этой способности мы можем сказать кое-что в общих чертах. Работа остроумия проявляется, как уже было упомянуто, в выборе такого словесного материала и таких ситуаций мышления, которые позволяют старой игре словами и мыслями выдержать натиск критики; для этой цели должны быть использованы все особенности запаса слов и все констелляции связи мыслей для искусного составления текста. Быть может, нам впоследствии придется еще охарактеризовать работу остроумия одним определенным качеством, пока же остается необъясненным, как может быть сделан выгодный для остроумия выбор. Но тенденция и работа остроумия, заключающиеся в защите доставляющих удовольствие словесных и мыслительных связей от критики, выясня-

---

[1] «Двое лечат, а двое воют».

ется уже как существенная особенность шутки. Уже с самого начала работа остроумия заключается в том, чтобы упразднить внутренние задержки и сделать в изобилии доступными те источники удовольствия, которые стали недоступными, и мы увидим, что остроумие на протяжении всего своего развития остается верным этой характеристике.

Нам нужно дать теперь правильную оценку и моменту «смысла в бессмыслице» (ср. введение, с. 178), которому авторы придают такое важное значение для характеристики остроумия и для объяснения доставляемого им удовольствия. Два твердо установленных пункта в условности остроумия, его тенденция добиться исполненной удовольствия игры и его стремление оградить ее от критики разума объясняют исчерпывающим образом, почему отдельная острота, кажущаяся с одной точки зрения бессмысленной, должна с другой точки зрения казаться глубокомысленной или, по крайней мере, приемлемой. Как острота выполняет эти условия — это уже дело работы остроумия; там, где это ей не удается, острота отбрасывается как «бессмыслица». Но для нас необязательно считать удовольствие от остроумия производным антагонизма чувств, вытекающих из смысла и одновременной бессмысленности остроты, будь то непосредственно или путем «смущения от непонимания и внезапного уяснения». Точно также для нас не существует необходимости подойти ближе к вопросу, каким образом может вытекать удовольствие из смены оценки бессмыслицы оценкой осмысленности. Психогенез остроумия научил нас тому, что удовольствие от остроты вытекает из игры словами или из раскрепощения бессмыслицы и что смысл остроты предназначен только для того, чтобы защитить это удовольствие от упразднения его критикой.

Таким путем уже на исследовании шутки выясняется проблема сущности характера остроумия. Мы должны обратиться к дальнейшему развитию шутки до ее апогея — к тенденциозной остроте. Уже шутка выдвигает на первый план доставление нам удовольствия и удовлетворяется тем, что способ ее выражения не кажется нам бессмысленным или лишенным всякого содержания. Когда этот способ сам по себе содержателен и ценен, тогда шутка превращается в о с т р о т у. Мысль, которая заслужила бы наше внимание, будучи выражена

в самой простой форме, облекается теперь в такую форму, которая сама по себе вызвала бы у нас удовольствие[1], Конечно, такое соединение формы и содержания осуществляется не без цели, мы должны так думать и постараемся найти цель, лежащую в основе этого образования остроты. Одно наблюдение, сделанное прежде в качестве предварительного, наводит нас на след. Мы выше заметили, что удачная острота производит на нас, так сказать, совокупное впечатление приятного без того, чтобы мы могли непосредственно различить, какая часть удовольствия проистекает из остроумной формы, а какая — из меткого содержания мысли. Мы всегда обманываемся относительно этого подразделения; мы то переоцениваем качество остроты вследствие нашего удивления по поводу содержащейся в ней мысли, то, наоборот, переоцениваем ценность мысли из-за удовольствия, доставляемого нам остроумной оболочкой. Мы не знаем, что доставляет нам удовольствие, по поводу чего мы смеемся. Эта предполагаемая действительно существующей неуверенность нашего мышления может дать нам повод к образованию остроты в собственном смысле. Мысль ищет остроумной оболочки, так как благодаря ей мысль обращает на себя наше внимание, может показаться нам более значительной, более ценной, но прежде всего потому, что эта оболочка подкупает и запутывает нашу критику. Мы склонны приписать самой мысли то, что понравилось нам в остроумной форме, мы, кроме того, не имеем больше желания искать неправильное в том, что доставило нам удовольствие, боясь закрыть себе таким образом источник удовольствия. Если острота вызвала у нас смех, то в нас, кроме того, создается неблагоприятное для критики предрасположение, так как мы приходим тогда, с некоторой точки зрения, в такое настроение, в котором мы еще были способны удовлет-

[1] Примером, выясняющим разницу между шуткой и собственно остротой, является отличная острота, которою член «гражданского министерства» в Австрии ответил на вопрос о солидарности кабинета: «Как мы можем в н о с и т ь одинаковые предложения, когда мы не в ы н о с и м друг друга?» — Техника: применение одного и того же материала с незначительной (противоположной) модификацией; правильная и меткая мысль: не существует солидарности без личной симпатии. Противоположность модификации (в н осить—в ы н осить) соответствует разногласию, которое утверждает мысль, и служит ему изображением.

вориться игрой и заменить которое остроумие старалось всеми средствами. Хотя мы прежде установили, что такую остроту нужно назвать безобидной, а еще не тенденциозной, однако, мы не можем не признать, что только шутка лишена тенденций, т. е. она служит одной только цели: доставлять удовольствие. Острота собственно никогда не бывает лишена тенденции, хотя бы содержащаяся в ней мысль сама по себе была лишена тенденции и служила, таким образом, теоретическому интересу мышления; она преследует вторую цель, преувеличение мысли для того, чтобы она не осталась незамеченной, и ограждение ее от критики. Она проявляет здесь опять-таки свою первоначальную природу, противопоставляя себя задерживающей и ограничивающей силе, в данном случае критическому суждению.

Это первое применение остроумия, выходящее за пределы доставления удовольствия, указывает нам дальнейший путь. Острота оценивается как могущественный психический фактор, вес которого может склонять чашу весов в ту или иную сторону. Важные тенденции и влечения душевной жизни пользуются ею для всех своих целей. Первоначально лишенная тенденции острота, начавшаяся как игра, приходит вторично в связь с тенденциями, от которых на продолжительное время не может ускользнуть никакое явление душевной жизни. Мы знаем уже, что́ может сделать острота, обслуживая обнажающую, враждебную, циничную, скептическую тенденцию. При скабрезной остроте, происшедшей из сальности, она делает из третьего участника, первоначально мешавшего сексуальной ситуации, союзника, которого женщина должна стыдиться; острота подкупает его доставленным ему удовольствием. При агрессивной тенденции она, пользуясь тем же средством, превращает первоначально индифферентного слушателя в сообщника и соненавистника и создает против своего врага целую армию противников там, где был только один-единственный противник. В первом случае она преодолевает только задержки стыда и благопристойности, вознаграждая за это доставляемым ею удовольствием. Во втором случае она побеждает критическое суждение, которое в противном случае выдержало бы сражение. В третьем и четвертом случае, обслуживая циничную и скептическую тенденцию, она стремится поколебать уважение к институтам и истинам, в кото-

рые верил слушатель, усиливая, с одной стороны, аргумент, с другой же, употребляя новые приемы нападения. Там, где аргумент старается привлечь критику слушателя на свою сторону, острота стремится устранить эту критику. Нет сомнения, что острота избрала психологически более действительный путь.

При этом обзоре действий тенденциозной остроты для нас на первый план выступило то, что легче всего увидеть: действие остроты на того, кто ее слушает. Для понимания сущности остроумия более важны действия, которые совершает острота в душевной жизни того, кто ее создает или — как должно единственно правильно сказать — того, кому она приходит в голову. Мы уже однажды возымели намерение — и находим теперь повод возобновить его — изучить психические процессы остроумия, принимая во внимание распределение их между двумя лицами. Предварительно мы высказываем предположение, что возбужденный остротой психический процесс у слушателя, в большинстве случаев, копирует психический процесс автора остроты. Внешнему препятствию, которое должно быть преодолено у слушателя, соответствует внутренняя задержка у того, кто острит. По крайней мере, у последнего, как тормозящее представление, существует ожидание внешнего препятствия. В отдельных случаях внутреннее препятствие, преодолеваемое тенденциозной остротой, очевидно. Об остротах г. N. (с. 273) мы можем предположить, что они не только создают для слушателей возможность агрессивности благодаря оскорблениям, но они прежде всего делают для него возможной продукцию этой агрессивности. Среди различных видов внутренней задержки или подавления один из них заслуживает нашего особого интереса как наиболее распространенный; он носит название «вытеснения», и о его работе известно, что оно выключает из сознания подпавшие под его действие побуждения равно как и производные этих побуждений. Мы услышим, что тенденциозная острота может извлекать удовольствия даже из этих подверженных вытеснению источников. Если, таким образом, как было выше указано, можно свести преодоление внешних препятствий к внутренним задержкам и вытеснениям, то нужно сказать, что тенденциозная острота указывает яснее, чем все ступени развития остроумия, на сущность работы остроумия, заключаю-

щуюся в освобождении удовольствия путем устранения задержек. Она усиливает тенденции, которые она обслуживает, оказывая им помощь за счет подавленных побуждений или обслуживая вообще подавленные тенденции. Можно охотно признать, что именно это является работой тенденциозной остороты, однако, следует подумать о том, что все-таки непонятно, каким образом ей удается такая работа. Ее сила заключается в выигрыше удовольствия, которое она извлекает из источников игры словами и освобожденной бессмыслицы; и, обсуждая впечатления, полученные от лишенных тенденций шуток, нельзя считать размеры этого удовольствия такими большими, чтобы можно было приписать им силу, достаточную для упразднения укоренившихся задержек и вытеснений. На самом деле мы имеем перед собой не простое действие силы, а запутанные соотношения освобождения. Вместо того, чтобы излагать окольный путь, по которому я пришел к пониманию этого соотношения, я попытаюсь изложить это кратким синтетическим путем.

G. Th. Fechner в своей «Vorschule der Ästhetik» установил «принцип эстетической помощи или стимулирования», который он излагает в следующем виде: «*Из совпадения противоречивых условий, при которых может быть доставлено удовольствие и которые сами по себе имеют небольшое значение, вытекает бо́льшее и часто даже гораздо бо́льшее удовольствие, чем то, которое соответствует удовольственной ценности отдельных условий; это удовольствие больше, чем то, которое можно объяснить суммой единичных влияний; благодаря совпадению такого рода можно даже достигнуть положительного удовольственного результата и перешагнуть через порог удовольствия в тех случаях, где отдельные факторы слишком слабы для этого, так как только они сравнительно с другими условиями могут дать ощутительную выгоду чувству приятного*». Я думаю, что исследование остроумия дает нам немного моментов, подтверждающих правильность этого принципа, который оказался верным в примене-

нии к многим другим художественным произведениям. При исследовании остроумия мы нашли нечто иное, близко стоящее к этому принципу, а именно: что при совместном действии нескольких доставляющих удовольствие факторов мы не можем указать, какая часть результата приходится фактически на долю каждого из них (см. с. 261). Но предполагаемую этим «принципом помощи» ситуацию можно варьировать и поставить этим новым условиям целый ряд вопросов, которые заслуживали бы ответа. Что происходит вообще, если в одной констелляции совпадают условия удовольствия с условиями неудовольствия? Отчего зависит результат и его детерминирование? Тенденциозная острота является частным случаем этих возможностей. Существует побуждение или стремление, которое хочет освободить удовольствие из определенного источника и которое действительно освобождает его, если ничто не препятствует этому. Кроме того, существует другое стремление, противодействующее этому развитию удовольствия; оно, следовательно, тормозит или подавляет. Подавляющее течение, как показывает результат, должно быть несколько сильнее, чем подавленное, которое все-таки не упраздняется.

Теперь присоединяется еще одно стремление, которое освобождает удовольствие из того же процесса, хотя и из других источников; это стремление действует, следовательно, в том же направлении, что и подавленное стремление. Каков может быть результат в данном случае? Пример поможет нам лучше разобраться, чем эта схематизация. Существует стремление выругать кого-нибудь. Но этому настолько мешает чувство приличия, эстетическая культура, что ругательство не осуществляется. Если бы оно прорвалось благодаря, например, измененному аффективному состоянию или настроению, то этот прорыв тенденции к ругани явился бы потом источником неудовольствия. Итак, ругань не осуществляется. Но представляется возможность извлечь из материала слов и мыслей, служащих для ругательства, удачную остроту, освободить удовольствие из других источников, которым не мешает уже прежнее подавление. Однако это второе развитие удовольствия не могло бы осуществиться, если бы ругательство не было позволено. Но поскольку это последнее позволяется, с ним связывается еще новое осуществление удо-

вольствия. Опыт тенденциозной остроты показывает, что при таких обстоятельствах подавленная тенденция может получить силу благодаря помощи, оказываемой ей удовольствием от остроумия, для преодоления более сильной задержки. Человек ругается, так как благодаря этому осуществляется возможность остроты. Но достигнутое чувство приятного вызывается не только за счет остроты. Оно несравненно больше, настолько больше удовольствия от остроумия, что мы должны предположить, что подавленной прежде тенденции удалось пробиться почти совсем без ущерба. При таких соотношениях смеются больше всего по поводу тенденциозной остроты.

Быть может, мы путем исследования условий смеха придем к созданию более наглядного представления о процессе помощи, которую оказывает острота против подавления. Но мы и теперь видим, что тенденциозная острота является частным случаем принципа помощи. Возможность получения удовольствия присоединяется к ситуации, в которой существует препятствие для другой возможности удовольствия, так что эта последняя сама по себе не может вызвать удовольствия. Результатом является получение удовольствия, которое гораздо больше, чем удовольствие, привнесенное присоединившейся возможностью. Это последнее действует как *заманчивая премия*; с помощью преподнесенного небольшого количества удовольствия было выиграно очень большое количество его, которое в противном случае было бы трудно достижимо. Я имею основание предположить, что этот принцип соответствует приспособлению, которое оказалось полезным для многих друг от друга далеко расположенных областей душевной жизни, и считаю целесообразным назвать удовольствие, которое служит для освобождения большого количества удовольствия, *предварительным удовольствием*, а самый принцип — *принципом предварительного удовольствия*.

Мы можем теперь дать формулировку механизма действия тенденциозной остроты: она обслуживает тенденции, чтобы, пользуясь удовольствием от остроумия, как предварительным удовольствием, доставить новое удовольствие благодаря упразднению подавлений и вытеснений. Если мы проследим развитие тенденциозной остроты, то мы сможем сказать, что она с самого начала

до конца остается верной своей сущности. Она начинается как игра, чтобы извлекать удовольствие из свободного применения слов и мыслей. Когда усиление разума запрещает ей эту игру словами, как лишенную смысла, и игру мыслями, как бессмысленную, она обращается к шутке, чтобы удержать эти источники удовольствия и выиграть новое удовольствие из освобождения бессмыслицы. Будучи собственно остротой, еще лишенной тенденции, она оказывает свою помощь мыслям и усиливает их против нападения критического суждения, причем принцип смешивания источников удовольствия выгоден для нее; она, наконец, присоединяется к сильным, борющимся с подавлением тенденциям, чтобы упразднить внутренние задержки согласно принципу предварительного удовольствия. Разум — критическое суждение — подавление, вот те силы, с которыми борется по очереди острота; она прочно удерживает первоначальные словесные источники удовольствия и, начиная со ступени шутки, открывает новые источники удовольствия благодаря упразднению задержек. Удовольствие, которое она доставляет, будь то удовольствие от игры или от упразднения, мы можем всякий раз считать производным экономии психической затраты в том случае, если такое толкование не противоречит сущности удовольствия и оказывается плодотворным еще и для других моментов[1].

1. Краткого дополнительного изложения заслуживают те остроты-бессмыслицы, которые не нашли себе полного изложения в тексте.

При том значении, которое наше изложение признает за моментом «смысла в бессмыслице» может появиться искушение рассматривать каждую остроту, как остроту-бессмыслицу. Но это — необязательно, так как только игра мыслями ведет неизбежно к бессмыслице, другой источник удовольствия от остроумия, игра словами, производит только иногда такое впечатление и не вызывает закономерно связанной с ним критики. Двоякий корень удовольствия от остроумия — игра словами и игра мыслями, соответствующий важнейшему подразделению на остроты по смыслу и на словесные остроты — в значительной мере затрудняет краткую формулировку общих положений об остроумии.

Игра словами доставляет очевидное удовольствие вследствие вышеперечисленных моментов опознания и т. д. и в силу этого только в небольшой степени подвержена подавлению. Игра мыслями не может быть мотивирована таким удовольствием; она подвержена чрезвычайно энергичному подавлению, и удовольствие, которое она может доставить, является только удовольствием от упразднения задержки; согласно этому можно сказать, что удо-

V. МОТИВЫ ОСТРОУМИЯ. — ОСТРОУМИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Говорить о мотивах остроумия, казалось бы, излишне, так как стремление получить удовольствие должно быть признано уже достаточным мотивом работы остроумия. Но, с одной стороны, не исключена возможность того, что и другие мотивы принимают участие в продукции остроумия, а, с другой стороны, при постановке вопроса о субъективной условности остроумия следует вообще принять во внимание некоторые переживания человека. Прежде всего два факта требуют этого. Хотя работа остроумия является удачным приемом для получения удовольствия от психических процессов, тем не менее мы видим, что не все люди в одинаковой мере способны пользоваться этим сред-

---

вольствие имеет ядро первоначального удовольствия от игры и оболочку удовольствия от упразднения. — Мы, разумеется, не усматриваем удовольствия от остроты-бессмыслицы в том, что нам удалось вопреки подавлению освободить бессмыслицу, замечая сразу, что нам доставила удовольствие игра словами. — Бессмыслица, продолжающая относиться к разряду острот по смыслу, приобретает вторично функцию напряжения нашего внимания путем смущения; она служит средством усиления действия остроты, но только в том случае, если она бросается в глаза, так что смущение предшествует на некоторое время пониманию. Что бессмыслица в остроте может быть употреблена для изображения содержащегося в мысли суждения было уже показано на примерах на с. 226, но и это также не является первичным значением бессмыслицы в остроте.

К остротам-бессмыслицам примыкает целый ряд продукций, построенных по типу острот и не имеющих подходящего названия, но могущих претендовать на наименование «кажущегося остроумным слабоумия». Их существует бесчисленное множество; я хочу привести только два примера. Некто, сидя за столом, куда была подана рыба, хватает дважды обеими руками майонез и затем проводит ими по волосам. На удивленный взгляд соседа он, как бы замечая свою ошибку, извиняется: Pardon, я думал, что это шпинат.

Или: Жизнь, это — цепной мост, — говорит один. — Почему? — спрашивает другой. — А разве я знаю? — отвечает первый.

Эти крайние примеры оказывают свое действие, потому что они будят ожидание остроты, так что каждый невольно старается найти скрытый за бессмыслицей смысл. Но смысла нет никакого. Это — действительно бессмыслицы. Этот мираж создает на одно мгновение возможность освободить удовольствие от бессмыслицы. Эти остроты не совсем лишены тенденции; это — «провокации», они доставляют рассказчику удовольствие, вводя в заблуждение и огорчая слушателя. Последний утешается возможностью стать самому рассказчиком.

ством. Работа остроумия доступна не всем, а высоко продуктивная работа вообще доступна только немногим людям, о которых говорят, что они остроумны (sie haben Witz). «Остроумие» оказывается в данном случае особой способностью, соответствующей, примерно, старому термину «духовное достояние» («Seelenvermögen»), и в своем выявлении она совершенно независима от других способностей: интеллекта, фантазии, памяти и т. д. У остроумных людей нужно предполагать, следовательно, особое дарование или особые психические условия, которые дают место или способствуют работе остроумия.

Я боюсь, что мы в обосновании этой темы не достигнем удовлетворительных результатов. Нам удается только то здесь, то там, исходя из понимания единичной остроты, проникнуть в знание субъективных условий в душе того, кто эту остроту создал. Совершенно случайно произошло так, что именно тот пример остроумия, которым мы начали наше исследование техники остроумия, позволяет нам также бросить взгляд и на субъективную условность остроты. Я имею в виду остроту Гейне, на которую обратили внимание и Heymans и Lipps.

«...Я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обошелся со мной, как с совсем равным, совсем фамиллионьярно» (Луккские воды).

Эту фразу Гейне вложил в уста комическому лицу, Гирш-Гиацинту, коллекционеру, оператору и таксатору из Гамбурга, камердинеру знатного барона Христофора Гумпелино (некогда Гумпеля). Поэт испытывает, очевидно, большое удовольствие от этого своего образа, так как он заставляет Гирш-Гиацинта произнести большую речь и высказывать забавнейшие и откровеннейшие мнения; он награждает его прямо-таки практической мудростью Санчо Пансо. Следует пожалеть, что Гейне, которому, как известно, не присуща драматическая форма, вскоре оставляет этот ценный образ. В немногих местах нам кажется, что в лице Гирш-Гиацинта говорит как будто сам поэт, скрытый за прозаичной маской, и вскоре нами овладевает уверенность, что эта личность является лишь пародией поэта на самого себя. Гирш рассказывает о причинах, в силу которых он отказался от своего прежнего имени

и зовется теперь Гиацинтом. «К тому же я имею еще и ту выгоду,— продолжает он,— что буква Г. уже стоит на моей печати, и мне не нужно гравировать себе новую». Но ту же самую экономию сделал сам Гейне, когда он при своем крещении переменил свое имя «Гарри» на «Генрих». Теперь каждый, кому известна биография поэта, должен вспомнить, что Гейне имел в Гамбурге, откуда происходит и Гирш-Гиацинт, дядю, по фамилии тоже Гейне, который, будучи богатым человеком в семье, играл величайшую роль в жизни поэта. Дядя назывался тоже Соломон, как и старый Ротшильд, который принял так «фамиллионьярно» бедного Гирша. То, что в устах Гирш-Гиацинта кажется простой шуткой, оказывается имеющим фундамент серьезной горечи в приложении к племяннику Гарри-Генриху. Он принадлежал к этой семье; мы знаем даже, что его страстным желанием было жениться на дочери этого дяди, но кузина отказала ему, а дядя обращался с ним всегда несколько «фамиллионьярно», как с бедным родственником. Богатые кузены в Гамбурге никогда не принимали его радушно. Я вспоминаю рассказ моей собственной старой тетки, которая попала благодаря замужеству в семью Гейне: однажды она, будучи молодой красивой женщиной, очутилась за семейным столом в соседстве с человеком, который показался ей неприятным и с которым другие обходились свысока: она не чувствовала необходимости быть к нему более снисходительной. Лишь много лет спустя она узнала, что этот кузен, которым пренебрегали и которого презирали, был поэт Генрих Гейне. Как жестоко страдал Гейне в молодости и впоследствии от такого отношения к себе своих богатых родственников, можно узнать из некоторых отзывов. На почве такой субъективной ущемленности выросла затем острота «фамиллионьярно».

И в некоторых других остротах великого насмешника можно предположить подобные субъективные условия, но я не знаю другого примера, на котором это можно было бы выяснить таким убедительным образом; поэтому опасно высказываться более определенно о природе этих личных условий, и уже с самого начала мы не склонны требовать для каждой остроты таких сложных условий возникновения. В остроумных произведениях других знаменитых людей искомое проникнове-

ние в эти условия будет для нас чрезвычайно трудно. Получается приблизительно такое впечатление, что субъективные условия работы остроумия часто недалеко уходят от условий невротического заболевания, когда узнают, например, о Lichtenberg'е, что он был тяжелым ипохондриком, человеком одержимым всякого рода странностями. Наибольшее число циркулирующих острот, в особенности продуцированных на злобу дня, анонимно; можно с любопытством спросить, что это за люди, которые занимаются такой продукцией. Если иметь удобный случай в качестве врача изучить одного из таких людей, которые хотя и не являются выдающимися, но известны в своем кругу как остряки и авторы многих ходячих острот, то можно поразиться, сделав открытие, что этот остряк является раздвоенной и предрасположенной к невротическим заболеваниям личностью. Но недостаточность документальных данных удержит нас, конечно, от того, чтобы установить такую психоневротическую конституцию, как закономерное или необходимое условие для создания остроты.

Более ясным случаем являются опять-таки еврейские остроты, которые, как уже упомянуто, сплошь и рядом созданы самими евреями в то время, как истории о евреях другого происхождения почти никогда не возвышаются над уровнем комической шутки или грубого издевательства (с. 281). Условие самопричастности можно выяснить здесь так же, как и при остроте Гейне «фамиллионьярно», и значение его заключается в том, что непосредственная критика или агрессивность затруднена для человека и возможна только окольным путем.

Другие субъективные условия или благоприятные обстоятельства для работы остроумия не в такой степени покрыты мраком. Двигательной пружиной продукции безобидных острот является нередко честолюбивое стремление проявить себя, показать свой ум, которое может быть сопоставлено с эксгибиционизмом в сексуальной области. Наличность бесчисленного множества заторможенных влечений, подавление которых сохранило некоторую степень лабильности, создает благоприятное предрасположение для продукции тенденциозной остроты. Таким образом, особенно отдельные компоненты сексуальной конституции человека могут являться мотивами создания острот. Целый ряд скабрез-

ных острот позволяет нам сделать заключение о скрытом эксгибиционистическом влечении их авторов; тенденциозные остроты, связанные с агрессивностью, удаются лучше всего тем людям, в сексуальности которых можно доказать мощный садистический компонент, но в жизни которых он более или менее заторможен.

Вторым обстоятельством, требующим исследования субъективной условности остроумия, является тот общеизвестный факт, что никто не может удовлетвориться созданием остроты для самого себя. С работой остроумия неразрывно связано стремление рассказать остроту. Это стремление настолько сильно, что оно довольно часто осуществляется во время самого серьезного дела. При комическом произведении рассказывание другому лицу тоже доставляет наслаждение, но оно не так властно. Человек, наткнувшись на комическое, может наслаждаться им сам один. Остроту он, наоборот, должен рассказать. Психический процесс создания остроты не исчерпывается выдумыванием остроты; остается еще нечто, что приводит неизвестный процесс создания остроты к концу путем рассказывания выдуманного.

Мы прежде всего не знаем, на чем основано влечение к рассказыванию остроты. Но мы замечаем другую своеобразную особенность остроты, которая отличает ее от шутки. Когда мне встречается комическое произведение, я могу сам от всего сердца смеяться; меня, конечно, радует и возможность рассмешить другого человека рассказом этого комического произведения. По поводу же пришедшей мне в голову остроты, которую я сам создал, я не могу сам смеяться, несмотря на явное удовольствие, испытываемое мною от остроты. Возможно, что моя потребность рассказать остроту другому человеку каким-либо образом связана с этим смехотворным эффектом, в котором отказано мне, но который очевиден у другого.

Почему же я не смеюсь по поводу своей собственной остроты? И какова при этом роль другого человека?

Обратимся сначала ко второму вопросу. При комизме участвуют в общем два лица: кроме меня, то лицо, в котором я нахожу комическое. Если мне кажутся комичными вещи, то это происходит благодаря нередкому в мире наших представлений процессу пер-

сонификации. Этими двумя лицами, мною и объектом, довольствуется комический процесс, третье лицо может присутствовать, но оно не обязательно. Острота, как игра собственными словами и мыслями, лишена еще вначале лица, служащего для нее объектом, но уже на предварительной ступени шутки, когда ей удалось оградить игру и бессмыслицу от возражений разума, она ищет другое лицо, которому она может сообщить свои результаты. Но это второе лицо в остроте не соответствует объекту; оно соответствует третьему, постороннему лицу в комическом процессе. Получается такое впечатление, что при шутке второму лицу поручается решить, выполнила ли работа остроумия свою задачу, как будто «Я» не уверено в своем суждении по этому поводу. Безобидная, оттеняющая мысли острота тоже нуждается в другом человеке, чтобы проверить, достигла ли она своей цели. Если острота обслуживает обнажающие или враждебные тенденции, то она может быть описана, как психический процесс между тремя лицами, теми же, что и при комизме, но роль третьего лица при этом иная. Психический процесс остроумия совершается между первым лицом, «Я», и третьим, посторонним лицом, а не как при комизме между «Я» и лицом, служащим объектом.

У третьего лица при остроумии острота тоже наталкивается на субъективные условия, которые могут сделать цель доставления удовольствия недоступной. Как пишет Шекспир:

"A jest's prosperity lies in the ear,
Of him that hears it, never, in the tongue,
Of him that makes it...".

Кем владеет настроение, связанное с серьезными мыслями, тому несвойственно указать шутке на то, что ей посчастливилось спасти удовольствие от словесного выражения. Это лицо должно само пребывать в веселом или, по крайней мере, в безразличном настроении духа, чтобы третье лицо могло служить объектом для шутки. То же препятствие остается в силе для безобидной и для тенденциозной остроты; в последнем случае возникает новое препятствие в виде контраста к той тенденции, которую обслуживает острота. Готовность посмеяться по поводу удачной скабрезной остроты не может появиться в том случае, если обнаже-

ние касается высокоуважаемого родственника третьего лица; в собрании ксендзов и пасторов никто не решится привести сравнение Гейне католических и протестантских священнослужителей с мелкими торговцами и служащими большой фирмы, а в обществе преданных друзей моего противника самая остроумная брань, которую я могу привести против него, является не остроумием, а бранью и вызывает у слушателей гнев, а не удовольствие. Некоторая степень благосклонности или определенная индифферентность, отсутствие всех моментов, могущих вызвать сильные, противоположные тенденции чувства, является необходимым условием, если третье лицо должно содействовать осуществлению процесса остроумия.

Там, где отпадают такие препятствия для действия остроты, там выступает феномен, которого касается наше исследование: удовольствие, которое доставила нам острота, проявляется отчетливее на третьем лице, чем на авторе остроты. Мы должны довольствоваться тем, что говорим «отчетливее» там, где мы были бы склонны спросить, не интенсивнее ли удовольствие слушателя, чем удовольствие создателя остроты, так как у нас, разумеется, нет средств для измерения и сравнения. Но мы видим, что слушатель подтверждает свое удовольствие взрывом смеха, тогда как первое лицо рассказывает остроту, по большей части, с серьезно напряженной миной. Если я далее рассказываю остроту, которую я сам слышал, то я, чтобы не испортить ее действия, должен при рассказе вести себя точь-в-точь, как тот, который ее создал. Возникает вопрос, можем ли мы из этой условности смеха по поводу остроты сделать заключение о психическом процессе при образовании остроты.

В наши цели не входит учет всего того, что было сказано и опубликовано о природе смеха. От такого намерения нас отпугивает фраза, которую Dugas, ученик Ribot'a, начинает свою книгу «Psychologie du rire»: «Нет явления более обычного и более изученного, чем смех; ничто не привлекает к себе в такой степени, как смех, внимания как среднего человека, так и мыслителя; не существует ни одного факта, по поводу которого было бы собрано столько наблюдений и воздвигнуто столько теорий, как это было сделано в отношении смеха — и вместе с тем нет другого такого

явления, которое оставалось бы таким необъяснимым, как тот же самый смех; невольно является искушение повторить вместе с скептиками, что надо просто смеяться и не спрашивать почему смеешься; тем более, что всякое размышление убивает смех и что знание причин смеха сейчас же послужило бы поводом к исчезновению самого смеха».

Но зато мы не упустим случая использовать для нашей цели тот взгляд на механизм смеха, который отлично подходит к нашему собственному кругу мыслей. Я имею в виду попытку объяснения H. Spencer'а в его статье «Физиология смеха».

По Spencer'у смех — это феномен разрешения душевного возбуждения и доказательство того, что психическое применение этого возбуждения наталкивается внезапно на препятствия. Психическую ситуацию, которая разрешается смехом, он изображает следующим образом: «Laughter naturally results only when consciousness is unawares transferred from great things to small — only when there it what we may call a descending incongruity"[1].

В точно таком же смысле французские авторы (Dugas) называют смех — «détente» проявлением разряжения, и даже формула A. Bain'а: «Laughter a relief from restraint», кажется мне не так уж далеко

---

[1] Различные пункты этого определения требуют при исследовании комического удовольствия тщательной проверки, предпринятой уже другими авторами и не имеющей во всяком случае прямого отношения к нам. — Мне кажется, что Spencer'у не посчастливилось с объяснением того, почему отреагирование находит те именно пути, возбуждение которых дает в результате соматическую картину смеха. Я хотел бы одним-единственным указанием способствовать выяснению подробно обсуждавшейся до Дарвина и самим Дарвином, но все еще не исчерпанной окончательно темы о физиологическом объяснении смеха, следовательно, об источниках и толковании характерных для смеха мышечных движений. Поскольку я знаю, характерная для улыбки, гримаса растяжения углов рта наступает впервые у удовлетворенного и пресыщенного грудного ребенка, когда он усыпленный выпускает грудь. Там эта мимика является действительным выразительным движением, так как она соответствует решению пищи больше не принимать, как будто выражая понятие «достаточно» или скорее даже «предостаточно». Этот первоначальный смысл чрезмерного, полного удовольствия насыщения может указать нам впоследствии на отношение улыбки, остающейся основным феноменом смеха, к исполненным удовольствия процессам отреагирования.

тстоящей от толкования Spencer'а, как хотят нас верить некоторые авторы.

Мы, однако, чувствуем необходимость видоизменить ысль Spencer'а и отчасти определить более очно, отчасти изменить содержащиеся в ней представ-ения. Мы сказали бы, что смех возникает тогда, когда екоторая часть психической энергии, употреблявшаяся аньше для занятия некоторых психических путей, стала еприменимой для этой цели так, что она может быть еспрепятственно отреагирована. Мы ясно представ-яем себе, какую «дурную славу» мы навлекаем на себя акой постановкой вопроса, но мы решаемся процити-овать в свое оправдание великолепную фразу из со-инения Lipps'а о комизме и юморе; из этого со-инения можно почерпнуть объяснение не только ко-изма и юмора, но и многих других проблем: «В конце онцов, отдельные психологические проблемы ведут сегда чрезвычайно глубоко в психологию, так что основе ни одна психологическая проблема не может бсуждаться изолированно» (с. 222). Понятия: «психи-еская энергия», «отреагирование» и количественный учет психической энергии вошли в мой повседневный обиход с тех пор, как я начал философски трактовать факты психопатологии, и уже в своем «Толковании сновидений» (1900) я, согласно с Lipps'ом, сделал попытку считать «собственно деятельными в психичес-ком смысле» те психологические процессы, которые сами по себе бессознательны, а не процессы, составля-ющие содержание сознания[1]. Только, когда я говорю о занятии психических путей, я как будто отдаляюсь от употребляемых у Lipps'а сравнений. Познание способности психической энергии передвигаться вдоль

[1] См.: отрывок в цитиров. книге Lipps'а, гл. VIII. «О психи-ческой силе» и т. д. (Сюда же относится «Толкование сновиде-ний» VIII). — «Итак, остается в силе общее положение: факто-рами психической жизни являются не процессы, составляющие содержание сознания, а сами по себе бессознательные процессы. Задача психологии, если только она не хочет заниматься про-стым описанием содержания сознания, должна заключаться в том, чтобы из качества содержания сознания и его временной связи сделать вывод о природе этих бессознательных процессов. Психо-логия должна быть теорией этих процессов. Но такая психология очень скоро найдет, что существуют совершенно различные осо-бенности этих процессов, которые не представлены в соответст-венном содержании сознания».

определенных ассоциативных путей, а также познание почти неизгладимого сохранения следов психических процессов побудили меня фактически сделать попытку картинного изображения неизвестного. Чтобы избежать недоразумений, я должен присовокупить, что я не сделал ни одной попытки провозгласить клетки или волокна или приобретающую теперь все бóльшее значение систему неврозов субстратом для этих психических путей, хотя такие пути должны были бы быть представлены каким-то неизвестным еще образом органическими элементами нервной системы.

Итак, при смехе, согласно нашему предположению, даны условия для того, чтобы количество психической энергии, употреблявшееся до сих пор для занятия психических путей, получило возможность свободного отреагирования, и так как, хотя и не каждый смех, но смех по поводу остроты, безусловно, является признаком удовольствия, то мы будем склонны привести это удовольствие в связь с прекращением существовавшей до сих пор затраты энергии. Когда мы видим, что слушатель остроты смеется, а автор остроты не смеется, то это может свидетельствовать для нас только о том, что у слушателя прекратилась затрата психической энергии в то время, как при создании остроты возникают задержки либо для прекращения затраты энергии, либо для возможности отреагирования. Едва ли можно более верно охарактеризовать психический процесс у слушателя, являющегося третьим участвующим лицом в остроте, чем подчеркивая тот факт, что он получает удовольствие от остроты с незначительной затратой собственной энергии. Это удовольствие является для него, так сказать, подарком. Слова остроты, которую он слышит, обязательно вызывают в нем те представления или ту связь мыслей, возникновению которых у него противодействовали очень сильные внутренние задержки. Он должен был бы сам приложить усилия, чтобы произвольно осуществить эту связь в качестве первого участвующего лица в остроте, или, по крайней мере, затратить на это такое количество психической энергии, которое соответствует силе задержки, подавления или вытеснения этих представлений. Эту психическую затрату он сэкономил; согласно нашим предыдущим рассуждениям мы должны сказать, что его удовольствие соответствует этой экономии.

Согласно нашему взгляду на механизм смеха мы могли бы скорее сказать, что энергия, употреблявшаяся для обслуживания задержки, внезапно стала излишней благодаря воссозданию запретных представлений путем слухового восприятия; отток этой энергии прекратился, и поэтому она получила в смехе возможность отреагирования. В сущности оба эти процесса приводят к одному и тому же, так как сэкономленная затрата энергии точно соответствует задержке, которая стала ненужной. Но последний процесс более нагляден, так как он позволяет нам сказать, что слушатель остроты смеется, затрачивая при этом такое количество психической энергии, какое было освобождено благодаря упразднению задержки; смехом он как будто осуществляет отреагирование этого количества энергии.

Если лицо, у которого возникает острота, не может смеяться, то это указывает, как мы уже сказали, на то, что процесс, происходящий у этого лица, отличен от процесса, имеющего место у третьего лица, у которого происходит либо упразднение задержки, либо дана возможность отреагирования этой задержки. Но первый из этих двух случаев не осуществим, как мы сейчас должны будем признать. Задержка должна быть упразднена и у первого лица, в противном случае не была бы создана острота; возникновение остроты должно было бы ведь преодолеть это сопротивление. Точно так же было бы невозможно, чтобы первое лицо не испытывало удовольствия от остроты, являющейся, конечно, следствием упразднения задержки. Таким образом, остается только второй случай, когда первое лицо, хотя оно и ощущает удовольствие, не может смеяться, так как отреагирование невозможно. Такая невозможность отреагирования, являющегося условием смеха, может получиться в результате того, что освободившаяся энергия тотчас находит себе другое эндопсихическое применение. Хорошо, что мы обратили внимание на эту возможность; мы вскоре еще больше заинтересуемся ею. Но у первого участвующего в остроте лица может быть осуществлено другое условие. Быть может, вообще не освободилось такое количество энергии, которое способно проявить себя, несмотря на последовавшее упразднение задержки. Ведь у первого лица совершается работа остроумия, которая должна соответствовать определенному количеству новой

психической затраты. Следовательно, первое лицо само добывает силу, которая упраздняет задержку. Из этого оно, безусловно, извлекает удовольствие, в случае тенденциозной остроты даже очень значительное, так как полученное благодаря работе остроумия предварительное удовольствие само берет на себя функцию упразднения задержки, но затрата, производимая работой остроумия, в каждом отдельном случае заимствуется из выигрыша, получающегося при упразднении задержки, та самая затрата, которой нет у слушателя остроты. Для подкрепления вышеизложенного можно привести еще тот факт, что острота лишается своего смехотворного эффекта и у третьего лица, как только от него требуется затрата мыслительной энергии. Намеки, которые делает острота, должны бросаться в глаза, пробелы должны быть легко дополняемы; с пробуждением сознательного мыслительного интереса действие остроты, как правило, становится невозможным. В этом заключается важное отличие остроты от загадки. Вероятно, психическая констелляция во время работы остроумия вообще не благоприятствует свободному отреагированию выигранной энергии. Мы не можем здесь, конечно, глубже вдаваться в понимание этого процесса. Мы подробнее выяснили одну часть нашей проблемы, где шла речь о том, почему смеется третье лицо, чем другую часть, где шла речь о том, почему не смеется первое лицо.

Тем не менее, если мы придерживаемся наших взглядов на условия смеха и на психический процесс, происходящий у третьего лица, то мы вынуждены дать себе удовлетворительное объяснение целого ряда известных нам, но непонятных особенностей остроты. Если у третьего лица должно быть освобождено некоторое, способное к отреагированию количество энергии, то желательны благоприятствующие моменты или соблюдение некоторых условий: 1) нужно быть уверенным, что третье лицо действительно делает эту экономию затраты; 2) после освобождения этой энергии должно быть предотвращено другое психическое применение ее вместо моторного отреагирования; 3) если количество энергии, затрачиваемой на задержку, которая должна быть упразднена у третьего лица, было до этого еще усилено, увеличено, то это может принести только пользу. Всем этим целям служат определенные приемы работы

остроумия, которые мы можем объединить под названием вторичных или вспомогательных технических приемов.

Первое из этих условий устанавливает одну из особенностей, свойственных третьему лицу — слушателю остроты. Оно должно быть настолько психически согласовано с первым лицом, чтобы обладать теми же внутренними задержками, какие были преодолены работой остроумия у первого лица. Кто не склонен к сальностям, тому удачные обнажающие остроты не доставят никакого удовольствия. Агрессивные остроты г. N. не будут поняты необразованным человеком, который привык давать волю своему удовольствию, получаемому им от ругани. Каждая острота требует, таким образом, своей собственной аудитории, и если одна и та же острота вызывает смех у нескольких человек, то это является доказательством большой психической согласованности. Впрочем, мы дошли тут до такого пункта, который дает нам возможность еще подробнее разобрать процесс, происходящий у третьего лица. Оно должно уметь привычным образом воссоздавать в себе ту самую задержку, которую преодолела острота у первого лица, так что у третьего лица, как только оно слышит остроту, навязчиво или автоматически пробуждается готовность к этой задержке. Эта готовность к задержке, которую я должен учитывать, как действительную затрату, аналогичную мобилизации в армии, признается одновременно (у первого и третьего лица. — Я. К.) излишней или запоздалой и отреагируется, таким образом, in statu nascendi путем смеха[1].

Второе условие для создания свободного отреагирования, заключающееся в предотвращении иного применения освобожденной энергии, оказывается гораздо более важным. Оно дает теоретическое объяснение ненадежности действия остроты в том случае, если выраженная в остроте мысль вызывает у слушателя сильно возбуждающие представления, причем от согласованности или противоречивости между тенденциями остроты и рядом мыслей, овладевающих слушателем, зависит, будет ли сосредоточено внимание на процессе остроумия или он будет оставлен без внимания. Но еще бо́льшего теоретического интереса заслуживает целый

[1] Точка зрения «Status nascendi» доказана в несколько иной форме Heymans'ом. (Zeitschrift für Psychol„ XI).

ряд вспомогательных технических приемов, которые явно служат цели отвлечь внимание слушателя от процесса остроумия и создать для него возможность протекать автоматически. Я говорю умышленно «автоматически», а не «бессознательно», потому что последний термин ввел бы нас в заблуждение. Здесь речь идет только о том, чтобы не допустить бóльшей активности (Besetzung) внимания к психическому процессу, возникающему при выслушивании остроты; употребление этого вспомогательного технического приема дает нам право предположить, что именно активность внимания принимает большое участие в надзоре за освобожденной энергией и в новом применении ее.

По-видимому, вообще нелегко избежать эндопсихического применения энергии, которая стала ненужной, так как мы во время своих мыслительных процессов постоянно передвигаем такую энергию с одного пути на другой, не теряя ни малейшего количества энергии на отреагирование. Острота пользуется для этого следующими приемами: во-первых, она стремится к возможно краткой формулировке, чтобы дать меньше опорных точек вниманию, во-вторых, она сохраняет условие легкости понимания (см. выше), и так как она учитывает работу мышления и делает выбор среди различных мыслительных путей, то она должна была бы подвергать опасности свое действие не только благодаря неизбежной мыслительной затрате, но и благодаря возбуждению внимания. Но, кроме того, острота для того, чтобы отвлечь внимание, прибегает к новой уловке: она предлагает вниманию нечто выраженное в остроте, что приковывает его, так что тем временем благодаря остроте может беспрепятственно произойти освобождение энергии, затрачивавшейся на задержку, и отреагирование ее. Уже пропуски в тексте остроты выполняют эту задачу. Они побуждают к заполнению этих пробелов и осуществляют, таким образом, отвлечение внимания от процесса остроумия. Здесь работа остроумия как будто прибегает к услугам технических приемов загадки, которая привлекает внимание. Еще большее значение имеют фасадные образования, которые мы встречаем, особенно в некоторых группах тенденциозных острот. Фасадные образования отлично достигают своей цели: сосредоточить на себе внимание, которому они ставят какую-нибудь задачу.

В то время, как мы начинаем раздумывать, в чем заключается ошибка того или иного ответа, мы уже смеемся; наше внимание застигнуто врасплох; отреагирование освободившейся энергии, затрачивавшейся на задержку, выполнено. То же относится к остротам с комическим фасадом, при которых комизм приходит на помощь технике остроумия. Комический фасад способствует действию остроты больше, чем обычный прием; он не только создает возможность автоматического течения процесса остроумия благодаря тому, что он приковывает внимание; он облегчает отреагирование от остроты, предпосылая ему отреагирование от комического. Комизм действует здесь точно так, как подкупающее предварительное удовольствие, и таким образом мы можем понять, что некоторые остроты могут совершенно отказаться от предварительного удовольствия, создаваемого другими приемами остроумия[1].

[1] На примере остроты, возникающей путем передвигания, я хотел бы обсудить еще другую характерную черту техники остроумия. Гениальная артистка Gallmeyer на заданный ей однажды нежелательный вопрос: «Сколько вам лет?» — ответила «наивно и стыдливо, опустив глаза»: «В. Брюнне». Это — образец передвигания; спрошенная о возрасте она отвечает указанием на место рождения, предупреждает таким образом ближайший вопрос и дает этим понять: «Этот единственный вопрос я хотела бы оставить без ответа». И, однако, мы чувствуем, что характерная черта остроты получила здесь не безупречное выражение. Уклонение от вопроса слишком ясно, передвигание слишком бросается в глаза. Наше внимание понимает тотчас, что речь идет об умышленном передвигании. При других остротах, возникающих путем передвигания, последнее замаскировано, наше внимание приковано стремлением доказать передвигание. В одной остроте, возникающей путем передвигания (с. 223), ответ на расхваливание лошади. «А что я буду делать в ½ 7 утра в Прессбурге?» — хотя и является бросающимся в глаза передвиганием, но зато оно действует бессмысленно запутывающим образом на наше внимание в то время как при опросе артистки мы тотчас определяем передвигание в ее ответе. В другом направлении идет различие между остротой и так называемыми «шутливыми вопросами», которые могут, впрочем, прибегать к услугам самых лучших технических приемов. Вот пример шутливого вопроса, пользующегося техническим приемом передвигания: Кто является каннибалом, пожравшим своего отца и свою мать? — Ответ: Сирота. — А если он пожрал к тому же всех своих остальных родственников? — Это — наследник всего имущества. А где такое чудовище находит еще симпатию себе? В энциклопедическом словаре под буквой С. Шутливые вопросы не являются остротами, потому что требуемые остроумные ответы не могут быть рассматриваемы как намеки остроумия, пропуски и т. д.

Мы уже догадываемся и впоследствии еще яснее увидим, что в условии отвлечения внимания мы открыли немаловажную черту психического процесса, происходящего у слушателя остроты. В связи с этим мы можем понять еще и другое. Во-первых, каким образом случается так, что мы никогда не знаем, над чем мы смеемся, хотя мы можем установить это благодаря аналитическому исследованию. Этот смех является именно результатом автоматического процесса, который возможен благодаря устранению нашего сознательного внимания. Во-вторых, мы поняли своеобразность остроты, заключающуюся в том, что она оказывает свое действие на слушателя в полной мере только в том случае, если она нова для него, если она действует на него ошеломляюще. Это свойство остроты, обусловливающее ее недолговечность и побуждающее к продукции все новых и новых острот, проистекает, очевидно, из того, что ошеломить или застигнуть врасплох можно только один раз. При повторении остроты внимание направляется на выплывающее воспоминание о первом разе. Исходя из этого, мы можем понять затем стремление рассказать слышанную остроту другому человеку, который еще не знает ее. Вероятно, человек вновь получает некоторую возможность наслаждения, отпавшую вследствие недостатка новизны, из того впечатления, которое производит острота на новичка. Аналогичный же мотив побуждает автора остроты вообще рассказывать ее другому человеку.

Как на благоприятствующие моменты, которые уже являются скорее условиями процесса остроумия, я указываю, в-третьих, на те технические вспомогательные средства, которые служат для увеличения количества энергии, предназначенной для отреагирования, и усиливают таким образом действие остроты. Хотя эти же приемы усиливают, по большей части, и внимание, направленное на остроту, но они же вновь обезвреживают влияние внимания, приковывая его и ограничивая его подвижность. Все, что вызывает интерес и смущение, действует в обоих этих направлениях, следовательно, прежде всего бессмыслица, прежде всего противоположность, «контраст представлений», который некоторые авторы считали существенной характерной чертой остроумия, но в котором я не усматриваю ничего,

кроме средства усиления действия остроты. Все, что смущает, вызывает в слушателе то состояние распределения энергии, которое Lipps назвал «психической запрудой» (Stauung), и он, конечно, имеет право предположить, что «разгрузка» происходит тем сильнее, чем больше была предшествующая запруда. Правда, изложение Lipps'a не относится именно к остроте, а к комическому вообще; но весьма вероятно может случиться так, что отреагирование при остроте, разгружающее энергию, которая затрачивалась на задержку, усилено таким же образом благодаря запруде.

Нам теперь ясно, что техника остроумия вообще определяется двоякого рода тенденциями: одними, которые создают возможность образования остроты у первого лица, и другими, которые должны обеспечить остроте возможно большее действие удовольствия у третьего лица. Подобная Янусу, двуликость остроты, обеспечивающая последней первоначальный выигрыш удовольствия от возражений критического рассудка, и механизм предварительного удовольствия относятся к первым тенденциям; дальнейшее усложнение техники приведенными в этой главе условиями является результатом наличия третьего лица, интересы которого приняты во внимание. Итак, острота сама по себе является лукавой плутовкой, которая служит одновременно двум господам. Все, что имеет в виду получение удовольствия, рассчитано при остроте на третье лицо, как будто какие-то внутренние, непреодолимые задержки мешают получению удовольствия первым лицом. Итак, получается полное впечатление необходимости этого третьего лица для довершения процесса остроумия. Но если мы сумели получить довольно ясное впечатление о природе этого процесса у третьего лица, то мы чувствуем, что соответствующий процесс у первого лица окутан еще для нас мраком. Из двух вопросов: почему мы не можем смеяться по поводу острот, созданных нами самими? и почему мы вынуждены рассказывать нашу собственную остроту другому человеку? — мы на первый из этих вопросов до сих пор еще не дали ответа. Мы можем только предположить, что между двумя подлежащими выяснению фактами существует тесная связь, что мы потому вынуждены рассказывать нашу остроту другому человеку, что мы сами не можем смеяться

над ней. Из наших взглядов на условия получения удовольствия и отреагирования у третьего лица мы можем сделать обратный вывод относительно первого лица, что у него отсутствуют условия для отреагирования, а условия для получения удовольствия выполнены лишь отчасти. Затем нельзя отрицать, что мы дополняем наше удовольствие, достигая невозможного для нас смеха окольным путем благодаря впечатлению от третьего лица, которое мы заставили смеяться; мы смеемся, таким образом, как будто «par ricochet», как говорит Dugas; смех относится к весьма заразительным проявлениям психических состояний. Если я заставляю другого человека смеяться, рассказывая ему остроту, то я собственно пользуюсь им, чтобы возбудить свой собственный смех; и действительно, можно наблюдать, что человек, рассказавший сперва остроту с серьезной миной, подхватывает затем смех другого человека умеренным смешком. Следовательно, сообщение своей остроты другим людям может служить нескольким целям; во-первых, дать мне объективное доказательство успеха работы остроумия, во-вторых, дополнить мое собственное удовольствие благодаря обратному действию этого другого человека на меня, в-третьих, — при повторении не самостоятельно продуцированной остроты — пополнить недостаток удовольствия, вызванный отсутствием новизны.

В заключение этих рассуждений о психических процессах остроумия, поскольку они разыгрываются между двумя лицами, мы можем бросить ретроспективный взгляд на момент экономии, который кажется нам важным для психологического понимания остроумия с тех пор, как мы дали первое объяснение технике остроумия. Мы уже давно ушли от ближайшего, но вместе с тем наивного понимания этой экономии, как желания вообще избежать психической затраты, причем экономия получается при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей. Мы тогда уже сказали себе: краткое, лаконическое не есть еще остроумное. Краткость остроумия — это особая, именно «остроумная» краткость. Первоначальный выигрыш удовольствия, которое доставляет игра словами и мыслями, проистекает действительно от одной только экономии затраты. Но с развитием игры в остроту тенденция к экономии тоже должна была переменить свои

цели, так как по сравнению с колоссальной затратой нашей мыслительной деятельности безусловно не было бы принято во внимание то, что сэкономлено благодаря употреблению одних и тех же слов или избежанию новых сочетаний мыслей. Мы можем, конечно, позволить себе сравнить психическую экономию с предприятием. Пока оборот в нем очень невелик, то, разумеется, на предприятие в целом расходуется мало, расходы на содержание управления крайне ограничены. Бережливость распространяется еще на абсолютную величину затраты. Впоследствии, когда предприятие расширилось, значение расходов на содержание управления отступило на задний план. Теперь не придают больше значения тому, как велико количество издержек, если только оборот и доходы увеличились в значительной мере. Экономия в расходах была бы мелочной для предприятия и даже прямо убыточной. Однако было бы неправильно предполагать, что при абсолютно больших расходах больше нет места тенденции к экономии. Ищущая экономии мысль шефа направится теперь на бережливость в мелочах и почувствует удовлетворение, если с меньшей затратой будет исполнено то же самое распоряжение, которое требовало раньше больших расходов, какой бы ничтожной ни казалась экономия в сравнении с общими расходами. Совершенно аналогичным образом и в нашем сложном психическом предприятии детализованная экономия остается источником удовольствия, как могут показать нам повседневные события. Кто прежде зажигал в своей комнате керосиновую лампу и устроил теперь электрическое освещение, тот в течение некоторого времени будет испытывать определенное чувство удовольствия, поворачивая электрический выключатель; это будет длиться до тех пор, покуда в тот момент в нем живо будет воспоминание о сложных манипуляциях, которые нужны были для того, чтобы зажечь керосиновую лампу. Точно так же незначительная в сравнении с общей психической затратой, осуществляемая остроумием, экономия расходования психической энергии, предназначавшейся для задержек, остается для нас источником удовольствия, так как благодаря ей мы делаем экономию одного-единственного расхода, который мы привыкли делать и который мы уже готовы были сделать и на этот раз. На первый план, несомненно, выступает момент, заклю-

чающийся в том, что мы ожидали, готовились к этому расходу.

Локализованная экономия, какою является только что рассмотренная, не замедлит доставить нам мгновенное удовольствие, но длительного облегчения она не даст, поскольку сэкономленное здесь может быть израсходовано в другом месте. Лишь в том случае, если можно избежать этого другого приложения энергии, частная экономия вновь превращается в общее уменьшение психической затраты. Таким образом при более глубоком взгляде на процессы остроумия момент уменьшения затраты занимает место момента экономии. Первый момент доставляет, очевидно, большее удовольствие. Процесс у первого лица в остроте доставляет удовольствие благодаря упразднению задержки, уменьшению местной затраты; он, по-видимому, не заканчивается до тех пор, покуда благодаря посредничеству третьего постороннего лица он не достигнет общего облегчения путем отреагирования.

С. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

VI. ОТНОШЕНИЕ ОСТРОУМИЯ К СНОВИДЕНИЮ И К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ

В конце главы, которая была посвящена открытию техники остроумия, мы высказали мысль (с. 257), что процессы сгущения с заместительным образованием и без него, передвигания, изображения путем противоположности, путем бессмыслицы, непрямого изображения и другие процессы, которые, как мы нашли, принимают участие в создании остроты, являют далеко идущую аналогию с процессами «работы сна», и мы оставили за собой право, с одной стороны, подробнее изучить эти аналогии, с другой стороны, исследовать то общее между сновидением и остроумием, которое выявляется таким путем. Нам было бы гораздо легче провести это сравнение, если бы мы могли предположить, что один из элементов сравнения — «работа сна» — известен. Но мы, вероятно, поступим лучше, если не сделаем этого предположения; у меня создалось такое впечатление, что опубликованное в 1900 году «Толкование сновидений» вызвало у моих коллег по спе-

циальности больше «смущения», чем «понимания», и я знаю, что широкие круги читателей удовлетворились тем, что свели все содержание книги к ходячему выражению «исполнение желания», которое можно легко запомнить и которым легко злоупотреблять.

Занимаясь продолжительное время проблемами, о которых там шла речь, и имея обильный материал, доставленный мне, как психотерапевту, во время моей врачебной деятельности, я не нашел в нем ничего, что требовало бы изменения или корректуры моих рассуждений, и могу поэтому спокойно выждать, пока читатели поймут «Толкование сновидений» или пока проницательная критика укажет мне основные ошибки моей интерпретации. В целях сравнения с остротой я повторю здесь в сжатом виде самое необходимое о сновидении и о работе сна.

Мы знаем сновидение из воспоминания, кажущегося нам по большей части отрывочным и возникающего после пробуждения от сна. Сновидение состоит из призрачных в большинстве случаев (но в то же время отличающихся от них) эмоциональных впечатлений, которые дали нам суррогат переживания и которые могут быть смешаны с некоторыми мыслительными процессами («знание» в сновидении) и аффективными проявлениями. То, что мы вспоминаем таким образом, как сновидение, я называю «явным содержанием». Оно часто совершенно абсурдно и запутано, иногда оно только абсурдно или только запутано. Но даже тогда, когда оно совсем связано, как в некоторых сопровождающихся страхом сновидениях, оно противопоставляется нашей жизни, как нечто чуждое, о происхождении которого нельзя отдать себе никакого отчета. Объяснения этого характера сновидения искали до сих пор в нем самом, усматривая в нем признаки беспорядочной, диссоциированной и, так сказать, «сонной» деятельности нервных элементов.

В противовес этому я показал, что это столь странное «явное» содержание сновидения всегда может быть понято, как искаженное и измененное описание определенных, логически правильных психических переживаний, которые заслуживают названия: «латентные мысли сновидения». Познание этих мыслей можно получить, если разложить явное содержание сновидения на его составные части, не обращая при этом

внимания на кажущийся смысл, который оно может иметь, и если проследить затем ассоциативные нити, исходящие от каждого, изолированного теперь элемента. Эти нити сплетаются друг с другом и приводят, наконец, к такому слою мыслей, которые не только вполне логичны, но и легко могут быть поставлены в известную нам связь с нашими душевными процессами. Путем этого «анализа» содержание сновидения освобождается от всех своих поражающих нас странностей. Но чтобы такой анализ был удачен, мы должны в течение его постоянно опровергать критические возражения, которые делаются беспрерывно против репродукции отдельных, способствующих анализу ассоциаций.

Из сравнения вспоминаемого явного содержания сновидения с найденными, таким образом, латентными мыслями сновидения вытекает понятие о «работе сна». Работой сна можно назвать всю сумму превращающих процессов, которые переводят латентные мысли сновидения в явное сновидение. За счет работы сна происходит то удивление, которое раньше вызывало в нас сновидение.

Механизм работы сна может быть описан в следующем виде: очень сложный, в большинстве случаев, ряд мыслей, который был построен в течение дня и не был исчерпан — так называемый дневной остаток — сохраняет и в течение ночи предназначенное ему количество энергии — интерес — и угрожает нарушить сон. Этот дневной остаток благодаря работе сна превращается в сновидение и делается безвредным для сна. Чтобы дать исходный пункт работе сна, дневной остаток должен обладать способностью создавать желание, — условие, которое легко выполнимо. Желание, вытекающее из мыслей сновидения, образует предварительную ступень, а впоследствии — ядро сновидения. Полученный из анализов опыт — но не теория сновидений — говорит нам, что у ребенка любого желания, оставшегося неисполненным в бодрственной жизни, достаточно, чтобы вызвать сновидение, которое получается связным, имеющим смысл, но в большинстве случаев кратким; оно легко может быть распознано, как «исполнение желания». У взрослого существует общее благоприятное условие для желания, вызывающего сновидение; условие это заключается в том, что желание чуждо

сознательному мышлению, следовательно, в том, что желание вытеснено, или в том хотя бы, что оно может содержать в себе неизвестные подкрепляющие тенденции для сознания. Не предполагая участия бессознательного в вышеизложенном смысле, я не мог бы развить дальше теорию сновидения и дать толкование испытуемому материалу, состоящему из анализов сновидений. Влияние этого бессознательного желания на сознательно-логичный материал мыслей сновидения дает в результате сновидение. Последнее втянуто при этом как будто в бессознательное, точнее говоря, оно подвержено обработке в том виде, в каком она происходит на ступени бессознательных мыслительных процессов и характерна для этой ступени. Мы до настоящего времени знаем характер бессознательного мышления и его отличие от способного стать сознательным «предсознательного» мышления только в результате «работы сна».

Совершенно новое, непростое и противоречащее общепринятому мышлению учение едва ли может выиграть в ясности при сжатом изложении. Этим замечанием я, следовательно, имею в виду не что иное, как ссылку на подробное изложение бессознательного в моем «Толковании сновидений» и на кажущиеся мне в высшей степени важными работы Lipps'а. Я знаю, что тот, кто не имеет достаточного философского образования или мало склонен к так называемой философской системе, оспаривает возможность «психически бессознательного» в смысле Lipps'а и в моем и берется доказать его невозможность на любом из психических определений. Но определения условны и могут быть изменены. Я часто имел возможность на опыте убедиться, что лица, оспаривающие бессознательное, как нечто абсурдное и невозможное, вынесли свои впечатления не из тех источников, из которых, по крайней мере, для меня, вытекает необходимость признания бессознательного. Противники бессознательного никогда не принимали во внимание эффекты постгипнотического внушения, и то, что я сообщал им в качестве образцов из моих анализов у негипнотизированных невротиков приводило их в величайшее удивление. Они никогда не допускали мысли, что бессознательное есть нечто такое, чего в действительности не знают в то время, как необходимые выводы вынуждают дополнить поня-

тие бессознательного — хотя бы под этим подразумевались мысли, способные стать сознательными — тем, о чем мы как раз в данный момент не думали, что не находилось в «центре нашего внимания». Они также не пытались убедиться в существовании таких бессознательных мыслей в их собственной душевной жизни путем анализа своего собственного сновидения, и когда я пытался производить с ними такой анализ, то они встречали свои собственные приходящие им в голову мысли только с удивлением и со смущением. Я получил также такое впечатление, что принятию «бессознательного» существенно препятствует аффективное сопротивление, основанное на том, что никто не хочет изучать своего бессознательного «Я», тогда как легче всего вообще отрицать возможность его существования.

Итак, работа сна, к которой я возвращаюсь после этого отступления, подвергает совершенно своеобразной обработке мыслительный материал, который облечен в форму желания. Она прежде всего заменяет сослагательное наклонение настоящим временем, заменяет: «Я хотел бы сделать» выражением: «Я делаю». Это «я делаю» предназначено для галлюцинаторного изображения, что я назвал «регрессией» работы сна; при этом совершается путь от мыслей к картинам восприятия, или, учитывая еще неизвестную — понимаемую не в анатомическом смысле — топику душевного процесса, можно было бы сказать, что совершается обратный путь от области мысленных картин к области эмоциональных восприятий. Этим путем, противоположным направлению развития усложняющейся душевной деятельности, мысли сновидения приобретают наглядность, наконец, ядром явной «картины сновидения» оказывается пластическая ситуация. Чтобы добиться такой эмоциональной изобразительности, мысли сновидения должны были претерпеть существенные преобразования. Но во время обратного превращения мыслей в эмоциональные картины в них наступают еще и другие изменения, которые отчасти понятны как необходимые, а отчасти являются неожиданными. Необходимым побочным результатом регрессии следует считать то, что почти все связи внутри мыслей, которые расчленяют их, оказываются потерянными для явного сновидения. Работа сна принимает для изложения, так сказать, только сырой материал представлений, не принимая

тех мыслительных соотношений, которые удерживают их друг относительно друга, или она оставляет за собой, по крайней мере, право не обращать внимания на эти последние соотношения. Другую часть работы сна мы, наоборот, не можем считать производным регрессии сна, обратного превращения в эмоциональные картины — ту именно часть, которая нам важна для аналогии с образованием остроты. Материал мыслей сновидения испытывает во время работы сна совершенно необычное укомплектование или с г у щ е н и е. Его исходными точками являются те общие черты, которые случайно или соответственно содержанию имеются налицо в мыслях сновидения; так как эти общие черты обычно недостаточны для полного сгущения, то в работе сна создаются новые, искусственные общие черты, и для этой цели охотно употребляются даже слова, в тексте которых совпадают различные значения. Вновь созданные сгущенные общие черты входят в явное содержание сновидения как представители мыслей сновидения, так что один элемент сновидения соответствует узловому и перекрестному пункту мыслей сновидения; принимая во внимание эти последние, он должен быть назван вообще «сверхдетерминированным». Факт сгущения является той частью работы сна, которую можно легче всего распознать; достаточно сравнить написанный текст сновидения с записью мыслей сновидения, полученных путем анализа, чтобы получить ясное представление о частоте сгущения в сновидении.

Не так легко убедиться во втором большом изменении, которое производит работа сна в мыслях сновидения; речь идет о процессе, который я назвал п е р е д в и г а н и е м в сновидении. Это изменение проявляется в том, что в явном сновидении стоит в центре и сопровождается большой чувственной интенсивностью то, что в мыслях сновидения находилось на периферии и было второстепенным, и наоборот. Сновидение оказывается благодаря этому «передвинутым» в сравнении с мыслями сновидения, и именно благодаря этому передвиганию сновидение оказывается чуждым и непонятным для бодрственной душевной жизни. Чтобы осуществилось подобное передвигание энергии, должна быть дана возможность беспрепятственно переходить от важных представлений к маловажным, что может на нормальное, способное стать сознательным мышление

произвести впечатление только «ошибки мышления».

Превращение в целях возможности изображения, сгущение и передвигание являются тремя большими механизмами, которые мы можем приписать работе сна Четвертый механизм, которому уделено, быть может, слишком мало места в толковании сновидений, не принят здесь во внимание для нашей цели. Выводя последовательно идеи из «топики душевного аппарата» и «регрессии» — а только такая последовательность придает полноценность рабочим гипотезам — следовало бы сделать попытку определить, на каких ступенях регрессии происходят различные превращения мыслей сновидения. Эта попытка не получила еще серьезного обоснования, но относительно передвигания, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что оно должно происходить на мыслительном материале в то время, когда он находится на ступени бессознательных процессов. Сгущение представляют себе, по всей вероятности, как процесс, распространяющийся через все течение мыслей, вплоть до области восприятия, в общем же удовлетворяются тем, что предполагают одновременно наступающее действие всех сил, принимающих участие в образовании сновидения. При той осторожности, которую, само собой понятно, следует соблюдать в трактовке таких проблем, и принимая во внимание не подлежащую здесь обсуждению принципиальную рискованность такой постановки вопроса, я все же решаюсь выставить положение, что предшествующий сновидению процесс работы сна должен быть перенесен в область бессознательного. Итак, в целом при образовании сновидения следовало бы, грубо говоря, различать три стадии: во-первых, перевод предсознательных дневных остатков в бессознательное, чему должны способствовать условия сонного состояния, затем собственно работа сна в бессознании и, в-третьих, регрессия обработанного таким образом материала сновидения вплоть до восприятия, в качестве которого сновидение проникает в сознание

В качестве сил, принимающих участие в образовании сновидения, можно распознать: желание спать; энергию, оставшуюся еще у дневных остатков после уменьшения количества ее благодаря сонному состоянию; психическую энергию снообразующего бессознательного желания; противодействующую силу «цензу-

ры», которая господствует в бодрственной жизни и не вполне исчезает во время сна. Задачей снообразования является прежде всего преодоление задержки цензуры, и именно эта задача разрешается благодаря передвиганию психической энергии внутри материала, доставляемого мыслями-сновидениями.

Теперь вспомним, по какому поводу мы при исследовании остроумия подумали о сновидении. Мы нашли, что характер и действие остроты связаны с определенными формами выражения, техническими приемами, среди которых самыми поразительными являются различные виды сгущения, передвигания и непрямого изображения. Но процессы, приводящие к тем же результатам, т. е. к сгущению, передвиганию и непрямому изображению, стали нам известны в качестве особенностей работы сна. Не напрашивается ли благодаря этой аналогии вывод, что работа остроумия и работа сна должны быть идентичны в одном, по крайней мере, существенном пункте? Работа сна оказывается, по моему мнению, расшифрованной для нас в ее важнейших характерных чертах; из психических процессов при остроумии для нас расшифрованной является та именно часть, которую мы можем сравнить с работой сна, процесс образования остроты у первого лица. Не должны ли мы поддаться искушению конструировать этот процесс по аналогии с образованием сновидения? Некоторые из особенностей сновидения настолько чужды остроте, что мы не можем перенести и соответствующую им часть работы сна на образование остроты. Регрессия хода мыслей вплоть до восприятия отпадает, конечно, для остроты; зато две другие стадии образования сновидения, погружение предсознательной мысли в бессознательную сферу и бессознательная обработка ее, если мы предположим их существование при образовании остроты, дадут нам тот именно результат, который мы можем наблюдать при остроте. Итак, мы решаемся сделать предположение, что это является процессом образования остроты. *Предсознательная мысль на момент подвергается бессознательной обработке, и результат этой обработки вскоре постигается сознательным восприятием.*

Но прежде чем мы проверим это положение в деталях, мы хотим подумать об одном возражении, которое может угрожать нашему предположению. Мы исходим

из того факта, что технические приемы остроумия указывают на те же самые процессы, которые известны нам как особенности работы сна. Нам могут легко возразить, что мы описали бы технические приемы остроумия не как сгущение, передвигание и т. д. и не пришли бы к столь далеко идущим аналогиям в приемах изображения, которыми пользуются острота и сновидение, если бы предшествующее знание работы сна не подкупило нас в нашей трактовке техники остроумия, так что мы в сущности при остроте нашли только подтверждение тем ожиданиям, с которыми мы подошли от сновидения к остроте. Такой генезис аналогии не дал бы никаких прочных гарантий ее постоянства, кроме разве нашей предубежденности. Механизмы сгущения, передвигания и непрямого изображения не были также фактически выделены ни одним другим автором в качестве форм выражения остроты. Это возражение было бы возможно, но из этого еще отнюдь не следует, что оно было бы справедливо. Точно так же возможно, что категоричность нашей трактовки благодаря знанию работы сна была необходима для того, чтобы распознать действительную аналогию. Однако окончательное решение будет зависеть только от того, сможет ли испытующая критика доказать на единичных примерах, что такая трактовка техники остроумия является навязанной и что ради нее были отброшены другие трактовки, которые ближе к истине и глубже проникают в нее, или же критика должна будет согласиться с тем, что ожидания, с которыми мы подошли от сновидения к остроте, действительно подтвердились. Я держусь того мнения, что нам нечего бояться такой критики и что наш прием редукции показал нам точно, в каких формах выражения следовало искать технические приемы остроумия. То, что мы дали этим техническим приемам те же наименования, которые заранее предрешают уже результат аналогии между техникой остроумия и работой сна, это было нашим законным правом, собственно говоря, не чем иным, как легко оправдываемым упрощением.

Другое возражение не так существенно для нас, но зато и не нуждается в столь основательном опровержении. Можно было бы думать, что согласующиеся так хорошо с нашими целями технические приемы остроумия, хотя и заслуживают признания, но не исчерпы-

вают собой всех возможных или употребляемых на практике технических приемов остроумия. Под влиянием прототипа, каким для нас явилась работа сна, мы отыскали якобы только соответствующие ей технические приемы остроумия в то время, как другие приемы, которые мы проглядели, показали бы, что такая аналогия, как нечто постоянное, не существует. Я действительно не решаюсь утверждать, что мне удалось выяснить технику всех находящихся в обращении острот, и ввиду этого оставляю открытым вопрос о том, что мое перечисление технических приемов остроумия страдает некоторой неполнотой, но я не исключил преднамеренно из обсуждения ни одного вида техники, который мог быть мною расшифрован, и утверждаю, что от моего внимания не ускользнули самые частые, самые важные, в большинстве случаев, характерные технические приемы остроумия.

Остроумие обладает еще одной характерной чертой, которая вполне согласуется с нашей, вытекающей из сновидения, трактовкой работы остроумия. Хотя и говорят, что остроту «создают», но чувствуется, что этот процесс отличается от того процесса, который совершает человек, высказывающий мнение или делающий возражение. Острота имеет чрезвычайно резко выраженный характер внезапно «пришедшей в голову мысли». Еще за один момент до этого человек не знает, какую он создаст остроту, которую останется потом лишь облечь в словесную форму. Человек испытывает, напротив того, нечто не поддающееся определению, что я мог бы скорее всего сравнить с отсутствием, внезапным разрядом интеллектуального напряжения, после которого сразу оказывается созданной острота, в большинстве случаев одновременно со своей оболочкой. Некоторые из приемов остроумия находят себе применение в выражении мыслей и вне остроумия, например, сравнение и намек. При этом я сначала имею в уме прямое выражение этой мысли (внутреннее слышание), у меня существуют задержки в высказывании этой мысли по мотивам, соответствующим данной ситуации, но вскоре я пытаюсь заменить прямое выражение формой косвенного выражения и делаю намек; но возникший таким образом, созданный под моим непрерывным контролем, намек никогда не остроумен, как бы удачен он ни был; остроумный намек возникает, наоборот, без того, чтобы я мог

проследить эти подготовительные стадии в моем мышлении. Я не хочу придать слишком большой цены этому соотношению; оно едва ли решает вопрос, но оно все же хорошо согласуется с нашим предположением, что при создании остроты ход мыслей погружается на один момент в бессознательную сферу и затем внезапно выплывает из бессознательного в виде остроты.

Остроты занимают особое положение и в ассоциативном отношении. Наша память часто не располагает ими тогда, когда мы хотим их вызвать, но зато иной раз они возникают невольно и в таких именно местах хода мыслей, где мы не понимаем, почему они вплетаются. Это — опять-таки мелкие черты, но все же указывают на происхождение острот из бессознательного.

Соберем теперь все характерные черты остроумия, которые могут указать на то, что оно образуется в бессознательном. Прежде всего следует отметить своеобразную лаконичность остроты, которая хотя и не является необходимым, но чрезвычайно характерным признаком. Когда мы впервые столкнулись с ней, мы были склонны видеть в ней выражение экономящей тенденции, но мы сами обесценили это понимание благодаря тем возражениям, которые оно вызвало у нас самих. Лаконичность остроумия кажется нам теперь скорее признаком бессознательной обработки, которой подверглись мысли остроумия. Соответствующее ей в сновидении сгущение мы не можем поставить в связь ни с каким другим моментом, кроме локализации в бессознательном, и должны предположить, что в бессознательном ходе мыслей даны условия для таких сгущений, отсутствующие в предсознательном[1]. Следует ожидать, что при процессе сгущения теряются некоторые из подвергшихся ему элементов в то время, как другие, получающие от них энергию активности (Besetzungsenergie), конструируются в усиленном или чрезмерно усиленном виде. Лаконичность остроумия, как и лаконичность сновидения

[1] Сгущение, как закономерный и исполненный значения процесс, я доказал помимо работы сна и техники остроумия еще (в одной области душевной деятельности, в механизме нормального не тенденциозного) забывания. Забыть отдельное впечатление трудно. Те впечатления, между которыми существует какая-нибудь аналогия, забываются, подвергаясь сгущению, которое имеет в своей основе общие точки их соприкосновения. Смешивание аналогичных впечатлений является одной из предварительных ступеней забывания.

является, таким образом, необходимым побочным явлением, происходящим в обоих случаях сгущений; она в обоих случаях является результатом процесса сгущения. Этому происхождению лаконичность остроумия обязана и своим особым, не поддающимся дальнейшему объяснению, но поразительным для восприятия характером.

Мы уже раньше (с. 294) истолковали один из результатов сгущения, многократное употребление одного и того же материала, игру слов, созвучность, как локализированную экономию, и считали удовольствие, доставляемое безобидной остротой, производным этой экономии; впоследствии мы усмотрели первоначальную цель остроты в том, чтобы извлечь удовольствие такого рода из слов, что не было ей запрещено на ступени игры, но что было запрещено рассудительной критикой в постепенном ходе интеллектуального развития. Теперь мы предположим, что такого рода сгущения в том виде, в каком они служат технике остроумия, возникают автоматически, без особой преднамеренности, во время мыслительного процесса в бессознательном. Не имеем ли мы здесь перед собой двух различных объяснений одного и того же факта, которые кажутся несовместимыми друг с другом? Я не думаю; это, конечно, — два различные объяснения, и они должны быть согласованы друг с другом, но они не противоречат одно другому. Одно из них просто чуждо другому, и если мы установим между ними какую-нибудь связь, то мы, вероятно, сделаем шаг вперед в нашем познании. Что такие сгущения являются источником удовольствия, это вполне согласуется с предположением, что они легко находят в бессознательном условия для своего возникновения. Даже больше того, мы устраиваем мотивировку для погружения в бессознательное в том обстоятельстве, что там легко производится сгущение, которое доставляет удовольствие и которое нужно остроте. И два другие момента, которые на первый взгляд кажутся совершенно чуждыми друг другу и как бы совпадающими благодаря нежелательной случайности, также оказываются при более глубоком исследовании тесно связанными и даже по существу тождественными. Я имею в виду оба положения, согласно которым остроумие может, с одной стороны, производить такие доставляющие удовольствие сгущения во время своего развития

на ступени игры, следовательно, в детстве разума, а с другой стороны, оно совершает тот же самый процесс на высшей ступени, погружая мысль в бессознательное. Инфантильное является источником бессознательного, бессознательными же процессами мышления являются единственно и только те, которые происходили в раннем детстве. Мысль, которая погружается в бессознательное с целью образования остроты, отыскивает там только старый уголок бывшей некогда игры словами. Мышление на один момент снова становится на детскую ступень, чтобы таким образом вновь завладеть детским источником удовольствия. Если этого не знают еще из исследования психологии неврозов, то при остроумии следует понять, что странная бессознательная обработка является не чем иным, как инфантильным типом мыслительной работы. Дело в том, что у ребенка не очень легко уловить это инфантильное мышление с его удержавшимися в бессознательной сфере взрослого особенностями, так как оно в большинстве случаев коррегируется, так сказать, in statu nascendi. Но все же в целом ряде случаев это удается сделать, и тогда мы всякий раз смеемся «детской глупости». Каждое открытие такого бессознательного действует на нас вообще как «комическое»[1].

Легче понять характерные черты этих бессознательных мыслительных процессов в проявлениях больных при некоторых психических расстройствах. Весьма вероятно, что, согласно предположению старика Griesinger'а, мы могли бы понимать делирии душевнобольных и оценивать их как связные сообщения, если бы мы не предъявляли к ним требований, какие мы предъявляем к сознательному мышлению, а толковали бы их примерно так, как мы толкуем сновидения[2].

---

[1] Многие из моих пациентов-невротиков, пользующихся психоаналитическим лечением, имеют обыкновение всякий раз свидетельствовать смехом о том, что удалось верно указать их сознательному восприятию на нечто скрытое, бессознательное, и они смеются даже тогда, когда содержание расшифрованного отнюдь не оправдывает смеха. Разумеется, условием для этого является достаточно близкий подход невротиков к этому бессознательному, чтобы они поняли его, когда врач расшифрует его и преподнесет им его.

[2] Мы не должны при этом забывать, что нужно учитывать искажение, происходящее благодаря цензуре, которая оказывает еще свое действие и в психозе.

Мы в свое время оценили и для сновидения «возврат душевной жизни к эмбриональной точке зрения»[1].

Мы так подробно обсудили на процессах сгущения значение аналогии между остротой и сновидением, что в последующем мы сможем излагать свои мысли короче. Мы знаем, что передвигание при работе сна указывает на воздействие цензуры сознательного мышления, и соответственно этому, встретив среди технических приемов остроумия передвигание, мы будем склонны предположить, что и при образовании остроты играет роль задерживающая сила. Мы знаем уже также, что это — общий случай; стремление остроты получить прежнее удовольствие от бессмыслицы или от игры словами встречает в нормальном состоянии задержку в виде протеста критического разума, причем задержка эта должна быть преодолена в каждом отдельном случае. Но в том способе, каким работа остроумия разрешает эту задачу, проявляется резкая разница между остротой и сновидением. В работе сна разрешение этой задачи происходит регулярно путем передвиганий, путем выбора представлений, в достаточной мере удаленных от тех представлений, которым цензура оказывает препятствие; делается это с той целью, чтобы найти проход через цензуру; и все же заместителями этих последних представлений являются те, которые переняли на себя благодаря полному перенесению всю энергию активности (Besetzung). Поэтому передвигания не отсутствуют ни в одном сновидении и являются многообъемлющими; не только уклонения от хода мыслей, но и все виды непрямого изображения следует отнести к передвиганиям, в особенности замену важного или предосудительного элемента индифферентным или кажущимся цензуре безобидным, являющимся как бы отдаленнейшим намеком на первый элемент, замену символикой, сравнением, деталью. Нельзя отрицать, что частицы этого непрямого изображения осуществляются уже в предсознательных мыслях сновидения; таковы, например, изображения, осуществляемые путем символики и сравнения, так как в противном случае мысль вообще не проходила бы через стадию предсознательного выражения. Непрямые изображения такого рода и намеки, отношение которых к тому, на что они, собственно, намекают,

---

[1] «Толкование сновидений».

легко может быть открыто, являются ведь позволительными и широко употребляемыми приемами выражения и в нашем сознательном мышлении. Но работа сна преувеличивает до бесконечности применение этих приемов непрямого изображения. Под давлением цензуры всякая связь оказывается достаточной для замены намеком, передвигание допускается с одного элемента на всякий другой. Особенно поразительна и характерна для работы сна замена внутренних ассоциаций (сходство, причинная связь и т. д.) так называемыми внешними (одновременность, смежность в пространстве, созвучность).

Все эти приемы передвигания являются вместе с тем и техническими приемами остроумия, но, являясь ими, они в большинстве случаев соблюдают границы, отведенные их применению в сознательном мышлении. Передвигание может вообще отсутствовать, хотя бы остроте и предстояло выполнение необходимой задачи преодоления задержки. Это второстепенное значение передвигания при работе остроумия понятно, если вспомнить, что в распоряжении остроумия обычно имеется другой технический прием, с помощью которого он отделывается от задержки, тем более что мы не нашли ничего, что было бы для него более характерно, чем этот технический прием. Острота не создает компромиссов, как это делает сновидение, она не избегает задержки, но она заключается в том, что она сохраняет в неизменном виде игру словами или бессмыслицей, ограничиваясь, однако, выбором таких случаев, в которых эта игра или бессмыслица может все-таки в то же время оказаться позволительной (шутка) или глубокомысленной (острота) благодаря множественности толкования слов и разнообразию мыслительных соотношений. Острота отличается больше всего от всех других психических образований этой своей двойственностью и лицемерием, и по крайней мере с этой стороны авторы ближе всего подошли к познанию остроумия, подчеркнув «смысл в бессмыслице».

При полном преобладании этого отличающего остроту технического приема, направленного на преодоление задержки, могло бы показаться излишним то, что она вообще еще пользуется в отдельных случаях техникой передвигания; однако, с одной стороны, некоторые виды этой техники остаются ценными для остроты как

цели и источники удовольствия, как, например, собственно, передвигание (отклонение мыслей), которое разделяет, конечно, природу бессмыслицы; с другой стороны, не следует забывать, что высшая ступень остроумия, тенденциозная острота, часто должна преодолевать двоякого рода задержки, противодействующие ей самой и ее тенденции (с. 270) и что намеки и передвигания могут сделать для нее возможным разрешение этой задачи.

Частое и неограниченное применение непрямого изображения, передвигания и в особенности намеков в работе сна имеет одно следствие, которое я упоминаю не в силу этого значения, но потому что оно было для меня субъективным поводом к тому, чтобы я занялся проблемой остроумия. Когда сообщают несведущему или непривычному человеку анализ сновидения, в котором, следовательно, проложены странные, недопустимые для бодрственного мышления пути намеков и передвиганий, которыми пользовалась работа сна, то у читателя создается неприятное для него впечатление; он считает эти толкования «остроумными», но усматривает в них явно неудачные остроты, натянутые, грешащие чем-то против правил остроумия. Это впечатление легко объяснить: оно вытекает из того, что работа сна прибегает к тем же приемам, что и остроумие, но в применении их она переходит через те границы, которые соблюдает острота. Мы вскоре услышим также, что острота, вследствие роли третьего лица, связана определенным условием, которого не должно соблюдать сновидение.

Среди технических приемов, общих и остроумию, и сновидению, определенного интереса заслуживают изображение при помощи противоположности и употребление бессмыслицы. Первое относится к сильно действующим приемам остроумия, как мы могли видеть, между прочим, на примерах «острот, возникших путем преувеличения» (с. 241). Изображение при помощи противоположности не может, впрочем, ускользнуть от сознательного внимания подобно большинству других технических приемов остроумия; тот, кто попытается привести у себя самого в деятельность по возможности преднамеренно механизм работы остроумия, как это делает привычный остряк, тот вскоре найдет, что остротой чаще всего возражают на какое-нибудь утверж-

дение тогда, когда поддерживают противоположное положение и предоставляют внезапно пришедшей в голову мысли устранить путем превратного толкования возражение, грозящее опасностью этому противоположному положению. Быть может, изображение при помощи противоположности обязано таким преимуществом именно тому обстоятельству, что оно образует ядро другого доставляющего удовольствие способа выражения мысли, для понимания которого нам не нужно беспокоить бессознательного. Я имею в виду иронию, которая очень близко подходит к остроте и относится к подвидам комического. Ее сущность состоит в том, что человек высказывает положение противоположное тому, что он имеет в виду сообщить другому, но он устраняет возникающее при этом противоречие благодаря тому, что он дает понять тоном, сопровождающими жестами, мелкими стилистическими черточками — если речь идет о письменном изложении, — что он имеет в виду, собственно, противоположное высказанному. Ирония применима только там, где человек готовится услышать противоположное, так что она обязательно возбуждает в нем желание противоречить. В силу этого условия ирония особенно легко подвержена опасности не быть понятой. Для лица, пользующегося иронией, она представляет ту выгоду, что дает ему возможность легко обходить трудности прямых выражений, как, например, ругательств; у слушателя она вызывает комическое удовольствие, так как побуждает его, вероятно, к затрате психической энергии на разрешение противоречия, причем затрата эта вскоре оказывается излишней. Такое сравнение остроты с приближающимся к ней видом комизма должно укрепить нас в предположении, что отношение к бессознательному является особым признаком остроты, отличающим ее, быть может, и от комизма[1].

В работе сна изображению при помощи противоположного принадлежит еще гораздо бóльшая роль, чем при остроумии. Сновидение не только любит изображать две противоположности при помощи одного и того же смешанного образа; оно даже так часто превращает один предмет из мыслей сновидения в его противопо-

---

[1] На отличии высказываемого от сопровождающих жестов (в широчайшем смысле) основана и характерная черта комизма, которая описывается как его «бесстрастность» («Trockenheit»).

ложность, что из этого вырастают большие трудности для работы толкования. «Ни один элемент, способный найти себе прямую противоположность, не показывает сразу, имеет ли он в мыслях сновидения положительный или отрицательный характер»[1].

Я должен подчеркнуть, что факт этот отнюдь еще не нашел понимания. Но он указывает на очень важную характерную черту бессознательного мышления, лишенного, по всей вероятности, того процесса, который можно было бы сравнить с «суждением». Взамен суждения, которого не признает бессознательное, в нем находят «вытеснение». Вытеснение можно правильно описать как промежуточную ступень между защитным рефлексом и осуждением[2].

Бессмыслица, абсурдность, которая так часто имеет место в сновидении и навлекает на него столько незаслуженного презрения, все же никогда не возникает случайно путем беспорядочного нагромождения элементов представлений, но в каждом отдельном случае можно доказать, что она умышленно создана работой сна и предназначена для изображения ожесточенной критики и презрительного противоречия внутри мыслей сновидения. Абсурдность содержания сновидения заменяет, следовательно, в мыслях сновидения следующее суждение: «Это — бессмыслица». Я в своем «Толковании сновидений» придал большое значение этому указанию, так как я думал таким путем убедительнее всего рассеять заблуждение, что сновидение вообще не является психическим феноменом, преграждающим путь к познанию бессознательного. Мы узнали теперь (при разгадке некоторых тенденциозных острот, (с. 225), что бессмыслица в остроте должна служить тем же целям изображения. Мы знаем также, что бессмысленный фасад остроты особенно пригоден для повышения психической затраты у слушателя и увеличивает, таким образом, то

---

[1] «Толкование сновидений». С. 263 (3-е изд.). Кн-во «Современные проблемы», Москва, 1913.

[2] В высшей степени замечательное и до сих пор еще недостаточно известное соотношение противоположных связей в бессознательном имеет, конечно, значение для понимания «негативизма» у невротиков и у душевнобольных.

количество энергии, которое освобождается благодаря смеху и предназначено к отреагированию. Но, кроме того, мы не забываем, что бессмыслица в остроте является самоцелью, так как стремление сызнова извлекать прежнее удовольствие от бессмыслицы относится к мотивам работы остроумия. Существуют другие пути для того, чтобы вновь создать бессмыслицу и извлечь из нее удовольствие; карикатура, преувеличение, пародия и шарж пользуются ею и создают, таким образом, «комическую бессмыслицу». Если мы подвергнем все эти формы выражения такому же анализу, какой мы проделали над остротой, то мы найдем, что все они не дают никакого повода привлечь для их объяснения бессознательные процессы в нашем смысле. Мы теперь понимаем также, почему характерная черта «остроумного» может привходить как составная часть в карикатуру, преувеличение, пародию: это становится возможным благодаря отличию одной «психической арены» от другой[1].

Я полагаю, что перемещение остроты в систему бессознательного стало для нас гораздо более ценным с тех пор, как оно открыло нам понимание того факта, что технические приемы, присущие, с одной стороны, остроумию, не являются, с другой стороны, его исключительным достоянием Некоторые сомнения, разрешение которых мы во время нашего начального исследования этих технических приемов должны отложить на некоторое время, находят теперь свое удобное разрешение. Тем большего внимания с нашей стороны заслуживает суждение, которое сказало бы нам, что неоспоримо существующее отношение остроты к бессознательному правильно только для некоторых категорий тенденциозного остроумия в то время, как мы готовы распространить это отношение на все виды и ступени развития остроумия. Мы не можем уклониться от проверки этого положения.

Мы можем с уверенностью предположить, что образование остроты происходит в бессознательном в том случае, если речь идет об остротах, обслуживающих бессознательные или усиленные бессознательной сферой тенденции, следовательно, о большинстве «цинических» острот. Тогда именно бессознательная тенденция притя-

---

[1] Выражение G. Th. Fechner'а, которое стало весьма важным для моей трактовки.

гивает предсознательную мысль к себе в область бессознательного для того, чтобы преобразовать ее там: это — процесс, многочисленные аналогии которому известны из учения о психологии неврозов. При тенденциозных же остротах другого рода, при безобидной остроте и шутке эта, влекущая в область бессознательного, сила отпадает; следовательно, вопрос об отношении остроты к бессознательному остается открытым.

Но рассмотрим теперь случай остроумного выражения мысли, которая сама по себе не лишена ценности и всплывает в связи с мыслительными процессами. Для превращения этой мысли в остроту, очевидно, нужно, чтобы произошел выбор между всеми возможными формами выражения с тем, чтобы была найдена именно та, которая доставляет выигрыш удовольствия от слов. Мы знаем из нашего самонаблюдения, что несознательное внимание производит этот выбор, но для этого выбора будет только полезно, если активность (Besetzung) предсознательной мысли будет низведена на степень бессознательной мысли, так как в бессознательном связующие пути, исходящие от слова, трактуются одинаково с вещественными связями, как мы узнали из работы сна. Бессознательная активность представляет гораздо более благоприятные условия для выбора такого выражения. Мы можем, впрочем, предположить без дальнейших рассуждений, что эта возможность найти выражение, которое заключало бы в себе выигрыш удовольствия от слов, влечет колеблющуюся еще решимость предсознательной мысли в область бессознательного точно таким же образом, как и бессознательная тенденция в первом случае. В более простом случае шутки мы должны себе представить, что находящееся всегда на страже стремление добиться выигрыша удовольствия от слов овладевает поводом, который дан именно в предсознательном, чтобы вовлечь опять-таки по известной схеме процесс активности (Besetzungsvorgang) в область бессознательного.

Я очень хотел бы, чтобы мне удалось, с одной стороны, по возможности яснее изложить этот решительный пункт в моем понимании остроумия, а, с другой стороны, подкрепить его вескими аргументами. Но на самом деле речь идет здесь не о двоякой, а об одной и той же неудаче. Я не могу дать более ясного изложения, так как я не имею дальнейших доказательств моего понимания остроумия. Это понимание родилось у меня из изуче-

ния техники и из сравнения с работой сна, и только из этой именно одной стороны; я могу найти, что оно в целом отлично согласуется со всеми особенностями остроумия. Это понимание явилось результатом умозаключения; если такое заключение приводит нас не к известной, а, напротив того, к чуждой, новой для мышления области, то такой вывод называют «гипотезой», и отношение гипотезы к материалу, из которого она выведена, справедливо не считают «доказательством». «Доказанной» ее считают только тогда, когда к ней приходят другим путем, когда ее можно доказать как узловой пункт и для других связей. А такого доказательства при нашем едва только начинающемся познании бессознательных процессов нельзя получить. Признавая, что мы вообще еще стоим на нетронутой почве, мы довольствуемся, таким образом, тем, что мы, с точки зрения нашего наблюдения, перебрасываем один-единственный узкий и шаткий мостик к непостижимому.

Мы не будем делать широких выводов. Если мы приведем в связь различные ступени остроумия с благоприятными для них душевными установками, то мы сможем сказать приблизительно следующее: шутка вытекает из веселого настроения, которому свойственна склонность к понижению психических инстанций (Besetzungen). Она пользуется уже всеми характерными техническими приемами остроумия и выполняет уже основное условие остроумия, совершая выбор такого словесного материала или такой мыслительной связи, которая может удовлетворить необходимым для получения удовольствия требованиям, равно как и требованиям рассудительной критики. Мы сделаем вывод, что понижение мыслительной инстанции вплоть до бессознательной ступени, которое облегчается благодаря веселому настроению, происходит уже при шутке. Для безобидной, но связанной с выражением ценной мысли, остроты отпадает это содействие, оказываемое настроением: мы должны предположить здесь особое личное качество, получающее выражение в той легкости, с какой покидается предсознательная инстанция и на момент заменяется бессознательной. Находящаяся всегда на страже тенденция к возобновлению первоначального выигрыша удовольствия от остроты влечет в область бессознательного колеблющееся еще предсознательное выражение мысли. В веселом настроении большинство

людей способно создавать шутки; уменье острить независимо от настроения свойственно только немногим лицам. Наконец, сильнейшим стимулом к работе остроумия служит наличие сильных, простирающихся вплоть до области бессознательного тенденций, проявляющих особую склонность к остроумному творчеству и указывающих нам на то, что субъективные условия остроумия бывают выполнены очень часто у невротиков. Под влиянием сильных тенденций может стать остроумным и такой человек, которому раньше это было несвойственно. Этим последним вкладом, в хотя еще и оставшимся гипотетическим, объяснение работы остроумия у первого лица исчерпывается, строго говоря, наш интерес к остроте. Нам остается еще краткое сравнение остроты с сновидением, которое (сновидение) лучше изучено. Этому сравнению мы предпошлем ожидание того, что два столь отличных друг от друга душевных механизма наряду с нашедшей уже свою оценку аналогией должны выявлять еще и некоторые отличия. Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего сказать другому человеку; возникая внутри личности, как компромисс борющихся в ней душевных сил, оно остается непонятным даже для этой самой личности, и потому совершенно неинтересно для другого человека. Дело не только в том, что оно не придает никакой цены своей удобопонятности; оно должно даже опасаться того, чтобы быть понятым, так как в противном случае оно было бы разрушено; оно может существовать только в замаскированном виде. Поэтому оно должно беспрепятственно пользоваться механизмом, управляющим бессознательными душевными процессами вплоть до искажения, которое больше не может быть восстановлено. Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия. Она нуждается часто в трех лицах и требует для своего выполнения участия другого человека в стимулируемом ею душевном процессе. Она должна быть связана, следовательно, условием удобопонимаемости, должна претендовать на возможное в бессознательной сфере искажение путем сгущения и передвигания только в таких размерах, в каких это искажение может быть восстановлено понима-

нием третьего лица. В остальном оба они, острота и сновидение, выросли в совершенно различных областях душевной жизни, и их нужно отнести к отдаленным друг от друга пунктам психологической системы. Сновидение все еще является желанием, хотя это желание и стало неузнаваемым, острота является высшей стадией игры. Сновидение, несмотря на свое практическое ничтожество, имеет отношение к крупным жизненным интересам; оно стремится удовлетворить потребности человека регрессивным окольным путем галлюцинации, и оно обязано своим существованием единственно живой во время ночного состояния потребности спать. Острота, наоборот, старается извлечь удовольствие из одной только деятельности нашего душевного аппарата, свободной от потребностей; впоследствии она старается получить такое удовольствие, как побочный результат, сопровождающий деятельность этого аппарата, и, таким образом, она *вторично* приходит к не лишенным важности, обращенным к внешнему миру функциям. Сновидение служит преимущественно стремлению избежать неудовольствия, острота — получению удовольствия, но в обеих этих целях совпадают все виды нашей душевной деятельности.

VII. ОСТРОУМИЕ И ВИДЫ КОМИЧЕСКОГО

Мы очень близко подошли к проблемам комического Нам показалось, что остроумие, которое рассматривалось как подвид комизма, представляло довольно много особенностей для того, чтобы непосредственно с него начать исследование, и, таким образом, мы избегали его отношения к более объемлющей категории комического до тех пор, покуда это было возможно, но не без того, чтобы попутно не делать важных для комизма указаний. Мы без всяких трудностей установили, что комическое занимает в социальном отношении несколько иное положение, чем острота. Оно может удовлетвориться только двумя лицами; одним, которое находит комическое, и вторым, в котором находят комическое. Третье лицо, которому сообщают комическое, усиливает комический процесс, но не прибавляет к нему ничего нового. При остроумии третье лицо необходимо для того, чтобы совершился доставляющий удовольствие процесс; напротив того, второе лицо может отсутствовать там, где

речь не идет о тенденциозной, агрессивной остроте. Остроту создают, комическое находят, и прежде всего его находят в людях и лишь в дальнейшем его переносят на объекты, ситуации и т. п. Об остроте мы знаем, что не посторонние лица, а собственные мыслительные процессы, способствующие созданию остроты, скрывают в себе источники удовольствия. Мы слышали далее, что острота может иногда вновь открывать ставшие недоступными источники комизма, что комическое служит часто остроте фасадом и заменяет ей создающееся в ином случае благодаря известным техническим приемам предварительное удовольствие (с. 322). Все это указывает на не совсем простые отношения между остроумием и комизмом. С другой стороны, проблемы комического оказались столь сложными, а все попытки философов разрешить эти проблемы оказались столь безуспешными, что мы не могли ожидать разрешения их как будто по мановению руки, если мы подойдем к ним со стороны остроумия. Для исследования остроумия мы привнесли орудие, которое не служило еще другим исследователям, а именно: знание работы сна. При исследовании комического в нашем распоряжении нет такого преимущества, и мы должны поэтому ожидать, что мы не узнаем о сущности комизма ничего иного помимо того, что мы уже знаем об остроте, поскольку острота относится к разряду комического и несет в своей собственной сущности неизменными или модифицированными определенные черты комизма.

Наивное является тем видом комического, которое ближе всего стоит к остроте. В общем наивное так же, как и комическое, находят, а не создают как остроту, и наивное вообще не может быть создано в то время, как при чисто комическом учитывается и создание комического, искусственное вызывание комизма. Наивное должно вытекать без нашего доказательства из речей и поступков других лиц, которые стоят на месте второго лица в комизме или остроумии. Наивное возникает тогда, когда кто-нибудь совершенно пренебрегает задержкой, потому что у него такой задержки не существует, когда он, следовательно, преодолевает ее без труда. Условием действия наивного является знание нами того, что у человека нет этой задержки, в противном случае мы называем его не наивным, а дерзким, и не смеемся, а возмущаемся им.

Действие наивного неотразимо и просто для понимания. Психическая затрата, производимая обычно нами для сохранения задержки, внезапно становится ненужной, благодаря выслушиванию наивной речи, и отреагируется в схеме; отвлечение внимания является при этом ненужным, вероятно, потому, что упразднение задержки происходит непосредственно, а не путем вынужденной операции. Мы ведем себя при этом аналогично третьему лицу в остроте, которое без всяких усилий со своей стороны получает как бы подарок в виде экономии психической энергии, затрачивающейся на сохранение задержки.

Поняв генезис задержек, прослеженный нами при развитии игры в остроту, мы не будем удивлены тем обстоятельством, что наивное находят чаще всего у ребенка, затем у необразованного взрослого человека, которого мы считаем ребенком в отношении его интеллектуального развития. Для сравнения с остротой более пригодны, разумеется, наивные речи, чем наивные поступки, так как обычными формами выражения остроумия являются речи, а не поступки. Характерно, что наивные речи детей, например, можно без натяжки назвать «наивными остротами». Аналогия между остротой и наивностью, а также выяснение разницы между ними будет очевиднее для нас на нескольких примерах.

$3^1/_2$-летняя девочка предостерегает своего брата: «Не ешь столько, а то ты заболеешь и должен будешь принять Bubizin». «Bubizin? — спрашивает мать, — а что это такое?» — «Когда я была больна, — оправдывается ребенок, — я ведь должна была принимать Medizin»[1]. Ребенок полагает, что прописанное врачом лекарство называется Mädizin, если оно предназначено для девочки (Mädi), и делает вывод, что оно будет называться Bubizin, если его должен будет принимать мальчик (Bubi). Это конструировано, как словесная острота, работающая с помощью техники созвучия; она могла бы также иметь место и как настоящая острота; в этом случае мы полунеохотно подарили бы ее улыбкой. Как пример наивности она кажется нам отличной и заставляет нас громко смеяться. Но что отличает в этом случае остроту от наивного суждения? Очевидно, не текст и не техника, которые одинаковы

[1] Mädi — девочка. Bubi — мальчик.

и для той и для другого, а какой-то момент, лежащий на первый взгляд довольно далеко от обоих возможностей. Речь идет только о том, предполагаем ли мы, что говорящее лицо имело в виду остроту или что оно — ребенок — искренно хотело сделать серьезный вывод, основываясь на своем некоррегированном неведении. Только последний случай является наивностью. Мы здесь впервые обращаем внимание на такую идентификацию другого человека путем вчувствования в психический процесс у человека, создающего остроту или наивное суждение.

Исследование второго примера подтвердит это понимание. Брат и сестра, десятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка, разыгрывают ими самими сочиненную пьеску перед аудиторией, состоящей из дядей и теток. Сцена изображает хижину на морском берегу. В первом акте оба поэта-артисты, бедный рыбак и его бойкая жена, жалуются на тяжелое время и плохие барыши. Муж решает уехать на своей лодке в далекое море, чтобы поискать богатства в другом месте; после нежного прощанья супругов занавес падает. Второй акт изображает действие несколько лет спустя. Рыбак, став богатым человеком, вернулся с большой мошной и рассказывает жене, которую он застает ожидающей его перед хижиной, о том, как повезло ему на чужбине. Жена гордо перебивает его: «А я в это время тоже не ленилась», и открывает его глазам хижину, в которой видны лежащие на полу двенадцать больших кукол, изображающих детей... В этом месте пьесы бурный смех зрителей прервал артистов, которые не могли объяснить себе этого смеха. Они смущенно уставились на своих любимых родственников, которые до сих пор вели себя хорошо и слушали внимательно. Этот смех объясняется предположением зрителей, что юные писатели ничего еще не знают об условиях происхождения детей и могут поэтому думать, что женщина должна гордиться потомством, рожденным ею во время продолжительного отсутствия мужа, и что муж может радоваться этому потомству. Но то, что создано писателями на основании такого неведения, может быть названо бессмыслицей, абсурдностью.

Третий пример покажет нам, что еще один технический прием, изученный нами при остроумии, обслу-

живает наивное. К маленькой девочке принята в качестве гувернантки «француженка», которая, однако, не понравилась девочке. Едва только вновь приглашенная француженка удалилась из комнаты, девочка начала вслух критиковать ее: «Тоже француженка! Быть может, она называется так потому, что она когда-нибудь лежала возле француза!» Это могло бы быть сносной остротой, — двусмысленностью с двояким толкованием или двояко толкуемым намеком — если бы ребенок мог иметь представление о двусмысленности. В действительности, она перенесла только часто слышанное ею определение поддельности на несимпатичную ей иностранку («Разве это настоящее золото? Быть может, это когда-нибудь лежало возле золота!») В силу этого неведения ребенка, которое так резко изменяет психический процесс у слушателей, его речь становится наивной. Но вследствие этого условия существует и ложно-наивное. У ребенка можно предполагать неведение, которого больше не существует, и дети часто имеют обыкновение притворяться наивными, чтобы воспользоваться свободой, которая в противном случае не была бы им позволена.

На этих примерах можно выяснить, что наивное занимает среднее место между остроумием и комическим. Наивное аналогично остроте по тексту и содержанию. Оно злоупотребляет словами, создает бессмыслицу или сальность. Но психический процесс у первого создающего лица, который представил при остроумии столько интересного и загадочного, отпадает здесь целиком. Наивный человек думает, что он нормально и просто пользуется своими средствами выражения и мыслительными путями; он ничего не знает о побочной цели; он не извлекает также из творчества наивного никакого удовольствия. Все характерные черты наивного существуют только в понимании слушателя, который соответствует третьему лицу в остроте. Далее, творящее лицо создает наивное без труда; сложная техника, предназначенная при остроте для того, чтобы парализовать задержку разумной критикой, отпадает при наивном, так как у наивного человека нет еще этой задержки, и он может, следовательно, непосредственно и без компромисса преподнести бессмыслицу и сальность. В этом отношении наивное является пограничным случаем остроты, получающимся в том случае,

если в формуле образования остроты снизить величину цензуры до нуля.

Если для действия остроты необходимым условием являлось наличие у обоих лиц одинаковых приблизительно задержек или внутренних сопротивлений, то условием для наивного можно, следовательно, считать наличие у одного лица таких задержек, которых нет у другого лица. Лицо, имеющее задержку, слушает и понимает наивное; исключительно оно получает удовольствие, доставляемое наивным, и мы легко догадываемся, что это удовольствие возникает благодаря упразднению задержек. Так как удовольствие от остроты имеет то же самое происхождение — ядро удовольствия от слов и бессмыслицы и оболочку удовольствия от упразднения задержек и облегчения психической затраты — то на этом тождественном отношении к задержке основано внутреннее родство наивного с остротой. В обоих случаях удовольствие возникает благодаря упразднению внутренней задержки. Но психический процесс у воспринимающего лица (с которым при наивном всегда совпадает наше «Я» в то время, как при остроте мы можем поставить себя и на место создающего лица) в случае наивного суждения тем сложнее, чем проще в сравнении с остротой психический процесс у творящего лица. На воспринимающее лицо выслушанное наивное суждение действует, с одной стороны, как острота, о чем могут свидетельствовать наши примеры, так как для него, как и при остроте, создана возможность упразднения цензуры благодаря одному только выслушиванию. Только одна часть удовольствия, доставляемого наивным, допускает такое объяснение, но даже эта часть удовольствия в иных случаях наивного суждения, как, например, при выслушивании наивной сальности, подвержена опасности. На наивную сальность можно было бы без всяких рассуждений реагировать таким же негодованием, которое подымается и против настоящей сальности, если бы другой момент не избавлял нас от этого негодования и не доставлял нам одновременно более значительную часть удовольствия от наивного.

Этот другой момент дан нам вышеуказанным условием, согласно которому нам для распознания наивного должно быть известно, что у создающего лица отсутствует задержка. Только тогда, когда мы уверены

в этом, мы смеемся вместо того, чтобы возмущаться. Мы, следовательно, принимаем во внимание психическое состояние создающего лица, мысленно переносимся в такое же состояние, стараемся понять его, сравнивая его с нашим состоянием. В результате такой идентификации и сравнения получается экономия затраты, которую мы отреагируем в схеме.

Можно было бы предпочесть более простое объяснение: если человеку не нужно преодолевать никакой задержки, то наше негодование излишне, и смех, следовательно, происходит якобы за счет негодования, от которого мы избавлены. Чтобы устранить это неправильное в общем понимание, я хочу резче отделить друг от друга два случая, которые я объединил в предшествующем изложении. Наивное, выступающее перед нами, может иметь либо природу остроты, как в наших примерах, либо природу сальности или вообще непристойности, что особенно верно для того случая, когда наивное проявляется не в речах, а в поступках. Этот последний случай действительно может ввести нас в заблуждение; для него можно было бы предположить, что удовольствие возникает из сэкономленного и подвергшегося превращению негодования. Но первый случай выясняет нам, что наивная речь, например, о Bubizin'е может сама по себе действовать, как легкая острота и не давать никакого повода к негодованию; это, конечно, более редкий, но более чистый и более поучительный случай. Когда мы думаем о том, что ребенок серьезно и без побочной цели считал слоги «Medi» в слове «Medizin» идентичными с своим собственным названием «Mädi» (девочка), то наше удовольствие от слышанного увеличивается, причем это увеличение не имеет больше ничего общего с удовольствием от остроты. Мы рассматриваем теперь сказанное с двух точек зрения: один раз так, как оно получилось у ребенка, а затем так, как оно получается у нас; мы находим при этом сравнении, что ребенок нашел нечто идентичное, преодолел рамки, существующие для нас; а затем дело обстоит приблизительно так, как будто мы говорим себе: если ты хочешь понять слышанное, то ты можешь сэкономить затрату, уходящую на удержание этих рамок. Затрата, освобожденная при таком сравнении, является источником удовольствия от наивного и отреагируется в смехе.

Это, разумеется, та же самая затрата, которую мы превратили бы в негодование, если бы наше понимание создающего лица, а также и характер сказанного в данном случае, не исключали такого негодования. Но если мы берем случай наивной остроты как образец для другого случая наивной непристойности, то мы видим, что и здесь экономия от задержки может непосредственно вытекать из сравнения, что у нас нет необходимости предполагать начавшееся и подавленное затем негодование и что это негодование соответствует только иному применению освобожденной затраты, против которого при остроте необходимы были сложные предохранительные приспособления.

Это сравнение, эта экономия затраты при мысленном перенесении в душевный процесс, происходящий у создающего лица, могут иметь только тогда значение для наивного, если они свойственны не ему одному только. В действительности у нас возникает предположение, что этот механизм, совершенно чуждый остроте, является частью, быть может, существенной частью психического процесса при комизме. С этой стороны — это, вероятно, важнейшая оценка наивного — оно представляет собой, следовательно, вид комизма. То, что в наших примерах присоединяется от наивных речей к удовольствию от остроты, является «комическим» удовольствием. Об этом удовольствии мы были бы склонны вообще предположить, что оно возникает благодаря сэкономленной затрате при сравнении проявлений другого человека с нашими проявлениями. Но так как мы стоим здесь перед очень широкими перспективами, то мы хотим закончить сперва оценку наивного. Итак, наивное является видом комизма в том отношении, что его удовольствие вытекает из разницы в затрате, которая получается при желании понять другого человека; оно приближается к остроте благодаря условию, согласно которому сэкономленная при затрате энергия должна быть затратой, расходовавшейся на сохранение задержек[1].

Выясним еще некоторые аналогии и некоторые от-

[1] Я везде отождествлял наивное с наивно-комическим, что, конечно, не всегда допустимо. Но для наших целей достаточно изучить характерные черты наивного на «наивной остроте» и на «наивной сальности». Дальнейшее исследование имело бы целью, исходя отсюда, обосновать сущность комического.

личия между теми понятиями, к которым мы, наконец, пришли, и теми, которые издавна известны в психологии комизма. Вчувствование в психический процесс другого человека, желание понять его является, очевидно, не чем иным, как «заимствованием комизма», играющим со времени Jean Paul'я роль в анализе комического; «сравнение» душевного процесса у другого человека со своим собственным душевным процессом соответствует «психологическому контрасту», для которого мы нашли, наконец, здесь место после того, как мы не знали, как подойти к нему при остроте. Но в объяснении комического удовольствия мы расходимся со многими авторами, по мнению которых удовольствие должно возникать благодаря колебанию внимания между контрастирующими представлениями. Мы такого механизма удовольствия не можем понять; мы указываем на то, что при сравнении контрастов в результате получается разница в затрате; если эта разница не получит никакого иного применения, то она способна к отреагированию и благодаря этому становится источником удовольствия[1].

К самой проблеме комического мы подходим с некоторой робостью. Слишком смело было бы ожидать, что наши исследования могут дать руководящую нить к ее разрешению после того, как работы огромного ряда отличных мыслителей не дали в результате удовлетворительного объяснения ее. Мы фактически задались лишь целью проследить глубже в области комического ту точку зрения, которая оказалась ценной для нашего понимания остроумия.

Комическое оказывается прежде всего случайной находкой среди социальных отношений людей. Его находят всюду: в их движениях, формах, поступках и характерных чертах, вероятно, первоначально только в телесных, а впоследствии и в душевных качествах людей, предпочтительно в их поведении. Благодаря очень употребительному приему персонификации комичными стали затем также животные и неодушевленные пред-

[1] Bergson тоже отрицает такое происхождение комического удовольствия, которое, несомненно, обусловлено стремлением создать аналогию со смехом от щекотки. — На совершенно ином уровне стоит объяснение комического удовольствия у Lipps'а, которое в связи с его пониманием комизма можно было бы назвать «неожиданной мелочью».

меты. Однако комическое обладает способностью отделяться от людей, когда распознано то условие, при котором личность становится комичной. Так возникает комизм ситуации, и благодаря пониманию этого условия существует возможность по желанию сделать человека комичным, перенося его в такие ситуации, в которых к его действиям присоединяются эти условия комического. Знание того, что человек может по своей воле сделать другого комичным, открывает доступ к неожиданному выигрышу комического удовольствия и дает начало высоко развитой технике. И себя самого можно сделать столь же комичным, как и другого человека. Приемы, служащие для создания комизма, суть: перенесение в комические ситуации, подражание, переодевание, разоблачение, карикатура, пародия, костюмировка и др. Само собою разумеется, что эти приемы могут обслуживать враждебные и агрессивные тенденции. Можно сделать комичным человека, чтобы унизить его, чтобы лишить его права на уважение и на авторитетность. Но если бы такая цель даже всегда лежала в основе искусственно вызванного комизма, все же не в этом заключается смысл самопроизвольного комизма.

Из этого сделанного нами обзора различных видов комизма мы уже видим, как разнообразны источники его происхождения, и узнаем, что при комическом нельзя ожидать столь специализированных условий, как, например, при наивном. Чтобы напасть на след условия, имеющего силу для комизма, самым важным является выбор исходного случая; мы выбираем комизм движений, так как мы вспоминаем, что примитивнейшие сценические постановки (постановка пантомимы) пользуются этим средством, чтобы вызвать у нас смех. На вопрос: почему мы смеемся над движениями клоуна, ответ будет гласить: потому что они кажутся нам чрезмерными и нецелесообразными. Мы смеемся над слишком большой затратой. Поищем это условие вне искусственно созданного комизма, т. е. там, где он не является преднамеренным. Движения ребенка не кажутся нам комическими, хотя он вертится и прыгает. Наоборот, комично, когда ребенок, учась писать, сопровождает движения ручки движениями высунутого языка; мы видим в этих сопутствующих движениях излишнюю двигательную затрату, которую мы, взрослые,

при той же работе сэкономили бы. Таким же образом другие сопутствующие движения или просто даже чрезмерная жестикуляция кажутся нам комичными у взрослых. Таковы совершенно чистые случаи этого вида комизма движений, которые совершает человек, бросающий кегельный шар, после того, как он уже выпустил шар и сопровождает бег этого шара движениями, как будто он может еще дополнительно регулировать этот бег; так же комичны все гримасы, преувеличивающие нормальное выражение душевных движений, даже тогда, когда они наступают непроизвольно, как, например, у лиц, страдающих пляской св. Витта (chorea st. Viti); так, страстные движения современного дирижера кажутся комичными каждому немузыкальному человеку, который не может понять их необходимости. От этого комизма движений ответвляется комизм телесных форм и черт лица, которые учитываются так, как будто они являются результатом преувеличенного и бесцельного движения. Выпученные глаза, крючковатый, свисающий над ртом нос, оттопыренные уши, горб и все подобное действует комически, вероятно, только благодаря тому, что ими изображены движения, которые были бы необходимы для осуществления этих черт, причем нос, уши и другие части тела в представлении считаются более подвижными, чем это есть на самом деле. Без сомнения, комично, если кто-нибудь умеет двигать ушами и, конечно, было бы ещё комичнее, если бы он умел опускать и подымать нос. Добрая часть комического действия, производимого на нас животными, происходит от восприятия таких движений у них, которым мы не можем подражать.

Но каким образом мы приходим к смеху, если мы считаем движения другого человека чрезмерными и нецелесообразными? Я думаю, что путем сравнения между тем движением, которое я наблюдаю у другого, и тем движением, которое я сам сделал бы на его месте. Обе сравниваемые величины должны, разумеется, измеряться одной и той же мерой, и этой мерой является моя затрата иннервации, связанная с представлением о движении как в одном, так и в другом случае. Это положение нуждается в объяснении и дальнейшей детализации.

Мы привели здесь в связь друг с другом, с одной стороны, психическую затрату при механизме представ-

ления и, с другой стороны, содержание этого представления. Наше утверждение сводится к тому, что первая — непостоянна и принципиально независима от последнего, т. е. от содержания представления, в особенности к тому, что представление взрослого требует бо̀льшей затраты в сравнении с представлением ребенка. Покуда речь идет только о представлении движений различной величины, теоретическое обоснование нашего положения и доказательство его путем наблюдения не представляет никаких трудностей. Окажется, что в этом случае действительно совпадает качество представления, как определенной психической формы, с качеством представленного, хотя психология и предостерегает нас от такого смешивания.

Представление о движении определенной величины я получил тогда, когда я совершал это движение или подражал ему, и во время этого акта я изучил меру для этого движения в моих иннервационных ощущениях[1].

Когда я воспринимаю подобное движение большей или меньшей величины у другого человека, то вернейший путь к пониманию его — к апперцепции — заключается в том, что я, подражая, совершаю это же движение и могу затем путем сравнения решить, при каком движении моя затрата была больше. Такое стремление к подражанию определенно наступает при восприятии движений. Но в действительности я не произвожу подражания так же, как я не читаю больше по отдельным звукам после того, как я научился читать по слогам. Вместо подражания движению, выполняемому с помощью моих мышц, я вызываю у себя представление об этом движении при помощи следов своих воспоминаний о затратах, произведенных при подобных движениях. Процесс представления или «мышление» отличается от действия или поступка прежде

[1] Воспоминание об иннервационной затрате останется существенной частью представления об этом движении, и в моей душевной жизни всегда будут существовать такие виды мышления, в которых представление будет олицетворено не чем иным, как этой затратой. В других связях может происходить даже замена этого элемента другими, например, зрительными представлениями цели движения, словесными представлениями, а при некоторых видах абстрактного мышления бывает достаточна одна черточка вместо полного содержания представления.

всего тем, что он приводит в движение гораздо меньшее количество активной энергии и не производит расходования главной затраты. Но каким образом количественный момент — бо̀льшая или меньшая величина — воспринятого движения получает выражение в представлении? И если изображение количества отпадает в представлении, сложившемся из качеств, то как я затем могу различать между собой представления о движениях разной величины, производить то именно сравнение, которое имеет здесь место?

В этом отношении путь указывает нам физиология, которая учит, что и во время процесса представления есть приток иннервации к мышцам; эти иннервации сопровождаются, разумеется, только небольшой затратой. Но теперь очень легко предположить, что эта затрата иннервации, сопровождающая представление, употребляется для изображения количественного фактора представления, что она больше, когда представляют себе большое движение, чем тогда, когда речь идет о небольшом движении. Следовательно, представление о бо̀льшем движении является, действительно, бо̀льшим, т. е. представлением, сопровождающимся бо̀льшей затратой.

Наблюдение непосредственно показывает, что люди привыкли давать в содержании своих представлений выражение большому и малому путем различной затраты в своего рода мимике представлений.

Когда ребенок или человек из народа или человек, принадлежащий к определенной расе, рассказывает или описывает что-нибудь, то можно легко заметить, что он не довольствуется выяснением слушателю своего представления путем точного словесного изложения, но что он изображает и содержание этих слов жестами; он объединяет мимическое изложение с словесным; он отмечает сразу и количество и интенсивность. «Высокая гора», при этом он приподымает руку над своей головой; «маленький карлик», при этом он держит ее низко над землей. Если бы он отвык от жестикуляции руками, то он все-таки продолжал бы делать это голосом, а если он научится владеть интонацией, то можно быть уверенным, что он при изображении чего-либо большого широко раскроет глаза, а при изображении чего-либо маленького — зажмурит их. Это — не его аффекты, которые он проявляет таким образом,

а это действительно содержание того, что он представляет себе.

Нужно ли предположить, что эта потребность в мимике пробуждается лишь условиями словесной передачи своей мысли другому лицу, если бо̀льшая часть этого способа выражения все равно ускользает от внимания слушателя? Я думаю, наоборот, что эта мимика, хотя и менее живая, существует помимо всякого рассказывания; она осуществляется даже и тогда, когда человек просто представляет себе что-либо, когда он наглядно мыслит; человек дает затем выражение большому и малому при помощи телесных проявлений так же, как и во время разговора, по крайней мере, изменением иннервации в чертах своего лица и в органах чувств. Я могу представить себе даже, что телесная иннервация, соответствующая содержанию представлений, была начальным источником мимики в целях словесной передачи; она должна была только усилиться, сделаться явно заметной для другого человека, чтобы иметь возможность служить этой цели. Если я защищаю, таким образом, тот взгляд, что к «выражению душевных переживаний», при помощи тех или иных побочных телесных проявлений душевных процессов, должно быть присоединено и это «выражение содержания представлений», то мне, при этом, конечно, ясно, что мои замечания, относящиеся к категории большого и малого, не исчерпывают всей темы. Я сам мог бы сделать еще несколько таких замечаний, прежде чем перейти к феноменам напряжения, которыми человек телесно проявляет фиксацию своего внимания и уровень абстракции, на котором пребывает его мышление. Я считаю этот факт очень важным и думаю, что исследование мимики представлений в других отраслях эстетики тоже могло бы быть полезно, как в данном случае, для понимания комического.

Чтобы вернуться к комизму движений, я повторяю, что восприятие определенного движения дает импульс к его представлению благодаря известной затрате энергии. Следовательно, при «желании понять», при апперцепции этого движения я произвожу определенную затрату, поступаю при этой части душевного процесса так, как будто ставлю себя на место наблюдаемого лица. Но, вероятно, я в то же время обращаю внимание на цель этого движения и могу благодаря предшеству-

ющему опыту оценить размеры той затраты, которая обычно бывает необходима для достижения этой цели. При этом я не принимаю во внимание наблюдаемое лицо и веду себя так, как будто я сам хотел достичь цели движения. Обе эти указанные возможности приводят к сравнению наблюдаемого движения с моим собственным. При чрезмерном и нецелесообразном движении другого человека мне трудно понять in statu nascendi, как будто в момент мобилизации, мою увеличенную затрату; она учитывается мною как излишняя и становится свободной для другого применения, смотря по обстоятельствам, для отреагирования в смехе. Если присоединяются другие благоприятные условия, то таким путем возникает удовольствие от комического движения, происходит затрата иннервации, которая дает при сравнении со своим собственным движением излишек, не нашедший себе применения.

Мы замечаем теперь, что мы продолжаем наши рассуждения в двух различных направлениях: во-первых, чтобы выяснить условия для отреагирования излишка, во-вторых, чтобы проверить, можно ли понимать другие случаи комизма так же, как и комизм движений.

Мы обратимся сначала к последней задаче и рассмотрим после комизма движения и действия тот комизм, который можно найти в душевных процессах и чертах характера у других людей.

Мы можем взять за образец этого вида комическую бессмыслицу, которая создается во время экзамена незнающими кандидатами; дать простой пример для черт характера, конечно, труднее. Нас не должно вводить в заблуждение, что бессмыслица и глупость, оказывающие так часто комическое действие, все же не во всех случаях воспринимаются, как нечто комическое, равно как и одни и те же характерные черты, над которыми мы иной раз смеемся, как над комическими, и которые в другой раз кажутся нам заслуживающими презрения или ненависти. Этот факт, на который мы не можем не обратить внимания, указывает, однако, лишь на то, что при комическом действии учитываются еще и другие соотношения, кроме соотношений известного нам сравнения; эти условия мы сможем проследить в другой связи.

Комическое, которое находят в умственных и душевных качествах другого человека, является, очевидно,

опять-таки лишь результатом сравнения между ним и моим «Я», но поразительно, что это сравнение дает нам результат диаметрально противоположный тому, который получался в случае комического движения или действия. В этом последнем случае было комично, когда другой человек производил бо́льшую затрату, чем я считал бы необходимым произвести; в случае душевного процесса, наоборот, комично, когда другой человек экономит затрату, которую я считаю необходимой, ибо бессмыслица и глупость являются малоценными продуктами. В первом случае я смеюсь, потому что он слишком усложнил себе задачу, а во втором — потому что он слишком облегчил ее себе. Следовательно, сущность комического действия заключается, по-видимому, только в разнице между обеими затратами энергии — затратой «вчувствования» и затратой моего «Я». — Но эта странность, которая сначала запутывает наше суждение, исчезает, если мы примем во внимание, что ограничение нашей мышечной работы и увеличение нашей мыслительной деятельности лежит в направлении нашего личного развития к высшей культурной ступени. Повышением нашей мыслительной затраты мы добиваемся уменьшения нашей двигательной затраты в одном и том же процессе; доказательством этого культурного успеха являются наши машины[1].

Итак, в единое понимание укладывается тот факт, что комичным нам кажется человек, производящий в сравнении с нами слишком много затрат для своих телесных отправлений и слишком мало для своих душевных отправлений, и нельзя отрицать того, что, в обоих случаях наш смех является выражением ощущаемого нами с чувством удовольствия превосходства, которое мы приписываем себе в сравнении с ним. Если имеется обратное соотношение обоих случаев и соматическая затрата другого человека меньше нашей, а его душевная затрата больше нашей, тогда мы уже не смеемся; тогда мы удивляемся и изумляемся[2].

Обсуждавшийся здесь источник комического удовольствия, вытекающего из сравнения другого человека

[1] «За дурною головою нет ногам покою», гласит пословица.

[2] Эта постоянная противоположность в условиях комизма, согласно которой то избыток, то недостаток казался источником комического удовольствия, немало способствовала запутыванию проблемы. Ср. Lipps.

с моим собственным «Я» — из разницы между затратой вчувствования и моей собственной затратой — является генетически, вероятно, самым важным, но, несомненно, что он не является единственным. Мы уже указывали однажды, что можно не производить сравнения между другим человеком и между «Я» и получить такую доставляющую удовольствие разницу только от одного из двух элементов, или от вчувствования, или же от процессов в моем собственном «Я»; это является доказательством того, что чувство превосходства не имеет существенного отношения к комическому удовольствию. Сравнение необходимо для возникновения этого удовольствия; мы находим, что это сравнение имеет место между двумя быстро следующими друг за другом и относящимися к одному и тому же процессу затратами энергии, которые мы либо создаем в нас путем вчувствования в другого человека, либо мы находим их без такого отношения к другому человеку в наших собственных душевных процессах. Первый случай, при котором играет еще, следовательно, роль второе лицо, но только не в виде сравнения его с нашим «Я», имеет место тогда, когда доставляющая удовольствие разница в затратах энергии создается благодаря внешним влияниям, которые мы можем объединить под названием ситуации, в силу чего этот вид комизма называется также «комизмом ситуации». Качества лица, которое доставляет комизм, не принимаются при этом особенно во внимание. Мы смеемся и в том случае, если бы мы должны были сказать, что в той же ситуации мы должны были бы сделать то же самое. Мы извлекаем здесь комизм из отношения человека к внешнему миру, который часто оказывается сильнее человека; этим внешним миром для душевных процессов в человеке являются также условности и потребности общества и даже его собственные телесные потребности. Типический случай последнего рода мы имеем тогда, когда боль или экскрементальная потребность внезапно мешает человеку в его деятельности, предъявляющей определенные требования к его душевным силам. Противоположностью, доставляющей нам при вчувствовании комическую разницу, является противоположность между большим интересом до помехи и минимальным интересом, проявляемым им к своей душевной деятель-

ности после того, как наступила помеха. Человек, доставляющий нам эту разницу, явится для нас комическим, опять-таки как человек униженный; но он унижен только в сравнении со своим прежним «Я», а не в сравнении с нами, так как мы знаем, что мы в подобном случае не могли бы вести себя иначе. Но достойно внимания, что мы можем считать это унижение комическим только в случае вчувствования, следовательно, только у другого человека в то время, как мы сами при таких и им подобных затруднительных обстоятельствах испытываем только мучительные чувства. Вероятно, лишь это отсутствие мучительного чувства у нас самих дает нам возможность считать разницу, получающуюся в результате сравнения сменяющихся количеств энергии, исполненной удовольствия.

Другой источник комизма, находимый нами в наших собственных превращениях энергии, лежит в наших отношениях к будущему, которое мы привыкли предвосхищать нашими представлениями о том, что нас ожидает. Я предполагаю, что в основе каждого нашего представления об ожидаемом событии лежит определенная количественная затрата, которая, следовательно, уменьшается в случае разочарования на определенную разницу, и я ссылаюсь здесь опять-таки на сделанные выше замечания относительно «мимики представлений». Но мне кажется, что легче доказать в случаях ожидания действительно произведенную мобилизацию затрачиваемой энергии. Для целого ряда случаев хорошо известно, что моторные приготовления создают выражение ожидания, прежде всего для тех случаев, где ожидаемое событие требует от меня подвижности, и эти приготовления целиком поддаются комическому определению. Когда я готовлюсь поймать брошенный мне мяч, то я напрягаю в своем теле мышцы, которые способны придать мне устойчивость против удара мяча, и излишние движения, которые я делаю, если пойманный мяч оказывается слишком легким, делают меня комичным в глазах зрителей. Благодаря ожиданию я был предрасположен к чрезмерной двигательной затрате. Точно так же обстоит дело, когда я вынимаю из корзины плод, который я считаю тяжелым, но который представляет собой только подделанную из воска оболочку. Моя рука подымается несоразмерно высоко и выдает этим, что я приготовил слиш-

ком большую для этой цели иннервацию, и потому надо мной смеются. Существует, по меньшей мере, один случай, в котором эта затрата ожидания может быть показана и непосредственно измерена физиологическим экспериментом над животными. В опытах Павлова над секрецией слюны собакам с фистулами слюнных желез показывают различные пищевые вещества, и количество выделенной слюны колеблется в зависимости от того, обманули или усилили условия опыта ожидания собаки относительно показанной ей пищи.

Даже тогда, когда событие, которое я ожидаю, предъявляет требования только к моим органам чувств, а не к моей подвижности, я могу предположить, что ожидание проявляется в определенном расходовании моторной энергии для напряжения чувств, для недопущения других неожидаемых впечатлений, и я вообще понимаю фиксацию внимания как моторный процесс, соответствующий определенной затрате. Я должен далее предположить, что подготовительная деятельность ожидания не независима от величины ожидаемого впечатления, но что я мимически представляю себе размеры этого впечатления путем бо̀льшей или меньшей подготовительной затраты, не ожидая его самого, как в случае рассказа — так и в случае мышления. Затрата ожидания складывается, разумеется, из нескольких компонентов, и при моем разочаровании принимаются во внимание различные моменты, а не тот только факт, что случившееся эмоционально больше или меньше, чем то, чего я ожидал. При этом учитывается также и то обстоятельство, заслуживает ли оно такого большого интереса, который я проявил в ожидании его. Таким образом, я приучаюсь принимать во внимание, кроме затраты энергии на изображение величины (мимика представлений), затрату на напряжение внимания (затрата ожидания) и в иных случаях сверх этого затрату абстракции. Но эти другие виды затрат могут быть легко приведены к затрате на определение величины, так как более интересное, более яркое и даже более абстрактное являются только особо квалифицированными частными случаями величины. Если мы прибавим, что согласно Lipps'у и др. количественный — а не качественный — контраст рассматривается в первую очередь как источник комического удовольствия, то в целом мы будем до-

вольны тем, что мы избрали комизм движения исходным пунктом нашего исследования.

Осуществляя Кантовское положение, согласно которому «комическое является ожиданием вылившимся в ничто», Lipps сделал в своей неоднократно цитировавшейся здесь книге попытку вывести комическое удовольствие вообще из ожидания. Несмотря на многие поучительные и ценные результаты, которые дала эта попытка, я все же могу присоединиться к высказанной другими авторами критике, согласно которой Lipps во многом слишком узко понял область происхождения комического и не мог без большой натяжки подвести его феномены под свою формулу.

Люди не удовлетворяются тем, что они наслаждаются комизмом там, где они сталкиваются с ним в жизни, но они стремятся к искусственному созданию его, и о сущности комизма можно узнать больше, если изучить те средства, которые служат для искусственного создания комизма. Можно, прежде всего, сделать комичным самого себя для того, чтобы развеселить других, притворяясь, например, неуклюжим или глупым. Человек производит при этом комическое впечатление точно так, как если бы он действительно был неуклюж или глуп, и выполняет при этом условие сравнения, которое ведет к разнице в затрате; но человек не становится благодаря этому смешным или презренным, а при некоторых условиях он вызывает даже восхищение. Другой человек не испытывает при этом чувства превосходства, если он знает, что первый только притворяется, и это является новым веским доказательством принципиальной независимости комизма от чувства превосходства.

Удобным приемом для того, чтобы сделать комичным другого человека, служит прежде всего перенесение его в ситуации, в которых человек становится комичным в силу человеческой зависимости от внешних соотношений, в особенности от социальных моментов; при этом не учитываются личные качества объекта, и средством для этого является, таким образом, использование комизма ситуации. Это перенесение в комическую ситуацию может быть реальным (a practical joke), когда мы подставляем кому-нибудь ножку, так что он падает как неуклюжий человек, или когда мы дурачим его, пользуясь его доверчивостью и стараясь

уговорить его в чем-то бессмысленном и т. п., или оно может быть воображаемым с помощью речи или игры. Оно является хорошим вспомогательным средством для агрессивности, которую обычно обслуживает создание комизма благодаря тому, что комическое удовольствие, независимо от реальности комической ситуации, и каждый человек беззащитен собственно против угрожающей ему опасности стать комичным.

Существуют и другие средства искусственного создания комического, которые заслуживают особой оценки и отчасти указывают на новые источники комического удовольствия. Сюда относится, например, подражание, которое доставляет слушателям чрезвычайное удовольствие и делает комическим объект этого подражания, хотя бы этому последнему и было чуждо комическое преувеличение. Гораздо легче обосновать комическое действие карикатуры, чем комическое действие простого подражания. Карикатура, пародия, костюмировка, а также и практическая противоположность последней, разоблачение, направлены против лиц и вещей, претендующих на авторитет и являющихся в каком-нибудь отношении выдающимися. Это — приемы для принижения (Herabsetzung), как говорит удачное немецкое выражение. Выдающееся является большим в переносном психическом смысле, и я могу сделать или, лучше сказать, повторить предположение, что оно, как и соматически большое, изображается путем увеличения затраты. Нужно немного наблюдений, чтобы доказать, что, говоря о выдающемся, я интонирую иначе свой голос, придаю другое выражение своему лицу и стараюсь привести весь свой наружный вид в соответствие с достоинством того, что я представляю себе. Я принимаю при этом торжественно-почтительный тон, отличающийся немногим от того, который я принял бы, если бы должен был находиться в присутствии выдающегося лица, государственного деятеля или великого ученого. Я едва ли ошибаюсь, предполагая, что эта другая иннервация мимики представлений сопровождается увеличением затраты. Третий случай такого увеличения затраты имеет место тогда, когда я высказываю абстрактные суждения вместо обычных конкретных и пластических представлений. Когда этот обсуждающийся здесь прием унижения выдающегося дает мне возмож-

ность представить это выдающееся, как нечто обыкновенное, для которого я не должен напрягаться и в идеальном присутствии которого я могу стоять «вольно», говоря военной формулой, то я делаю экономию увеличения затраты на торжественно-почтительный тон; сравнение этого способа представлений, возбужденного вчувствованием, с привычным до сих пор способом, пытающимся одновременно выявиться, создает опять-таки разницу в затрате, которая может быть отреагирована в смехе.

Карикатура, как известно, унижает, выхватывая из совокупного впечатления о выдающемся объекте одну-единственную черту, которая сама по себе комична, но оставалась незамеченной до тех пор, пока она воспринималась только в общей картине. Благодаря ее изолированию может быть достигнут комический эффект, который в нашем воспоминании распространяется на все в целом. При этом должно быть соблюдено условие, согласно которому мы испытывали эту почтительность не только в присутствии выдающегося лица. Если такая незаметная в общей совокупности комическая черта в действительности отсутствует, то карикатура создает ее без всяких рассуждений, преувеличивая такую черту, которая сама по себе не комична. Опять-таки характерно для происхождения комического удовольствия, что такое ложное изображение действительности не наносит существенного ущерба эффекту карикатуры.

Пародия и костюмировка добиваются унижения выдающегося другим путем, нарушая единство между известными нам характерными чертами людей и между их поступками и речами, заменяя выдающихся людей или их проявления более низкими. Они отличаются от карикатуры этим приемом, а не механизмом доставления комического удовольствия. Тот же самый механизм действует и при разоблачении, которое пускается в ход только тогда, когда кто-нибудь добился путем обмана уважения и авторитета, причем в действительности он не заслуживает ни уважения, ни авторитетности. Комический эффект разоблачения мы изучили на некоторых примерах остроумия, как, например, в остроте о знатной даме, которая при первых родовых болях восклицает: Ah, mon dieu, и которой врач не хочет оказать помощи, прежде чем она не

закричит: Ай! ай! ай! Изучивши характерные черты комического, мы больше не можем оспаривать того, что эта история является собственно примером комического разоблачения и не может претендовать на название остроты. Она напоминает остроту только инсценировкой, техническим приемом изображения при помощи детали, какою здесь, следовательно, является крик, считающийся достаточным показателем состояния роженицы. Между тем наша разговорная речь, если мы обратимся к ней за разрешением вопроса, наоборот, не сопротивляется тому, чтобы назвать такую историю остротой. Объяснение этому мы находим в том, что практика языка не исходит из научных взглядов на сущность остроумия, добытых этим кропотливым исследованием. Так как функции остроумия частично заключаются в том, чтобы вновь сделать доступными источники комического удовольствия, то по заманчивой аналогии можно каждый прием, не вскрывающий явного комизма, назвать остротой. Но это последнее верно преимущественно для разоблачения равно как и для всех других методов искусственного вызывания комизма.

К «разоблачению» можно отнести и тот известный уже нам прием искусственного создания комизма, который унижает достоинство отдельного человека, обращая внимание на его общечеловеческие слабости и особенно на зависимость его душевных функций от телесных потребностей. Разоблачение становится затем равнозначно напоминанию: такой-то и такой-то, которого почитают, как полубога, является все-таки таким же человеком, как я и как ты. Сюда же относятся все стремления обнаружить за богатством и кажущейся свободой психических функций однотонный психический автоматизм. Мы изучили примеры такого разоблачения в остротах о посредниках брака; мы, конечно, тогда уже сомневались, имеем ли мы право причислить эти истории к остротам. Мы можем теперь с бо́льшей уверенностью решить, что анекдот об «эхо», которое подтверждает все, что говорит посредник брака, и которое усиливает, в конце концов, признание шадхена в том, что невеста имеет горб, восклицанием: «и какой горб!» является в сущности комической историей, примером разоблачения психического автоматизма. Но, тем не менее, эта комическая история служит здесь только фасадом; для каждого вникающего в скры-

тый смысл анекдотов о посредниках брака все в целом остается отлично инсценированной остротой. Тот же, кто не вникает так глубоко, считает это только комической историей. То же относится к другой остроте о посреднике брака, который для опровержения возражения признает, в конце концов, истину, восклицая: «помилуйте, разве кто доверит этим людям что-нибудь!»; это — комическое разоблачение, служащее фасадом для остроты. Все-таки характер остроты здесь гораздо очевиднее, так как речь посредника является в то же время изображением при помощи противоположности: желая доказать, что эти люди богаты, он вместе с тем доказывает, что они не богаты, а очень бедны. Остроумие и комизм комбинируются здесь и учат нас тому, что одно и то же выражение может быть в одно и то же время остроумным и комическим.

Мы охотно пользуемся случаем, чтобы перейти от комизма разоблачения к остроумию, так как нашей задачей собственно является выяснение взаимоотношения между остроумием и комизмом, а не определение сущности комического. Поэтому мы присоединяем к открытию психического автоматизма, относительно которого мы не знаем, комичен ли он или остроумен, другой случай, в котором тоже сплетаются остроумие и комизм, случай острот-бессмыслиц. Исследование покажет нам, в конце концов, что для этого второго случая можно теоретически вывести совпадение остроумия и комизма.

При обсуждении технических приемов остроумия мы нашли, что виды мышления, которые имеют место в бессознательном и которые в сознательном могут трактоваться только как «ошибки мышления», являются техническим приемом для очень многих острот, в остроумном характере которых мы все-таки могли сомневаться и которые мы склонны были классифицировать просто, как комические истории. Мы не могли разрешить своих сомнений, так как нам прежде всего была неизвестна сущность характера остроумия. Впоследствии мы нашли ее, руководствуясь аналогией с работой сна, в компромиссной функции работы остроумия между требованиями рассудительной критики и нежеланием отказаться от прежнего удовольствия, получаемого от игры словами и от бессмыслицы. Компромисс, осуществляющийся тогда, когда предсознательное вы-

ражение мысли подвергается на один момент бессознательной обработке, удовлетворяет во всех случаях требованиям обеих сторон, но критике он преподносится в различных формах и подвергается различным оценкам с ее стороны. Остроте иной раз удается хитростью пробраться в форме лишенного значения, но все же допустимого предложения, в другой раз — тайно проникнуть в выражение ценной мысли; но в пограничном случае компромиссного образования острота отказывается удовлетворять требования критики и стремится упорно к источникам удовольствия, которыми она владеет; являясь незамаскированной бессмыслицей с точки зрения критики, она не побоялась вызвать возражения с ее стороны, так как она могла рассчитывать на то, что слушатель восстановит искажение ее выражения, получившееся в результате бессознательной обработки, и вновь придаст ему, таким образом, смысл.

В каком случае острота оказывается бессмыслицей с точки зрения критики? Особенно тогда, когда она пользуется видами мышления, употребительными в бессознательном и запрещенными в сознательном мышлении, следовательно, ошибками мышления. Но некоторые из видов мышления, употребительные в бессознательном, удержались также и в сознании, как, например, некоторые виды непрямого изображения, намек и т. д., хотя их сознательное употребление в большой мере ограничено. Употребление этих технических приемов совсем не вызывает или вызывает только незначительное сопротивление со стороны критики; это сопротивление наступает лишь в том случае, если острота пользуется, как техническими приемами, теми средствами, о которых сознательное мышление и слышать не хочет. Однако острота может еще преодолеть это препятствие, если она замаскирует сделанную ею ошибку мышления, если она придаст ей вид логичности, как в истории с тортом и ликером, с семгой с майонезом и им подобными. Но если она дает нам ошибку мышления в незамаскированном виде, то возражение критики неизбежно.

В этом случае остроте приходит на помощь нечто другое. Ошибки мышления, которыми она пользуется для своих технических приемов, как видами мышлений употребительными в бессознательном, кажутся критике, хотя и не всегда, комическими. Сознательное упо-

требление бессознательных и отвергнутых в силу своей ошибочности видов мышления является средством доставления комического удовольствия, и это легко понять, так как создание предсознательной активности требует, конечно, бо́льшей затраты, чем применение бессознательной. Выслушивая мысль, возникшую как будто в бессознательном, и сравнивая ее с ее корректурой, мы в результате получаем разницу в затрате, из которой вытекает ко́мическое удовольствие. Острота, пользующаяся такой ошибкой мышления, как техническим приемом, и кажущаяся поэтому бессмысленной, может производить, таким образом, комическое действие. Если мы не найдем следов остроумия, то нам останется опять-таки только комическая история, шутка.

История о взятом взаймы котле — который оказался при возвращении продырявленным, причем взявший его оправдывается тем, что, во-первых, он вообще не брал никакого котла, что, во-вторых, он был уже продырявленным, когда он взял его, и что, в-третьих, он возвратил его в целости, без дыры (с. 231) — является отличным примером чисто комического действия, получающегося в результате употребления бессознательных видов мышления. В бессознательном нет этого взаимного исключения нескольких мыслей, из которых каждая сама по себе хорошо мотивирована. Сновидение, в котором выявляются эти виды бессознательного мышления, не знает понятия «или — или»[1], а только одновременное существование одного элемента наряду с другим. В том примере своего «Толкования сновидений», который я, несмотря на его сложность, взял за образец для работы толкования, я стараюсь освободиться от упрека в том, что я не избавил пациентку от боли путем психического лечения. Я основывался на следующем: 1) она сама виновата в своей болезни, так как не хочет принять моего «решения», 2) ее боли — органического происхождения и, следовательно, меня не касаются, 3) ее боли объясняются ее вдовством, в котором я, конечно, неповинен, 4) ее боли являются следствием инъекции, которую ей сделал кто-то другой грязным шприцем. Все эти основания существуют одно наряду с другим так, как будто одно не исключает дру-

[1] В крайнем случае это понятие вводится рассказчиком как толкование.

гого. Чтобы избежать упреков в бессмысленности, я должен был бы вместо «и», стоящего в сновидении, поставить «или—или».

Точно такой же комической историей является происшествие в венгерском селе, в котором кузнец совершил убийство, а бургомистр приговорил к повешению не кузнеца, а портного, потому что в этом селе жили два портных, но не было двух кузнецов, а наказать когонибудь было необходимо. Такое передвигание с личности виновника на другую противоречит, разумеется, всем законам сознательной логики, но отнюдь не противоречит способу мышления бессознательного. Я без колебаний называю эти истории комическими, и, тем не менее, я привел историю с котлом как пример остроты. Я согласен с тем, что и эту последнюю историю гораздо правильнее назвать комической, чем остроумной. Но я понимаю теперь, почему мое прежде столь уверенное чувство привело меня к сомнению, является ли эта история комической или остроумной. Это — тот именно случай, в котором я не могу, руководствуясь чувством, решить, когда именно возникает комизм путем обнаружения видов мышления, свойственных именно бессознательному. Такая история может одновременно быть и комической и остроумной; но она производит на меня впечатление остроты, хотя бы она была только комической, так как употребление мыслительных ошибок бессознательного напоминает мне остроту, равно как и прежние приемы для обнаружения скрытого комизма (с. 372).

Я придаю особое значение точному выяснению этого самого спорного пункта моих исследований, отношения остроумия к комизму, и хочу поэтому дополнить сказанное некоторыми негативными положениями. Прежде всего я обращаю внимание на то, что обсуждавшийся здесь случай совпадения остроумия с комизмом не идентичен с предыдущим (с. 373). Хотя это очень тонкое отличие, но о нем можно говорить с уверенностью. В предыдущем случае комизм вытекал из открытия психического автоматизма. Этот автоматизм отнюдь не свойственен одному только бессознательному и не играет также никакой выдающейся роли среди технических приемов остроумия. Разоблачение только случайно связано с остроумием, обслуживая другой технический прием остроумия, например, изображение при помощи

противоположности. Но при употреблении видов бессознательного мышления совпадение остроумия и комизма неизбежно, так как тот же самый прием, который применяется у первого лица в остроте для техники освобождения удовольствия, доставляет по своей природе третьему лицу комическое удовольствие.

Можно было бы впасть в искушение обобщить этот последний случай и искать отношения остроумия к комизму в том, что действие остроты на третье лицо происходит по механизму комического удовольствия. Но об этом нет и речи, совпадение с комическим имеет место отнюдь не во всех, и даже не в большинстве острот; в большинстве случаев можно, наоборот, отделить остроумие от комизма в чистом виде. Если только остроте удается избавиться от видимости бессмыслицы, — следовательно, в большинстве острот, возникающих путем двусмысленности и намека — у слушателя нельзя найти следов действия подобного комическому. Это можно проверить на приведенных прежде примерах и на некоторых новых, которые я могу привести.

Поздравительная телеграмма к 70-летию со дня рождения одного игрока: «Trente et quarante» (разделение слов с намеком).

Мадам de Maintenon назвали M-me de Maintenant (модификация имени).

Проф. Kästner говорит одному принцу, становящемуся во время демонстрации перед подзорной трубой: «Мой принц, хоть вы и светлейший (durchläuchtig), но вы не прозрачны (durchsichtig)».

[Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать в следующем виде: Один из придворных сказал принцу, который имел низкий рост и пытался посмотреть в подзорную трубу: «Мой принц, хоть вы — ваше высочество, но вы недостаточно высоки»] (Я. К.).

Граф Andrassy был назван министром прекрасной наружности.

Можно было бы далее думать, что все остроты с бессмысленным фасадом кажутся комическими и должны оказывать такое действие. Однако я вспоминаю здесь о том, что такие остроты часто оказывают другое воздействие на слушателя, вызывают смущение и склонность к неприятию их (см. прим. на с. 309). Следовательно, речь идет, очевидно, о том, является ли бес-

смысленность остроты комической или простой неприкрашенной бессмыслицей; условий для решения этой альтернативы мы еще не исследовали. Соответственно этому мы остаемся при том заключении, что остроту по ее природе следует отличать от комического и что она только совпадает с ним, с одной стороны, в некоторых частных случаях, а, с другой стороны, в тенденции извлекать удовольствие из интеллектуальных источников.

Но при этих исследованиях об отношении остроумия к комизму перед нами выплывает то отличие, которое мы должны отметить как самое важное и которое указывает нам в то же время на основной психологический характер комизма. Источник удовольствия от остроты мы должны были перенести в бессознательное; мы не имеем никакого повода к такой локализации источника комического удовольствия. Наоборот, все анализы, проделанные нами до сих пор, указывают на то, что источником комического удовольствия является сравнение двух затрат, из которых мы должны обе отнести к предсознательному. Остроумие и комизм отличаются прежде всего психической локализацией; острота — это, так сказать, содействие, оказываемое комизму, из области бессознательного.

•

Мы не должны обвинять себя в том, что мы уклонились от темы, так как отношение остроумия к комизму является поводом, заставившим нас предпринять исследование комического. Но теперь наступило время вернуться к нашей теме, к обсуждению приемов, служащих для искусственного создания комизма. Мы предварительно исследовали карикатуру и разоблачение, так как мы могли найти в обоих видах комизма некоторые связующие нити с анализом комизма подражания. Подражание в большинстве случаев соединено с карикатурой, преувеличением некоторых, хотя и не ярких черт, а также имеет унижающий характер. Однако сущность его этим не исчерпывается; неоспоримо, что оно само по себе является обильным источником комического удовольствия, так как мы особенно смеемся удачному подражанию. Этому нелегко дать удовлетворительное объяснение, если не присоединиться к мнению Bergson'а, согласно которому комизм подражания

очень близок комизму, наступающему в результате открытия психического автоматизма. Bergson полагает, что комически действует все то, что заставляет думать о неодушевленных механизмах у одушевленного объекта. Его формулировка этого положения гласит: «Mécanisation de la vie». Он объясняет комизм подражания, ставя его в связь с проблемой, которую выдвигает Pascal в своих «Pensées»: почему мы смеемся при виде двух похожих лиц, из которых каждое само по себе вовсе не комично. «Живое никогда не должно, согласно нашим ожиданиям, повторяться в тождественном виде. Когда мы находим такое повторение, мы предполагаем нечто механическое, скрывающееся за этим живым». Когда человек видит два поразительно похожих друг на друга лица, то он думает о двух отпечатках одной и той же формы или об одном и том же приеме механического изготовления. Коротко говоря, причиной смеха в этих случаях является диссонанс между живым и неживым, мы могли бы сказать: деградирование живого к неживому (сс. 194—195). Если мы согласимся с этими выводами Bergson'а, которые вызывают у нас доверие, то нам не трудно будет подвести его взгляд под нашу собственную формулу. Наученные опытом тому, что каждое живое существо отлично от другого и требует от нашего разума некоторой затраты, мы разочаровываемся, когда нам не нужно производить никакой новой затраты вследствие полной аналогии или вводящего в заблуждение подражания. Но мы разочарованы в смысле облегчения затраты, и ставшая излишней затрата ожидания находит свое отреагирование в смехе. Эта же формула покрывает все нашедшие у Bergson'а оценку случаи комического оцепенения (raideur), профессиональных привычек, фиксированных идей и оборотов речи, употребляемых по каждому поводу. Все эти случаи исходят из сравнения затраты ожидания с той затратой, которая необходима для понимания тождественного объекта, причем бо̀льшая затрата ожидания опирается на наблюдение индивидуального разнообразия и пластичности всего живого. Следовательно, при подражании источником комического удовольствия является не комизм ситуации, а комизм подражания.

Так как мы, вообще, выводим комическое удовольствие из сравнения, то нам надлежит исследовать также и

самый комизм сравнения, который точно так же служит средством искусственного создания комизма. Наш интерес к этому вопросу повысится, если мы вспомним, что и в случае сравнения нас также часто охватывало «чувство» сомнения, следует ли назвать его остротой или просто комическим суждением (см. с. 250—251).

Эта тема заслуживает, конечно, гораздо больше внимания, чем мы можем ей уделить. Главное качество, которое мы требуем от сравнения, — это вопрос, является ли оно метким, т. е. обращает ли оно внимание на действительно существующую аналогию между двумя различными объектами. Первоначальное удовольствие от вновь нахождения одного и того же (G r o o s, с. 291) не является единственным мотивом, благоприятствующим употреблению сравнения; сюда присоединяются еще и способность сравнения к такому употреблению, которое приносит с собой облегчение интеллектуальной работы; это бывает тогда именно, когда, как это в большинстве случаев делают, сравнивают более неизвестное с более известным, абстрактное с конкретным, и, благодаря этому сравнению более чуждое и более трудное становится ясным. Такое сравнение абстрактного с вещественным связано с некоторым унижением и с некоторой экономией абстракционной затраты (в смысле мимики представлений). Однако эта экономия недостаточна, чтобы отчетливо выявить характер комического. Этот характер выплывает не внезапно, а постепенно из удовольствия от облегчения затраты, получившегося в результате сравнения. Есть многие случаи, которые только имеют сходство с комическим, в которых можно сомневаться, присущ ли им комический характер. Несомненно комично то сравнение, при котором повышается разница в уровне абстракционной затраты между обоими элементами сравнения, в котором нечто серьезное или чуждое нашему мышлению — в особенности носящее интеллектуальный или моральный характер — сравнивается с чем-нибудь банальным или низменным. Предыдущее удовольствие от облегчения затраты и содействие, оказываемое условиями мимики представлений, могут объяснить постепенный, определяемый количественными соотношениями переход удовольствия вообще в комическое удовольствие при сравнении. Желая избежать недоразумений, я подчеркиваю, что я вывожу комическое удовольствие при

сравнении не из контраста обоих элементов сравнения, а из разницы обеих абстракционных затрат. Трудно воспринимаемое, чуждое, абстрактное, собственно интеллектуально выдающееся разоблачается как нечто низменное благодаря тому, что оно приводится в аналогию с известным нам низменным, при представлении о котором отсутствует всякая абстракционная затрата. Итак, комизм сравнения сводится к деградированию.

Как мы уже видели раньше, сравнение может быть остроумным без следа комической примеси тогда именно, когда оно избегает унижения. Так, сравнение истины с факелом, которого нельзя пронести через толпу, не опалив кому-нибудь бороды, представляет собой чистую остроту, так как оно придает полноценный смысл поблекшему выражению («факел истины»), и вовсе не является комическим, так как факел как объект не лишен некоторой импозантности, хотя он и является конкретным предметом. Но сравнение может очень легко быть в такой же мере остроумным, как и комичным, и может быть или только остроумным или только комичным, независимо одно от другого, причем сравнение приходит на помощь некоторым техническим приемам остроумия, как, например, унификации и намеку. Так, сравнение Nestroy'а воспоминания с магазином является в одно и то же время и остроумным и комичным. Комичным — в силу огромного унижения, которому подвергается психологическое понятие в сравнении с магазином, остроумным — потому что тот, кто употребляет это сравнение — приказчик, и он создает, таким образом, в этом сравнении совершенно неожиданную унификацию между психологией и своей профессией. Фраза Гейне «Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы на штанах терпения» кажется на первый взгляд только отличным примером сравнения комически унижающего, но при ближайшем рассмотрении за ним следует признать и остроумный характер, так как это сравнение является намеком на скабрезность и дает, таким образом, возможность извлечь удовольствие от скабрезности. Из одного и того же материала возникает, конечно, не совсем случайное совпадение комического и в то же время остроумного удовольствия. Если условия возникновения одного способствуют и возникновению другого, то на «чувство», которое должно подсказать нам, имеем ли мы здесь остроту или комизм,

такое объединение влияет запутывающим образом, и только внимательное, независимое от действия этого удовольствия исследование может разрешить сомнение.

Хотя исследование этих тончайших условий комического удовольствия очень заманчиво, однако автор должен сказать, что ни его предшествующее образование, ни его повседневная деятельность не дают ему права выйти в своих исследованиях за пределы области остроумия, и он должен сознаться, что именно тема комического сравнения заставила его почувствовать свою некомпетентность.

Итак, мы охотно напоминаем, что многие авторы не признают резкой идейной и реальной разницы между остроумием и комизмом, которую склонны видеть мы, и что они считают остроту просто «комизмом речи» или «слов». Для проверки этого взгляда мы хотим выбрать по одному примеру умышленного и невольного комизма речи для сравнения с остротой. Мы уже раньше заметили, что мы считаем себя компетентными отличать остроумную фразу от комической.

[«Один съел пирожок с мясом, а другой — пирожок с удовольствием»]. (Я. К.).

Это просто комично; фраза же Гейне о четырех сословиях, на которые разделяется население Геттингена: «Профессора, студенты, филистеры и скот», чрезвычайно остроумна.

За образец умышленного комизма речи я беру «Wippchen'a» Stettenheim'a. Stettenheim'a называют остроумным, так как он в высокой мере обладает уменьем вызывать комизм. Острота, которую «знают», в противоположность к той, которую «создают», в действительности метко определяется этой способностью. Неоспоримо, что письма бернского корреспондента Wippchen'a остроумны в том отношении, что в них разбросано много острот всякого рода, среди которых есть очень удачные («празднично раздетые», говорит он о празднестве у дикарей); но своеобразный характер этих произведений зависит не от отдельных острот, а от комизма речи, который обильно струится в них. Wippchen — это первоначально сатирический образ, модификация G. Freytag'овского Schmock'a, одного из тех невежд, которые торгуют и злоупотребляют культурной ценностью нации, но удовольствие от комического эффекта,

получающегося при их изложении, оттесняет, очевидно, у автора мало-помалу сатирическую тенденцию на задний план. Продукции Wippchen'а являются в большинстве случаев «комической бессмыслицей»; автор воспользовался — впрочем по праву — веселым расположением духа, получившимся в результате частого употребления таких продукций, чтобы наряду с допустимыми шутками привести разного рода пошлости, которые сами по себе были недопустимы. Бессмыслицы Wippchen'а кажутся специфическими вследствие особой техники. Если ближе рассмотреть эти «остроты», то некоторые разряды их особенно бросаются в глаза и накладывают свой отпечаток на все творчество. Wippchen пользуется преимущественно соединениями (слияниями), модификациями известных оборотов речи и цитат и вставками в них банальных элементов с помощью более взыскательных и более ценных в большинстве случаев средств выражения. Впрочем, это приближается, конечно, к техническим приемам остроумия.

Слияниями являются, например, следующие шутки (взятые из предисловия и первых страниц):

«В Турции столько золота, сколько звезд в море», — это выражение составлено из двух оборотов речи:

«Золото, как звезды»,

«Золото, как песок в море».

Или: «Я не больше чем безлиственный столп, свидетельствующий об исчезнувшем великолепии», что является сгущением «безлиственной породы» и «столба, свидетельствующего и т. д.». Или: «Где нить Ариадны, которая вывела из Сциллы эту Авгиеву конюшню?», что составлено из трех элементов, принадлежащих трем различным греческим сагам.

Модификацию и замену одного другим можно без натяжки объединить; их характер вытекает из нижеследующих, взятых у Wippchen'а примеров, в которых между строк всегда сквозит другой, ходячий, в большинстве случаев банальный, избитый текст:

«Битвы, в которых русские то оставались в дураках, то оставались в умниках». Нам известен только первый оборот речи; не так уж бессмысленно было бы ввести в употребление и второй по аналогии с первым.

«Во мне уже рано пробудился Пегас». Если заменить слово «Пегас» словом «поэт», то перед нами автобиографический оборот речи, потерявший уже ценность

вследствие частого употребления. Хотя слово «Пегас» и не подходит для замены словом «поэт», но оно находится с ним в связи по смыслу и является высокопарным словом.

«Так прожил я свое тернистое короткое платье».

Это — описание вместо простого слова. «Вырасти из короткого платья» — один из описательных оборотов речи, связанных с понятием: детство.

Из множества других продукций Wippchen'a можно отметить некоторые как примеры чистого комизма, например, комического разочарования: «исход сражения колебался в течение нескольких часов, наконец... оно окончилось ни в чью», или комического разоблачения (неведения): Клио, медуза истории; цитаты: Habent sua fata morgana. Но нас больше интересуют слияния и модификации, так как они воспроизводят известные технические приемы остроумия. Можно сравнить с модификациями такие остроты, как, например: он имеет великую будущность позади себя, — он набитый идеалист, — остроты L i c h t e n b e r g'a, возникшие путем модификации: новые курорты хорошо лечат и т. п. Можно ли назвать продукции Wippchen'a, пользующиеся той же самой техникой, остротами или чем они отличаются от острот?

На это, конечно, нетрудно ответить. Вспомним о том, что острота имеет для слушателя два лица, вынуждает его к двум различным толкованиям. При остротах-бессмыслицах, как при только что упомянутых, одно толкование, сообразующееся только с текстом, гласит, что он является бессмыслицей; другое толкование, следуя намеку, прокладывает у слушателя путь через бессознательное и находит себе отличный смысл. При продукциях Wippchen'a, имеющих сходство с остротой, один из ликов остроты пуст, он как бы исчезает: это голова Януса, на которой высечен один только лик. Если человек, подкупленный техникой, обращается к бессознательному, он не находит там ничего. Исходя из слияния, мы не находим там такого случая, в котором оба слившихся элемента действительно получают новый смысл; при попытке анализа эти элементы совсем распадаются. Модификация и замена одного элемента другим приводят, как при остроте, к общеупотребительному и известному тексту, но сама модификация или замена не

говорит ни о чем ином, а обычно и ни о чем возможном или общеупотребительном. Таким образом, для этих «острот» остается только одно толкование: толкование бессмыслицы. Если угодно, то можно решить еще вопрос о том, нужно ли называть такие продукции, лишенные одной из существеннейших характерных черт остроумия, «плохими» остротами или вообще не называть их остротами. Несомненно, что такие бледные остроты производят комический эффект, который мы можем объяснить себе по-разному. Либо комизм возникает из обнаружения видов мышления, употребительных в бессознательном как в раньше рассмотренных случаях, либо удовольствие вытекает из сравнения с удачной остротой. Нам ничто не мешает предположить, что здесь совпадают оба способа возникновения комического удовольствия. Нельзя отрицать, что именно это недостаточное приближение к остроте превращает в данном случае бессмыслицу в комическую бессмыслицу.

Существуют другие, легко поддающиеся анализу случаи, в которых такая недостаточность в сравнении с тем, что должно было бы быть продуцировано, делает бессмыслицу непреодолимо комической. Загадка, являющаяся противоположностью остроты, может дать нам лучшие примеры этого, чем сама острота. Например, шутливый вопрос гласит: что висит на стене, обо что можно вытереть руки? Если бы ответом было: полотенце, то это была бы глупая загадка. Но этот ответ отрицают.— Нет, селедка.—Но, помилуйте,—возражает удивленно человек, — ведь селедка не висит на стене.— Но ведь ты можешь повесить ее на стену. — А кто же станет вытирать руки о селедку? — Тебя никто не заставляет этого делать,—гласит успокаивающий ответ. Это объяснение, данное с помощью двух типичных передвиганий, показывает, как многого не хватает этому вопросу, чтобы быть настоящей загадкой, и в силу этой абсолютной недостаточности он оказывается не просто бессмысленным, глупым, а непреодолимо комическим. Таким образом, путем несоблюдения существенных условий острота, загадка и другие суждения, которые сами по себе не доставляют комического удовольствия, могут стать источником комического удовольствия.

Еще меньше трудностей для понимания представляет случай непроизвольного комизма речи, встречающийся

очень часто в стихотворениях Friederike Kempner.

Неведомая связь душ соединяет человека с бедным животным. У животного есть воля — а, следовательно, и душа — хотя бы и меньшая, чем у нас.

Или разговор двух нежных супругов: («Контраст»).

«Как я счастлива», тихо восклицает она. «И я», говорит громче ее супруг, «твой род и твой вид дают мне право весьма гордиться своим удачным выбором»[1].

Здесь нет ничего напоминающего остроту. Но несомненно, что комическими делает их неудовлетворительность этих «стихотворений», чрезвычайная тяжеловесность их выражения, связанная с вышедшими из повседневного употребления или литературного стиля оборотами речи, простодушная ограниченность их мыслей, отсутствие какого бы то ни было следа поэтического или разговорного образа мышления[2]. При всем том не так уж понятно, почему мы находим эти стихотворения Kempner'а комическими; многие подобные же продукции мы находим просто плохими, они вызывают у нас не смех, а досаду. Именно величина отстояния от тех требований, которые мы предъявляем к стихотворениям, заставляет нас считать их комическими. Там, где эта разница меньше, мы больше склонны к критике, чем к смеху. Кроме того, комическое действие стихотворений Kempner'а обусловлено другими побочными обстоятельствами, очевидными добрыми намерениями, которыми руководилась поэтесса, некоторой сентиментальностью, обезоруживающей наше насмешливое отношение или нашу досаду и скрытой за ее беспомощными фразами. Мы вспоминаем здесь о проблеме, обсуждение которой мы отложили. Разница в затрате

---

[1] Перевод подстрочный.

[2] Из русских авторов все сказанное полностью может быть отнесено к небезызвестному Козьме Пруткову. Образчиком его творчества может служить следующее стихотворение в прозе: Что к чему привешано. «Некоторая очень красивая девушка, в королевском присутствии у кавалера де-Мондбасона, хладнокровно спрашивала: «Государь мой, что к чему привешано: хвост к собаке или собака к хвосту?» — Тот, сей проворный в отповедях кавалер, нисколько не смятенным, а напротив того, постоянным голосом ответствовал: «Как, сударыня, приключится; ибо всякую собаку никому и за хвост, как за шею, приподнять невозбранно». — Которая отповедь тому королю отменное удовольствие причинивши оный кавалер не без награды за нее остался». (Я. К.).

является, конечно, основным условием получения комического удовольствия, но наблюдение показывает, что удовольствие не всегда вытекает из такой разницы. Какие условия должны присоединяться или какие препятствия должны быть устранены для того, чтобы результатом такой разницы в затрате действительно явилось комическое удовольствие? Но прежде чем ответить на этот вопрос, мы хотим сделать вывод из предшествующих рассуждений: острота не совпадает с комическим суждением, остроумие — это нечто отличное от комизма речи.

Собираясь ответить на только что поставленный вопрос об условиях возникновения комического удовольствия из разницы в затрате, мы позволяем себе несколько облегчить нашу задачу, что не может доставить нам самим ничего, кроме удовольствия. Точный ответ на этот вопрос был бы равнозначен исчерпывающему изложению природы комизма, а на это у нас нет ни права, ни способностей. Мы удовлетворимся опять-таки освещением проблемы комизма только постольку, поскольку она достаточно резко отличается от проблемы остроумия.

Все критики бросали теориям остроумия упрек в том, что их определения не затрагивают сущности комизма. Комизм основан на контрасте представлений; да, поскольку контраст этот комичен и не производит иного впечатления. Комизм вытекает из неисполнения наших ожиданий; да, если это разочарование не мучительно. Эти возражения, без сомнения, справедливы, но их переоценивают, приходя к заключению, что существенная характерная черта комизма ускользнула до настоящего времени от понимания. Обобщению же этих определений мешают условия, которые необходимы для возникновения комического удовольствия без того, чтобы в них нужно было искать сущность комизма. Опровержение возражений и объяснение противоречий будет легко для нас лишь в том случае, если мы будем считать, что комическое удовольствие вытекает из разницы при сравнении двух затрат. Комическое удовольствие и эффект, по которому оно узнается, смех, могут возникать лишь тогда, когда эта разница неприменима для других целей и способна к отреагированию. Мы не получаем никакого эффекта удовольствия, а, в крайнем случае, мимолетное чувство удовольствия, которое не носит комического

характера, если разница, как только она распознается, получит другое применение. Как при остроте необходимо особое предрасположение, чтобы предупредить иное применение излишней затраты, так и комическое удовольствие может возникать только при таких соотношениях, которые выполняют это условие. Поэтому случаи, в которых возникают разницы затрат в жизни наших представлений, чрезвычайно многочисленны, а случаи, в которых из них вытекает комизм, сравнительно очень редки.

Наблюдатель, хотя бы бегло обозревающий условия возникновения комизма из разницы в затрате, может сделать два замечания: во-первых, что есть случаи, в которых регулярно и как бы неизбежно возникает комизм, и в противоположность им есть другие случаи, в которых комизм в большой мере зависит от условий случая и от точки зрения наблюдателя, и во-вторых, что очень большая разница в затрате побеждает весьма часто неблагоприятные условия, так что комическое чувство возникает вопреки им. В связи с первым замечанием можно различать два класса: класс неопровержимо комического и класс случайно комического, хотя уже с самого начала нужно предположить, что неопровержимость комизма, относящаяся к первому классу, не свободна от исключений. Было бы заманчиво заняться исследованием решающих для обоих классов условий.

Существенными для второго класса являются условия, часть которых может быть объединена под названием «изолирования» комического случая. Ближайший анализ выясняет следующие соотношения:

a) Благоприятным условием для возникновения комического удовольствия является вообще веселое настроение духа, в котором человек «расположен смеяться». При веселом настроении, вызванном токсически, почти все кажется комическим благодаря сравнению с затратой в нормальном состоянии. Остроумие, комизм и все подобные методы извлечения удовольствия из душевной деятельности являются не чем иным, как путями, идя по которым можно от одного-единственного пункта прийти в веселое настроение — эйфорию, если она не существует как общая установка психики.

b) Точно так же благоприятно влияет ожидание комизма, установка на комическое удовольствие. Поэтому, если человек рассказывает что-нибудь, имея в виду вызвать комический эффект, то для этого достаточна

бывает такая незначительная разница в затрате, которая осталась бы, вероятно, незамеченной, если бы человек не преследовал комической цели. Если человек читает комическое произведение или идет в театр смотреть комедию, то благодаря этой предвзятости он смеется над такими вещами, которые вряд ли оказались бы комическими для него в его обыденной жизни. Он смеется, в конце концов, при воспоминании о том, что он смеялся, при ожидании смеха; он смеется, едва только он завидит комического артиста, еще прежде, чем тот мог сделать даже попытку вызвать у него смех. Поэтому человек признает даже, что он впоследствии стыдится того, над чем он мог смеяться в театре.

c) Неблагоприятные для комизма условия могут явиться результатом того вида душевной деятельности, который занимает в данный момент индивидуума. Работа воображения или мышления, преследующая серьезные цели, мешает отреагированию энергии, в которой она, конечно, нуждается для своего выполнения, так что только неожиданные большие разницы в затрате могут пробиться и доставить комическое удовольствие. Особенно неблагоприятны для комизма все виды мыслительной деятельности, которые настолько далеки от наглядности, что не вызывают мимики представлений. При абстрактном мышлении для комизма вообще больше нет места, разве только если этот образ мышления будет внезапно нарушен.

d) Удобный случай для освобождения комического удовольствия исчезает и тогда, когда внимание направлено на то именно сравнение, из которого может вытекать комизм. При таких условиях то, что безусловно оказывало комическое действие, теряет свою комическую силу. Движение или душевное проявление не может быть комичным для того, чье внимание направлено на сравнение этого движения или душевного проявления с образцом, который он ясно представляет себе. Так, экзаменатор не находит комичным бессмыслицу, продуцируемую испытуемым в его неведении, она раздражает его, в то время, как коллеги испытуемого, гораздо больше интересующиеся тем, какая участь постигнет его, чем тем, насколько удовлетворительны его знания, смеются от всего сердца над этой бессмыслицей. Учителю гимнастики или танцев только редко кажутся комическими движения его учеников,

а от проповедника ускользает комизм отрицательных черт характера, которые так старательно отыскивает автор комедии. Комический процесс не выносит чрезмерной фиксации внимания на себе, он должен протекать совсем незаметно, будучи, впрочем, подобен в этом отношении остроте. Но если бы его назвали обязательно бессознательным, то это противоречило бы номенклатуре «процессов сознания», которою я, имея на то основания, пользовался в «Толковании сновидений». Он относится скорее к предсознательному, и такие процессы, разыгрывающиеся в предсознательном и ускользающие от внимания, с которым связано сознание, можно назвать подходящим термином «автоматические». Процесс сравнения затрат, если он доставляет комическое удовольствие, должен оставаться автоматическим.

е) Если случай, из которого должен возникнуть комизм, является в то же время поводом к освобождению сильного аффекта, то это является большим препятствием для комизма. Отреагирование разницы в этом случае, как правило, невозможно. Аффекты, предрасположение и установка индивидуума позволяют в каждом отдельном случае понять, что комизм выплывает или исчезает только в связи с точкой зрения отдельного человека, что абсолютно комическое существует только в исключительных случаях. Поэтому зависимость или относительность комического гораздо больше, чем относительность остроты, так как острота никогда не вытекает, а всегда создается, а при создании ее уже приняты во внимание условия, среди которых она имеет место. Развитие же аффекта — это самое сильное из условий, являющихся препятствием для комизма, и его значения нельзя отрицать, с какой бы стороны мы не подошли к этому вопросу[1]. Поэтому говорят, что комическое чувство возникает легче всего в полуиндифферентных случаях, в которых не участвуют сильное чувство или заинтересованность. Тем не менее можно видеть, что именно в случаях, связанных с освобождением аффекта, очень большая разница в затрате создает автоматизм отреагирования. Когда военачальник Бутлер отвечает, «горько смеясь», на напоминания Октавия возгласом: «Dank vom Haus Östrreich!», то его раздражение не мешает смеху, относящемуся к воспо-

---

[1] «Тебе легко смеяться; тебя это мало трогает».

минанию об испытанном им разочаровании, а, с другой стороны, поэт не может более убедительно изобразить силу этого разочарования, чем указывая на ее способность вызвать насильственный смех посреди бушующих аффектов. Я полагаю, что это объяснение может быть приложено ко всем случаям, в которых смех имеет место и по поводу полных удовольствия моментов и наряду с интенсивными, мучительными или напряженными аффектами.

f) Если мы еще прибавим, что комическому удовольствию может способствовать всякая иная случайность, как, например, влияние контакта (по принципу предварительного удовольствия при тенденциозной остроте), то этим мы исчерпали, хотя и не полностью, но для нашей цели в достаточной мере условия комического удовольствия. Мы видим, что эти условия, равно как непостоянство и зависимость комического эффекта, не могут быть удовлетворительно объяснены, если не предположить, что комическое удовольствие является производным отреагирования разницы, которая при самых разнообразных соотношениях может быть употреблена для других целей, а не для отреагирования.

Более подробного рассмотрения заслуживает еще комизм сексуальности и скабрезности, которого мы коснемся здесь только в немногих словах. Исходным пунктом является и здесь обнажение. Случайное обнажение действует на нас комически, так как мы сравниваем легкость, с которой мы наслаждаемся этим зрелищем, с той большой затратой, которая была бы необходима в ином случае для достижения этой цели. Этот случай приближается к случаю наивно-комического, но он проще, чем этот последний. Всякое обнажение, очевидцами — или слушателями в случае сальности — которого мы становимся благодаря третьему лицу, равнозначно искусственному комизму обнаженного лица. Мы слышали, что задача остроты заключается в том, чтобы заменить собой сальность и вновь открыть таким образом ставший недоступным источник комического удовольствия. Наоборот, подсматривание (подслушивание) обнажения не является комическим для подсматривающего (подслушивающего), так как его собственное напряжение упраздняет при этом условие комического удовольствия; в данном случае остается только сексуальное удовольствие от увиденного. Когда подсматривающий

рассказывает об этом другому человеку, то лицо, за которым подсматривали (подслушивали) вновь становится комичным, так как при этом получает преобладание точка зрения, согласно которой лицо это не производило затраты, которая была бы уместна для сокрытия обнаженного. Впрочем, область сексуальности и скабрезности дает чрезвычайно много удобных случаев для получения комического удовольствия наряду с исполненным удовольствия сексуальным возбуждением постольку, поскольку может быть показана зависимость человека от его телесных потребностей (унижение) или поскольку за претензией на духовную любовь может быть открыто физическое влечение (разоблачение).

Прекрасная и жизненная книга Bergson'a «Le rire» побуждает нас неожиданным образом искать понимание комизма в его психогенезе. Bergson, формулы которого, предложенные им для объяснения характерных черт комизма, уже известны нам — «mécanisation de la vie», «substitution quelconque de l'artificiel au naturel» — переходит путем легко вызываемых ассоциаций от автоматизма к автоматам и пытается свести целый ряд комических эффектов к поблекшему воспоминанию о детской игрушке. Идя в этом направлении, он в одном месте становится на точку зрения, которую он, впрочем, скоро оставляет; он пытается вывести комизм из последствия детских радостей. «Может быть, нам следует пойти еще дальше в этом упрощении, вернуться к самым ранним нашим воспоминаниям и искать в детских играх, забавляющих ребенка, первые зачатки тех построений, которые заставляют смеяться взрослого человека... Очень часто мы не улавливаем тех следов инфантильности, которые еще сохранились в большинстве наших радостных переживаний». Так как мы проследили в обратном направлении развитие остроты вплоть до запрещенной разумною критикой детской игры словами и мыслями, то для нас должно быть особенно интересно проверить и эти предполагаемые Bergson'ом инфантильные корни комизма.

Мы, действительно, наталкиваемся на целый ряд соотношений, которые кажутся нам многообещающими, если мы исследуем отношение комизма к ребенку. Ребенок сам отнюдь не кажется нам комичным, хотя его

существо выполняет все условия, которые при сравнении с нашим существом дают в результате комическую разницу: чрезмерную двигательную затрату наряду с незначительной умственной затратой, господство телесных функций над душевными и другие черты. Ребенок производит на нас комическое впечатление только тогда, когда он ведет себя не как ребенок, а как серьезный взрослый человек, и он производит это впечатление точно таким же образом, как другие люди, которые носят чужую маску; но до тех пор, пока он сохраняет свою детскую сущность, восприятие его доставляет нам чистое, быть может, напоминающее комизм, удовольствие. Мы называем его наивным, поскольку у него отсутствуют задержки, и наивно-комическими его проявления, которые мы у другого человека назвали бы скабрезными или остроумными.

С другой стороны, у ребенка нет чувства комизма. Это положение говорит только о том, что комическое чувство возникает в ходе душевного развития, как и другое какое-либо чувство, и не было бы ничего удивительного — тем более, что это должно быть признано — если бы оно уже отчетливо воспринималось в возрасте, который мы должны назвать детским. Но тем не менее можно показать, что в утверждении, согласно которому у ребенка отсутствует чувство комизма, содержится нечто большее, чем аксиома. Прежде всего ясно, что это не может быть иначе, если верно наше объяснение, считающее комическое чувство производным разницы в затрате, являющейся результатом понимания другого человека. Возьмем в качестве примера опять-таки комизм движения. Сравнение, в результате которого получается разница, будучи уложено в формулу, гласит: Так делает это тот, и: так я делаю это, так я сделал это. Но у ребенка нет этого содержащегося во втором предложении масштаба, его понимание идет путем одного только подражания, он делает это точно таким же образом. Воспитание ребенка награждает его стандартом: ты должен делать это таким-то образом; если ребенок пользуется этим мерилом при сравнении, то он легко может сделать вывод: он сделал это неправильно, и: я могу сделать это лучше. В этом случае ребенок высмеивает другого человека, он смеется над ним, чувствуя свое превосходство. Я не вижу препятствий считать и этот смех производным разницы в затрате, но

по аналогии с имеющими место у нас случаями высмеивания мы можем сделать вывод, что в смехе ребенка, сопровождающемся чувством превосходства, нет комического чувства. Это — смех от чистого удовольствия. Когда мы ясно чувствуем свое превосходство, мы только улыбаемся вместо того, чтобы смеяться, или если мы смеемся, то мы тем не менее можем ясно отличить сознаие своего превосходства от комизма.

Мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что ребенок смеется от чистого удовольствия при обстоятельствах, которые мы воспринимаем как «комические» и не знаем их мотивировки в то время, как мотивы ребенка ясны и могут быть указаны. Когда кто-нибудь поскользнется, например, на улице и упадет, то мы смеемся, потому что это производит — неизвестно почему — комическое впечатление. Ребенок смеется в этом случае от чувства превосходства, от радости, что другой потерпел неудачу: ты упал, а я — нет. Некоторые мотивы удовольствия ребенка оказываются утерянными для нас, взрослых; поэтому мы при подобных же условиях ощущаем «комическое» чувство взамен утерянного.

Было бы заманчиво обобщить искомый специфический характер комизма, видя в нем пробуждение инфантильности, понимая комизм как вновь приобретенный «утерянный детский смех». Тогда можно было бы сказать, что я всякий раз смеюсь по поводу разницы в затрате у другого человека и у меня, когда я вновь нахожу в другом человеке ребенка. Или точнее говоря, полное сравнение, приводящее к комизму, должно было бы гласить:

«Так делает это он — я делаю иначе. — Он делает это так, как делал это я, будучи ребенком».

Итак, этот смех являлся бы каждый раз результатом сравнения между мною взрослым и мною ребенком. Даже неравномерность комической разницы, благодаря которой мне кажется комической то бо́льшая, то меньшая затрата, согласуется с инфантильным условием; комизм при этом фактически всегда относится к инфантильности.

Это не стоит в противоречии с тем, что ребенок сам, как объект сравнения, не производит на меня комического, а только приятное впечатление; не противоречит этому и то, что сравнение с инфантильным действует комически только в том случае, если разница в затрате

не получила другого применения, так как при этом принимаются во внимание условия отреагирования. Все, что включает психический процесс в какую-либо связь, противодействует отреагированию излишней энергии и дает ей другое применение; все, что изолирует психический акт, способствует отреагированию. Поэтому сознательная установка на ребенка, как на объект сравнения, делает невозможным отреагирование, необходимое для комического удовольствия; только в предсознательной инстанции (Besetzung) получается такое приближение к изолированию в том виде, в каком мы можем, впрочем, приписать его и душевным процессам ребенка. Добавление к сравнению: «Так делал это я, будучи ребенком», от которого исходит комическое действие, принималось бы, следовательно, во внимание для разниц средней величины лишь в том случае, если никакая другая связь не могла бы овладеть избытком освобожденной энергии.

Если мы еще продолжим попытку найти сущность комизма в предсознательном распознавании инфантильности, то мы должны будем сделать шаг вперед в сравнении с Bergson'ом и признать, что сравнение, из которого вытекает комизм, должно пробудить не только прежнее детское удовольствие и детскую игру, но что ему достаточно затронуть детскую сущность вообще, быть может, даже детское страдание. Мы расходимся в этом с Bergson'ом, но остаемся в согласии с собой, приводя комическое удовольствие в связь не с вспоминаемым удовольствием, а всегда только со сравнением. Возможно, что случаи первого рода покрывают до некоторой степени закономерный и непреодолимый комизм. Присоединим сюда вышеприведенную схему случаев, в которых возможен комизм. Мы сказали, что комическая разница получается или а) благодаря сравнению между другим человеком и мною, или b) благодаря сравнению, производимому исключительно в пределах другой личности, или с) благодаря сравнению, производимому исключительно в пределах моего «Я».

В первом случае другой человек кажется мне ребенком, в другом — он сам опускается до ступени ребенка, в третьем — я нахожу ребенка в себе самом. К первому случаю относится комизм движения и форм, душевных проявлений и характера; в инфантильном этому соответствует любовь к движениям, умственная и нравствен-

ная недоразвитость ребенка, так что глупый кажется мне комичным, напоминая мне ленивого ребенка, злой — скверного ребенка. О детском удовольствии, утерянном для взрослого человека, можно говорить только в одном случае, где речь идет о свойственной ребенку любви к движениям.

Второй случай, при котором комизм покоится целиком на «вчуствовании», охватывает многочисленные случаи: комизм ситуации, преувеличения (карикатура), подражания, унижения и разоблачения. В этом случае уместна, по большей части, инфантильная оценка, так как комизм ситуации основан преимущественно на затруднениях, в которых мы вновь находим беспомощность ребенка; самое худшее из этих затруднений, нарушение других функций повелительными требованиями, предъявляемыми естественными потребностями, соответствует тому, что ребенок недостаточно еще владеет своими телесными функциями. Если комизм ситуации оказывает свое действие благодаря повторениям, то он опирается на свойственное ребенку удовольствие от длительного повторения, которым ребенок так надоедает взрослому (одни и те же вопросы, рассказы). Преувеличение, доставляющее удовольствие еще и взрослому, поскольку оно может быть оправдано его критикой, связано с характерным для ребенка отсутствием чувства меры, с его незнанием всех количественных соотношений, которые он впоследствии изучает как качественные. Сохранение чувства меры, умеренность являются плодом позднейшего воспитания и приобретается путем взаимного торможения душевных деятельностей, воспринимаемых в определенной связи. Если эта связь ослаблена, как в бессознательном сновидении, при моноидеизме психоневрозов, то вновь выступает отсутствие чувства меры, свойственное ребенку.

Комизм подражания представил сравнительно большие трудности для нашего понимания до тех пор, пока мы не учитывали при этом инфантильного момента. Но подражание является самым излюбленным приемом ребенка и двигательным мотивом большинства его игр. Честолюбие ребенка направлено гораздо меньше на выделение среди равных себе, чем на подражание взрослым. От отношения ребенка к взрослому зависит и комизм унижения, которому соответствует тот случай, когда взрослый снисходит к детской жизни. Вряд

ли что-нибудь может доставить ребенку большее удовольствие, чем то, когда взрослый снисходит к нему, когда взрослый отказывается от подавляющего превосходства и играет с ним, как с равным себе. Уменьшение затраты, доставляющее ребенку чистое удовольствие, превращается у взрослого как унижение, в средство искусственного вызывания комизма и в источник комического удовольствия. О разоблачении мы знаем, что оно является производным унижения.

На наибольшие трудности наталкивается инфантильное условие третьего случая, — комизма ожидания; этим, конечно, объясняется то, что авторы, поставившие в своем изложении комизма этот случай на первый план, не сочли нужным принять во внимание инфантильный момент комизма. Комизм ожидания чужд ребенку, способность понять его наступает очень поздно. Ребенок в большинстве тех случаев, которые кажутся взрослому комическими, чувствует, вероятно, только разочарование. Но можно было бы связать с блаженством ожидания и легковерием ребенка понимание того, что человек кажется комичным «как ребенок», когда он испытывает комическое разочарование.

Если бы результатом только что приведенного изложения явилась некоторая вероятность расшифрования комического чувства и если бы это расшифрование гласило: комично все то, что не подходит взрослому, то тем не менее я в силу всего моего отношения к проблеме комизма не нашел бы в себе достаточно смелости, чтобы так же серьезно защищать это положение, как все приведенные до сих пор положения. Я не могу решить, является ли нисхождение к ребенку только частным случаем комического унижения или всякий комизм покоится в своей основе на нисхождении к ребенку[1].

Исследование комизма, хотя бы и беглое, было бы крайне неполно, если бы оно не уделило, по крайней мере, нескольких замечаний юмору. Родственность между комизмом и юмором так мало подлежит сомнению, что попытка объяснения комизма должна дать по

---

[1] Если бы комизм не имел ничего общего с инфантильностью, кроме того, что комическое удовольствие имеет своим источником «количественный контраст», сравнение большого с малым, которое выражает, в конце концов, и сущность отношения взрослого к ребенку, то это было бы на самом деле редким совпадением.

меньшей мере один компонент для понимания юмора. Для оценки юмора было приведено очень много верного и выдающегося; будучи одним из высших психических проявлений, он пользуется особым вниманием мыслителей, тем не менее мы не можем не сделать попытки выразить его сущность, приблизив ее к формулам для остроты и для комизма.

Мы слышали, что освобождение мучительных аффектов является сильнейшим препятствием для комического впечатления. Так как бесцельное действие наносит ущерб, глупость приводит к несчастью, разочарование причиняет боль, то благодаря этому исключается возможность комического эффекта, по крайней мере, для того, кто не может отделаться от такого неудовольствия, кто сам испытывает его, кого оно затрагивает в то время, как человек непричастный свидетельствует своим поведением о том, что в ситуации настоящего случая имеется все необходимое для комического эффекта. Юмор является средством получения удовольствия несмотря на препятствующие ему мучительные аффекты. Он подавляет это развитие аффекта, занимает его место. Условие для его возникновения дано тогда, когда имеется ситуация, в которой мы сообразно с нашими привычками должны были бы пережить мучительный аффект, и когда мы поддаемся влиянию мотивов, говорящих за подавление этого аффекта in statu nascendi. Следовательно, в вышеприведенных случаях человек, которому причинен ущерб который испытывает боль, может получить юмористическое удовольствие в то время, как человек непричастный смеется от комического удовольствия. Удовольствие от юмора возникает в этих случаях — мы не можем сказать иначе — ценою этого неосуществившегося развития аффекта; оно вытекает из экономии аффективной затраты.

Юмор является самым умеренным из всех видов комизма; его процесс осуществляется уже при наличии одного только человека; участие другого не прибавляет к нему ничего нового. Я могу сам наслаждаться возникшим во мне юмористическим удовольствием, не испытывая потребности рассказать о нем другому человеку. Не легко сказать, что́ происходит в этом одном человеке при возникновении юмористического удовольствия; но можно создать себе определенное мнение о

этом, если исследовать те случаи сообщенного или прочувствованного юмора, в которых я благодаря пониманию юмористического человека получаю такое же удовольствие, что и он. Самый грубый случай юмора, так называемый «юмор висельников» (Galgenhumor) пояснит нам это. Преступник, которого ведут в понедельник на казнь, говорит: «Ну, эта неделя начинается хорошо». Это — собственно острота, так как замечание само по себе метко, но, с другой стороны, оно до бессмысленного неуместно, так как дальнейших событий для него в эту неделю не будет. Но нужно обладать юмором для того, чтобы создать такую остроту и пренебречь всем тем, что отличает начало этой недели от другой, чтобы отрицать то отличие, из которого могут вытекать мотивы к совершенно особым переживаниям. Точно так же обстоит дело и тогда, когда он по дороге на казнь выпрашивает кашне для своей обнаженной шеи, чтобы не простудиться; такая предосторожность была бы похвальна в ином случае, но теперь, когда судьба этой шеи будет решена через несколько минут, осторожность эта кажется излишней и чрезмерно беспечной. Нужно сознаться, что есть нечто похожее на душевное величие в этом «бахвальстве», в этом сохранении своей привычной сущности, в этом нежелании видеть то, что должно уничтожать это существо и привести его в отчаяние. Такого рода величие юмора выступает, несомненно, в тех случаях, когда наше восхищение не встречает задержек в положении юмористического лица.

В «Эрнани» В. Гюго бандит, принявший участие в заговоре против своего короля, Карла I испанского (Карла V немецкого кайзера), попал в руки своего могущественного врага; он, изобличенный заговорщик, предвидит свою судьбу; его голова будет отсечена. Но в предвидении этого он раскрывает свое звание потомственного гранда и заявляет, что он не собирается отказаться от преимуществ, которыми пользуются гранды. Испанский гранд имеет право надеть головной убор в присутствии своего короля. Итак:

«Наши головы имеют право
Пасть покрытыми перед тобой».

Это — великолепный пример юмора, и если мы, как слушатели, не смеемся при этом, то это происходит лишь потому, что наше изумление покрывает собой юмористическое удовольствие. В случае с преступником, который боится простудиться на пути к виселице, мы смеемся во все горло. Ситуация, приводящая преступника в отчаяние, может вызвать у нас только сострадание, но это сострадание встречает в нас задержку, так как мы понимаем, что он, тот, кого это близко касается, нисколько не представляет себе всей серьезности момента. Вследствие этого понимания затрата энергии на сострадание, к которой мы были уже подготовлены, становится уже неприменимой для этой цели, и мы отреагируем ее в смехе. Беспечность преступника, стоившая ему, как мы замечаем, большой затраты психической энергии, как будто заражает нас.

Экономия сострадания является одним из самых частых источников юмористического удовольствия. Юмор Марка Твена пользуется обычно этим механизмом. Когда Твен рассказывает нам случай из жизни своего брата, как тот, будучи служащим в большом предприятии по постройке железных дорог, взлетел на воздух вследствие преждевременного взрыва мины и упал опять на землю далеко от места своей работы, то в нас неизбежно пробуждается чувство сострадания к несчастному: мы хотели бы спросить, не получил ли он ранений во время несчастного случая, но продолжение рассказа гласит, что у брата был удержан полудневный заработок «за то, что он отлучился со службы», и это отвлекает нас целиком от сострадания, делает нас почти такими же безжалостными, как и его предприниматель, и вызывает у нас почти такое же безразличное отношение к возможному повреждению здоровья у брата. В другой раз Марк Твен излагает нам свою родословную, которую он ведет от одного из спутников Колумба. Но после того, как он изобразил нам характер этого предка, весь багаж которого состоял из нескольких кусков белья, причем каждый кусок имел другую метку, то мы можем смеяться не иначе как за счет экономии благоговения, в которое мы готовы были перенестись в начале этой родословной. При этом для механизма юмористического удовольствия не является препятствием знание того, что

эта родословная вымышлена и что этот вымысел служит целям сатирической тенденции, чтобы таким образом подчеркнуть излишнюю красочность, которая имеется в подобных сообщениях других людей. Другой рассказ Марка Твена заключается в том, что его брат построил себе подземную квартиру, в которую он принес кровать, стол и лампу; крышей ей служил большой, продырявленный в середине кусок парусины, но ночью после того, как квартира была устроена, корова, которую гнали домой, упала через отверстие в крыше на пол и потушила лампу; брат терпеливо помог вытащить наверх животное и привел все опять в порядок; он поступил точно таким же образом, когда в следующую ночь повторилось то же самое, и так далее каждую ночь. Такая история производит комическое впечатление вследствие многократного повторения. Но Марк Твен заканчивает ее рассказом, что в 46-ю ночь, когда вниз опять упала корова, брат заметил: «Дело начинает принимать однообразный характер», и тогда мы не можем не испытать юмористического удовольствия, так как мы уже давно ожидали услышать, как же, в конце концов, брат выразит свою досаду по поводу этого упорного несчастья. Тот небольшой юмор, который мы сами осуществляем в нашей жизни, мы, как правило, продуцируем за счет досады, взамен огорчения[1].

Виды юмора чрезвычайно разнообразны, смотря по

---

[1] Великолепный юмористический эффект, который производит фигура толстого рыцаря сэра Джона Фальстафа, основан на экономии презрения и негодования. Хотя мы считаем его недостойным кутилой и мошенником, но при осуждении его нас обезоруживает целый ряд моментов. Мы понимаем, что он сам о себе такого же мнения, как и мы о нем; он импонирует нам своим остроумием, и, кроме того, его телесное уродство оказывает в высшей степени благоприятное влияние на комическое понимание его личности вместо серьезного, как будто наши требования относительно морали и чести должны отскакивать от такого толстого живота. Его поведение в общем безобидно и может быть почти оправдано благодаря комической подлости тех, кого он обманывает. Мы согласны с тем, что этот бедняк имеет право стремиться к жизненным благам и к наслаждению, как и всякий другой, и почти сочувствуем ему, так как в главных ситуациях мы видим, что он является игрушкой в руках человека, гораздо более сильного, чем он. Поэтому мы не можем возненавидеть его и превращаем все, что мы экономим за счет негодования, в комическое удовольствие, прибавляя его к тому удовольствию, которое он

природе аффективного возбуждения, за счет экономии которого создается юмор: сострадание, досада, боль, умиление и т. д. Этот ряд бесконечен, так как область юмора становится все шире и шире, когда художнику или писателю удается юмористически победить непобежденные до сих пор аффективные возбуждения, сделать их источником юмористического удовольствия с помощью тех же примеров, что и в предыдущих примерах. Художники «Simplizissimus'a» поражают нас тем, что добывают юмор за счет ужасного и отвратительного. Впрочем, формы проявления юмора определяются двумя особенностями, связанными с условиями его возникновения. Во-первых, юмор может сливаться с остротой или другим видом комизма, причем на его долю выпадает задача устранить заложенную в ситуации возможность развития аффекта, который явился бы препятствием для ощущения удовольствия. Во-вторых, он может совсем или только частично упразднить это развитие аффекта, что имеет место даже чаще, так как это легче сделать; результатом этого являются различные формы «мрачного»[1] юмора, смеющегося сквозь слезы. Он отнимает у аффекта часть

доставлял прежде. Собственный юмор Джона Фальстафа вытекает из чувства превосходства его «Я», которого ни его физические, ни моральные недостатки не могут лишить веселости и уверенности.

Доблестный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский является, наоборот, фигурой, которая сама по себе не обладает юмором. Он доставляет нам в своей серьезности удовольствие, которое можно было бы назвать юмористическим, хотя в механизме этого удовольствия имеется глубокое уклонение от юмора. Дон-Кихот — это первоначально чисто комическая фигура, большой ребенок, которому вскружили голову фантазии из его рыцарских книг. Известно, что автор вначале не хотел сказать ничего другого, кроме этого, и что произведение это мало-помалу разрослось далеко за пределы первоначальных целей автора. Но после того, как автор наградил эту смешную персону глубочайшей мудростью и благороднейшими намерениями и сделал ее символическим воплощением идеализма, верящим в осуществимость своих целей, серьезно выполняющим свои обязанности и буквально сдерживающим свои обещания, то эта персона перестает производить на нас комическое впечатление. Точно так же, как в другом случае юмористическое удовольствие возникает из торможения аффективного возбуждения, так в этом случае оно возникает из торможения комического удовольствия. Однако мы благодаря этим примерам ушли далеко в сторону от простых примеров юмора.

[1] Термин, употребленный в эстетике Fr. Th. Vischer'ом в совсем другом смысле.

его энергии и придает ему за это юмористический оттенок.

Юмористическое удовольствие, доставляемое вчувствованием, возникает, как можно заметить из предыдущих примеров, путем особой техники, которую можно сравнить с передвиганием. Благодаря этой технике уже заготовленный аффект не встречает нужного объекта, и энергия направляется на нечто другое, нередко второстепенное. Но для понимания того процесса, благодаря которому осуществляется это передвигание с развития аффекта, этим не дано ничего. Мы видим, что воспринимающий подражает создателю юмора в его душевных процессах, но не узнаем при этом ничего о тех силах, которые осуществляют этот процесс у создателя юмора.

Можно только сказать, что если кому-нибудь удается пренебречь, например, болезненным аффектом благодаря тому, что он противопоставляет величину мировых интересов своему собственному ничтожеству, то мы не видим в этом никакого проявления юмора, а проявление философского мышления, и не получаем никакого удовольствия, отождествляя себя с этим человеком. Юмор, следовательно, так же невозможен при фиксации сознательного внимания, как и комическое сравнение. Он, как и комическое сравнение, связан условием: оставаться подсознательным или автоматическим.

К некоторой разгадке юмористического передвигания. можно подойти, если рассматривать его в свете защитного процесса. Защитные процессы являются психическими коррелативами рефлекса бегства и преследуют цель: предупредить возникновение неудовольствия из внутренних источников; при выполнении этой задачи они служат для душевной жизни автоматическим регулятором, который, в конце концов, оказывается, конечно, чем-то ущербным для нас и должен поэтому подвергнуться подавлению со стороны сознательного мышления. Я доказал, что определенный вид этой защиты, неудавшееся вытеснение, является действующим механизмом при возникновении психоневрозов. Юмор может быть понят как высшая из этих защитных функций. Он не скрывает содержания представлений, связанных с мучительным аффектом, от сознательного

внимания, как это делает вытеснение; он преодолевает, следовательно, защитный автоматизм. Юмор осуществляет это, найдя средства лишить подготовленное уже освобождение неудовольствия присущей ему энергии и превратить ее путем отреагирования в удовольствие. Можно даже предположить, что опять-таки связь с инфантильностью представляет в его распоряжение средства для этой функции. В самой детской жизни бывают сильные мучительные аффекты, по поводу которых взрослый теперь улыбается, как он смеется, будучи юмористом, над своими теперешними, мучительными аффектами. Возвеличение своего «Я», о котором свидетельствует юмористическое передвигание, — (перевод его на язык сознания должен был бы гласить: я слишком велик (олепен), чтобы эти причины заставили меня страдать) — взрослый может, конечно, найти в сравнении своего теперешнего «Я» с своим детским «Я». Это толкование подтверждается до некоторой степени той ролью, какая принадлежит инфантильности при невротических процессах вытеснения.

В общем юмор стоит ближе к комизму, чем к остроумию. Он имеет общую с комизмом психическую локализацию в предсознательном в то время, как острота, согласно нашему предположению, является компромиссом между бессознательными и предсознательными процессами. Поэтому ему неприсуща та своеобразная характерная черта, которая свойственна как остроте, так и комизму и которую мы, быть может, еще недостаточно ясно отметили. Мы имеем в виду условие для возникновения комизма, согласно которому мы одновременно или с быстрой последовательностью применяем для одной и той же работы представления два различных способа представления, между которыми потом происходит «сравнение», в результате которого получается комическая разница. Такие разницы в затрате возникают между чуждым и родственным, привычным и видоизмененным, ожидаемым и случившимся[1].

---

[1] Если не побояться несколько расширить понятие ожидания, то, согласно Lipps'у, можно причислить очень большую область комизма к комизму ожидания, но, вероятно, самые первоначальные формы комизма, являющиеся результатом сравнения чужой затраты с своею собственной, меньше всего могут быть отнесены к этому виду комизма.

При остроте разница между двумя одновременно имеющими место способами понимания, работающими с различной затратой, имеет значение для процесса у слушателя остроты. Одно из этих двух пониманий, следуя содержащимся в остроте намекам, прокладывает путь мысли через бессознательное, другое — остается на поверхности и представляет себе остроту, как всякий иной осознанный из предсознательного текст. Быть может, было бы правильно считать удовольствие от выслушанной остроты производным разницы обоих этих способов представлений[1].

Мы утверждаем здесь об остроте то же самое, что уже было описано нами еще в то время, когда отношение между остротой и комизмом казалось нам неисчерпанным, при чем мы уподобили остроту двуликому Янусу[2].

При юморе бледнеет эта, выдвинутая здесь на первый план, характерная черта. Правда, мы испытываем юмористическое удовольствие, когда избегнуто аффективное возбуждение, которое было бы уместно в данной ситуации, и в этом отношении юмор тоже подпадает под расширенное понятие комизма ожидания; но при юморе больше нет речи о двух различных способах представления одного и того же содержания. Преобладание в ситуации характера неудовольствия, вытека-

---

[1] На этой формуле можно остановиться, так как в ней нет ничего, что стояло бы в противоречии с прежними рассуждениями. Разница между двумя затратами должна в сущности сводиться к экономии затраты на упразднение задержки. Отсутствие этой затраты на упразднение задержки при комизме и отсутствие количественного контраста при остроте, при всей аналогии в характере двоякой работы представления для одного и того же понимания, обусловливают отличие комического чувства от впечатления, производимого остротой.

[2] Свойство «Double face», разумеется, не ускользнуло от авторов. Mélinaud, у которого я позаимствовал это выражение, дает условие для смеха в следующей формуле: Заставляет смеяться то, что является, с одной стороны, абсурдным, а с другой стороны, фамильярным.

Эта формула подходит скорее к остроте, чем к комизму, но не покрывает и ее в целом. — Bergson определяет комическую ситуацию при помощи «interference des séries. Какое-нибудь положение вещей всегда будет комическим, если оно в одно и то же время относится к двум сериям событий совсем независимых одно от другого и когда это положение может быть истолковано сразу в двух совершенно противоположных смыслах.

Для Lipps'а комизмом является «величие и ничтожество одного и того же».

ющего из аффективного возбуждения, которого нужно избежать, кладет конец сравнению с характерной чертой комизма и остроумия. Юмористическое передвигание является собственно случаем того иного употребления освобождения затраты, которое столь опасно для комического впечатления.

Приведя механизм юмористического удовольствия к той же формуле, что и комическое удовольствие и остроту, мы заканчиваем нашу работу. Удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма — из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от юмора — из экономии аффективной затраты энергии. Во всех трех видах работы нашей душевной деятельности удовольствие вытекает из экономии, все три вида аналогичны в том, что представляют собой методы получения удовольствия из душевной деятельности, удовольствия, которое собственно было потеряно лишь вследствие развития этой деятельности. Ибо эйфория, которую мы стремимся вызвать этими путями, является не чем иным, как настроением духа в тот жизненный период, когда мы вообще справлялись с нашей психической работой с помощью незначительной затраты энергии, настроением духа в нашем детстве, когда мы не знали комизма, не были способны создавать остроты, не нуждались в юморе, чтобы чувствовать себя счастливыми в жизни.

Достоевский и отцеубийство

Многогранную личность Достоевского можно рассматривать с четырех сторон: как писателя, как невротика, как мыслителя-этика и как грешника. Как же разобраться в этой невольно смущающей нас сложности?

Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с Шекспиром. «Братья Карамазовы» — величайший роман из всех, когда-либо написанных, а «Легенда о Великом Инквизиторе» — одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие.

Достоевский скорее всего уязвим как моралист. Представляя его человеком высоконравственным на том основании, что только тот достигает высшего нравственного совершенства, кто прошел через глубочайшие бездны греховности, мы игнорируем одно соображение. Ведь нравственным является человек, реагирующий уже на внутренне испытываемое искушение, при этом ему не поддаваясь. Кто же попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели, — того легко упрекнуть в том, что он слиш-

ком удобно для себя строит свою жизнь. Он не исполняет основного принципа нравственности — необходимости отречения, в то время как нравственный образ жизни — в практических интересах всего человечества. Этим он напоминает варваров эпохи переселения народов, варваров, убивавших и затем каявшихся в этом, — так что покаяние становилось техническим примером, расчищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью — характерная русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После исступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества — он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету — к поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному национализму, — к чему менее значительные умы пришли с гораздо меньшими усилиями, чем он. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества и присоединился к тюремщикам; культура будущего немногим будет ему обязана. В этом, по всей вероятности, проявился его невроз, из-за которого он и был осужден на такую неудачу. По мощи постижения и силе любви к людям ему был открыт другой — апостольский — путь служения.

Нам представляется отталкивающим рассматривание Достоевского в качестве грешника или преступника, но это отталкивание не должно основываться на обывательской оценке преступника. Выявить подлинную мотивацию преступления недолго: для преступника существенны две черты — безграничное себялюбие и сильная деструктивная склонность; общим для обеих черт и предпосылкой для их проявлений является безлюбовность, нехватка эмоционально-оценочного отношения к человеку. Тут сразу вспоминаешь противоположное этому у Достоевского — его большую потребность в любви и его огромную способность любить, проявившуюся в его сверхдоброте и позволявшую ему любить и помогать там, где он имел бы право

ненавидеть и мстить — например, по отношению к его первой жене и ее любовнику. Но тогда возникает вопрос — откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступникам? Ответ: из-за выбора его сюжетов, это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов его жизни: страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления незрелой девочки («Исповедь»)[1]. Это противоречие разрешается следующим образом: сильная деструктивная устремленность Достоевского, которая могла бы сделать его преступником, была в его жизни направлена, главным образом, на самого себя (вовнутрь — вместо того, чтобы изнутри) и, таким образом, выразилась в мазохизме и чувстве вины. Все-таки в его личности немало и садистических черт, выявляющихся в его раздражительности, мучительстве, нетерпимости — даже по отношению к любимым людям, — а также в его манере обращения с читателем; итак: в мелочах он — садист вовне, в важном — садист по отношению к самому себе, следовательно, мазохист, и это мягчайший, добродушнейший, всегда готовый помочь человек.

В сложной личности Достоевского мы выделили три фактора — один количественный и два качественных. Его чрезвычайно повышенную аффективность, его устремленность к перверзии, которая должна была привести его к садо-мазохизму или сделать преступником; и его неподдающееся анализу творческое дарование. Такое сочетание вполне могло бы существовать и без невроза: ведь бывают же стопроцентные мазохисты — без наличия

---

[1] См.: дискуссию об этом — Стефан Цвейг: он не останавливался перед преградами мещанской морали, и никому точно не известно, насколько он в своей жизни преступил границы права, в какой степени преступные инстинкты его героев воплотились у него самого в действие («Три мастера», 1920). О тесной связи между образами Достоевского и его собственными переживаниями см. замечания Рене Фюлоп-Миллера во введении к «Достоевскому за рулеткой», 1925, замечания, основанные на показаниях Николая Страхова.

неврозов. По соотношению сил — притязаний первичных позывов и противоборствующих им торможений (присоединяя сюда возможности сублимирования) — Достоевского все еще можно было бы отнести к разряду «импульсивных характеров». Но положение вещей затемняется наличием невроза, необязательного, как было сказано, при данных обстоятельствах, но все же возникающего тем скорее, чем насыщеннее осложнение, подлежащее со стороны человеческого «Я» преодолению. Невроз — это только знак того, что «Я» такой синтез не удался, что оно при этой попытке поплатилось своим единством.

В чем же, в строгом смысле, проявляется невроз? Достоевский называл себя сам — и другие также считали его — эпилептиком, на том основании, что он был подвержен тяжелым припадкам, сопровождавшимися потерей сознания, судорогами и последующим упадочным настроением. Весьма вероятно, что эта так называемая эпилепсия была лишь симптомом его невроза, который в таком случае следует определить как истероэпилепсию, то есть, как тяжелую истерию. Утверждать это с полной уверенностью нельзя по двум причинам: во-первых, потому что даты анамнезических припадков так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны, а, во-вторых, потому что понимание связанных с эпилептоидными припадками болезненных состояний остается неясным.

Перейдем ко второму пункту. Излишне повторять всю патологию эпилепсии — это не привело бы ни к чему окончательному, — но одно можно сказать: снова и снова присутствует, как кажущееся клиническое целое, извечный morbus sacer, страшная болезнь со своими не поддающимися учету, на первый взгляд неспровоцированными, судорожными припадками, изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим снижением всех духовных деятельностей. Однако эта картина, с какой бы стороны мы ее ни рассматривали, расплывается в нечто неопределенное. Припадки, проявляющиеся резко, с прикусыванием, усиливающиеся до опас-

ного для жизни status epilepticus, приводящего к тяжкому самокалечению, могут все же в некоторых случаях не достигать такой силы, ослабляясь до кратких состояний абсанса, до быстро проходящих головокружений, и могут также сменяться краткими периодами, когда больной совершает чуждые его природе поступки, как бы находясь во власти бессознательного. Обуславливаясь, в общем, как бы странно это ни казалось, чисто телесными причинами, эти состояния могут первоначально возникать по причинам чисто душевным (испуг) или могут в дальнейшем находиться в зависимости от душевных волнений. Как ни характерно для огромного большинства случаев интеллектуальное снижение, но известен, по крайней мере, о д и н случай, когда этот недуг не нарушил высшей интеллектуальной деятельности (Гельмгольц). (Другие случаи, в отношении которых утверждалось то же самое, ненадежны или подлежат сомнению, как и случай самого Достоевского). Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечатление тупости, недоразвитости, так как эта болезнь часто сопряжена с ярко выраженным идиотизмом и крупнейшими мозговыми дефектами, не являясь, конечно, обязательной составной частью картины болезни; но эти припадки со всеми своими видоизменениями бывают и у других лиц, у лиц с полным душевным развитием и скорее со сверхобычной, в большинстве случаев, недостаточно управляемой ими аффективностью. Неудивительно, что при таких обстоятельствах невозможно установить совокупность клинического аффекта «эпилепсии». То, что проявляется в однородности указанных симптомов, требует, повидимому, функционального понимания: как если бы механизм анормального высвобождения первичных позывов был подготовлен органически, механизм, который используется при наличии весьма разных условий — как при нарушении мозговой деятельности при тяжком заболевании тканей или токсическом заболевании, так и при недостаточном контроле душевной экономии, кризисном функционировании душевной энергии. За этим разделением на два вида мы чувствуем иден-

тичность механизма, лежащего в основе высвобождения первичных позывов. Этот механизм недалек и от сексуальных процессов, порождаемых в своей основе токсически; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией и видели в половом акте смягчение и адаптацию высвобождения эпилептического отвода раздражения.

«Эпилептическая реакция», каковым именем можно назвать все это вместе взятое, несомненно также поступает и в распоряжение невроза, сущность которого в том, чтобы ликвидировать соматически массы раздражения, с которыми невроз не может справиться психически. Эпилептический припадок становится, таким образом, симптомом истерии и ею адаптируется и видоизменяется, подобно тому, как это происходит при нормальном течении сексуального процесса. Таким образом, мы с полным правом различаем органическую и аффективную эпилепсию. Практическое значение этого следующее: страдающий первой — поражен болезнью мозга, страдающий второй — невротик. В первом случае душевная жизнь подвержена нарушению извне, во втором случае нарушение является выражением самой душевной жизни.

Весьма вероятно, что эпилепсия Достоевского относится ко второму виду. Точно доказать это нельзя, так как в таком случае нужно было бы включить в целокупность его душевной жизни начало припадков и последующие видоизменения этих припадков, а для этого у нас недостаточно данных. Описания самих припадков ничего не дают, сведения о соотношениях между припадками и переживаниями неполны и часто противоречивы. Всего вероятнее предположение, что припадки начались у Достоевского уже в детстве, что они вначале характеризовались более слабыми симптомами и только после потрясшего его переживания на восемнадцатом году жизни — убийства отца — приняли форму эпилепсии[1]. Было бы

[1] Ср. зд. ст. Рене Фюлоп-Миллера. Особый интерес вызывает сообщение, что в детстве писателя произошло «нечто ужасное, незабываемое и мучительное», на что указывают первые признаки его недуга (Суворин в статье в «Новом Времени», 1881, на основании цитаты во введении к «До-

весьма уместно, если бы оправдалось то, что они полностью прекратились во время отбывания им каторги в Сибири, но этому противоречат другие указания[1]. Очевидная связь между отцеубийством в «Братьях Карамазовых» и судьбой отца Достоевского бросилась в глаза не одному биографу Достоевского и послужила им указанием на «известное современное психологическое направление». Психоанализ, так как подразумевается именно он, склонен видеть в этом событии тягчайшую травму — и в реакции Достоевского на это — ключевой пункт его невроза.

Если я начну обосновывать эту установку психоаналитически, опасаюсь, что окажусь непонятным для всех тех, кому незнакомы учение и выражения психоанализа.

У нас (один) надежный исходный пункт. Нам известен смысл первых припадков Достоевского в его юношеские годы — задолго до появления «эпилепсии». У этих припадков было подобие смерти, они назывались страхом смерти и выражались в состоянии летаргического сна. Эта болезнь находила на него вначале — когда он был еще мальчиком — как внезапная безотчетная подавленность; чувство, как он позже рассказывал своему другу Соловьеву, такое, как будто бы ему

стоевскому за рулеткой», XLV). Далее, Орест Миллер в «Автобиографических произведениях Достоевского»; «О болезни Федора Михайловича имеются данные, относящиеся к его ранней юности и связующие его болезнь с трагическим случаем в семейной жизни родителей Достоевского. Но несмотря на то, что это было мне устно сообщено человеком весьма близким к Федору Михайловичу, я не могу решиться повторить сообщенное мне подробно и точно, так как я не имею никакого подтверждения этого слуха». Биографы и исследователи неврозов не могут быть благодарны за эту излишнюю тактичность.

[1] Большинство указаний, среди них и самого Достоевского, напротив утверждают, что болезнь приняла определенный эпилептический характер лишь во время сибирской каторги. К сожалению, имеются основания не доверять автобиографическим высказываниям невротиков. Опыт показывает, что их воспоминания склонны к фальсификации, направленной на то, чтобы разорвать неприятную причинную связь. Но все же кажется довольно определенным, что пребывание в сибирской тюрьме существенно изменило и состояние болезни Достоевского.

предстояло сейчас же умереть; и в самом деле наступало состояние совершенно подобное действительной смерти... Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в молодые годы, перед тем, как заснуть, оставлял записки, что боится ночью заснуть смертоподобным сном и просит поэтому, чтобы его похоронили только через пять дней («Достоевский за рулеткой», введение, с. LX).

Нам известны смысл и намерение таких припадков смерти. Они означают отождествление с умершим — человеком, который действительно умер, или с человеком живым еще, но которому мы желаем смерти. Второй случай более значителен. Припадок в указанном случае равноценен наказанию. Мы пожелали смерти другому, — теперь мы стали сами этим другим и сами умерли. Тут психоаналитическое учение утверждает, что этот другой для мальчика обычно — отец, и именуемый истерией припадок является, таким образом, самонаказанием за пожелание смерти ненавистному отцу.

Отцеубийство, как известно, основное и изначальное преступление человечества и отдельного человека. Во всяком случае, оно — главный источник чувства вины, неизвестно, единственный ли; исследованиям не удалось еще установить душевное происхождение вины и потребности искупления. Но отнюдь не существенно — единственный ли это источник. Психологическое положение сложно и нуждается в объяснениях. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы отца, как соперника, устранить, существует обычно некоторая доля нежности к нему. Оба отношения сливаются в идентификацию с отцом, хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть, как он, и потому, что хочется его устранить. Все это наталкивается на крупное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца, как соперника, встретила бы со стороны отца наказание через кастрацию. Из страха кастрации, то есть в интересах сохранения своей мужественности, ребенок отказывается от желания

обладать матерью и от устранения отца. Поскольку это желание остается в области бессознательного, оно является основой для образования чувства вины. Нам кажется, что мы описали нормальные процессы, обычную судьбу так называемого Эдипова комплекса; следует, однако, внести важное дополнение.

Возникают дальнейшие осложнения, если у ребенка сильнее развит конституционный фактор, называемый нами бисексуальностью. Тогда, под угрозой потери мужественности через кастрацию, укрепляется тенденция уклониться в сторону женственности, более того, тенденция поставить себя на место матери и перенять ее роль как объекта любви отца. Одна лишь боязнь кастрации делает эту развязку невозможной. Ребенок понимает, что он должен взять на себя и кастрирование, если он хочет быть любимым отцом, как женщина. Так обрекаются на вытеснение оба порыва, ненависть к отцу и влюбленность в отца. Известная психологическая разница усматривается в том, что от ненависти к отцу отказываются вследствие страха перед внешней опасностью (кастрацией). Влюбленность же в отца воспринимается как внутренняя опасность первичного позыва, которая, по сути своей, снова возвращается к той же внешней опасности.

Страх перед отцом делает ненависть к отцу неприемлемой; кастрация ужасна, как в качестве кары, так и цены любви. Из обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, следует назвать нормальным, патогеническое усиление привносится, как кажется, лишь другим фактором — боязнью женственной установки. Ярко выраженная бисексуальная склонность становится, таким образом, одним из условий или подтверждений невроза. Эту склонность, очевидно, следует признать и у Достоевского, — и она (латентная гомосексуальность) проявляется в дозволенном виде в том значении, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его до странности нежном отношении к соперникам в любви и в его прекрасном понимании положений, объяснимых лишь вытес-

ненной гомосексуальностью, — как на это указывают многочисленные примеры из его произведений.

Сожалею, но ничего не могу изменить, — если подробности о ненависти и любви к отцу и об их видоизменениях под влиянием угрозы кастрации несведущему в психоанализе читателю покажутся безвкусными и маловероятными. Предполагаю, что именно комплекс кастрации будет отклонен сильнее всего. Но смею уверить, что психоаналитический опыт ставит именно эти явления вне всякого сомнения и находит в них ключ к любому неврозу. Испытаем же его в случае так называемой эпилепсии нашего писателя. Но нашему сознанию так чужды те явления, во власти которых находится наша бессознательная психическая жизнь! Указанным выше не исчерпываются в Эдиповом комплексе последствия вытеснения ненависти к отцу. Новым является то, что в конце концов отождествление с отцом завоевывает в нашем «Я» постоянное место. Это отождествление воспринимается нашим «Я», но представляет собой в нем особую инстанцию, противостоящую остальному содержанию нашего «Я». Мы называем тогда эту инстанцию нашим «Сверх-Я» и приписываем ей, наследнице родительского влияния, наиважнейшие функции.

Если отец был суров, насильствен, жесток, наше «Сверх-Я» перенимает от него эти качества, и в его отношении к «Я» снова возникает пассивность, которой как раз надлежало бы быть вытесненной. «Сверх-Я» стало садистическим, «Я» становится мазохистским, то есть в основе своей — женственно-пассивным. В нашем «Я» возникает большая потребность в наказании, и «Я» отчасти отдает себя, как таковое, в распоряжение судьбы, отчасти же находит удовлетворение в жестоком обращении с ним «Сверх-Я» (сознание вины). Каждая кара является ведь, в основе своей, кастрацией и, как таковая, — осуществлением изначального пассивного отношения к отцу. И судьба, в конце концов, — лишь дальнейшая проекция отца.

Нормальные явления, происходящие при фор-

мировании совести, должны походить на описанные здесь анормальные. Нам еще не удалось установить разграничения между ними. Замечается, что наибольшая роль здесь в конечном итоге приписывается пассивным элементам вытесненной женственности. И еще, как случайный фактор, имеет значение, является ли внушающий страх отец и в действительности особенно насильственным. Это относится к Достоевскому — факт его исключительного чувства вины, равно как и мазохистского образа жизни, мы сводим к его особенно ярко выраженному компоненту женственности. Достоевского можно определить следующим образом: особенно сильная бисексуальная предрасположенность и способность с особой силой защищаться от зависимости от чрезвычайно сурового отца. Этот характер бисексуальности мы добавляем к ранее узнанным компонентам его существа. Ранний симптом «припадков смерти» можно рассматривать как отождествление своего «Я» с отцом, допущенное в качестве наказания со стороны «Сверх-Я». Ты захотел убить отца, дабы стать отцом самому. Теперь ты — отец, но отец мертвый; обычный механизм истерических симптомов. И к тому же: теперь тебя убивает отец. Для нашего «Я» симптом смерти является удовлетворением фантазии мужского желания и одновременно мазохистским посредством наказания, то есть садистическим удовлетворением. Оба, «Я» и «Сверх-Я», играют роль отца и дальше. — В общем, отношение между личностью и объектом отца, при сохранении его содержания перешло в отношение между «Я» и «Сверх-Я», новая инсценировка на второй сцене. Такие инфантильные реакции Эдипова комплекса могут заглохнуть, если действительность не дает им в дальнейшем пищи. Но характер отца остается тем же самым, нет, он ухудшается с годами, — таким образом продолжает оставаться и ненависть Достоевского к отцу, желание смерти этому злому отцу. Становится опасным, если такие вытесненные желания осуществляются на деле. Фантазия стала реальностью, все меры защиты теперь укрепляются. Припадки Достоевского принимают теперь эпилеп-

тический характер, — они все еще означают кару за отождествление с отцом. Но они стали теперь ужасны, как сама страшная смерть самого отца. Какое содержание, в особенности сексуальное, они в дополнение к этому приобрели, угадать невозможно.

Одно примечательно: в ауре припадка переживается момент величайшего блаженства, который, весьма вероятно, мог быть зафиксированием триумфа и освобождения при получении известия о смерти, после чего тотчас последовало тем более жестокое наказание. Такое чередование триумфа и скорби, пиршества и печали, мы видим и у братьев праорды, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемической трапезы. Если правда, что Достоевский в Сибири не был подвержен припадкам, то это лишь подтверждает то, что его припадки были его карой. Он более в них не нуждался, когда был караем иным образом, — но доказать это невозможно. Скорее этой необходимостью в наказании для психической экономии Достоевского объясняется то, что он прошел несломленным через эти годы бедствий и унижений. Осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслуженное наказание от батюшки-царя — как замену наказания, заслуженного им за свой грех по отношению к своему собственному отцу. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю отца. Это дает нам некоторое представление о психологическом оправдании наказаний, присуждаемых обществом. Это на самом деле так: многие из преступников жаждут наказания. Его требует их «Сверх-Я», избавляя себя таким образом от самонаказания.

Тот, кто знает сложное и изменчивое значение истерических симптомов, поймет, что мы здесь не пытаемся добиться смысла припадков Достоевского во всей полноте[1]. Достаточно того, что можно

[1] Лучшие сведения о сущности и содержании своих припадков дает сам Достоевский, когда сообщает своему другу Страхову, что его роздражительность и депрессия после эпилептического припадка объясняется тем, что он сам се-

предположить, что их первоначальная сущность осталась неизменной, несмотря на все последующие наслоения. Можно сказать, что Достоевский так никогда и не освободился от угрызений совести в связи с намерением убить отца. Это лежащее на совести бремя определило также его отношение к двум другим сферам, покоющимся на отношении к отцу — к государственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению батюшке-царю, однажды разыгравшему с ним комедию убийства в действительности, — находившую столько раз отражение в его припадках. Здесь верх взяло покаяние. Больше свободы оставалось у него в области религиозной — по не допускающим сомнений сведениям он до последней минуты своей жизни все колебался между верой и безбожием. Его высокий ум не позволял ему не замечать те трудности осмысливания, к которым приводит вера. В индивидуальном повторении мирового исторического развития он надеялся в идеале Христа найти выход и освобождение от грехов — и использовать свои собственные страдания, чтобы притязать на роль Христа. Если он, в конечном счете, не пришел к свободе и стал реакционером, то это объясняется тем, что общечеловеческая сыновняя вина, на которой строится религиозное чувство, достигла у него сверхиндивидуальной силы и не могла быть преодолена даже его высокой интеллектуальностью. Здесь нас, казалось бы, можно упрекнуть в том, что мы отказываемся от беспристрастности психоанализа и подвергаем Достоевского оценке, имеющей право на существование лишь с пристрастной точки зрения определенного мировоззрения. Консерватор стал бы на точку зрения Великого Инквизитора и оценивал бы Достоевского иначе. Упрек справедлив, для его смягчения можно лишь сказать, что решение Достоевского вы-

---

бе представляется преступником и не в силах освободиться от чувства, что он взял на себя неизвестную ему самому вину, совершил великий грех, его угнетающий. В таких самообвинениях психоанализ усматривает частичное признание «психической реальности» и пытается довести эту неизвестную вину до сознания.

звано, очевидно, затрудненностью его мышления вследствие невроза.

Едва ли простой случайностью можно объяснить, что три шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же тему — тему отцеубийства: «Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоевского. Во всех трех раскрывается и мотив деяния, сексуальное соперничество из-за женщины. Прямее всего, конечно, это представлено в драме, основанной на греческом сказании. Здесь деяние совершается еще самим героем. Но без смягчения и завуалирования поэтическая обработка невозможна. Откровенное признание в намерении убить отца, какого мы добиваемся при психоанализе, кажется непереносимым без аналитической подготовки. В греческой драме необходимое смягчение при сохранении сущности мастерски достигается тем, что бессознательный мотив героя проецируется в действительность как чуждое ему принуждение, навязанное судьбой. Герой совершает деяние непреднамеренно и по всей видимости без влияния женщины, и все же это стечение обстоятельств принимается в расчет, так как он может завоевать царицу-мать только после повторения того же действия в отношении чудовища, символизирующего отца. После того, как обнаруживается и оглашается его вина, не делается никаких попыток снять ее с себя, взвалить ее на принуждение со стороны судьбы; наоборот, вина признается — и как всецелая вина наказывается, что рассудку может показаться несправедливым, но психологически абсолютно правильно. В английской драме это изображено более косвенно, поступок совершается не самим героем, а другим, для которого этот поступок не является отцеубийством. Поэтому предосудительный мотив сексуального соперничества у женщины не нуждается в завуалировании. Равно и Эдипов комплекс героя мы видим как бы в отраженном свете, так как мы видим лишь то, какое действие производит на героя поступок другого. Он должен был бы за этот поступок отомстить, но странным образом не в силах это сделать. Мы знаем, что его расслабляет собственное чувство вины: в соответствии

с характером невротических явлений происходит сдвиг, и чувство вины переходит в осознание своей неспособности выполнить это задание. Появляются признаки того, что герой воспринимает эту вину как сверхиндивидуальную. Он презирает других не менее, чем себя. «Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?». В этом направлении роман русского писателя уходит на шаг дальше. И здесь убийство совершено другим человеком, однако, человеком, связанным с убитым такими же сыновними отношениями, как и герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества откровенно признается, — совершено другим братом, которому, как интересно заметить, Достоевский передал свою собственную болезнь, якобы эпилепсию, тем самым как бы желая сделать признание, что, мол, эпилептик, невротик во мне — отцеубийца. И, вот, в речи защитника на суде — та же известная насмешка над психологией: она, мол, палка о двух концах. Завуалировано великолепно, так как стоит все это перевернуть — и находишь глубочайшую сущность восприятия Достоевского. Заслуживает насмешки отнюдь не психология, а судебный процесс дознания. Совершенно безразлично, кто этот поступок совершил на самом деле, психология интересуется лишь тем, кто его в своем сердце желал и кто по его совершении его приветствовал, — и поэтому — вплоть до контрастной фигуры Алеши — все братья равно виновны: движимый первичными позывами искатель наслаждений, полный скепсиса циник и эпилептический преступник. В «Братьях Карамазовых» есть сцена, в высшей степени характерная для Достоевского. Из разговора с Дмитрием старец постигает, что Дмитрий носит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на колени. Это не может являться выражением восхищения, а должно означать, что святой отстраняет от себя искушение исполниться презрением к убийце или им погнушаться, и поэтому перед ним смиряется. Симпатия Достоевского к преступнику действительно безгранична, она далеко выходит за пределы сострадания, на которое несчастный имеет право, она напоминает

благоговение, с которым в древности относились к эпилептику и душевнобольному. Преступник для него — почти спаситель, взявший на себя вину, которую в другом случае несли бы другие. Убивать больше не надо, после того, как он уже убил, но следует ему быть благодарным, иначе пришлось бы убивать самому. Это не одно лишь доброе сострадание, это отождествление на основании одинаковых импульсов к убийству, собственно говоря, лишь в минимальной степени смещенный нарциссизм. Этическая ценность этой доброты этим не оспаривается. Может быть, это вообще механизм нашего доброго участия по отношению к другому человеку, особенно ясно проступающий в чрезвычайном случае обремененного сознания своей вины писателя. Нет сомнения, что эта симпатия по причине отождествления решительно определила выбор материала Достоевского. Но сначала он, — из эгоистических побуждений, — выводил обыкновенного преступника, политического и религиозного, прежде чем к концу своей жизни вернуться к первопреступнику, к отцеубийце, — и сделать в его лице свое поэтическое признание.

Опубликование его посмертного наследия и дневников его жены ярко осветило один эпизод его жизни, то время, когда Достоевский в Германии был обуреваем игорной страстью («Достоевский за рулеткой»). Явный припадок патологической страсти, который не поддается иной оценке ни с какой стороны. Не было недостатка в оправданиях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную замену в обремененности долгами, и Достоевский мог отговариваться тем, что он при выигрыше получил бы возможность вернуться в Россию, избежав заключения в тюрьму кредиторами. Но это был только предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понять, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе, le jeu pour le jeu[1]. Все подробности его

---

[1] «Главное — это сама игра», — писал он в одном из своих писем. «Клянусь вам, дело совсем не в жадности, хотя, я, конечно, прежде всего нуждаюсь в деньгах».

обусловленного первичными позывами безрассудного поведения служат тому доказательством, — и еще кое-чему иному. Он не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное количество раз давал он молодой жене слово или честное слово больше не играть или не играть в этот день, и он нарушал это слово, как она рассказывает, почти всегда. Если он своими проигрышами доводил себя и ее до крайне бедственного положения, это служило для него еще одним патологическим удовлетворением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить ее презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него, старого грешника, — и после всей этой разгрузки совести на следующий день игра начиналась снова. И молодая жена привыкла к этому циклу, так как заметила, что то, от чего в действительности только и можно было ожидать спасения, — писательство, — никогда не продвигалось вперед лучше, чем после потери всего и закладывания последнего имущества. Связи всего этого она, конечно, не понимала. Когда его чувство вины было удовлетворено наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда исчезала затрудненность в работе, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху[1].

Рассматривая рассказ более молодого писателя, нетрудно угадать, какие давно позабытые детские переживания находят выявления в игорной страсти. У Стефана Цвейга, посвятившего, между прочим, Достоевскому один из своих очерков («Три мастера»), в сборнике «Смятение чувств» есть новелла «Двадцать четыре часа в жизни женщины». Этот маленький шедевр показывает как будто лишь то, каким безответственным существом является женщина и на какие удивительные для нее самой закононарушения ее толкает неожиданное жизненное впечатление. Но новелла эта, если подвергнуть ее психоаналитическому

[1] Всегда он оставался у игорного стола, пока не проигрывал всего, пока не был полностью уничтожен. Только тогда зло это осуществлялось полностью, демон покидал его душу и предоставлял место творческому гению.

толкованию, говорит, однако, без такой оправдывающей тенденции гораздо больше, показывает совсем иное, общечеловеческое, или, скорее, общемужское, и такое толкование столь явно подсказано, что нет возможности его не допустить. Для сущности художественного творчества характерно, что писатель, с которым меня связывают дружеские отношения, в ответ на мои расспросы утверждал, что упомянутое толкование ему чуждо и вовсе не входило в его намерения, несмотря на то, что в рассказ вплетены некоторые детали, как бы рассчитанные на то, чтобы указывать на тайный след. В этой новелле великосветская пожилая дама поверяет писателю о том, что ей пришлось пережить более двадцати лет тому назад. Рано овдовевшая, мать двух сыновей, которые в ней более не нуждались, отказавшаяся от каких бы то ни было надежд, на сорок втором году жизни она попадает — во время одного из своих бесцельных путешествий — в игорный зал монакского казино, где среди всех диковин ее внимание приковывают две руки, которые с потрясающей непосредственностью и силой отражают все переживаемые несчастным игроком чувства. Руки эти — руки красивого юноши (писатель как бы безо всякого умысла делает его ровесником старшего сына наблюдающей за игрой женщины), потерявшего все и в глубочайшем отчаянии покидающего зал, чтобы в парке покончить со своею безнадежной жизнью. Неизъяснимая симпатия заставляет женщину следовать за юношей и предпринять все для его спасения. Он принимает ее за одну из многочисленных в том городе навязчивых женщин и хочет от нее отделаться, но она не покидает его и вынуждена, в конце концов, в силу сложившихся обстоятельств, остаться в его номере отеля и разделить его постель. После этой импровизированной любовной ночи она велит казалось бы успокоившемуся юноше дать ей торжественное обещание, что он никогда больше не будет играть, снабжает его деньгами на обратный путь и со своей стороны дает обещание встретиться с ним перед уходом поезда на вокзале. Но затем в ней пробуждается большая нежность к юноше, она

готова пожертвовать всем, чтобы только сохранить его для себя, и она решает отправиться с ним вместе в путешествие — вместо того, чтобы с ним проститься. Всяческие помехи задерживают ее, и она опаздывает на поезд; в тоске по исчезнувшему юноше она снова приходит в игорный дом — и с возмущением обнаруживает там те же руки, накануне возбудившие в ней такую горячую симпатию; нарушитель долга вернулся к игре. Она напоминает ему об его обещании, но одержимый страстью, он бранит сорвавшую его игру, велит ей убираться вон и швыряет деньги, которыми она хотела его выкупить. Опозоренная, она покидает город, а впоследствии узнает, что ей не удалось спасти его от самоубийства.

Эта блестяще и без пробелов в мотивировке написанная новелла имеет, конечно, право на существование как таковая — и не может не произвести на читателя большого впечатления. Однако психоанализ учит, что она возникла на основе умопострояемого вожделения периода полового созревания, о каковом вожделении некоторые вспоминают совершенно сознательно, Согласно умопострояемому вожделению, мать должна сама ввести юношу в половую жизнь для спасения его от заслуживающего опасения вреда онанизма. Столь частые сублимирующие художественные произведения вытекают из того же первоисточника. «Порок» онанизма замещается пороком игорной страсти, ударение, поставленное на страстную деятельность рук, предательски свидетельствует об этом отводе энергии. Действительно, игорная одержимость является эквивалентом старой потребности в онанизме, ни одним словом, кроме слова «игра», нельзя назвать производимые в детской манипуляции половых органов. Непреоборимость соблазна, священные и все-таки никогда не сдерживаемые клятвы никогда более этого не делать, дурманящее наслаждение и нечистая совесть, говорящая нам, что мы будто бы сами себя губим (самоубийство), — все это при замене осталось неизменным. Правда, новелла Цвейга ведется от имени матери, а не сына. Сыну должно быть лестно думать: если мать знала бы, к каким опаснос-

тям приводит онанизм, она бы, конечно, уберегла меня от них тем, что отдала бы моим ласкам свое собственное тело. Отождествление матери с девкой, производимое юношей в новелле Цвейга, является составной частью той же фантазии. Оно делает недосягаемое легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая эту фантазию, приводит к дурному исходу новеллы. Интересно отметить, что внешнее оформление, данное писателем новелле, как бы прикрывает ее психоаналитический смысл. Ведь весьма оспоримо, что любовная жизнь женщины находится во власти внезапных и загадочных импульсов. Анализ же вскрывает достаточную мотивацию удивительного поведения женщины, до тех пор отворачивавшейся от любви. Верная памяти утраченного супруга, она была вооружена против любых притязаний, напоминающих любовные притязания мужа, однако — и в этом фантазия сына оказывается правомерной — она не может избежать совершенно неосознаваемого ею перенесения любви на сына, и в этом-то незащищенном месте ее и подстерегает судьба. Если игорная страсть и безрезультатные стремления освободиться от нее и связанные с нею поводы к самонаказанию являются повторением потребности в онанизме, нас не удивит, что она завоевала в жизни Достоевского столь большое место. Нам не встречалось ни одного случая тяжкого невроза, где бы автоэротическое удовлетворение раннего периода и периода созревания не играло бы определенной роли, и связь между попытками его подавить и страхом перед отцом слишком известна, чтобы заслужить что-нибудь большее, чем упоминание.

СОДЕРЖАНИЕ

ФРЕЙД ЗИГМУНД
«Я» и «ОНО»
Труды разных лет. Книга 2

Редактор ***А. Перим***
Художник ***А. Чечик***
Художественный редактор ***Н. Нариманидзе***
Технический редактор ***О. Немировская***
Корректоры ***В. Раев, Т. Волобуева***

ИБ 3466

Сдано в набор 08.06.90 г. Подписано в печать 26.12.90 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Учетно-изд. л. 24,13. Усл. кр.-отт. 22,68. Тираж 140.000 экз. Заказ № 56.
Цена договорная.

Издательство «Мерани», 380008, Тбилиси, пр. Руставели, 42.
Типография издательства «Таврида»,
333700, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

ზიგმუნდ ფრეიდი

„მე“ და „ის“

წიგნი 2

(რუსულ ენაზე)

В 1991 году

коммерческая фирма «Веста» совместно с издательством «Новый мир» завершает издание следующих произведений Александра Исаевича Солженицына:

«Архипелаг Гулаг» в 3-х книгах.

«Раковый корпус».

Рассказы.

Драматургия.

«В круге первом» в 2-х книгах.